1 р. 90 к. Индекс 70331

В КОНЦЕ 1991 — в 1992 гг. В «ЗНАМЕНИ» ЧИТАЙТЕ:

Василь БЫКОВ. Блиндаж. Повесть

Георгий ВЛАДИМОВ. Генерал и его армия. Роман

Даниил ГРАНИН. Этому нас не учили. Очерки

Владимир ДУДИНЦЕВ. Дитя. Роман

Фазиль ИСКАНДЕР. Ловчий ястреб. Повесть

Вячеслав КОНДРАТЬЕВ. Искупить кровью. Повесть

Булат ОКУДЖАВА. Упраздненный театр. Роман

Вячеслав ПЬЕЦУХ. Заколдованная страна. Повесть

Эрих-Мария РЕМАРК. Искра жизни. Роман

Елена РЖЕВСКАЯ. Доктор Геббельс и его «Дневник»

Подробнее об основных публикациях во второй половине 1991 и 1992 гг. см. стр. 240.

ISSN 0130-1616. Знамя. 1991. № 10. 1—240.

ЗНАМЯ 10 1991

ISSN 0130-1616

ЗНАМЯ

1991

Октябрь



Ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический журнал

Выходит с января 1931 года

10
1991
ОКТЯБРЬ

Москва
Издательство
«Правда»

Содержание

К сведению уважаемых авторов:

Редакция не рецензирует рукописи, а только сообщает о своем решении.

Рукописи просим высылать заказной бандеролью — посылки редакция не принимает.

Рукописи, присылаемые на дом работникам редакции, не рассматриваются.

Рукописи менее двух печатных листов редакция не возвращает.

При перепечатке наших материалов ссылка на «Знамя» обязательна.

Учредитель — трудовой коллектив редакции журнала «Знамя»

Геннадий Русаков

ИМЯ МУКИ

Памяти Людмилы Копыловой

* * *

Господу богу прошение
от не верующего в него...
Не прошение — голошение.
Больше нет у меня ничего.

Господу богу рыдание
от не верующего в него...
Не рыдание — припадание.
Больше нет у меня ничего.

Господи, грозною силою
всепрощения твоего
исцели, исцели мою милую!
Больше нет у меня ничего.

История

Мне историю не ругать,
она меня не обижала.
История — это тамбовская гать,
по которой бабка бежала.
История — это дичающий дом,
и женщина, всех на земле дороже,
ходит, плечи держа с трудом.
Что-то хочет вспомнить — не может.
И говорит, говорит, говорит,
повторяется, вновь начинает,
будто вся в лихорадке горит...
Хочет вспомнить — и не вспоминает.
Не утешить и не объяснить,
не довериться лучшему другу...
Нет, история — это нить,
на которой кружат по кругу.
Я иду, в лихорадке горю,
нить держу на уровне пояса.
«Милая, — женщине говорю,
милая, успокойся».

* * *

Опять на слабых поднимаешь руку?
Бесправных вызываешь на правеж?
Ты не ее — меня бери в науку
и на меня оттачивай свой нож.

Я лжив и подл, я от неверья черен.
Суди меня за все мои вины!
Корми хлебами из железных зерен,
опаивай отваром белены.

Меня — бери, а милую не трогай:
велик ли грех — браслетами греметь?
Прости ее, пройди своей дорогой,
не оглянись, не вспомни, не заметь...

* * *

Когда взбухают пузыри земли
и кровь цветет бессмысленным цветеньем —
пошли мне мор, проказу мне пошли
и угнети великим угнетеньем!

Яви, творец, мне ненависть твою,
и напряги меня подобно луку!
...Отныне я на ощупь узнаю
твою неутешающую руку.

* * *

Любимой больше нет — сожгите этот дом!
Закройте мне глаза — мне горе ломит веки!
Болит моя беда и клычет над гнездом.
И ангелы летят мостить телами реки.

Пространство помнит всех, запечатленных им:
в нем каждый нанесен на моментальный снимок.
Любимая, и мы с тобою там стоим
среди чужих теней и прочих невидимок.

Проскачет грузный скок и прянет конь войны.
И я сгорю в огне, и стану прах на прахе.
Но все равно мы в кадр с тобой умещены:
ты — в светло-голубом, я в палевой рубахе...

* * *

Не смирюсь, не отдам, не прощу!
Покажись — я в лицо твое гляну!
На хребте к тебе камень втащу,
растрясу твою скудную манну!

И в последней моей наготе,
и в ikотном бессмысленном страхе,
даже там, на отходной черте,
даже путаясь в смертной рубахе, —

докляну, довоплю, дохриплю:
«Не прощаю тебя! Не прощаю!»
Ты же знал, как я горько люблю...
Ты помянешь меня. Обещаю.

* * *

Спи, моя тихая, спи, моя кроткая.
Это ночные дожди
ходят проулком утиной походкою.
Только ты к ним не ходи.

Это твой воздух над садом шатается,
рвется и катится вниз.
Пусть его, милая, пусть он катается.
Ты в эту тьму не тянись.

Это грачи завозились спросонья
у родников, на ветле.
Спи, моя светлая. Спи, моя доня.
Ночь на огромной земле.

Спи без меня под приокскою глиною.
Что я с моею виной?
Страшная-страшная, длинная-длинная,
жизнь моя ходит за мной.

* * *

Мне снова снятся жесткие венки
и проволока пластиковой розы.
Мне пальцы прожигают кулаки.
Шуршат в крови сосновые занозы.

Пусть это — мне. Я через всё пройду.
Я обезглашу и закаменею.
Тебе бы в этом пасмурном аду,
наверно, было б, милая, страшнее...

* * *

Когда твоя душа летала сорок дней,
я слышал шорох крыл, мне воздух гладил щеки.
И только все страшней, упорней и больней
меж выплесками крыл растягивались сроки.

И всё затихло вдруг на день сороковой...
И встала тишина. И эхо отлетело.
А я еще живу, я всё еще живой.
И слушаю, и жду, чтоб вновь зашелестело.

* * *

Душа нашла вторую половину
и тридцать лет была с собой в ладу.
Что я теперь? Мне горе смотрит в спину,
мою судьбу ведя на поводу.

«Господь, творец» — возьми любое имя:
любым тебя узнаю и приму.
Прельщай меня юдолями своими,
но дай мне убедиться самому!

Дай заглянуть хотя бы в щелку двери,
туда, в ничто, в серебряную мгу,
где милые, где птицы или звери —
всё то, во что я верить не могу.

* * *

Еще я живу по привычке
и старую трубку курю.
Но часто ломаются спички
и время идет к сентябрю.

Дымятся летейские воды.
Харон собирает заезд.
Мятутся и ропщут народы
земных незначительных мест.

И осень с лицом идиота
снаружи скребется в окно.
Там время стерни и осота.
Там холодно, сыро, темно.

А я третий месяц на свете
учусь, чтоб не заголосить,
один перед богом в ответе...
Да он забывает спросить.

* * *

Такую жалость я в себе ношу!
А всё равно владыке не потрафил.
И вот опять вослед тебе пишу,
и отвожу глаза от фотографий.

Мне говорят, что труден первый год,
что все пройдет и сытны жизни брашна.
...Но как поет по радио фагот,
что умирать не больно и не страшно!

* * *

Ты знаешь, я так странно постарел —
врасплох, без перехода, как-то разом:
вчера в лицо мне в ванной посмотрел
старик-скопец с полуприкрытым глазом.

А где же тот, кто был храним тобой?
Тот хлопотун, та тень на бледном воске —
с обиженною нижнею губой
и поределым высевом прически?

Тот, кто подушкой зажимает крик?
Кто трижды твой — ведь слово выше крови?
...И в запотевшем зеркале старик
трясет плечом и напрягает брови.

* * *

...И предал я, творец, любовь мою —
молчаньем, взглядом или полусловом.
Да, ты был прав: я тоже предаю,
как тот, другой, перед петушьим зовом.

Я не сумел. Не выручил. Не спас.
Не отогрел родное тело телом.
Не умер в тот закаменелый час,
в том воздухе, уже окоченелом.

* * *

Я сам закрыл моей любви глаза
и приял ужас как окаменелый.
Он был таким, какому быть нельзя.
Такого нет. Он ледяной и белый.

А боль приходит после... Вот — пришла.
И я стою один на целом свете.
Как страшно, люди! Жизнь уже «была».
Осталась только койка в лазарете.

Куда бежать, умаслить, ублажить,
хватать за руки, теребить за полу?
Мне так нельзя, мне так не должно жить —
ненужну телом и душою голу...

* * *

Я тридцать лет был счастлив на земле.
Мой срок прошел. Подсчитаны подсчеты.
Я нынче птица об одном крыле.
Я выбрал меру отведенной квоты.

Пускай живут безродные слова
и кров уподобляется постою...
Прости, родная. Ты во всем права.
Но как же я с моей неправотою?..

* * *

Теперь, когда пришло и встало время боли,
и я кричу наварыд, не разжимая рта,
мне хочется понять, зачем на дальнем поле
огнем проведена багровая черта.

Наверно, жгут сушняк, идут к оврагу палом...
И тени поздних душ мелькают на крылах.
И на другом конце, над лесом, чем-то алым
пространство взметено во внеразмерный взмах.

Любимой больше нет. Ее уже не будет.
Пестрит ночная гнусь. Чужой огонь горит.
А ветер по садам идет и ветки студит,
и что-то в небесах невнятно говорит.

Любимая, ты мне отныне — имя муки.
Ты — голоса дождей и выточка стерни.
Ты — над моей судьбой расцепленные руки.
И эти, выше слез, горящие огни.

* * *

Когда приходит день, отчеркнутый на сини,
и поднимает птиц на медленных руках,
я узнаю тебя в переплетенье линий
и по смещенью их в летучих облаках.

Я узнаю тебя в изломах этой глины,
в точении воды, закиданной травой,
когда твое лицо, как вымах соколиный,
снижается ко мне по ветке световой.

Но кто найдет меня в моей норе-обиде,
и губы разожмет, и пальцы укрепит,
чтоб я дорассказал, как зорко сердце видит
иное бытие поверх своих обид?

* * *

Я не договорил с тобой на тридцать лет.
Я не успел сказать, а ты не услыхала.
О господи, творец, ты погасил мой свет!
Ты погасил мой свет, а твоего мне мало.

Из темноты моей, любимая, зову!
Приди хотя б во сне, сомни подушку рядом,
когда я по ночам ее зубами рву,
и рыщу по годам, тесню пространство взглядом!

* * *

Я уже ухожу. Мне еще не назначены сроки —
без меня разберетесь, я начал мой долгий уход.
Дотлевает вода и взбухают земные опоки,
и меня отрыгает четырежды проклятый год.

Не жалейте меня: я был долго любим и жалеем.
Я был силой и верой, швырял в небеса корабли.
Мне играли и пели, персты умащали елеем,
и сионские птицы мне волосы клювом плели.

А теперь я стою перед огненным глазом владыки
и хулю его имя, и хлеб отбираю у дня.
И сухой молоньи различаю холодные блики.
И когда же, когда же ты кинешь ее на меня...

* * *

Три тыщи лет я был любим тобою.
Три тыщи верст меня к тебе вели —
и обернулись болью и судьбою,
комком травы и нищенской земли.

Я сер лицом, на скорбь мою похожий.
Я ем и пью, но ты меня прости...
Мне этот свет давно уже не божий —
он бьет и брызжет из твоей горсти.

* * *

Я заплакал во сне: это детство ко мне приходило.
Я проснулся, а полночь еще шевелилась дождем.
Горбоносое лето соломиной воздух цедило,
и снаружи сказали: «Живи. Мы тебя подождем».

Вот и время расплаты. Какие огромные ночи
учат горечи слово и дуют ему в паруса!
Под горячей плевой шестеренка творенья стрекочет
и флотилии реют, держа над собой небеса.

Копошением света — как бабочки, сжатой в ладони,
щекотанием звука с мохнатым подкрылком внутри,
начинается утро у кромки коломенской тони...
Ты сначала зажмурься, потом до конца досмотри.

Досмотри, мое зренье! Я этому позднему веку
не судья и не ровня — я только соседствую с ним.
Только руки ловлю, только тени вожу через реку,
для какого-то счета в запаснике божьем храним.

* * *

Творец, меня обстала злоба дня
и я давлюсь харкотиною слога.
Ты совершил, тебе не до меня.
Но даже я — нелепый сколок бога.

Кричит зерно и опозорен кров.
Осипли жабы в безголосом стоне.
Но я, творец — последний из миров,
еще лежащий на твоей ладони.

Уже идут леса, воздев комли.
А я, среди вселенского распада,
слюной скрепляю трещины земли...
И вижу, что тебе ее не надо.

* * *

Что ты помнишь, душа голубиная,
о себе, обо мне и о нас?
О пригорках с гусиными спинами?
О синицах с дождинами глаз?

О качаньи снегов над Варищами?
О сосновской бессмертной воде?
Об апрелях с грачиными тыщами
и проклевами на борозде?

Машет вьюга простынными взмахами.
На четвертом часу темнота
затеняет окошко у Шаховых
и клубится, как пар изо рта.

Ой вы снеги, метели сыпучие!
Заметите вы душу мою.
Всё равно я достану-домучаю,
всё равно ее скоро убью.

* * *

Услышь меня оттуда, с высоты!
Я по тебе девятый месяц плачу.
И сохраняю жалкие цветы,
что ты взяла когда-то на удачу.

Скажи, ты слышишь? Или где-то там,
в твоем, в другом, в нездешнем измереньи,
куда ушла душа к родным местам,
ей нет нужды ни в голосе, ни в зреньи?

О боль моя, о лучшее мое!
Хотя бы знак — накат воздушной дрожи!
Но так же сонно подлое жилье,
и тот же ужас — до гусиной кожи...

* * *

В день родительской субботы — поминания усопших —
ты, наверное, смотрела на меня с твоих небес:
я пришел в мохнатой шапке, снял ее и встал у входа,
где две девы на иконе и архангел Михаил.
Храм по-прежнему в ремонте, при тебе его святили.
До сих пор пустые стены, купол голый и в лесах.
Те же злобные старухи собирают подаянье.
Я тебе поставил свечку, молча слезы проглотил:
мне нельзя прилюдно плакать, я пятидесятилетний,
я большой, я буду дома биться в стенку головой...

* * *

Любовь не лечит. Вера не спасает.
Я сплю в ночи, а ветер бьет в окно,
как будто там архангел сотрясает
твоей души последнее звено.

Ты без меня закончила дорогу.
Любимая, не надо, не хочу!
Ты крест сняла, вручая душу богу...
А я мою кому теперь вручу?

Борис Горзев

ПЕРЕВАЛ

ПОВЕСТЬ

1

Известный во врачебных кругах столицы нейрохирург Гастев штурмовал военный аэродром в Громовской. Силы оказались не равны, и аэродром сдался. Раскрылись железные ворота, охранник отступил на лару шагов, сразу скрывшись в ночную тьму, и Гастев на своей «девятке» быстро подрулил к указанному строению в два этажа. Внутри обозначился лейтенант, провел наверх и приказал обождать в коридоре. «Сейчас к вам выйдут»,— отреагировал на возникшее нетерпенье. Вышел майор, кивнул, поманил за собой в одну из комнат с телефонами на столах и кипами каких-то папок. Уселись. Паспорта у Гастева при себе не оказалось. «Ну да, спешка! — сыронизировал майор, но поверил и принялся изучать бумагу с описью груза.— Взвешивали?» — бросил, не отрываясь. «Нет. Да там ерунда: килограммов десять — пятнадцать». «Всего-то? И из-за этого такой сыр-бор?!»

Груз у Гастева остался в машине, и майор послал туда солдата. Тот все исправно, соблюдая осторожность, перетащил, вернул ключи и теперь стал взвешивать. Это происходило уже внизу, в каком-то боковом помещеньице. Майор наблюдал, перед тем лишь спокойно зафиксировав явное нарушение: «Досматривать, значит, не будем». «С ума сойти! — фыркнул Гастев.— Тут все стерильно!» На том и покончили.

Еще минут через пятнадцать драгоценный груз (три картонные разноразмерные коробки без маркировки) исчез в неизвестном направлении. Сказали, на погрузку. «Не затеряется?» — не к месту забеспокоился Гастев.

Оказалось, вылет в восемь двадцать, то есть почти через два часа. Гонка кончилась, груз ушел на борт, место было гарантировано, и Гастев наконец расслабился. Ожидать позволили здесь, в этом отдельном домике, где хозяйничал ироничный майор. За окнами светало, проступали контуры построек, очертания самолетов. Изредка низко прошумливали двигатели, а в промежутках воцарялась тишина. Захотелось есть и спать. Этой ночью Гастеву не удалось ни того, ни другого.

Этой ночью планировалось иное. И вообще все, что вышло на самом деле, походило на фантасмагорию.

В десять вечера наконец появилась Ванда, и Гастев, как обнял ее, едва захлопнув дверь, так и стоял, обмерев, пока она не усмехнулась ему в ухо: «И это все, на что ты способен через полгода?» Способен он был еще на многое, помимо прочего, и на то, чтобы из-за Ванды уже не мучиться. Виделись они в клинике ежедневно, и поначалу, лет десять назад, это было форменным испытанием: находиться рядом постоянно, а вместе, один на один, дай Бог раз в полгода. Там семья, тут семья. Дети. В общем, стандартный вариант. Стандартный вариант требовал одновременного убытия из Москвы членов обеих семей — кто в отпуск, кто на дачу или куда-то еще. Иные возможности (скажем, какая-нибудь пустующая квартира по случаю) не апробировались: Ванда т а к не могла, да и Гастева в его «давно за сорок» бегать по чужим домам уже не тянуло. Оставалось, чтобы сложилось. Складывалось, значит, где-то раз в полгода. А для него это было не просто так. Просто так случалось в молодости, и не редко. В клинике идущему в гору хирургу с этим без проблем. Проблема вышла с Вандой. Когда это стало ясно им обоим, вспомнили, что при семьях. Ломать посчитали ненужным. Складывалось — наступала ночь, и все оказывалось, как в первый раз: удар — и шок. А затем шепот до утра... да-да, вот именно этот шепот, понимал Гастев, это и получалось самым главным. Ни с кем, никогда такого шепота не было...

Телефонный звонок проник в мозг, как сквозь вату, в самый неподходящий момент. Гастев, озлившись, буркнул: «Не пойду!», но когда вскоре звонок повторился, Ванда шепнула: «Кажется, междугородная. Может, твои?» Он поднялся, чертыхнувшись, и заспешил в другую комнату. Нашарил впотьмах трубку, взял ее и тут же услышал далекое, нетерпеливое: «Москва? С вами будет говорить Техиз». Что-то щелкнуло, и сразу возник голос Джана.

О Господи, Джан! Джанчик... О Джане толковали еще вчера, как обычно, за чаем в ординаторской. И вообще вспоминали его теперь часто. Джан был техизцем, но своим, а в Техизе теперь то ли война, то ли просто немыслимая резня, бойня. Кто против кого, знали, но вот из-за чего, и на самом деле, а не по газетам, в Москве понять было трудно. Поэтому оставалось скорбеть и поминать Джана. В клинике его хорошо помнили. С момента защиты его кандидатской минуло семь лет. Диссертацию делали всем отделением, хотя научным руководителем числился, естественно, Дашеев, в то время замдиректора клиники, а ныне директор, член-корр. Дашеев, кстати, из себя красну девицу не строил и на банкете так и назвал Гастева крестным отцом с блеском защищенной диссертации. Ну, это и так знали. Просто Дашеев сам оперировал прекрасно (между прочим, до сих пор) и потому чужие веточки в свой лавровый венок не вплетал. Джан же, закатив в «Арагви» потрясающий банкет, улетел к себе в Техиз и, к удивлению многих, в том числе Гастева, через несколько лет стал не только хорошо оперировать, но и интересно мыслить. В нейрохирургии это не лишнее. Короче, с недавних пор он уже заведовал в своей клинической больнице отделением и, посмеиваясь в огромные черные усы, обещал, что вот скоро опять нагрянет в Москву к Гастеву, теперь в докторантуру. Так он посмеивался, когда они в последний раз виделись, около года назад: Гастев летал к нему в Техиз оперировать — по его, Джана, вызову. Такое практиковалось — командировка за счет вызывающей стороны... Да, сложный тогда оказался случай, но они с Джаном справились... в общем, как говорится, повод расслабиться и погордиться собой.

Расслабились, погордились — год назад. Год назад в Техизе был мир и покой. Гастев тогда провел там только два дня, а вот в предыдущий наезд — около недели. Так уж Джан молил в письмах и по телефону, так звал, что в конце концов Гастев сдался. Не любил он этого — благодарственной отдачи бывших аспирантов,— но Джану отказать так и не смог: была в этом шалопае какая-то искра Божья, честное слово, была! В общем, прикатил в отпуск с женой и сыном, Джан все обставил по-царски, от коньяков и вин на третий день уже мутило, но вскоре на машине их отправили к морю, в загодя снятый номер в гостинице, теперь без Джана и его сверхрадушного окружения; там наконец и отдохнули. Потом Джан звонил многократно, чаще по делу, консультировался, присылал к праздникам открытки,— короче говоря, не забывал, и Гастеву верилось, что это от души, безо всякой там задней мысли. Да и Ванда, хоть и иронизировала, как обычно, придерживалась того же мнения... И вот — то ли война, то ли просто резня, убитые, раненые, и несть им числа. В гастевском отделении к этому отнеслись особо. «Бедный Джанчик!» — дня не проходило, чтобы кто-нибудь из женщин не вздыхал, прослушав очередную официальную информацию по Техизу...

И все-таки телефонный звонок застал Гастева врасплох. Где-то Джан был там, на другой стороне Земли, отрезан, оторван, там шла война, а здесь оставался пусть худой, но мир. Здесь была ночь с Вандой, долго-

---

Названия населенных пунктов и проживающих там народностей вымышлены (примечание автора).

Борис Аркадьевич ГОРЗЕВ родился в 1944 году. Окончил медицинский институт. Работал врачом, впоследствии ученый-генетик, кандидат наук. Живет в Москве. Публиковал стихи. С прозой выступает впервые.

жданная, которая раз в полгода. Еще не начался шепот до утра, еще шли воздушные ямы страсти, и потому теперь, плюхнувшись голым телом в кресло и расслышав в трубке голос Джана, Гастев поморщился раздраженно, обрадовался, что не жена и что не из клиники (такое случалось), опять разозлился — короче, прожил эти несколько секунд в себе. Опомнился, когда Джан уже кричал далеким голосом, будто действительно с того света:

— Сергей Николаевич, да проснитесь же, меня соединили чудом, ну просто чудом, они контролируют всю связь, я оперирую сейчас, времени нет, пока не стреляют, больной на столе, уже заинтубирован, я третий день пытаюсь звонить вам, вы меня слышите, Сергей Николаевич?

И пока он с акцентом кричал с того света, Гастев приходил в себя, возвращался в реальный мир, где-то на периферии которого, и вправду, существовал Техиз, и там война, и Джан, который бывший аспирант, тоже там, и там больной на столе и вроде уже заинтубирован.

— Слушай! — перебил. — А как же ты говоришь по телефону? Размылся? У тебя же, ты сказал, больной на столе, заинтубирован!

— А! — Джан осекся, и это его «А!» вышло раздраженным, резким: дескать, о чем вы?! — А-а-а! — протянул, будто отмахиваясь. — У меня телефон прямо тут, в операционной, не беспокойтесь, стерильно! Оперирую и звоню, так сказать, без отрыва. То кислород на исходе, то материалы, то кровь... а то, чтоб не стреляли, прошу, то наших, то ваших... а кто стреляет, уже не поймешь... три охранки на один город, армия, а больницу никто не охраняет, не обороняет... какая-то артиллерия, не знаю, минометы, что ли, уже убитые среди больных и персонала, понимаете?!

Все это он выкрикивал так быстро, что Гастев едва успевал осмысливать, к тому же было скверно слышно. Вдруг что-то щелкнуло, и голос Джана пропал. Гастев сам закричал, затем начал трясти трубку, и, странно, подействовало: связь восстановилась.

— Слышу, слышу! — напряг голос, обрадовавшись. — Говори, Джан!

— Вот я и говорю, — еле донеслась кричащая скороговорка, — говорю, что договорить не дадут, сволочи! Это дангуры, они оседлали связь, электричество, теплосеть, все! В операционной то есть свет, то нет, керосиновые лампы держим на случай...

— С ума сойти! — вырвалось у Гастева.

— Да ладно, я не об этом! Сергей Николаевич, слушайте. Может, нам всем помирать тут, не знаю, очень похоже... но пока больные... дикие травмы черепа, да и позвоночника... черепно-мозговые, проникающие, пулевые, осколочные... несколько очень, очень сложных случаев!.. Вы слышите меня?

— Говори, говори! — Гастев напрягся, все сущее отлетело куда-то, и осталось только сугубо профессиональное, впитавшееся в каждую клетку. — Говори, чем я могу помочь?

— Запишите, запишите, Сергей Николаевич!

— Да ты говори, времени нет!

— Запишите, не запомните, тут много всего!

Гастев чертыхнулся, вскочил, включил наконец настольную лампу и пододвинул к себе блокнот.

— Ну, давай! — крикнул в трубку, прижал ее к уху плечом и стал писать, кивая и повторяя: так, понял, так...

Надиктовал Джан много, и по тому, что значилось в этом списке, все стало понятно. Не хватало не только того, что и в московской клинике являлось дефицитом, то есть сугубо современного нейрохирургического (понятно, импортного), но и вещей, в общем-то, тривиальных, в том числе самых необходимых препаратов и материалов для ведения послеоперационного периода.

— Это ж вся наша реанимация! — хмыкнул, когда Джан закончил.

— Ну хоть половину, половину достаньте! — закричал тот и опять принялся перечислять самое, с его точки зрения, нужное.

— Постой! — перебил Гастев. — Да не ори, я уже все записал... Ты понимаешь, что... что мои шансы в этом деле близки к нулю? Ну, одиндва флакона, ну, три-четыре катетера...

Но тут, в свою очередь, перебил Джан и заговорил так, как раньше себе не позволял. В общем, он не просил, а требовал. И странно: не мальчишка ведь, да к тому же в Москве пообтерся... как же можно не понимать, что будь Гастев не просто завотделением, а самим директором клиники, и то вряд ли бы смог достать все это. Или Джан действительно уже не понимал? Вероятно, так, — дошло вдруг, и колкое раздраженье, возникшее было несколько секунд назад, исчезло... Сумасшедший дом!

А тот опять кричал:

— Сергей Николаевич, вы что там, не понимаете?! У нас — война!

— Ладно, Джан, ладно! — И хотя Гастев вполне осознавал всю абсурдность записанного им задания, на всякий случай решил выяснить. — Ладно. Ну, положим, вывернусь и кое-что — слышишь, кое-что! — достану. А дальше? Как это тебе передать? В Техизе, я ведь слышал, аэропорт давно блокирован.

— Да, — донеслось, — мы блокированы. Только военные... Что-то все-таки иногда летает. Ваши и, нелегально, дангуры... В общем, вы только достаньте, Сергей Николаевич, мы сами заберем.

— Как? Кто это «мы»?

— Ну... это мы сами, сами! Через три... нет, через два дня вам домой позвонят и придут. Принесите все домой! У вас заберут, вот и все. А дальше — это мы уже сами... Два дня! — закричал он опять. — Сергей Николаевич, дорогой, не больше, только два дня, иначе у меня одни кадавры будут!

— Ладно, я понял, — буркнул Гастев, поморщившись. И тут некая неясная мысль все-таки шевельнулась в его голове. — Дай-ка мне номер твоего телефона. Ну, вот этого, который у тебя в операционной.

— Бесполезно! Дангуры...

— Знаю. Ничего, давай!

Он записал. Джан еще с полминуты покричал еле слышно, но ничего нового к уже сказанному не добавил. Одни эмоции. На этой ноте и распрощались.

«Бред!» — все-таки подумал Гастев и закачал головой. Почувствовал спиной Ванду; оглянулся — она стояла за креслом. Одетая. Это, последнее, обидело, хотя обида относилась не к кому-то конкретно, а к судьбе.

— Я все слышала, — донесся ее голос, какой-то бесчувственный, серый.

Ясно: она все поняла. Нас уже нет, мы раз в полгода, этого раза в эти полгода не будет. Отменяется. Вместо нас теперь Джан, Техиз, война. Вместо нас теперь война.

— Что ты решил? — проговорила Ванда тем же тоном и опустила ему на плечи ладони.

Он скривился:

— Одеваться! — и пошел за одеждой.

— Что ты злишься? Плакать надо, а не злиться! — послышалось вслед.

Было полдвенадцатого ночи. Начальству звонить сейчас — на грани фола. Когда он вернулся к телефону, то еще размышлял. В его кресле сидела Ванда. «Ну?» — вопросила глазами. Он отмахнулся — дескать, не гони, я сам. Она уступила ему место, он сел, вздохнул, полистал записную книжку и набрал номер Дашеева. Ванда, заглянув ему через плечо, только ахнула: «Ну, ты с ума сошел, шеф! С Богом, давай!» Пошли длинные гудки, и подумалось, что Дашеев на ночь отключился. Хотя не может быть: все-таки главный спец «четвертой управы» по остро затухающим мозгам. Вот именно! — усмехнулся, когда в трубке что-то сработало.

Назвавшись, поизвинялся, но Дашеев как-то вяло отвел это в сторону и молвил спокойно:

— Что-нибудь в отделении, Сергей Николаевич? Вы разве дежурите?

Гастев стал объяснять. Сначала восстановили в памяти Джана, а затем в общих чертах была обрисована ситуация, сложившаяся в техизской больнице и ее окрестностях. Список, надиктованный Джаном, лежал перед глазами. Монотонно Гастев все перечислил. Дашеев, как и положено, принял молча. Или не принял. За сумасшедшего он Гастева не держал и теперь обдумывал. Гастев тоже замолк, просьбами не обременяя. Это было лишним. Дашеев избрал, конечно, лучшее продолжение:

— А что вы сами полагаете, Сергей Николаевич?

Это правило — выслушивать предложения подчиненных и отвергать

все, кроме наиболее благополучно-нейтрального, то есть, играть в «отрицательном поле», — это правило Гастев, став завом, усвоил и сам. Поэтому идти ва-банк не решился.

— Сам не знаю, — заосторожничал. — Как гром среди ясного неба. Но как-то помочь надо. Проникающие — пулевые, осколочные. У меня т а к о г о опыта нет. А у кого есть? — добавил не без намека. — Поэтому я готов. Пусть это будет командировка...

Дашеев опять помолчал. Затем придумал-таки:

— Перезвоните мне через семь-десять минут.

Ванда присела на подлокотник кресла, и Гастев уткнулся лбом в ее спину.

— Как думаешь? — спросил.

— Да при чем здесь он! Ну, позволит. Ну, даст. При чем здесь он? Ты!

— Я... я врач, ты знаешь. Ты такая сама.

— А! — дернулась она всем телом. — Я женщина, во-первых.

— Чепуха. Мы, во-первых, — передразнил ее. — люди.

Что-то она пробурчала неопределенное, потом предложила:

— Давай, я поеду с тобой.

— Мы еще никуда не едем. А если даже да, то... то слишком у нас с тобой много детей на двоих. А ты — мать. Этим не рискуют.

— Ладно... А ты? Ты уверен, что... Джан один не справится?

— Я тоже со всем не справлюсь. Но я классом повыше. Ультра-си. Я эту, как ее?.. еще не став ультра-си, клятву давал, мать ее в душу!.. Семи минут не прошло?

— Если сказано семь-десять, жди десять.

— Ты права...

Похоже, за эти десять минут Дашеев придумал что-то конструктивное, потому что сразу предложил продолжить разговор не по телефону. «Собирайтесь и приезжайте, коли решили... коли так». Гастев, признаться, подобного не ожидал. Был уверен, что все кончится более или менее стандартно.

Собрались, поехали. «Я с тобой! — отчеканила Ванда. — Посижу в машине, подожду, пока вы будете трепаться». Он согласился: не оставлять же ее в полночь одну.

Ехали молча. Ванда курила и глядела куда-то в сторону. Гастев крутил баранку и морщился, перебирая в памяти некие последовательности операционных действий. Это издавна вошло в привычку. Кто пишет стихи, кто вот так перебирает, копаясь в мозгах... Возле дашеевского подъезда выбрался под неспешный весенний дождь и кивнул Ванде: «Если какой-нибудь идиот сунется, сигналь , я выскочу!»

Видеть Дашеева в домашнем было непривычно, хотя элегантности в нем не убавилось. «До чего же быстро нормальные мужики превращаются в сановников!» — усмехнулся про себя, пожимая директорскую руку... Уселись в кабинете, в образцовом торшерно-ковровом уюте. Фотографии на стеллажах: хозяин с разными всесоюзно и всемирно известными личностями, которых, верно, консультировал или лечил. Высокая коллекция, ничего не скажешь!

— Рюмку коньяка или вы за рулем?

— За рулем.

— Ну, тогда к делу. — Дашеев закинул ногу на ногу и, уставясь, как обычно, в какую-то точку поверх головы собеседника, начал: — Видите ли, Сергей Николаевич, удовлетворить просьбу техизской больницы в том виде, как она подана, мы не можем. Это выглядит даже не частным делом, а просто не делом. Согласны? Так. Поэтому, если помогать, то, вы правы, только посредством вашей поездки. Вы выразили готовность... — Он дождался, пока Гастев кивнул, и продолжил: — Однако есть тонкости. Командировать вас официально т у д а, — он нажал на последнее слово, — у меня по некоторым соображениям нет возможности. — И замолк.

— Тогда... я за свой счет? — предложил Гастев первое же пришедшее на ум, и, вероятно, этого от него и ожидали.

— Хорошо. — Дашеев кивнул и, поскольку все уже продумал наперед, протянул чистый лист бумаги. — Пишите заявление.

Гастев быстро исполнил: директору, от кого, прошу предоставить

шесть дней без сохранения содержания, дата, подпись — и передал Дашееву. Тот наискосок бисерным почерком вывел «не возражаю», подписался и опять же обозначил дату.

— Хорошо, — кивнул привычно, отодвигая лист подальше к краю стола. — Теперь следующее. Вы ведь на машине, это удачно. Сейчас поедете вот по этому адресу... ну, скажем, это аптечный склад... и там получите ad maximum требуемое. Я уже договорился. Ссылаться на меня не надо, просто назовете свою фамилию. Вам все отпустят.

— Сейчас, ночью? — удивился Гастев.

Дашеев подтвердил лишь легким движением век и продолжил:

— Ваш вылет то ли в восемь, то ли в девять утра. Поэтому на аэродроме лучше быть в шесть, шесть тридцать. Другого рейса на Техиз завтра, то есть уже сегодня, не планируется. Кстати, это из Громовской. Слышали о таком?

— Ну, только слышал. Это ведь не... не гражданский?

— Именно. Летите оттуда, иного не дано. Там тоже уже есть договоренность. Подъедете, назоветесь, предъявите опись груза, то есть всего того, что получите на складе. С кем там общаться, не знаю, но начальство в курсе. Накладки быть не должно. Вот, пожалуй, все.

Гастев как-то еще не пришел в себя. Какой-то дурной сон. Сначала Джан, оторвавший от Ванды и обрушивший совершенно невыполнимую просьбу, потом Дашеев, исполнивший не только невыполнимое, но даже и вовсе не предполагаемое, а теперь, значит, мотание по ночному городу, по каким-то полутайным складам и аэродромам, а утречком и вообще тю-тю, куда-то в небеса, чтобы с этих самых небес плюхнуться прямо-таки на сцену театра военных действий.

— Да, ночь у вас предстоит несладкая, — впервые изобразил нечто вроде улыбки Дашеев. И поднялся.

— Это мама виновата: я хотел в МГУ, на исторический, а она настояла, чтобы в мединститут.

— Ну, мама хорошо сделала, — принял тот шутку и пошел провожать в прихожую.

Там, уже у двери, задержал еще на полминуты:

— И вот что, Сергей Николаевич. Дело не слишком обычное затеяно. Вы понимаете. Ваше заявление, в соответствии с которым вы куда-то отбываете, а куда — я не в курсе. Клиника тоже не в курсе. Совсем хорошо, если бы и ваши домашние тоже... но это уже, как вы посчитаете возможным. Ну и еще раз: на меня ссылаться нигде не надо.

— Я понял, — подтвердил Гастев.

Дашеев в этом не сомневался.

— Я буду искренне рад видеть вас в Москве целым и невредимым. Там, в Техизе, все очень-очень непросто, поэтому позволю совет напоследок: только больница, а кроме нее — ничего. Наше дело — больной, операционный стол... Ну что ж — с Богом?

— Да, именно...

Странно. Гастев спускался в лифте и так и повторял все время: странно. То ли Дашеев затеял какую-то игру, то ли просто вспомнил, что, во-первых, врач, и сделал все, как он выразился, ad maximum. Хотелось верить в последнее. Почему бы и нет? Располагая, как выяснилось, такими необъятными возможностями (всего-то за полчаса, что Гастев катил к его дому, сотворить невероятное — и не днем, а ночью!), да, располагая подобным, отчего бы не поддаться соблазну реально помочь? Хотя и в рамках, конечно. Тайно, приватно, чтоб никто...

Едва уселся за руль, Ванда подала голос:

— Ну?.. Да не молчи же!

Он покачал головой:

— Ты не поверишь: более чем!.. Погоди, дай отъехать, сейчас расскажу.

Помчались обратным путем к его дому, где надо было срочно собраться. От полученной информации Ванда впала в какой-то транс, и когда Гастев повторил ей просьбу Дашеева (считай, приказ) не распространяться, отозвалась сухо:

— Не бойся: я тебя, то есть себя, не подвожу.

Он скосился на нее, улыбнулся:

— Ты молодец, ты женщина, а тут пошли мужские дела.
— Мужские игры. С выстрелами, — поправила она.
— Мы с тобой хирурги.
— Мы с тобой — люди. Это я тебя цитирую.

Оставалось согласиться. И напоследок выбросить припасенный козырь:

— По идиотскому плану Джана — правой ногой чесать левое ухо! — все требуемое если бы и оказалось у него, то, дай Бог, через неделю. А так — уже завтра, то есть сегодня, и с классным нейрохирургом в придачу... Там больные мрут. Все будет хорошо, я через неделю вернусь.

Ванда кивнула и замолкла. Захлопнулась, точнее...

Дома Гастев пробыл не более пятнадцати минут: побросал в сумку самое необходимое — бритву, белье, свитер, кое-какие свои хирургические записи из заветных, блокнот, где значился надиктованный Джаном список и номер его телефона. А вот про паспорт забыл: была бы рядом Ванда, может, и напомнила бы, но она ждала внизу в машине...

Оставил короткую записку жене, которая должна была завтра к вечеру вернуться с сыном с дачи. О Техизе, чтоб не волновать (да и о Дашееве также вспомнил), не упомянул — написал, что срочно оперировать, в Ташкент. Ну да, там еще вроде по-прежнему: солнце, дружба народов, тишь да гладь...

Опять покатил. Хотел было сначала отвезти домой Ванду, но она запротестовала: дескать, из-за этих концов туда-сюда он к шести не поспеет в Громовскую. Поспорили с минуту, и за ближайшим перекрестком Гастев прижался к тротуару, вышел вместе с Вандой из машины и стал «голосовать». Вскоре повезло: подвернулся «жигуленок» с вполне приличным на вид седоком; договорившись, Гастев сунул ему десятку и усадил Ванду. Коротко соприкоснулись губами, она только вздохнула и махнула рукой.

Он остался один и сразу поскучнел. Всегда хотелось, чтобы рядом был кто-то, а чаще получалось не так. Чаще он вел больных или оперировал, а это выходило занятием сугубо единоличным: хоть вроде и общаешься с кем-то, а думаешь лишь сам с собой, рискуешь сам и отвечаешь тоже сам. Поле, в котором просто никого более нет. Раньше были друзья, с которыми много и хорошо говорилось-пилось, но один за другим они уехали в известном направлении, а с иными говорилось-пилось уже вяло, скучно, и как-то все само по себе иссякло. К тому же и возраст — сорок шесть все-таки, за здоровьем надо следить, оперирующий нейрохирург — это как летчик: без полетов, на земле — что себя потерять. В общем, надо быть в форме, а один или не один... ладно уж, ну один, один чаще всего...

Он вынул из кармана листочек с адресом, полученным от Дашеева, и прикинул, как покороче подъехать. Искомый аптечный склад для избранных размещался где-то в Кунцево — значит, теперь через весь город почти. Покатил. По пути еще заправился под завязку, поскольку из Кунцева предстояло совершить бросок на Окружную, отмахать полкольца, выбраться на Щелковское шоссе и пахать еще километров сорок до Громовской.

Значит, покатил в Кунцево и с этого момента, показалось, вкатил в какую-то иную систему координат. Ну вот такую: ты произносишь, что желал бы, скажем, к примеру... и не успеваешь еще договорить, как тебе отвечают: пожалуйте! — и следом выносят, а не успеваешь ты это проглотить глазами, тут же в ушко: чего изволите еще?

Так на том складе и вышло. Долго искал, но нашел, потыкал в звоночек у проходной с воротами — пропустили, спросили фамилию, кивнули, открыли ворота, Гастев вкатился на своей «девятке» в темный двор, хотел было передать листок со списком, но сказали — не надо, распоряжение уже поступило, уже упаковали, три коробки, вот опись, ознакомьтесь, все в точности, фирма веников не вяжет, распишитесь. Он присел и, вспомнив в себе формалиста, внимательно ознакомился с описью. Получалось, Дашеев Джана переплюнул: помимо заказанного, тут значилось еще кое-что, эксклюзивное, только проходящее апробацию; от такого Гастев и у себя в отделении не отказался бы. Он расписался на двух экземплярах, один оставил в недрах этого заведения, второй спрятал в карман. Потом по одной перетащил коробки в машину. В багажник уместились две, третью положил на заднее сиденье. Без лишних слов распрощался, вырулил за ворота и — на Минское шоссе, к Окружной. Было почти три тридцать ночи.

Ехал теперь спокойно, поскольку, по всем расчетам, должен был оказаться в Громовской не в шесть, как напутствовал Дашеев, а около пяти. Ну и слава Богу, можно не гнать. Тем более, ночь. Еще на Минке справился у гаишника, как поточнее попасть на нужный аэродром; гаишник преисполнился уважением и грамотно, с подробностями объяснил — и про первый пост и, перед самым въездом, про второй. «Кино! — подивился Гастев, выяснив про посты. — Как я их одолею? Как в сказке опять же?» И только тут понял, что паспорт-то забыл. Озлился на себя, да не ехать же домой! Оставалось верить в чудеса.

Ну, в общем-то, вольность с паспортом сошла ему с рук. Сказка работала. Аэродром сдался. На первом посту сначала и слушать не хотели, но Гастев, разойдясь, заставил обзвонить незнаемых и не видимых отсюда аэродромных начальников, и его пропустили. На втором посту ситуация повторилась, но на сей раз задержка оказалась короткой, разошлись почти по-дружески. Дальше, метров еще через двести, куда послали в объезд, возникла последняя преграда в виде железных ворот, и ее Гастев взял уже на ура, лишь назвавшись. Если б раньше сказали, что в его жизни случится такое, когда стоит произнести только — «Гастев» и это будет равносильно «Сезам, откройся!», никогда бы не поверил. Но так или иначе, а последний на пути охранник отступил в сторону. Сезам отворился, и Гастев быстро подрулил к указанному строению в два этажа. Громовская была взята, и, что отрадно, вовремя: половина шестого.

Дальше был сперва лейтенант, потом тот самый майор, помянувший про паспорт, но с ходу поверивший, потом солдат, таскавший и взвешивавший драгоценные коробки, потом коробки ушли на погрузку, Гастеву сообщили, что вылет в восемь двадцать, то есть почти через два часа, — он, наконец, вздохнул успокоенно и сразу же захотел есть и спать. Да, ничего себе выдалась ночь! Хоть сказка там или хоть бред, а ничего себе ночь, особенно если вспомнить, с чего (точней, с кого) она начиналась.

•

Впрочем, вскоре возникли осложнения. Ожидая вылета, он подремывал, сидя на стуле в коридоре второго этажа — тут было теплей, — как вдруг тронули за плечо. Оказалось, майор: поманил за собой в кабинет и там сообщил, что полетный маршрут изменен — в Техизе посадки не будет.

— Как так? — опешил Гастев.

— А вот так! — хмыкнул тот. И добавил, уже индифферентно: — Аэропорт, верно, опять блокирован. Такое там по два раза на неделе.

— И куда же?

— Посадка в Булаке.

— Булак? Это...

— Это, если точно... — майор вытянул из стопки один из многочисленных журналов и покопался в нем, — это, не долетая сто восемьдесят маршрутных километров. То есть по прямой. А так, если по шоссе, по горам, раза в два больше, думаю.

— И что же мне делать?

— Лететь, конечно. На месте сориентируетесь. Доберетесь как-нибудь.

— А если обождать?

— Ждите. Два дня, три, неделю — кто знает?

Гастев сел и принялся соображать. Перебрав варианты, пришел к выводу, что, видимо, майор прав: лучше лететь сейчас. Хотя не исключалась и вовсе идиотская ситуация: засесть с грузом в чужом Булаке, и на сколько — Бог ведает!

— Послушайте, — обратился, — а в Техиз от вас можно позвонить?

— Связи не стало, я же сказал.

— Вы не говорили.

— Ну, это подразумевалось.

— А если рискнуть? Пожалуйста! Я просто в диком положении.

Странно: безо всяких эмоций майор пододвинул к себе один из аппаратов и, подняв трубку, спросил, что нового с Техизом. Покивал невидимому собеседнику, затем вымолвил короткое «понял» и перепасовал услышанное Гастеву:

— Там все то же.

Плохо! Ситуации с чрезмерной неопределенностью всегда относились к разряду нежелательных. Риск — это да, а вот авантюризм уже ни к чему. Тем более после бессонной ночи и на голодный желудок.

— А с Москвой связь еще существует? — съязвил. — Можно воспользоваться?

Майор молча указал на нужный телефон. Гастев быстро набрал. Ванда откликнулась тут же, будто не спала. Он так и спросил:

— Ты что, не ложилась?

— Я давно и сладко сплю. — И послышалась знакомая усмешка. — Ты где?

— Еще в Громовской. Скоро лечу... Вот что: я сейчас тебе продиктую техизский номер телефона — ну, тот, что в операционной. Пишешь? — Он назвал. — Теперь слушай. Я сяду не в Техизе, как выяснилось, а в Булаке. Запиши: Булак. Джан знает, это близко. Звони ему и скажи, чтобы как-то достал меня оттуда. Я чувствую, что сам к нему не прорвусь. Скажи, я сижу в аэропорту Булака и жду его! Ясно? Но это — действие второе. А первое — дозвониться! Сейчас с Техизом связи нет. Закажи и жди! Проси и жди... Прости, но поспать тебе сегодня, судя по всему, так и не придется.

Ванда попыталась сострить, но вышло грустно, конечно. Гастев пожалел ее, однако про себя, не вслух. На то, чтобы вслух, уже чего-то недоставало. Все теперь замкнулось на этом сумасшедшем деле, которое, взявшись, надо было доводить до логического конца.

Да, шла-катилась ночная сказочка, и вот на утро случилось отклоненьице. Вывих. Такой скромненький — длиной то ли в двести, то ли в четыреста километров. Последнее, если не по прямой, а по горной дорожке... Ладно, — поморщился он, пытаясь погасить раздражение, — ладно, проживем-выживем... жрать вот только охота — хоть кофейку бы чашечку, и то жизнь...

Напоследок он еще обратил внимание майора, что оставляет здесь до возвращения свою машину, и они обсудили, как ее потом отсюда забрать, ежели судьба вынесет из Техиза иным, не военно-воздушным путем. Оказалось, майор вполне благожелателен, Гастев вручил ему ключи от «девятки» и, попрощавшись, отправился вниз, а оттуда, уже в сопровождении знакомого солдата, заспешил в основное здание, на посадку. Ровно в восемь двадцать, как бы в пику гражданской авиации, военно-транспортный АН-24 взмыл в подмосковное весеннее небо, и Гастев, едва усевшись в кресло, тут же отключился, заснул.

2

В Булаке приземлились около часа пополудни, а до того была промежуточная посадка в Самаре, на которую Гастев отреагировал коротко: продрал глаза, узнал, в чем дело, и опять отвалился в кресле... Булак встретил ярким, прямо-таки летним солнцем. Сели где-то в стороне, на полосе ВВС. Груз перевезли на каре в одноэтажное строение, неподалеку от здания аэровокзала. Здесь, в вотчине военных, Гастев провел почти час, в течение которого пытался решить свою судьбу. В конце концов пришлось сделать заключение, что та самая вчерашняя сказочка действительно оказалась ночной и с восходом солнца уже не работала. В общем, ни самолета, ни вертолета на Техиз зафрахтовать не удалось: туда ничего не летало, не хотело или не могло летать, и не только не летало, но и не ездило (была предпринята попытка обговорить и такую возможность), связь отсутствовала, военные отвечали скупо, без мотивировки, а то и просто помалкивали, — и во всем этом таилось что-то странное, что-то такое, когда уже не разберешь, то ли тут знают то, о чем и говорить невозможно, то ли, напротив, не знают ничего.

Оставалось распрощаться да попросить перевезти груз в здание аэровокзала. Здесь проблем не возникло, и уже через пятнадцать минут Гастев вместе со своими коробками был у камеры хранения; солдат помог перетащить их вглубь, водрузил на полки и отбыл к себе.

Теперь все зависело от Джана, верней сначала от Ванды: если она дозвонилась, если Джан может кого-то послать, если у него есть машина, если она доедет, если ее пропустят, если вообще оттуда или туда пропускают...

Первым делом Гастев отыскал справочное бюро и оставил там записку со своей фамилией — на случай, если его будут спрашивать. Затем отправился на поиски пищи. Поесть по-человечески, сидя, возможности не представилось (ресторан, оказалось, тут давно уж не функционировал), и пришлось насыщаться, стоя в буфете. Ну, а потом, как-то нехорошо отяжелев, принялся вяло слоняться по залу ожидания. Так истек час, за ним другой. Купленные журналы были прочитаны, еще раз посещены буфет, туалет, справочное бюро. Уже вовсю крутились мысли, каким образом здесь проводить предстоящую ночь и не стоит ли перед тем позвонить Ванде, как вдруг среди потока объявлений по аэропорту Гастев расслышал свою фамилию. Обрадовался и заспешил к центральному входу, где, как сообщалось, его уже ожидали. Часы показывали шестнадцать тридцать.

Было их двое — смуглых, темноволосых, каких-то заросших. По-русски говорили плохо, да и вообще почти не говорили, в основном общались кивками, глядели мимо, мелко постреливая взглядами, подозрительно, недружелюбно. Так Гастев толком и не понял, из Техиза они, от Джана, или местные, булакские: всякое их «да-да» скорее напоминало «нет-нет»... Перетаскали из камеры хранения коробки (он раз пять повторял: «Да осторожней!» — и злился, чертыхаясь), потом погрузили их в облупленный, будто со свалки, «уаз» и куда-то покатили. А куда, Бог знает. «Туда!» — был короткий ответ, и взмах руки — то ли в сторону горизонта, то ли в небеса.

Гастев сидел сзади и неодобрительно наблюдал, как подпрыгивает на всякой колдобине его драгоценный груз. Уже не чертыхался, а матерился. Сквозь окошко в водительскую кабину поглядывал на окрестности. Медленно тянулись селения, сады на пологих склонах, иногда открывался долгий простор, и там, вдалеке зеленовато-голубой дымкой в закатных тонах обозначали себя горы.

Через полчаса тряски достигли окраин Булака. «Уаз» попетлял между одноэтажными жилыми постройками с многочисленными сараями и наконец въехал в какой-то двор. Техизцы тут же выскочили из кабины и, даже не обернувшись, скрылись в ближайшем беломазаном домишке. Гастев подождал, потом выбрался наружу размяться. Во дворе не было ни души. И вообще как-то беззвучно, насупленно, неуютно.

Бродил он вокруг «уаза» довольно долго. Забыть о нем вряд ли могли. Ужинать, бросив гостя, это уж тут вообще ни в какие ворота не лезло. Оставалось единственное объяснение: встретившие его техизцы либо между собой, либо с кем-то еще совещаются. Ну, скорее всего так и было: когда его вдруг позвали (кто-то приоткрыл дверь и поманил бессловно), вокруг стола в темной комнате сидело уже четверо, все смуглые, почти на одно лицо, а сам стол пуст, только сигареты да пепельница с десятком окурков. Сразу же один, явно помоложе, принес тарелки, зелень, лаваш, круглый белый сыр и две бутылки — с местным вином и коньяк. «Кушайте!» — обратились к Гастеву и молча зажевали сами, пока старший разливал. Все пропустили по маленькому стаканчику, Гастев тоже, коньяк. «Ну так что?» — спросил, истощив терпение, поскольку все так и молчали. Кто-то, верно, хозяин дома, покачал головой, и наконец на жутком русском изрек: «А, поедешь, поедешь, ладно, поспорили, решили, поедешь, ладно, посиди, дай стемнеет, покушай, покушай еще!»

Гастев ел, а компания в основном пила, верней потягивала, медленно, лениво. Тем не менее бутылки опорожнили. «Может, я сам поведу? — явилась мысль. — А то эти уже подшофе». Впрочем, «эти» покуда вели себя ровно, переговаривались изредка, лишь по-своему, одними, казалось, междометиями. Так прошел почти час. Всё съели, допили и давно курили. У некурящего Гастева начало стучать в висках, и он выбрался во двор. Было почти полседьмого. Завечерело. В насупленной тишине пополз лиловатый сумрак, влажный, прохладный. Гастев спрятался в машину, вытащил из сумки свитер и поддел под куртку. Тут же вышли техизцы, набросали в «уаз» какие-то баулы, поставили два длинных ящика, две канистры с бензином, что-то еще, завернутое в мешковину, и стали рассаживаться.

Оказалось, теперь их едет трое: двое уже знакомых и еще один, помоложе, который прислуживал за столом. Он забрался к Гастеву в кузов, уселся на только что погруженный ящик и вдруг со смехом спросил:

— А ружье при сэбэ эст?.. Нэт? — засмеялся еще громче. — Ну, дадым, дадым! Вот, на всэх хватыт! — И постучал ребром ладони по тому, на чем уже подпрыгивал его зад.

«Ясно! — как-то удивительно спокойно заключил Гастев. — Да, этого я еще никогда не возил...»

Надо отметить, что, оказавшись в ситуации, мягко говоря, нестандартной, он пока не испытывал ни тревоги, ни тем более страха; скорее было удивление, непонимание, ну, может быть, еще какое-то тоскливое любопытство. И все-таки главное, если уж об ощущениях, состояло в другом: в нетерпении — в том, чтобы поскорее завершить эту начавшуюся еще в Москве одиссею и доставить груз, да и свой нейрохирургический опыт в придачу, в Техиз, где, если Джан не преувеличил с испугу, ожидали тяжелейшие больные. А больные для Гастева — это было все. Тут остальное меркло, отчего даже с женой частенько возникали нелады. Да, случалось; он понимал: привыкнуть, даже близкому, к подобному не просто. Давно уж махнул на это рукой и жил, как мог, не переиначивая. То есть, возможно, жил для себя...

Прошло еще немного, и совсем стемнело. «Уаз» катил, неимоверно дребезжа, а единственное, что виднелось сквозь водительскую кабину, так это прыгающий по шоссе отсвет собственных фар. Дальний свет не включали, ехали на ближнем, Гастев обратил внимание, хотя двигались на приличной скорости. Верно, путь был знаком. А может, давали себя знать винные пары. Кто знает. Одним словом, упаси, Господь. Тем более что вскоре стало кидать в стороны на поворотах. Встречный транспорт, и до того редкий, теперь исчез вовсе, это Гастев тоже засек. Одинокое дребезжание среди ночных гор... «Сколько нам ехать?» — прокричал своему техизцу. «Э! — засмеялся тот. — Долго! Ты сыды, сыды!» Гастев сидел и подсчитывал: если четыреста километров, если без аварий, если по шестьдесят — семьдесят в час... Он прикидывал и другие «если», но наиболее существенных, как выяснилось, не учел.

Было около половины десятого, когда вдруг остановились, осторожно прижавшись к обочине. Водитель и его сосед соскочили из кабины и, встав рядом, принялись всматриваться неведомо куда, в мертвую темь. Изредка перебрасывались словами — Гастев слышал, но, конечно, не понимал. Третий техизец сидел в кузове молча, будто это его не касалось. Гастев подождал еще с минуту, потом приоткрыл свою дверцу и окликнул негромко:

— Ну что там?

Водитель обернулся, коротко рассмеялся, с ехидцей:

— Выхады, пасматры! — и ткнул рукой куда-то вперед. — Заграныца!

В нескольких метрах от шоссе еле проглядывал сквозь тьму щит на высоких бетонных столбах. Надпись свидетельствовала, что здесь начинается Техизская республика. Гастев приблизился и различил интересную подробность: вдоль и поперек щит был усеян характерными мелкими пробоинами. По спине впервые прополз холодок. Кто-то тут хорошо пострелял. Может, недавно. Может, вчера.

— Заграныца! — опять хохотнул водитель и кивнул Гастеву: — Поедым? А виза у тэбя эст? — И теперь техизцы засмеялись все.

Этот их дурацкий смех стал раздражать. В аэропорту они молчали, в Булаке ели и пили тоже молча, а стоило выехать сюда, чуть что — принимались хохотать, верней скалиться... как-то дергано, а то, может, и нервно... да-да, именно нервно, — стало наконец понятно — именно нервно... а это что же: значит, страх?.. Это внезапно вызревшее осознание зависимости всех их жизней, в том числе и собственной, не от них самих, а от чего-то незнаемого, чужого, оказалось столь мерзким, что в груди возникла сосущая пустота. «Я боюсь?» — удивился, опомнившись. Потом понял: это с непривычки, опыта такого нет... жизнь была не худая, не сладкая, черно-белая или серая, а мерли от болезней все-таки, не как-то еще...

Опять покатили, дребезжа, заваливаясь на поворотах. Кроме прыгающего чуть спереди отсвета фар, ничего не было видно. Черный мешок. Они втягивались в него, а кто-то, казалось, держал наготове веревку у горловины... Вскоре, судя по всему, «уаз» свернул с основного шоссе: куда-то медленно съехали, асфальтовая полоска сузилась, да и колдобины стали попадаться более впечатляющие. Сидевший рядом техизец, до того дремавший, встрепенулся и принялся возиться в разбросанной по кузову поклаже.

— Дэржы! — вдруг выговорил резко.

Гастев протянул во тьму руку и ощутил, что сжимает автомат. Ствол оказался холодным и липким.

— Умээшь? — послышалось далее. И опять короткий смех. — Мужчина должен умэть!

— Умэю! — передразнил его, не сдержавшись. — На сборах бывал.

Тот не отреагировал, положил автомат на колени и стал покачиваться, упершись в него локтями. Гастев подумал, куда бы с глаз долой затыркать свой, и в конце концов сунул его за какой-то ящик...

Полыхнуло внезапно — он, конечно, не ожидал. Вспышка оказалась такой яркой, что мозг в черепной коробке, было полное ощущение, совершил сальто. За ту секунду, пока рефлекторно не сжались веки, возник вырванный из тьмы склон, весь в неправдоподобно-белой траве, а перед ним — участок шоссе, такой же ослепительно белый. Затем громыхнуло, «уаз» подпрыгнул, будто напоровшись на упругую стену, и его развернуло поперек. Разлепив веки, Гастев увидел, что вокруг низко, стелюще горит — на шоссе, у машины, на ближнем склоне; казалось, выгорает что-то тут и там расплесканное. Сознание тем не менее еще не включилось, и потому, когда сосед-техизец заорал: «На зэмлю! Взорвемся! Лэзь!» — он так и не двинулся с места. Техизец же, пригнувшись, лез — через ящики, коробки, канистры, мешки. Он уж было достиг боковой дверцы, успел открыть ее, как опять возникла вспышка, тут же последовал хлопок-удар, и передняя часть «уаза» приподнялась, зависла на миг, а затем с грохотом вернулась в исходное положение. Техизца выбросило в проем открытой дверцы, а Гастев упал назад и больно ударился. Но еще до удара, в тот момент, когда «уаз» вздыбился, он увидел, как те двое, что были в кабине, куда-то взлетели, отделившись от сидений, ударились о потолок и повалились вниз, безвольно раскидываясь, накладываясь один на другого. Ударившись, Гастев вскрикнул от боли, и странно, эта боль вывела его из оцепенения. В свете метавшегося зарева стало заметно, что кабина разворочена, а ее покореженные стенки и куски стекол — в крови... Еще пару секунд он смотрел через окошко в кабину на лежащих там техизцев, а после поняв, что те мертвы, полез наружу. Боли он не чувствовал вовсе — и прежней, и новой, когда, вывалившись из машины, прокатился по огненным кляксам, а потом на четвереньках пополз к обочине. Там встал и, прихрамывая, запрыгал по траве вниз. Метров через десять, уже во тьме, залег и развернулся к шоссе.

Теперь он лежал, еще, конечно, не вполне в себе, но инстинкты, как и положено, работали. На первый вопрос — что? — ответ был: засада, обстрел. Вопрос — почему? — сейчас не интересовал: тут враги — одни, другие, а может, и третьи — и так уж сложилось, что он оказался на чьей-то стороне. Оставался вопрос последний, главный: что делать? Инстинкт подсказывал: бежать. Куда? Машина разбита, ночь, тьма... Бежать! — пульсировал инстинкт: хоть отползти, машина может взорваться, бежать, бежать!

Что-то прошуршало в траве, а затем в лицо пахнуло тяжелым запахом пота и жарким дыханьем. Сосед-техизец подполз вплотную, улегся рядом.

— Жив? — прошептал и затараторил по-своему — не иначе, ругаясь.

Гастев обрадовался: думал уж, тот тоже погиб и теперь он здесь остался один.

— Что это? — спросил, склоняясь к самому его уху.

— А! Засада! Я гаварыл им, дуракам, гаварыл! Нэт, заставылы! Что тэпэр, да? Где оны? На том свэтэ. Вся кабына в кровы. Под кабына — снарад!

— Кто стрелял? Чья засада?

— А! — крутанул головой техизец. — Кто знаэт! Дангуры. Или твои.

— Кто — мои? — изумился Гастев.

— Твои! — повторил тот зло: — Русские твои! Армыя. Или бандыты. ЧОН. Армыя — и нашим, и вашим, а бандыты —дангуры, это сволочь, дрянная кров!.. Засада — вон там, я замэтил, тепер знаю! Тепер нада обратна, Булак, в Техиз нэ пройты. засада, нада Булак, завтра вэрнуться, всэх пэрэбьем!

Сверху на шоссе еще горело, и Гастев вдруг ясно осознал, что сейчас в машине рванет. Огонь поплясывал у самых колес. Там, в кузове, канистры с бензином. И драгоценные коробки, которые взлетят на воздух!

— Ты куда? — шикнул на него техизец. — Уходыт нада! Куда попер? Гдэ твой автомат?

— Там! — усмехнулся Гастев, не соврав. — Забыл, там. — И опять пополз, но сзади дернули за ногу. Он брыкнул, обернулся, заорал: — Ну-ка, помоги! Мои коробки! Сейчас все взлетит! За мной!

Бог знает почему, но тот пополз следом. Заднюю дверцу, оказалось, заклинило, и, забравшись через боковую, они в бешеном темпе перекидали все тут наваленное, пока не подтащили к выходу одну за другой три коробки. Техизец выбрался наружу, а Гастев подавал. О том, что рвануть может в любую секунду, он не думал. И боли, где ударился и ожегся, не чувствовал тоже. Почувствовал лишь в какой-то момент, уже соскочив на землю, резкое движенье воздуха прямо над плечом и поющий на высокой ноте короткий звук двумя проскоками. Техизец крикнул: «Ложись!» — они оба грохнулись на колени и в такой позе поволокли очередную коробку по асфальту к обочине. Тут же пропела еще одна очередь, застучала по металлическому корпусу «уаза», зазвенела стеклами, но Гастев с техизцем уже спускали коробки по склону, во тьму. И вот тут как по заказу рвануло. Докатилась жаркая, с запахом, волна, отхлынула, и, припав, Гастев как завороженный неотрывно глядел на неуклюжий, расшыренный факел, пожирающий останки «уаза» и лежавших в нем людей.

— Аружье погибло, люды! — вдруг рядом взвыл техизец. — Аружье купым, людэй — нэт!

Он уткнул лицо в траву и стал медленно, из стороны в сторону водить головой.

Над шоссе по-прежнему метались отсветы, но вдруг где-то сбоку загрохотало. Гастев развернулся и увидел какие-то ярко светящиеся провода, но странные, прерывистые, будто пунктирные. Провода эти бежали навстречу друг другу, и там, где они сходились в одной точке, где-то выше шоссе, там что-то вспыхивало, рвалось, низко гудело, чмокало, точно одну за другой выдергивали пробки из бутылок, опять ухало, вспыхивало, звук бился о противоположные склоны, как мяч, не имея выхода.

Техизец приподнялся на коленях и наблюдал, явно оценивая.

— Наши! — заключил наконец. — Прорвалыс! Из Техиза! Давят эту засаду. Сэчас, пагады, сэчас оны их!.. — И прокричав что-то по-своему, пополз вверх к шоссе.

Гастев поначалу ничего не понял. Прошло совсем немного, и он увидел вдруг, как к тому месту, где еще догорало, подкатил БТР и, резко тормознув, встал. Вероятно, ему удалось прорваться сюда под прикрытием огня, который откуда-то вели, как выразился техизец, наши. Из БТРа выскочили двое с автоматами, но не в армейской форме, а в чем-то черном. Тут же, как по команде, смолкла стрельба, и во внезапной тишине раздался окрик техизца:

— Иды, иды сюда, русский! Наши! Всё, нэ бойся, иды!

Гастев поднялся, сделал шаг по склону, но второй у него не получился. Ноги стали ватными и не слушались. Он осел и тут почувствовал, что в горле какой-то ком. И еще, кажется, дрожат руки — все, до плеч. Такого в жизни никогда не случалось. Он сидел и видел, как к нему спешат — вроде человека четыре. Первый показался знакомым. Еще через несколько секунд узнал. Это был Джан.

Они уже сидели в БТРе, который плавно, идеально вписываясь в бесчисленные повороты, мчал в Техиз. Оказалось, от того места, где они напоролись на одну из засад в горах, до Техиза всего километров семьдесят.

Голова у Гастева плыла, а сидящий рядом Джан все время что-то говорил крича (иначе невозможно было расслышать): то рассыпался в благодарностях («Сергей Николаевич, дорогой! Такой груз привез! Себя привез! Ну, я знал, что вы прекрасный человек, но что такой!»), то жалел («Сейчас, потерпите, сейчас приедем, я вас перевяжу, спать уложу, потерпите, дорогой!»), то пытался объяснить, что тут происходит, кто за кого и против кого, и постоянно возвращался к только что завершившемуся ночному бою, сыпал какими-то странными сочетаниями букв: БТР (это Гастев еще понимал), БМП (оказалось, тяжелая гусеничная машина, прикрывавшая шедший впереди БТР), а на БМП какой-то (или какое-то?) ДШК — нечто, жутко стреляющее, с помощью чего засаду в конце концов и подавили. До Гастева доходило с трудом, да и вообще все это уже вроде и не интересовало, хотелось лечь, заснуть, все забыть, а проснувшись, убедиться: ничего не было, ничего!.. Так он вяло уговаривал себя, но все было: истекшие сутки, начиная со звонка Джана вчерашней ночью, мотание по городу, перелет, ожидание, тряска в «уазе», взрывы, смерти, пули над головой, — все это было, но вот чего не было, так это сна, если не считать неловкой дремы в самолете. И все это, вместе взятое, скрутилось теперь в некий тугой узел, и Гастеву чудилось, что этот узел сплелся из его же мозгов, и никак им не расправиться, вот так в черепе и лежит, во тьме, такой же, как эта ночь с грохочущим в ней БТРом...

3

Проспал он до полудня, хоть и наказывал Джану разбудить его к утреннему обходу больных. Ну, тот правильно сделал, что ослушался: ночью намыкались порядочно, а когда наконец вкатили в Техиз и оказались в больнице, где Джан с недавних пор и работал, и жил, Гастев даже от еды отказался — лишь перевязали, свалился и будто выпал из себя.

Теперь же жарило солнце, за окном плескалась зелень, поодаль голубели горы. Чем не рай? Во всяком случае, так могло показаться. Захотелось пройтись, взглянуть, подставить солнцу щеки. После вчерашнего, после всего, всего... В ординаторской напился кофе, потом разыскал Джана, и они условились, что необходимые консультации Гастев проведет после обеда. А вот от прогулки тот стал отговаривать, ссылаясь то на возможность внезапного обстрела, то еще на что-то, а на что конкретно, толком было не понять, — Гастев махнул рукой, сказал, что ненадолго, недалеко, и пошел.

Город его потряс. Подобное просто не представлялось. Да, бытуя в столице и слушая лишь официальные сводки, богатым воображением не разживешься. Где-то, когда-то — в кино, в документальной хронике времен последней войны — он видел похожее. Город — то ли прифронтовой, то ли фронтовой, Бог знает. Развалины, обгоревшие стены, пустые окна без стекол, а сами дома — вернее, их останки — где в три стены, где только в две, а то и вовсе нагромождение камней с торчащей из-под них утварью. Однако ничто не дымилось, не звало, не кричало, из чего следовало, вероятно, что последний обстрел случился не вчера — по крайней мере несколько дней назад. Изредка возникали и пропадали люди, появлялись другие, чаще женщины, но как-то неспешно, останавливались группами, смотрели на развалины, тихо переговаривались, уходили. Какое-то полунемое кино с замедленной съемкой. Гастев подумал и определил: ступор. И еще обратил внимание: не поют птицы, людей мало, очень мало, если точнее. «Ну, а собаки тут есть или тоже ушли?» Лишь промелькнула эта мысль, как перед ним вырос пес, местный дворянин, и, осмотрев недобро, высоко залаял. «Чужой! — понял Гастев и подмигнул ему: — Ты случайно не из органов?» Пес озлился и взял еще выше, закидывая морду. На них оглянулись. Двое, отделившись от небольшой группы, стали неспешно приближаться. Низкорослые, заросшие, как и все тут. Остановились, не дойдя нескольких метров. Пес, словно выполнив свою функцию, смолк и отвалил боком, мелкой рысцой. Двое смотрели и молчали. Гастев подождал немного, пожал плечами и двинулся. Те, как по команде, совершили параллельное движение. Гастев встал.

— Ну? — вопросил наконец раздраженно.

Опять молчание. Потом один из ртов разжался и выдавил хрипло:

— Русский?

На этот вопрос мог быть только единственный ответ. Тем более когда обладаешь стопроцентно соответствующей внешностью. Не исключено, поэтому возникла злость.

— Русский? — повторили хрипло и тоже явно зло.

Гастев выждал еще и процедил медленно:

— Я — врач.

— Что?

Он сказал еще раз.

— Значыт, русский, — заключил техизец.

Гастев сжал зубы.

— Ты что здэс дэлаэш? — заговорил второй. — Твои всэ там! — И резким движением указал куда-то в сторону гор.

— А я — здесь. Я врач. Потому что здесь больные. — И вдруг сорвался на крик: — Ты понял, балбес?!

Те явно опешили. Откуда-то, как из засады, гавкнул пес. Стоящие поодаль люди оглянулись.

— Ты нэ оттуда? — опомнился первый и опять указал на горы.

— Оттуда! — Гастев сделал аналогичный жест, но в небеса.

Смешно или нет, но техизцы закатили глаза вверх, словно выискивая нечто в яркой голубизне.

— Врешь! — сделал вывод один из них, удостоверившись, что там, как и положено, пусто; другой же что-то рыкнул ему по-своему — и следом Гастеву:

— Армыя, охранка?

— Врач, — пришлось повторить, уже устало.

— Какой? — поинтересовались зачем-то.

— Хирург... И даже нейро, — усмехнулся, вспомнив строчку из Высоцкого.

— Давно здэс? Нэ знаю такого!

— Вчера. Ночью.

— А! — Техизец будто припомнил что-то и кивнул. Потом уточнил: — Оттуда, из балныца?

— Да.

— Ладно... — Он вдруг смягчился: — Ладно, иды, извины. — Гастев пожал плечами, но тут последовало с прежней озлобленностью: — А лучше уезжай, уезжай к сэбэ! Уезжай к сэбэ, русский! Всэ, всэ вы! Домой!

Они развернулись и медленно пошли к своим, издали наблюдавшим за случившейся перепалкой. Гастев еще постоял, поглядел, как, соединившись, они о чем-то переговариваются, кивая в его сторону. Затем быстро зашагал к больнице. На душе было пакостно.

Впрочем, вторая половина того дня выдалась мирной. Никто не приставал, дурацких вопросов не задавали, а самое главное, не прозвучало ни одного выстрела, хотя Джан и предрекал постоянно, что вот-вот начнется. Короче говоря, дали спокойно поработать. Поработали почти до ночи. Сначала Гастев провел запланированные консультации больных, потом обсуждали их ведение, а ближе к вечеру отправились оперировать. Случай оказался действительно сложным, следовало бы, конечно, вмешаться пораньше, да Джан боялся идти на риск без соответствующей страховки — поэтому, отчаявшись, и звонил в Москву, требуя помощи. Ну вот, помощь пришла, да еще с Гастевым в придачу... Оперировали долго; Гастев, хоть и вымылся на всякий случай, стоял рядом, помогая лишь советами, а все вел Джан со своим толковым ассистентом. В общем, был повод убедиться, что бывший аспирант-шалопай превратился в классного нейрохирурга. Такое от Бога, еще раз уверился Гастев: можно, конечно, поднатаскать, но талант ведь вместе с «корочкой» кандидата наук не вручишь; либо он есть, либо пиши пропало. Да, к Джану Бог не оказался безразличен.

Потом сидели, усталые, в ординаторской, пили кофе и все еще обсуждали — что на завтра, кого как вести, как оперировать. Помимо дежурной бригады хирургов и реанимации еще несколько докторов домой на ночь не уходили.

Гастев тоже ночевал в больнице, деля с Джаном его кабинет заведующего отделением. Втащили второй диван, спали при открытом окне, в мертвой тишине, без обычного здесь ночного стрекота цикад. Это тоже было тревожно, странно.

4

Проснулся Гастев все-таки от стрекота, но оказалось, то не цикады, а вертолет. Он низко прошелся два раза, описывая круги, начал заходить на третий, и тут вдруг заухало где-то поблизости. Сразу же справа и слева от вертолета стали вспыхивать серо-грязные клочья, а затем размываться ветром, таять. Вертолет скрылся невредимо, а в кабинет вбежал Джан и заговорил возбужденно: «Сегодня будет война, Сергей Николаевич! Ах, почему вы вчера отказались уехать? Ведь был еще шанс, был!..» Что ж, верно, шанс был, да Гастев его всерьез и не рассматривал.

Больница загудела, но, в общем, было заметно, все делалось осмысленно, явно на основе уже полученного опыта. Развернули еще одну операционную, грязную, для скоропомощных, рассчитали операционные бригады, подготовили системы для переливаний, наркозные аппараты. Гастев сразу включился в этот ажиотаж и вскоре, забывшись, что не дома, начал командовать, брать решения на себя, и, надо сказать, все выходило естественно, его слушались, поскольку получалось с толком, да и авторитет тоже сработал, это не ерунда. А за окном уже рвалось, и, хотя не поблизости, он поначалу все-таки чуть струхнул. Джан же, кажется, не реагировал, только ругался по-своему и с удвоенной энергией носился по отделению. Ну, Гастев и сам постепенно пообвык, а когда привезли первого раненого, молодую еще женщину, отправился в операционную и, взявшись за дело, до остального оглох.

Что это было: военно-полевая хирургия? Вероятно. Подобное «проходили» — в мединституте, на сборах, на курсах повышения квалификации, — проходили, но вот чтобы так, самому, под огнем! Тут требовался личный, собственный опыт. Работать — за больного и против себя. За его жизнь и против своего страха.

Опомнились, когда в операционной от близкого разрыва вынесло окно. Вскрикнула врач-анестезиолог, сидевшая за наркозным аппаратом, Гастев обернулся к ней и увидел струйку крови, которая пробивалась сквозь поднесенные к лицу ладони. Оказалось, кусок стекла угодил ей в губу и сотворил приличную рану. Кто-то бросился помогать, с хрустом давя на полу осколки, кто-то стал закрывать операционное поле на больном стерильными салфетками... да какая уж тут к черту стерильность, когда вынесено окно и по операционной разгуливает ветер с дымом, с гарью, с запахом горячей земли и горячего, сожженного камня!.. В следующий миг вновь ударило глухо, сдавило уши, а когда отпустило, Гастев еще некоторое время ничего не слышал, и все окружающее вновь напомнило какое-то странное немое кино. Опять посыпались стекла, над операционным столом погас свет, тут же с грохотом лопнула и стоящая сбоку бестеневая лампа, и оттого дым, медленно наползающий из провала окна, показался каким-то мрачно-зеленоватым, зловещим... Странно: этот цвет дыма мозг отфиксировал, а вот как теперь быть и что делать — ответа и соответствующих команд не выдавал... Да, кажется, подумалось еще, но как-то вяло: в предоперационной полно баллонов с кислородом и закисью азота — если рванет?

Рвануло, но с улицы (видимо, попадание пришлось прямо по больнице), и, отброшенный к стене, Гастев увидел и вовсе невероятное. Операционный стол, над которым еще несколько минут назад колдовали-чудотворствовали, подпрыгнул, а затем косо рухнул, валя за собой системы с кровью и другими жидкостями. Лежали теперь все — хирурги, сестры и больной, который, будучи привязанным к столу, мог свалиться только вместе с ним. Гастев поднялся и, срывая с себя марлевую маску и перчатки, подбежал, опустился на колени. Рядом возник второй хирург, до того ассистировавший. С колдовством-чудотворством было покончено: то лежала смерть, с разверзлым ртом, из которого торчала пустая интубационная трубка. То ли от взрыва, то ли от последующего сотрясения и падения стола ее выбило из шланга аппарата управляемого дыхания, и управлять ста-

ло нечем: человеческие легкие и тупой металлический аппарат, к тому же теперь обесточенный, оказались разъединены.

Гастев встал с колен и огляделся, пошатываясь. В ушах еще пульсировала легким звоном тишина. Он стоял и обозревал свершившееся разоренье. У ног лежал умерший больной с разверзлым ртом и разверзлой операционной раной, пустой и бескровной. Туда, в этот пустой операционный провал, всосалось, как в черную дыру, бывшее чудотворство, надежды, все... Внезапно возник Джан (не иначе, выбрался из соседней операционной... интересно, а там у него больной жив?) и принялся что-то кричать. С трудом, но Гастев стал слышать. Услышал, что это был ракетный обстрел, теперь, вероятно, передышка, а то и вовсе на сегодня конец, подобное случалось, хотя район больницы прежде щадили... в общем, может, и так, если, конечно, не выбросят десант. Тогда штурм — и все. «Что — все?» — проорал Гастев из-за своей полуглухоты. Джан скривился и кивнул на лежащего у их ног мертвеца.

Действительно — стихло. Город из окна различался плохо, но было ясно: он горит. Дым, гарь, едкие, горькие запахи. С гор уже пополз предвечерний сумрак. Явственно слышался вой собак, а где-то вдалеке — отдельные очереди, то ли автоматные, то ли пулеметные, не разобрать... Стали прикидывать понесенный ущерб, считать мертвецов, раненых. Операционная, где работал Гастев, была выведена из строя полностью, джановская — частично, хотя о стерильности речь не шла уже нигде. Помимо смертельного исхода у Гастева, погибло трое, все больные; одного придавило, другие угодили прямо под разрыв в одной из палат первого этажа, рядом с приемным покоем. Зато раненых набралось больше десятка, в том числе врачи и сестры. Оказанием им срочной помощи и занялись в первую очередь. Гастев, явно контуженный, хотя, как он определил, и не сильно, толком ничего еще делать не мог, и Джан настаивал, чтобы он отправился в кабинет и прилег. В конце концов Гастев согласился и пошел, шатаясь. В черепной коробке, казалось, стояла вода — при каждом наклоне уровень смещался, и оттого булькало. А кроме воды там не было ничего... За дверью кто-то бегал, кричал, отдавал команды, иногда стремительно проносилась очередная каталка с больным, опять крик, гул, возня...

Когда он выбрался из кабинета, то обнаружил, что за истекшие часы под руководством Джана проделана колоссальная работа: больных перевели в уцелевшее крыло здания, там вновь развернули две операционные, хотя и маленькие, а в помещениях цокольного этажа оборудовали что-то вроде бомбоубежища и теперь туда перемещали реанимацию. В одной из операционных, на первом этаже, уже работали — Гастев прошел внутрь, вымылся, переоделся в стерильное и встал слева, ассистировать. Хирург, здешняя, как показалось, дангурка, кивнув ему, шепнула сквозь маску:

— Зачем вы, дорогой, не уехали?

— А вы?

— Я местная. Мне уже все равно: что здесь, что там.

Гастев помолчал, а потом проговорил негромко:

— Вот и я. Мы все — местные... на этой Земле...

К ночи силы его покинули, да и не только его, всех. Впрочем, главное, самое неотложное, успели сделать, хотя в больницу время от времени и подвозили новых раненых, которых подбирали по разрушенному городу. Назначили на ночь дежурные бригады, сменяющиеся в обеих операционных. Сменившись в очередной раз, вспомнили о еде. Странно, у Гастева открылся аппетит, и он долго что-то ел. Потом долго пил. Джан, весь какой-то зеленый, подливал кофе и поминутно клевал носом. «Ты бы лег, — повторял Гастев. — У нас еще час». Тот кивал и опять задремывал.

Шло время — странное, смутное, в плотной тьме и тишине, нарушаемой лишь больничными рабочими звуками. Шло время — а куда? — подумалось вдруг. Привычная система ориентации рухнула: оно, время, шло не к рассвету, не к очередному в жизни завтра. Оно могло идти к смерти или, если минет, к искалеченной жизни, или, если уж повезет, просто к жизни как способу существования, к биологии-физиологии, не выше, потому что после всего произошедшего, пережитого ни о каком духе речь идти уже не могла. Там стыла зимняя степь. Посвист ветра и клонящийся голый кустарник. И это было тем, что для Гастева когда-то называлось душою.

его, пусть маленьким, теплом... Дрема качнула его, и он увидел эту степь, а посреди нее — огромную черную воронку, и отчего-то стало ясно, что это дыра от земной оси: кто-то ее, ось, выдернул — одна черная дыра в виде воронки осталась, и теперь, что ж, — возникла мысль, — что ж теперь, шалтай-болтай какой-то... как же без оси? И следом действительно дернуло, стронуло с места. Гастев очнулся, вздрогнул и, похолодев, понял, что это не сон, а взаправду: что это — земля...

Джан, сидевший напротив, неотрывно глядел в черное окно.

— Толчок, — проговорил почти шепотом. — Скромный, пара баллов. — Пальцы его, сжимавшие подлокотники кресла, побелели. — Земля против нас. А Бог ушел.

— Ты верующий? — отозвался Гастев, ощущая под ложечкой пустоту.

Джан не ответил. Отвернулся наконец от окна и отвалился на спинку.

— Сергей Николаевич! — вздохнул потом, и тут стало заметно, что он явно не в себе, впервые за эти дни. — Что делать, Сергей Николаевич, что? Мы в городе одни — зачем трясет?

Гастев не понял:

— Как одни?

— Ну, почти. — Джан сморщился, как от боли, задергал головой. — Многие ушли, уходят... кто по дорогам, на Булак или Байсан, но это бессмысленно, не прорвешься, там засады, дангуры и ваши... простите, армия, всякие особые части... поэтому люди ползут на перевал, чтобы уйти совсем, через хребет, но это высоко, там еще снег, холод, но другого пути нет, армия туда не поднимается. Все уходят, ушли... а после сегодняшнего обстрела уйдут последние жители, а мужчины, кто еще жив, по горам, в боях... в общем, уже никого, мы одни, зачем еще трясет, а?

— Если никого, тогда кого же все время везут в больницу?

— А, остатки, единицы! Скоро иссякнет. Работы не будет... — И вдруг рассмеялся дико: — А мы здесь!

Гастев уставился на него. Страх пропал.

— Ты не в себе? Истерика, психоз?

В ответ вздох и долгое какое-то раздавленное «А-а-а!» Потом вновь тот же вопрос:

— Зачем тогда трясет? И земля против нас!

— Это просто совпадение.

— Что говорите! Сами не верите!

— Не знаю.

— Не совпадение, но только все наоборот!

— То есть?

— Сначала земля. Все в земле, от нее. Что-то мы сделали, Бог отвернулся, ушел, и земля заболела — в недрах, там! И люди еще больше посходили с ума. Но люди потом — сначала земля! Землетрясение... это что? Это она нас сбрасывает с себя. Мы ею прокляты. Мы все! Мы — да, и армия ваша заодно!

Гастев молчал. Странно, ему вдруг показалось, что Джан прав. Доказательств не было. «Я тоже схожу с ума, — подумал. — Я уже умер или схожу с ума».

А тот продолжал горячо:

— Вы заметили? Птицы ушли, кошки. Еще с неделю назад. Две-три собаки на весь город — и все. Тоже сумасшедшие, наверно. Как и мы тут... На весь город всего-то людей — одна больница! — И опять расхохотался.

— Зачем же обстрел, если одна больница да две-три собаки?

— А!.. Чтоб с корнем, думаю. Выжженная земля!

— Зачем?

— Для них нет святого. Больной, здоровый — враг! Они завтра придут и всех тут убьют. Больных, врачей. Нас то есть. Всех — и наших, и русских, кто против них.

— Ты боишься?

— Боюсь.

— И я тоже.

Гастев произнес это тихо и, видимо, так естественно, что Джан застыл, изменился в лице. Изменился — стал прежним, участливым, теплым.

— Вы не бойтесь, Сергей Николаевич! Вас они не тронут.

— Почему?

— Ну... вы такой врач, божество!

— Смеешься?

— Нет, правда! Ну... ну, еще скажите им, что из Москвы. Может, не тронут.

Теперь пришел черед смеяться Гастеву:

— Ты хороший человек, Джан. Хороший, но только ты не о том. Просто на всей этой земле, которая, как ты говоришь, заболела, мы одни — люди. А остальные — больны. И нам лечить, больше некому. На весь город одна больница, ты прав. Если уйдет и больница, врачи, кто же будет лечить? Тут больные. И там везде. Мы одни люди... — Подумал и добавил, вздохнув: — С чего-то начаться все заново должно. Жизнь. Может, именно это и хочет увидеть Бог?

Джан покрутил головой, затем сказал тихо:

— Вы меня не так поняли. Я не хотел уходить.

— Да, я так тебя и понял.

— Да, я все до конца сделаю здесь.

— Да, и я.

— Да-да... Мне только... вас жалко. И себя.

— Жалко, Джан.

— Жалко, Сергей Николаевич. Я ничего не понял. За что?

— Потом разберемся, потом.

— Ну, если...

— Будем надеяться. У нас с тобой только это: золотые наши руки и надежда. Все.

— Да.

— Ну вот и хорошо. Все еще будет. Пронесет.

Джан опять покрутил головой, хмыкнул:

— Вы со мной, как с мальчишкой!

— Нет, — твердо проговорил Гастев. — Это я себя подбадриваю. Я же сказал тебе, что боюсь.

Он хотел добавить еще что-то, но тут опять дрогнуло под ногами, закачался плафон, отчего свет в кабинете, показалось, взбесился, и следом возник еле слышимый гул, причем поначалу было полное ощущение, что гул этот возник где-то в самом теле, в себе, то ли в желудке, то ли в кишечнике. Прокатилось низкой утробной волной и стихло. Тишина стала мертвая. Все замерло, слушая и ожидая. Где-то вдалеке одиноко провыла собака. Гастев позвал:

— Джан!

Тот обернулся:

— Как родовая схватка, да?

— Похоже... — Гастев передернул плечами и подмигнул ему: — А чего это мы с тобой шушукаемся, как над гробом? Все! Пойдем-ка, пора!

Встали, пошли. Джан, кажется, уже полностью пришел в себя и заговорил на ходу:

— Я в операционную, а вы, Сергей Николаевич, пожалуйста, в приемный покой. Может, поступил новенький кто?

5

Лег Гастев под утро, а когда проснулся, был уже полдень. Послушал — тихо. Встал, раскрыл окно: дым осел, но явственно ощущалась гарь. И тревога. Город, казалось, вымер. А впрочем, может, и на самом деле.

Выбрался в коридор, пошел к своим — за новостями, ну и за кофе. Джан сидел в пустующей операционной первого этажа перед телефонным аппаратом, который еще вчера по привычке перетащил сюда с сестринского коридорного поста. Связь, однако, отсутствовала; Джан ругался, потому что не удавалось решить ни одной проблемы. Проблем же набралось, по меньшей мере, три: первое — питание для больных (оказалось, на пищеблок из города с утра ничего не завезли, и кормить было просто нечем), второе — хоть какая-то информация, что их, то есть город, ждет, и третье — если не ждет ничего хорошего, то как отсюда эвакуировать больных и куда. Стали думать, обсуждать, да, в общем, все без толку. Тут еще к ним присоединился врач из бригады «скорой помощи», до того отправленный Джаном в город на поиски хоть какой местной власти, и сообщил, что никакой власти нет, город действительно пуст, лишь единичные жители пытаются что-то или кого-то извлечь из-под обломков домов. В горах же неподалеку — перестрелка, разрывы, стрекот вертолетов, и это с большой вероятностью свидетельствует, что город может подвергнуться обстрелу и штурму, если сюда начнет отходить одна из враждующих сторон — то есть техизцы с поддерживающей их частью армии и местной милиции. Джан тоже считал, что именно так сегодня и будет. Потому и метался, не находя решения.

Странно, надо признать, что вчера Гастев был все-таки подавлен, и смертельный исход во всей этой истории с географией виделся, пожалуй, единственным. В чудеса же он не верил. И — смирился. То ли потому, что ночь была, то ли потому, что еще и тряхануло дважды, то ли из-за этих заупокойных джановских версий о больной земле и отвернувшемся Боге... Ну, то было вчера, во тьме. А сейчас голубело небо, плескалась за окном зелень. Еще жизнь. Еще-жизнь заставила вспомнить себя. Там, в себе, когда-то гнездилась воля, азарт, упрямство да и кой-какой начальственный настрой. Гастев вспомнил себя, а вспомнив, сидеть и ждать смерти уже не мог. Смерти не только себе — всем им: врачам, больным. Должна быть жизнь. Пока есть я...

Он раздобыл-таки у кого-то остатки кофе, напился, потом, как был в халате и белом хирургическом колпаке, выбрался наружу и сел за руль скоропомощного «рафика». Поехал — один, вперед... а куда? — туда, за город, где, как указали, километрах в двадцати находился давно никого не принимающий аэропорт.

Ну, проезд по Техизу действительно произвел страшное впечатление. К тому же постоянно приходилось лавировать меж развалин, разворачиваясь то туда, то сюда, а то и назад. Наконец выехал из города и покатил по шоссе — один, ни сзади, ни навстречу — никого, ничего. «Рафик» разболтанно громыхал, и сей привычный звук навевал все-таки мысль о том, что вокруг реальный земной мир, а не чужая необитаемая планета.

Через десяток километров в этом довелось убедиться.

У обочины, поперек, перекрывая половину полосы, стоял БТР, за ним еще одна машина, кажется, БМП, а справа на небольшой каменистой площадке размещался целый расчет: минометный, подумалось по неопытности. Гастев тормознул, поскольку с БТРа властно махнули, и, медленно подъехав, остановился. Потом медленно выбрался из кабины.

— Вы кто? — скорее вяло, чем сурово вопросил подошедший подполковник в полевой армейской форме.

— Врач.

— Из Техиза?

— Да. Там в больнице...

— Возвращайтесь, — перебили его. — Здесь проводится операция.

— И кого же будем оперировать? — усмехнулся Гастев.

Подполковник глянул устало и без выражения повторил:

— Разворачивайте машину — и обратно. Здесь военная операция.

— Стоп! — начал Гастев, злясь. — Вы должны свое, а я свое. Я врач. У меня там, — и ткнул пальцем за спину, — больные. Если будет обстрел или штурм, я должен их эвакуировать. Вам понятно? Я должен знать...

Но тут между ним и его вялым собеседником возникла фигура в черном — приличных размеров детина с явно уголовным лицом.

— Слушай, ты! — зарычал и небрежным жестом несколько отодвинул подполковника, чтоб не мешал. — Тебе сказали: разворачивай свой драндулет и катись, пока цел, к ...!

Гастев похолодел, но не от страха, а от какой-то невероятной, леденящей злобы.

— А почему — «ты»? — процедил сквозь зубы.

— А потому, сука, что я — ЧОН! Ты это слышал?

— Нет, не доводилось.
— Ну так я тебе, сука, скажу!
— Послушайте, сержант, — вмешался подполковник, но вновь как-то вяло. — Послушайте...

Тот даже не оглянулся. Он смотрел Гастеву прямо в глаза, и этот бешеный взгляд говорил больше слов.

— Я тебе скажу! — повторил. — Чтоб ты знал, сука! Что есть ЧОН, а не эти засранцы-армейцы! Что выше нас только царь, понял? И если я сказал тебе: вали, — значит, я тебе даю шанс уйти отсюда живым. — И ухмыльнулся: — Если не передумаю... Ну, ты понял наконец? Разворачивай свое вонючее барахло! — гаркнул что есть силы.

Спорить смысла не было. Но злоба душила Гастева так, что он не сдержался.

— А теперь слушай меня! — засипел аж, не в силах совладать с горлом. — Когда тебе, суке, сделают дырку в черепе, тебя привезут ко мне, и я хорошенько покопаюсь в твоих первобытных мозгах, чтобы ты выжил. Ты меня понял?

Чоновец раздумывал несколько секунд и затем стал медленно поднимать автомат. Подполковник чуть повысил голос: «Сержант!», но тот уставил ствол в небо и дал короткую очередь. Гастев не сдвинулся с места. Злость убила не только страх, но и просто-напросто инстинкт самосохранения.

— Ну, все? — спросил, явно играя со смертью. — Разрядился? Ладно, я пошел. Голову береги.

Пошел — и тут испугался. «Спиной поворачиваться нельзя!» — подумал... Но обошлось. Уселся за руль, не слишком ловко развернулся и покатил обратно. «Рафик» загромыхал, и Гастев не слышал, что чоновец дал-таки по нему очередь, но, верно, так, шутки ради. Во всяком случае, уже по прибытии в больницу на задней дверце обнаружилось несколько характерных пробоин.

Впрочем, до того, у самого въезда в Техиз, случился еще один короткий эпизод. Человек двадцать — одни в странных темных комбинезонах, другие в привычном армейском, все вооружённые — перегородили ему дорогу.

— Ты кто? — последовал традиционный вопрос.
— Врач.

Ну, это было понятно и так: «скорая», белый халат. Однако тут всех интересовало иное:

— Русский?
— Да.
— Зачем здесь?

Люди эти выглядели очень усталыми, но, странно, не слишком озлобленными. Скорее, надломленными. Возник шанс изъясниться. В общем, оказалось, что они действительно отступают и разрозненными группами входят в город. Город — это последнее, что у них осталось. Будет оборона, бой. Больница же ни у кого не вызывала интереса, и Гастева отпустили. Напоследок к нему вплотную придвинулся один из армейцев, русский капитан, и тихо посоветовал, как бы по-свойски:

— Уходите отсюда.
— Куда? Нас много.
— Вы меня не поняли, — поморщился он. — Я лично вас имею в виду. Уходите — завтра будет поздно. Уходите на перевал. Может, еще спасетесь. Всем уже не уйти. Тут всех уничтожат — и больных, и небольных. К тому же ЧОН будет вылавливать тех, кто из армии и перешел к техизцам. Под это дело и вас хлопнут, элементарно! Увидят — русский, и все! Уходите, времени в обрез!

Гастев не стал возражать и уселся за руль. Капитан показал на горы:

— Вон там, видите? Туда, туда! Там начинается путь на перевал. Другого выхода отсюда уже нет. Уходите, уходите прямо сейчас, еще успеете!

Гастев зачем-то поблагодарил и вдруг подумал, что этот капитан, скорее всего, до завтра и сам не доживет. Что они оба, считай, уже мертвецы. Мертвецы, ведущие не имеющий никакого смысла разговор. Это показалось диким, патологичным. Уже не сумасшедший дом, а морг. Патанатомический театр.

В больнице работа шла своим чередом, но Гастев не стал включаться, а уединился с Джаном, чтобы обсудить создавшееся положение. Судили-рядили и в конце концов остановились на варианте, может быть, и не лучшем, но дающем шанс выжить хоть кому-то: больных разделить и, кого возможно, перевезти за несколько ездок на двух имеющихся в распоряжении «рафиках» за город к исходной точке пути на перевал и там развернуть палаточный лагерь силами медсестер и врачей-женщин; остальных же, нетранспортабельных, оставить здесь, в цоколе, в реанимационных палатах, со всеми врачами-мужчинами соответственно. Вот так решили, затем собрали весь медперсонал и довели, так сказать, до сведения. Естественно, предложили уйти вовсе каждому, кто захочет. Таковых не оказалось (как потом, уже наедине, поведал Джан, кто хотел уйти, вернее, сбежать, это уже сделал раньше; впрочем, единицы).

Начали готовиться, пошла суета, но где-то через полчаса в городе загрохотало. Сначала прокатилась серия разрывов, затем потянулись тяжелые пулеметные очереди. Гастев поднялся на второй этаж, в развороченную вчерашним обстрелом операционную, и стал глядеть сквозь провал окна. Столбы черного дыма, опять гарь, опять запах сожженного камня и земли. Еще через несколько минут в поле зрения возник вертолет, как-то странно снижающийся, и тут до Гастева дошло, что это пике. Просто он прежде никогда не видел, как вертолет пикирует... А тот вдруг резко взял вверх, из-под его брюха вырвался грязно-белый шлейф, устремился вниз, косо, как бы исчерпывая прежнюю траекторию, и теперь Гастев понял, что это ракета. Ухнуло близко — вероятно, в соседнем квартале. Прокатилась волна, где-то опять осыпались стекла, шапка дыма, черная и какая-то будто рваная, поднялась и застыла на небольшой высоте. Вертолет удалялся по кругу, явно разворачиваясь, но тут возник еще один, шедший с небес прямо на больницу. Ударили с земли, затукало-затукало, глухо, часто, в воздухе в истерических разрывах забились яркие комочки, но все мимо, а вертолет по-прежнему шел на больницу, на стоящего в провале окна Гастева — шел лбом, как бизон, ничего не соображая, на своего соперника. Взяла оторопь: сдвинуться с места, скрыться — даже мысль не шевельнулась. Как показалось, в самый последний момент вертолет взял чуть в сторону, и когда из-под его брюха выкатился шлейф, а следом раздался страшной силы взрыв, Гастев почувствовал себя просто счастливым, потому что стало ясно, что это не в него, не в его тело, душу... в кого-то другого, не в него...

Внизу горело, дымилось, и он побежал к своим. На пути возник Джан.

— Спускайтесь, Сергей Николаевич, в цоколь! — закричал. — Они бьют по соседнему парку, там наши развернули расчет. Нас заодно накроют, спускайтесь!

— А ты? А больные? Всех перевели?
— Заканчиваем. Идите, идите, мы сами справимся, остались единицы.

Джан устремился по лестнице вверх, его белый халат мелькнул напоследок, а Гастев стал спускаться в цоколь...

Потом, через пару часов, когда на время вернулась способность мыслить и анализировать, он думал, почему так вышло, почему он послушался Джана, пошел вниз, а его отпустил, бросил, почему не отправился вместе с ним — на смерть или не потащил его за собой — на жизнь?.. А вышло так. Джан вместе с медсестрой перевозил на каталке тяжелого больного, всего в системах с доставленными из Москвы кровозаменителями, они успели загрузиться в лифт и только поехали, как ударило по больнице, хотя, может, сюда и не целились, — все сместилось, взорвалось, замкнулось, и кабина лифта, сорвавшись, полетела вниз, в цоколь. Когда там с трудом разломали покореженные двери шахты и стали из-под обломков извлекать людей, в живых не было никого...

Дальше Гастев что-то делал, но явно машинально, бездумно. Потом, когда, показалось, наверху стихло, выбрался во двор и обошел здание больницы. Ну, на здание оно походило с трудом: левый блок обрушился вовсе, в стенах проломы, окна без стекол, все черно. По двору туда-сюда перебегали люди, кто в армейской форме, кто — в тех же странных комбинезонах. Гастев подошел к одному из них, выбрав русского. Разговор не сложился: на требование, чтобы военные отсюда убрались, потому

что, пока они здесь, по больнице ведут огонь и погибают больные; в ответ на это его посылали, но без злобы, обреченно. Он развернулся и медленно побрел к себе. Но тут окликнули. Парень, с которым только что шел разговор, закричал:

— Вас сколько тут?

— Кого?

— Мужиков!

— Всего, больных?

— Здоровых, твою мать! Врачей!

— Пятеро,— быстро сосчитал Гастев.

— Четыре автомата могу дать, только четыре. Бери! — и указал, где следует брать.— Ну что ты стоишь пень-пнем? — закричал опять.— Доктор, твою мать! Резать, значит, можешь, а стрелять — нет? Теперь не резать надо, а стрелять! Ты понял? Кто защищать больных твоих будет? Пушкин, что ль? Или маршал Ахиреев? Иди, иди, бери. Только четыре, понял? Да, рожки, рожки про запас захвати!

Гастев пошел и все выполнил. Что-то уже не варило в его голове. Приказали — выполнил. Навесил на шею четыре автомата, прихватил в обе руки этих самых рожков и побрел дальше, в свое здание. А напоследок услышал стрекот вертолета в дуэте с тут же возникшим пулеметным стуком где-то вблизи.

Обстреливали их с перерывами еще около часа, наверное. Что творилось наверху, он не видел, оставаясь при больных в цоколе, но слышал и ощущал всем телом. За это время к ним снаружи приволокли с десяток раненых, и, значит, прибавилось работы. А потом вдруг воцарилась тишина. Жуткая. Гастев как раз возился с очередным раненым, и тот просипел:

— Все, подавили! Теперь на броне прикатят чоновцы, всех перебьют, до единого.

— Почему — всех? — не зная, к чему, спросил Гастев.

— А потому, доктор, что мы с вами русские. А своих, изменников, они бьют особо. Техизцы для них нелюдь, а мы — враги.

Значит, что ж,— обдало холодом,— значит, что ж: смерть? Смерть, до которой час или полчаса... или и того меньше. Всеобщая... Ну почему всеобщая? Приедут безголовые, отстреляют, уйдут. Или останутся, какая разница! Безголовые будут жить, и будет Земля безголовых. Декортицированные прямоходящие организмы. Безчеловек. Без чела который то есть... Отторгнет, сбросит ли их земля, как о том рассуждал бедный Джан?

Странные мысли бродили. Эти, какие-то другие... Он сидел на каком-то ящике, привалившись к стене, и, уставившись в одну точку, навязчивым движением оттирал с халата пятно, но не кровь, а что-то другое, непонятное. Очнулся, понюхал и определил: смазка от автомата... ну да, когда волок их... вот, значит, тогда. Запах был едким, мерзким. «Бред!» — произнес четко, встал и прошел в одну из реанимационных палат, куда Джан, всегда столько надежд возлагавший на безнадежную связь, успел сегодня перетащить телефон. «А мне повезет!» — вдруг решил Гастев и снял трубку.

Какое-то время ничто не отзывалось, но вот возник гудок. Что дальше? Подумал, подумал и набрал привычное 07. Заныло, забилось сердце... Короткий щелчок — и спокойный мужской голос:

— Говорите.

Ну, были две-три секунды... а может, одна-две, в течение которых Гастев то ли постарел-помудрел, то ли, напротив, обзавелся молодецким авантюризмом, а то, не исключено, что-то все-таки понял — и не головным мозгом, а спинным — есть такая шуточка-прибауточка в нейрохирургической среде. Короче говоря, это были в его жизни еще те две-три секунды — подобного не случалось никогда!

— Я — здесь,— сказал сухо.— Мне — Москва. Сейчас. Запишите, диктую.— И назвал номер. Затем добавил, совсем уж невероятное: — Он у вас в списке.— И будто полетел в пропасть.

Полетел, и сколько это длилось, потом вспомнить не мог. И что там, на другом конце провода, тоже не представлял: может быть, проверяют,

может быть, советуются. До дна пропасти было далеко, и он летел со скоростью, если переводить на пережитое, год за три.

— Повторите номер,— окликнули его ровно, буднично. И когда он исполнил, последовало: — Не кладите трубку, вас соединят.

Теперь пошло вполне осознаваемое время. Гастев вскинул голову и увидел, что на него, расширив глаза, смотрит докторица-реаниматолог, возившаяся тут с одним из раненых. Он резко кивнул ей на дверь: дескать, выйдите, это тет-а-тет. Та сразу повиновалась. Потом возникла мысль выяснить, который час. Оказалось, почти семь вечера. «Неплохо! — подумал.— Это уже шанс». И тут же в трубке щелкнуло, пропел одинокий гудок, а затем послышалось близкое, будто из соседней комнаты, «слушаю».

— Это я,— начал.— Я из эпицентра.

— Я понял,— сказал Дашеев так, словно избавлял от уточнений.

— Необходимое доставлено,— продолжил Гастев, понимая, что их прослушивают, но главное, что говорить о чем-то земном, человеческом, просить или требовать не имеет смысла.— Необходимое доставлено,— повторил,— но... интенсивность событий такова... что возникла потребность связаться с вами.

Дашеев помолчал, подумал и наконец ответил — почти открытым текстом:

— Да. Я в курсе операции.— Чуть помедлил и добавил такое, от чего, догадываясь уже о многом, можно было похолодеть: — Мы приняли это решение. По витальным показаниям.

«Что ж, понятно! — подумалось.— Их витальные показания и наши — это не одно и то же, это так».

— Ясно,— подытожил эту свою мысль.— Но люди, ранее получившие необходимое, не выведены. А некоторых наших общих знакомых уже нет.

Дашеев, конечно, все понял. Но кем он сейчас был и какие творил операции, какой занимался хирургией — медицинской, военной или черт знает какой еще, это Гастев, кажется, уже понимал тоже. И потому, когда тот заговорил, не удивился. Время удивлений прошло.

— Вы все сделали, вам надо уходить. Есть план, но добавляется стохастика. Я знаю о возможностях, но одна пока есть. Воспользуйтесь.

— Одному? — вырвалось все-таки, хотя и тихо.

— Уходите,— повторил Дашеев. И напоследок воспроизвел часть фразы, сказанной им в Москве при прощании: — Я буду рад видеть вас у себя.

Да, а о том, чтобы «целым и невредимым», умолчал. Что ж, судя по всему, он действительно знал многое и потому в пустые прогнозы не играл.

Раздался отбой, и Гастев понял, что теперь многое знает тоже. Жизнь завершалась. Сколько там осталось: час? полчаса?

— Это опять я,— сказал, сняв трубку, и отчего-то усмехнулся.— Теперь личный звонок. Проходит?

— Говорите,— осадили его строго.

Он продиктовал, послышалось «Ждите!» Когда вскоре соединили, подошел сын.

— Маму, маму позови, быстрей!

Та схватила трубку, заговорила радостно-тревожно — ну, в общем, как всегда, когда он звонил, будучи в командировках. И, тоже как всегда, тысяча вопросов в единицу времени. Он все-таки перебил:

— Слушай, Таня. У меня все в порядке. Ну, дела всякие, ну и черт с ними! — И после паузы: — Слушай, у меня к тебе просьба: я буду молчать, а ты поговори. Хорошо?

Она явно удивилась, хохотнула:

— Серж! Ты что там, поддал?

— Ну, чуточку.— И вздохнул.— Поговори.

— Да что с тобой? Ты не в себе?

— Есть малость... Тут такая компания, а я о тебе. Голос захотелось послушать. Ты говори, Таня, а я помолчу.

Жена рассмеялась — прошлась колокольчиками по невидимому проводу, соединяющему два света: этот и тот.

— Серж, ты набрался, ей-богу! Такого от тебя не было слышно та-а-ак давно!

— Ладно! Все-то тебе известно, как всегда... Так ты будешь говорить?

Она, смеясь, спрашивала, о чем, но в конце концов стала, естественно, рассказывать о сыне, и, замолчав, Гастев с минуту слушал. Слушал и думал... или не думал — плыл, и как все это в нем было в ту минуту — год за три или год за пять, или за всю жизнь, — ну, такого и вовсе не осилить ни мозгом, ни душой. Когда стало совсем нехорошо, перебил, как мог мягко, и сказал:

— Пойду допивать. В компанию... И скорее всего задержусь еще тут. Ты не волнуйся, работы полно... Да, и в клинику не звони. Ты меня поняла?

— В самоволку, что ли? — по-своему отреагировала жена.

— Вроде того... Ну, целую тебя, пока!

Положил трубку, посидел немного перед аппаратом, потом поднялся, вышел в коридор. Прямо за дверью группой стояли доктора, сестры — все. Ждали, значит. Он оглядел их — помятых, каких-то растерзанных. Кивнул мужчинам:

— Автоматы, видели, я притащил? Числом четыре. Разбирайте, трое. Один — мне.

— И это все? — был вопрос.

— Все.

Последующая, завершающая часть спектакля, поставленного в этом патанатомическом театре, после антракта, во время которого Гастев успел дважды связаться с Москвой, началась с интенсивной перестрелки. По сравнению с прежней, орудийной и ракетной, она казалась какой-то мелкой: треск да и только. Бой шел в соседнем парке и на больничной территории, это было ясно. Каким-то образом перекрывать входы-выходы, баррикадироваться смысла не имело: попасть в цоколь с противоположных концов по двум широким лестницам не составляло труда. Что оставалось? Только одно: распределить женщин — врачей и сестер — по реанимационным палатам, чтоб сидели прямо у больных, а мужчинам, по двое, кто с автоматами, занять места на лестницах.

Гастев, накинув на шею ремень автомата, сидел вместе с напарником, врачом-техизцем, на лестнице в торце здания, под приемным покоем. Пару раз он поднимался и сквозь провалы в стене этого бывшего «покоя» пытался разобраться в том, что происходит во дворе. Там сквозь тьму полыхало, метались росчерки очередей, а за оградой, кажется, стояли тяжелые машины — во всяком случае, оттуда вели сильный огонь. Белый халат давно стал серым, если не черным, однако превращать себя в мишень все-таки не стоило, и Гастев спрятался вниз... Может, и обошлось бы, будь здание целым, но стена первого этажа, вся в провалах, являлась, видимо, удобным укрытием при ведении обороны, и вскоре сюда стали отходить, устанавливать пулеметы, расчеты. И огонь переместился прямо по больнице.

Их, конечно, рассекретили, заглянув в цоколь, и хотя Гастев ругался, ссылаясь на больных, продолжали свое. Свалили какие-то ящики, в том числе боеприпасы, забегали, заголосили, и была ли здесь когда-то больница, то есть сугубо мирное пристанище, не докажешь уже никому. Ну, доказательств никто и не требовал. Получаса не истекло, как бой шел уже в первом этаже. «Ты, наблюдатель! — зло прикрикнул один из обороняющихся. — Тебе автомат, что, за тем дан, чтобы из него..? Беги сюда, ложись, стреляй!»

Гастев побежал. Лег, вернее, неуклюже грохнулся на каменный пол и уставил дуло в черный стенной провал. Над головой прошлась очередь — профьюкало и затем осыпалось сзади камнем, мелко стукнув по ногам. «Гадко!» — успел он подумать, но тут кто-то дико хохотнул рядом: «С предохранителя сними, доктор! Постреляй хоть малость перед райскими дверьми!» «А будет — рай?» — вылетела из оглушенного мозга пулямысль. И следом: «В кого стрелять? Черно. Где они все?» Он искал свою мишень, но там, во тьме, лишь метались тени да короткими пунктирными трассами скакали очереди. Гастев поводил дулом туда-сюда и на спусковой крючок так и не нажимал. Может быть, это его и спасло в тот миг: открой он огонь, засекли и подавили бы сразу.

Метрах в пяти справа от него кто-то упал, утробно застонав, и он пополз туда — пополз на этот стон, разом забыв, что должен стрелять. Автомат мешал — он решил сбросить его, но в этот момент толкнуло вперед, в пол, будто ударили коленом под зад. Гастев упал, ничего не соображая, хотел было приподняться, как опять толкнуло, всем полом, и тут до слуха дошел гул, и стало ясно, что это — земля. Посыпался камень, совсем рядом что-то обвалилось с грохотом, подняв невидимую во тьме пыль, и в следующий миг, мгновенно отрезвев, Гастев услышал тишину. Абсолютную. Ни выстрела, ни разрыва, ни даже стона. И тут же — секунды не прошло — он понял, что это вовсе не тишина, а пауза-вдох. Что она набирает воздуха, сил и сейчас, вот сейчас же, натужится, напряжет что есть мочи живот и в страшной родовой потуге сметет здесь все, все, все!

Кровь остановилась. Это сердце, будто заикнувшись черным страхом, замолкло. Ну вот так: билось сумасшедше и вдруг — стало. На один миг. А в следующий возник взрыв — но не вовне, а в теле, внутри. Гастев вскочил и бросился в провал. В темный двор, под онемевшие, заикнувшиеся тем же страхом пулеметы и автоматы. Он ничего не помнил, и вокруг никто ничего не помнил тоже. Было ему несколько секунд, и когда они истекли, он на бегу оглянулся и увидел, как двухэтажное здание больницы стало медленно, словно нехотя, складываться, схлопываться, и так же медленно, неспешно обвалилось, даже без особого грохота в первый момент. В первый — да, а следом (ах, не зря поминал Гастев про баллоны с кислородом и закисью азота!) громыхнуло так, что от вспышки все померкло, и он потерялся в этом свете, пространство сжалось-разжалось, горизонт сделался вертикальным, обдало жаром-холодом, и мозг отгородился ото всего — пустота, все!..

Очнулся он за больничной оградой, поваленной и покореженной. Както ясно пришел в себя, стал прилично соображать. Ну вот, заметил и удивился, автомат на шее (к чему?); какая-то военная машина, тоже покореженная, металлической грудой, с торчащей из люка полуголовой; дальше — отброшенный в кювет БТР, на боку, с придавленными его черной тушей людьми; догорающий низкий факел на месте развалин бывшей больницы; поваленные стволы деревьев; что-то еще и кто-то еще — мертвое, мертвые, а над всем этим — не осевшая еще пыль-гарь, а под всем этим — жар и гул... да-да, жар земли и гул земли, будто еще недоделала она свое страшное дело... а впрочем, может, доделала и теперь остывает?.. поди ее спроси!..

Он встал и побрел. Куда, спросил. Не знаю, ответил. Автомат на шее, обратил внимание. Ну и пусть, кивнул. Я не ранен даже, обратил внимание. Странно, кивнул. Контужен, конечно, поставил диагноз. Хренота, не впервой. Тьма, удивился. Больницы нет, все сожрано огнем. И усмехнулся: свет тьмы. Куда я, спросил опять. И ответил: спать. Я один. Спать, повторил. Эта жизнь кончилась, спать...

Брел — по мертвой ночной земле, по ночи земли мертвых, в бывшем белом халате, с мерно бьющим по груди при каждом шаге автоматом...

6

Проснулся: утро, а сколько времени, неизвестно — циферблат часов не высвечивался. Время здесь, и вправду, кончилось вчера; теперь — вечность.

Вечность представила дерево, а под ним сидящего Гастева. Тут он и спал, оказывается, рядом со своим автоматом. Когда, поднявшись, коекак сориентировался, то пришел к выводу, что это окраина города. Как вчера добрел сюда, Бог знает.

Там, откуда он пришел, по-прежнему низко стоял дым с гарью. В нем не различалось ни улиц, ни жилищ — лишь груды камней да поваленные

деревья. И ни звука. Птицы же отлетели давно. Земля, ставшая землей врагов, сбросила с себя всех.

Было жарко, несмотря на рань, и Гастев вдруг уразумел, что жар этот исходит от земли. Чтобы удостовериться, присел и положил на камни ладони. Именно так: жар источала земля. То ли остывала от вчерашнего, то ли готовилась снова. Может быть, желала поглотить сей мир вовсе?

Выход отсюда был один: перевал. Гастев глядел на горы и пытался припомнить, куда ему вчера указывал встретившийся на шоссе капитан. Точность в памяти отсутствовала — все под знаком «кажется»: кажется, там...

Пошел — зачем-то навесил на шею автомат и пошел. Земля, по которой он двигался, была необитаемой. Миллиард лет назад. Никого. Тишь... Миновал сады с незавязанными плодами (в одном из них у сваленного забора рядом с опрокинутым столом попался на глаза зачерствелый хлеб, и Гастев машинально сунул его в карман халата), затем перебрался через мертвое шоссе и по еле приметной в зелени-камне дороге зашагал к горам.

Дорога шла по холмам, то поднимаясь, то опускаясь, и Гастев проделывал то же. В какой-то момент, оказавшись в верхней точке этой синусоиды и уже невдалеке от горной гряды, остановился и стал прикидывать. Долог ли путь до перевала, да и потом, до долин с людьми, он не знал. Без пищи, не шибко здоровый — сколько он выдержит? Подумал и решил: дня три. Три — выдержу, дал себе слово. Вздохнул и пошел.

Катилось по небу солнце, отмеривая часы, но для Гастева времени не существовало — только пространство, которое он пересекал бездумно, по наитию. В какой-то момент опомнился: уже вечер, и лишь тогда почувствовал, как устал, да и голоден, конечно. Съел треть своего хлеба, напился из ручья в лощинке, кое-как соорудил себе ночлег в зеленых зарослях и как убитый заснул...

Следующим утром тропка сразу скакнула вверх, и не прошло, верно, и получаса, как с непривычки отяжелели, налились свинцом ноги, а дыхание запрыгало в одышке. Гастев помянул студенческую молодость, когда шатался по горам во всяких турпоходах, и лишь покачал головой: четверть века с той поры отлетела, четверть века — целая жизнь...

С него лил пот, ноги утеряли упругость, а еще через какое-то время, когда попался особо крутой участок, стало сводить мышцы бедер. Приходилось делать остановки и растирать их, растирать. Но постепенно установилось дыхание, шаг, хоть и не скорый, как вначале, стал ритмичным, и если что и мешало, так это висящий на плече автомат, расстаться с которым Гастев почему-то не мог.

Солнце, миновав апогей, начало клониться к противоположной вершине, и вскоре зелень поредела, все чаще попадались сосны и отдельные пихты, широченные, мрачные. Гастев понял, что поднялся до уровня смены зон — лиственной на хвойную — и, следуя дальше, долго соображал, на какой же это бывает высоте и что его ожидает еще выше, и вообще, где там он, этот перевал, — где?

Так он думал и шел, не быстро, но почти не останавливаясь, и надо сказать, одолел за этот день приличный путь. Когда завечерело, принялся на ходу высматривать пристанище для ночлега и в конце концов остановил свой выбор на небольшой ровной площадке вокруг одиноко стоящей пихты. Отдохнул немного, затем долго и не слишком ловко карабкался на ствол, добрался до хвойных лап и долго опять же, раздирая ладони, ломал их и сбрасывал вниз. Набралась небольшая, но кучка, плотная и мягкая. Он уселся на нее, снял ботинки, носки и подставил голые ступни прохладному уже ветерку. Кажется, в иной жизни это называлось блаженством... Разломив пополам остающийся хлеб, медленно сжевал его, потом обулся, подсунул под хвойную лапу автомат и стал сам как-то смешно ввинчиваться в хвою. Повозился и наконец затих.

Выкатились первые звезды, ярко-белые, еще в отраженном свете. Небо затухало, переодеваясь из шелково-голубого в парчево-черное. Это действо совершалось в полной, космической тишине. А земным было то, что откуда-то с вершин уже тянуло снеговым холодом, да еще в теле ощущалась какая-то невероятная, пульсирующая усталость... Да, когда тебе далеко за сорок, а точнее, недалеко под пятьдесят, два дня ходьбы по

горам, и не вниз, а исключительно вверх, это уже не спорт, а выживание!

Так он думал, глядя на звезды в затухающей голубизне, пока не уснул. Было тихо, обездвиженно. Покой. Но не предсмертный, который ощущался в Техизе, когда на время прекращали обстрел. Здесь ничего не стреляло, не ухало разрывами, не кричали больные и раненые, не надо было метаться в поисках решений, оперировать, спасать. Здесь жила тишина, созданная природой, первозданная, без людей. С людьми что-то не складывалось...

Проснулся от холода. Поглядел вверх: небо осветлело, скрыв звезды, но чувствовалось, еще очень рано, часов пять или шесть.

Когда из-за противоположной гряды показалось солнце, он уже карабкался по отвесному склону и потому не только согрелся, но даже и распарился вскоре. Пихты остались внизу — он видел их, когда оборачивался: все уменьшающиеся, торчащие редкими черными восклицательными знаками на фоне яркой травы. У него же под ногами теперь лежал камень, мелкий, осыпающийся при неловком шаге.

Наконец, Гастев достиг вершинки, встал, тяжело дыша, и осмотрелся. Впереди, за глубоким распадком открывалась новая гряда — высоченная, как показалось. Ну, вероятно, это соответствовало действительности, потому что несколько приметных отсюда ее вершин были в снегу. Снеговые шапки ослепительно блестели под густой синевой неба. Природа торжествовала. Гастев покачал головой, успев все-таки поразиться, и стал искать глазами, куда пойдет тропа. Шла она, покуда виделось, не вниз, в распадок, а вдоль — по верху только что осиленной горы. Так он и двинулся, уже спиной к солнцу, на запад.

Теперь, имея возможность не мучиться одышкой и постоянно поглядывая на дальние снеговые шапки, он шел и прикидывал. Впервые ему стало по-настоящему тревожно. До снеговых вершин, среди которых, судя по всему, и находился перевал, подняться за сегодняшний, третий отпущенный себе на то день вряд ли было возможно. Хлеба же оставалось только на раз. А плюс к тому там, наверху, в снегах, понимал Гастев, он просто замерзнет в своих городских полуботинках и полуизодранном больничном халате, под которым лишь рубашка. Что ж, подумал, опять смерть? Господи, как надоело!..

Он шел, не сбавляя шагу, потому что обратного пути не было. Путь был только вперед...

Невдалеке от тропки, сбоку, под коротким сбросом, Гастев вдруг разглядел что-то сваленное в кучу. Подошел и обомлел: из растерзанных мешков торчали людские останки, уже гниющие. Еще можно было определить, что зверь (медведь или шакал — кто знает!) пировал над трупами двух стариков — вероятно, умерших по пути на перевал и оставленных здесь в мешках их родственниками или просто попутчиками.

Похожая картина обнаружилась еще через пару часов. На этот раз, правда, было вырыто какое-то подобие могилы, сверху перекрытой камнями, но звери все разворотили и сделали свое. Гастев отшатнулся, инстинктивно сжал висящий на груди автомат и, ощущая дурноту, заспешил прочь.

Третье на пути смертное лежбище открылось за очередным поворотом (опять старик — вернее, то, что от него оставили любители падали), а следующее — много позже, когда, судя по положению солнца, было уже часа три-четыре и Гастев, миновав неглубокий распадок, опять резко подымался вверх. Тут, на крутом склоне, хоронить оказалось негде и несчастного лишь обернули мешковиной. Да, старики не выдерживали. Старики оставались на своей земле, и их трупы раздирали свои звери. Через перевал, в иную землю, исхода для них не было...

Солнце теперь светило прямо в глаза, и, значит, еще два-три часа, и придет вечер, а с ним сырость, тьма. Сверху уже веяло снеговым холодом, а небо над ближней вершиной наливалось тяжелой фиолетовой густотой. Стоило в последний раз решить: остановиться и ночевать здесь, еще до зоны снегов, или бросить вызов — себе ли? судьбе? — и осилить за оставшиеся часы этот пока невидимый отсюда перевал. Гастев подумал и выбрал последнее. Что его ждет впереди, он не знал, а что ждет здесь,

представлял отчетливо: ночевать на голом каменистом склоне просто-напросто невозможно, а спускаться обратно к лесам, чтобы с утра повторять уже пройденное, ну, это, решил он, просто идиотизм.

Значит, решил и пошел. Вскоре заметно похолодало. А когда спустя еще какое-то время нога впервые ступила на снег, Гастев понял, что, кажется, просчитался: до вершины, куда вела хорошо теперь приметная в снегу чернеющая тропа, было и далеко, и высоко, а опыт подсказывал, что это путь немалый, несколько часов. Да дело даже не в том, сколько, а в том, что без соответствующей одежды и обуви, в снегу по колено, а то и выше, этих часов просто не пережить. А тут ночь — и все.

Он остановился, поглядел вниз. Нет! До леса еще, наверное, можно было спуститься засветло, но он опять сказал: нет! — и сделал еще шаг по снегу. Затем еще и еще. И тут заплакал. Прокатились две струйки по давно не бритым щекам, и одна из них достигла рта. Гастев сглотнул — и этим вкусом как ожегся. Совершил еще пару судорожных вздохов и почувствовал, что успокаивается. Что-то растреснулось, но ожегшись горючей живой водой, срослось. Я жив, словно произнес кто-то. Я буду жить.

От резкого подъема опять забилось дыхание, опять отяжелели ноги. Каждый шаг давался с трудом, да еще приходилось дополнительно напрягаться, чтобы попадать в старые, оставленные прошедшими тут до него людьми следы: так получалось не столь глубоко. Впрочем, ступни уже отмерзли, а пальцы, кажется, потеряли чувствительность. Было еще светло (но более от снега, чем от неба), а вот холод пробирал нешуточный. Пот давно высох. Тупо, глухо. Еще шаг...

Он дал себе слово не глядеть наверх, но все-таки время от времени останавливался и вскидывал голову. Гребень хребта хоть и приближался нехотя, но было ясно, что засветло его не взять. Оставалось последнее: доесть остатки хлеба и тем хоть как-то пополнить силы. Так истекло около получаса, наверное. Впереди, но еще высоко, что-то зачернело, и, приблизившись немного, Гастев понял, что это голая, выпирающая из заснеженного склона скала. «Ну вот, дойду до этой скалы и лягу там помирать, — явилась спокойная мысль. — Больше не могу, все!.. А медведь сюда не поднимется, — подумал, вспомнив растерзанные трупы. — Вот и хорошо, очень хорошо. Значит, так...»

Свет заметно убывал — темнело. Снег еще белел, и на этом фоне скала казалась черной неоформленной массой, а то и вовсе черной дырой. Туда, туда... а зачем?.. Подъем к ней превратился в какую-то самоцель, будто и вправду там ожидал покой, конец пути, конец мукам, всему. Стоило в этом увериться, как покинули последние силы, и Гастев стал падать. Поднимался кое-как, делал пару шагов, промахивался мимо следа и падал опять. «Надо сбросить автомат!» — повторял, но сил не было уже и на это. Из-за падений отмерзли пальцы рук, а заодно и колени. Снег был жестким, комковатым, как отсыревшая крупа... После очередного падения подняться уже не смог — и пополз.

Теперь и колени потеряли чувствительность: ни холода, ни даже боли. Уже ухватившись наконец за ближний выступ скалы, Гастев решил, что надо все-таки попытаться ее обогнуть: там, должно быть, ветра поменьше да и вообще не так открыто. Решил и опять пополз. А когда вскоре действительно вполз в неглубокую выемку, похожую на пещеру, увидел там в сумраке человека.

Это был живой, явно живой... во всяком случае, еще жили его глаза, без выражения устремленные на внезапно появившегося на четвереньках пришельца. Ни удивления, ничего. Старик. В мохнатой шапке и во всем черном — кажется, в бурке. Сидел он, привалившись к отвесной каменистой стене, и не издавал ни звука, только глядел. Молчал и глядел, совсем осев на снег, и Гастев. Это длилось с минуту, пока не дошло окончательно: живой. Человек. Внизу были когда-то враги, по дороге сюда — лишь растерзанные трупы. Здесь же — человек. И Гастев пополз к нему.

Старик-техизец был бел: борода, брови, щеки, и даже веки его прозрачно светились, несмотря на окружающий сумрак. Когда Гастев подполз близко, почти вплотную, старик приоткрыл губы, и из черного провала его рта донеслись какие-то звуки. Может быть, слова — не разобрать. Потом он медленно, осмысленно кивнул и тихим сипом выговорил, уже по-русски:

— Ты — кто?

Гастев пожал плечами, хотел привычно ответить: «Врач», но, припомнив, что тут всех интересовало иное, сказал глухо, не узнав своего голоса:

— Я русский.

— Нет, — закачал старик головой. — Нет, — повторил уже шепотом, с усилием. — Я спрашиваю, кто ты? Там, внизу, я спрашиваю, кем ты был?

— Врачом я был. Лечил людей... Давно.

— А! — просипело дальше. — А!.. — И после паузы: — Значит, ты был с Богом, не забывал... Хорошо.

Он сомкнул веки и будто уснул.

— Дед! — позвал Гастев. — Де-ед!.. Дедушка, ты не умирай!

Тот открыл глаза, опять медленно кивнул:

— Я умру завтра. Я умру здесь. Не надо было идти на перевал. Стар. Девяносто... Я ее просил, Мариам, и ее детей: оставьте меня, идите, я хочу умереть. Они несли меня три дня. Зачем? Добрые глупые люди! Они хотели, чтобы дедушка жил там. Там дедушка жить не может... Три дня несли. Тут, вот здесь, я рассердился, приказал: все! Ну, не ослушались. Я их благословил. Они вернутся потом, когда внизу все пройдет. Все пройдет, время зла. Уйдут чужие, успокоится земля. Народ вернется, дети. А старики должны умереть. Старики, когда были молоды, народили глупых и слабых: ни разума, ни землю защитить. Все погибли здесь, и старики должны с ними тоже умереть здесь. Люди, если они не могут поддержать очаг и поддержать мир, не достойны своей земли... А дети вернутся, народят новых, народ. Умных и сильных... Только дети. Лишь бы дошли.

Он замолк, вновь прикрыл глаза. И так, будто откуда-то из глубин, продолжил, совсем уж тихо:

— А ты дойдешь. Ты был с Богом, не забывал, ты молод, ты дойдешь... Немного пути осталось — завтра к заходу и дойдешь. Там люди, тепло. Дойдешь. Дети и кто с Богом — доходят. Ты дойдешь.

Гастев задергал плечами и опять заплакал. Уже без слез, одними судорогами горла.

— Э! — старик открыл глаза. — Э, мужчина, что делаешь? Нельзя, нельзя!.. Ты еще до моего доживешь, понял? Вот так. — Гастев успокоился, и он позвал: — Смотри. Вот здесь, в бурке, еще хлеб, сыр, вино в бутылке. Зачем оставляете? — говорил я им. Все равно оставили. Значит, тебе оставили. Будешь есть, пить, потом спать. В бурке, вместе, не замерзнешь. Утром пойдешь. К вечеру дойдешь... Понял? А ты — так... как женщина... Давай, снимай свои чувяки, все снимай мокрое и садись рядом, под бурку... Вот, стащи ее с меня и накрой обоих, сам, а я не могу уже, силы ушли, эх, совсем ушли... Ну, вставай. Э, мужчина ты или нет? Да оружие свое убери, брось! К чему оно мне и тебе, зачем?..

Гастев все выполнил. Не сразу, но в конце концов устроился рядом с дедом, накрылся с ним вместе и, чувствуя, как медленно согревается, начал есть. А после нескольких глотков вина обдало жаром и стало размаривать. Дед от пищи отказался и только раз мелко отхлебнул из горлышка.

Выплеснулись из мрака звезды. Теперь их было так много, будто всем места не хватало или вовсе зажглись лишние. Они объемно выпирали, свешиваясь, и тут, на высоте, показалось, что достать их рукой, коли подпрыгнуть, — не проблема. Но сил на прыжки не оставалось. Сил осталось, чтобы улечься рядом с дедом, сжаться калачиком по-детски и напоследок почувствовать, как остро пахнет снегом, шерстью бурки, кисловатым овечьим сыром... и чем-то еще, почти неуловимым, не определяемым словами... может быть, самим этим дедом, сегодня еще живым... наверно, самой еще жизнью, да...

Юрий Кублановский

В ОТЕЧЕСТВЕ ПЕРЕД РАСПАДОМ

* * *

В отечестве перед распадом
взамен сердец
сосредоточился в лампадах
его багрец.
И помнит изморозь в окопе,
вернее, соль земли
про галактические копи
свои вдали...

Ведь даже атомы в границах
трущоб-пенат
вдруг преосуществились, мнится,
поверх оград
в заряд шрапнели,
накрывший цель.
И страшно заглянуть в немые колыбели
родных земель.

До судного недолго часа
уже огням
лепиться у иконостаса,
преосвещая нам,
что ставит грозную заграду,
врачуя и целя,
гражданской смуте бесноватой
рука Спасителя.

* * *

Каким Иоаннам, Биронам
и Стенькам поклонимся мы,
провидит, должно быть, ворона,
игуменья здешней зимы,
раз каркает властно над нами:
мол, дети, о чем разговор?
И красными сосны стволами
нас манят в кладбищенский бор...

Всевышний, прости наши до́лги.
Прощаем и мы должникам
— в верховьях отравленной Волги
клубящимся облакам.
Скудны по-евангельски брашна
и тленна скудельная нить.
Как стало таинственно, страшно
и, в общем, невесело жить.

Усопшие взяты измором,
кто водкой, кто общей бедой.
Хлам старых венков за забором,
пропитанный снежной водой:
воск роз, посеревший от ветра,
унылый слежавшийся сор
— как будто распахнуты недра
отечества всем на позор.

* * *

Многозвёздчатая, неимущая,
приютившая нас задарма,
неизбывно на убыль идущая
васильковая тьма.
Будет время в пространстве накатанном,
что разверзлось вплотную к стеклу,
погибая, жалеть о захватанном
зипунишке в медвежьем углу.

Наши судьбы вмещают невместное:
потупляя глаза,
сотвори скорей знаменье крестное,
если вдруг примерещится за
амбразурами дачного домика,
что встает на пути,
тень дельца теневой экономики
во плоти.

Небеса с истребителя росчерком.
И за давностью лет
я и сам оказался подпольщиком,
появившимся только на свет
знаменитого сыском отечества.
Ибо благовест издали вдруг
утишает в душе опрометчиво
и мятеж и испуг.

...Где над вечным покоем униженным
на краю покровца не поблёк
с материнским умением вышитый
василёк.
обнадежит мольба, что колодники,
серый конгломерат лагерей
— нынче наши заступники, сродники,
сопричастники у алтарей.

* * *

Когда роковая блестит на
дневном небосклоне звезда,
где столь бескорыстно, безбытно
ты вить не спешила гнезда,
платок не вмещает убогий
разброс твоих косм золотых
и кисть тяжела от немногих
заветных колец родовых.
Недаром ты в силе и праве
в последние впрямь времена
читать в просквоженной дубраве
напутствия и имена

давно погребённых счастливцев.
Ну, кто из них уговорил
вдруг с места сорваться синицу,
нахлебницу здешних могил?

Туземцы при этом режиме,
мы сделали всё, что могли:
наощупь в отеческом дыме
навстречу погибели шли
и слабые силы копили
для мести какой, может быть,
но вдруг обреченно открыли,
что нечем и некому мстить.

...С приходом над дрёмным простором,
где в детстве крестили тебя,
и тамошним аввою в створах
таинственного алтаря,
землей обескровленной нашей
со льдом иссякающих рек
— мы связаны общею чашей
и общей просфорой навек.

* * *

Ветер ерошит зеленое
под раскаленным пятном
солнца, не двигая оное,
— в небытие за окном.
Но не пасует безбытное
вместе с беспутным моим
разом простое и скрытное
сердце твое перед ним.

Иль луговина не вымерла,
в чьих колокольчиках есть
от Соловьева Владимира
заупокойная весть?
Или в по-новой озвученной
старой руине сейчас
на крестовине замученный
ждет прихожанина Спас?

Впрочем, когда тут от нечего
делать идут по пятам
и погибает отечество,
до воскресенья ли нам?
И над зазывною пропастью
с первым снежком в бороде
поздно уж вёсельной лопастью,
бодрствуя, бить по воде...

С нами емельки рогожины
вместо покойной родни.
Нашей слезой преумножены
сторожевые огни
в стане свечном перед ликами.
Стало быть, нынче в чести
в нашем народе великая
мысль **о последнем прости.**

1991

Семен Липкин

«СУДЬБА СТИХА — МИРОДЕРЖАВНАЯ»

О ПОЭЗИИ ЮРИЯ КУБЛАНОВСКОГО

...Перед поэтом, который мыслит (а кто не мыслит, тот не поэт), с начальной его литературной поры встает вопрос: стать ли ему свежим побегом на старом, но прочном дереве, или попытаться его срубить и на пеньке отбивать чечетку? Плыть ли к неведомым берегам, пользуясь при этом, однако, проверенными лоцманскими картами, или выбросить их за борт и лишь потом пуститься в плавание.

Жизнь показала, что нового цветения, новых земель достигает лишь тот, кто выбирает первые две возможности. Так поступил Юрий Кублановский.

Любая стихотворная просодия срастается, сливается с языком. Та просодия, которую привили нам Ломоносов и Тредиаковский, естественно, победно и чудесно сроднилась с лирической русской речью, и все попытки сломать ее кончались неудачей даже у людей одаренных, потому что язык поэзии — это язык той почвы, на которой она крепла и разрасталась. Новизна — развитие, а не разгром.

В начале года в «Независимой газете» (17.1.1991) Юрий Кублановский опубликовал примечательную статью «О ничтожности советской литературы» — примечательную своим бесстрашием, заключающимся не столько в политической позиции автора, сколько в том, что в наши дни, когда столь энергично распространяется отрицание извечных основ русской литературы, Кублановский заявляет: «Учительство» великой русской литературы — ее драгоценное качество, надо суметь ненасильственно и органично возродить его во всей его полноценности, ибо в противном случае мы останемся лишь провинцией, периферией современного литературного мира (...), повторяя его зады и соучаствуя лишь в духовном упадке цивилизации».

К возродителям принадлежит и сам Ю. Кублановский. Он, казалось бы, использует традиционные метры, привержен строгой строфике, лишь изредка отступает от классической рифмы. Так почему же, читая Кублановского, дышишь новизной, почему слушать музыку его строф — наслаждение?

Потому что утренней свежестью веет от музыки его стиха, потому что отработанному метру он придал свой неповторимый ритм... Иосиф Бродский верно заметил, что «Кублановский обладает, пожалуй, самым насыщенным словарем после Пастернака».

В триптихе о К. Батюшкове, «гейлесбергском герое, италийском младенце», Ю. Кублановский говорит о бессмертии, о вечной жизни — «ибо наша словесная вязь неотмирна и сама по себе». Чудо поэзии, ее тайна — в загадочном соединении почвеннического начала и — неотмирности.

Кублановский нов, неожидан, резок — потому что традиция для него не клетка, не замкнутое пространство, а вольная степь, волшебный лес.

Когда-то Мандельштам поведал нам о пятиглавых московских соборах «с их итальянскою и русскою душой». Иначе увидел их Кублановский:

Мне снилось золото Великого Ивана,
цветастые шипы Блаженного Корана.

Кублановский — мастер воцерковленный, православный: не кощунствует ли он, узрев в русском храме цветастость Корана? Не кощунствует, ибо его вера, глубокая и творческая, никогда не отъединяет его от отечественной истории, от России с ее татаро-монгольскими и угро-финскими красками. Вот почему ему кажется, что московские «в тулупах вышитых девицы/ похожи чем-то на татар», что «восток пришел в Москву и победил Москву». Но он приемлет — обогащая — и правоту Мандельштама: «Из лебяжьего камня Успенский собор,/ итальянская песня — татарам в укор».

Мне неизвестны ранние стихи Кублановского; когда мы познакомились (благодаря участию в альманахе «Метрополь»), он был уже зрелым поэтом, материально бедствующим, но откосящимся к неустроенности с беспечной веселостью. С завораживающей искренностью пишет он о своих молодых годах:

Отрок пылающий, отрок неправый
был под хмельком,
под гебистской облавой
шпагоглотателем книг.

Он подвергался преследованиям с самого начала своего творческого пути. Вина его была извечной виной поэта: он писал не для того, чтобы служить, а для того, чтоб дышать. Уже в эмиграции он вспоминает о своем провинциальном детстве в послевоенные годы, отнюдь не напрашиваясь, однако, на сострадание:

Я пек там картошку в золе,
чей жар посегодня во рту,
играл на бесхозном дворе
с потомками красных в лапту,
и сколько бы сытно не ел,
затягивал туже ремень
и из-под ладони глядел
на главку с крестом набекрень
и громкий вороний кагал.
Давно из игры
той выбыл я, облюбовал
иные миры.

В семидесятые годы жить в Москве становилось все опаснее, Кублановского стремились вытеснить за рубеж, стращали лагерем и дурдомом. Начитанный, многознающий искусствовед, поэт милостью Божьей, он был рад удаче устроиться сторожем или истопником при московском храме. Но уже и это сделалось невозможно, и тогда он спасался бегством из столичного «караван-сарая», «где лубянский застенок глядит Метрополю в торец», исколесил всю Россию, работал на Беломорье вместе с теми, кого принято у нас называть «бичами»:

Я за эти-то годы привык бичевать,
по ничейным углам, где хочу,
ночевать,
переслаивать явью мороку,
утекать из столицы на явочный свист
присносущного ветра, где берег,
скалист,
западает в осоку.

Тому, для кого русское слово — жизнь, цитировать Кублановского хочется еще и еще: так весом, гибок и точен его язык.

В зарубежье у Кублановского вышло четыре объемных сборника, на родине — только тонкая книжка Библиотеки «Огонек».

Немало в этих книгах стихов о любви.

Схизма нашей любви и нежна,
и сурова:
изумрудный огонь,
с каждой новой зимой
обжигающий снова
и глаза, и ладонь.

Как это часто у Кублановского, здесь соединены слова, казалось бы, несовместимые, далекие друг от друга — «схизма любви», но они с неожиданной точностью и непререкаемостью вводят в суть дела. А иногда вспыхивают мелкие трогательные подробности встречи двух влюбленных, напоминающие «прозаические» открытия Ахматовой: «И я уже выкурил треть папироски, / а ты, драгоценная, дышишь и спишь».

Зимой 1982 года в бедном пристанище поэта в дальнем Подмосковье прокуратура провела многочасовой обыск, потом на Лубянке ему сказали: в гениях вам ходить не дадим. И выпроводили на Запад, чтобы не ходил по родной земле. (С удивлением и горечью прочел я в «Литературной газете» заметку Т. Рассказовой «Филологическая ностальгия» — о поэзии Юрия Кублановского, где среди прочего есть и такая жестокая фраза: «Литераторы-эмигранты у нас ходят все в мучениках (...), должны быть признаны поголовно гениями». Повторение пройденного. Странно было увидеть такую статью в стиле «позднего застоя» в стремящейся не отстать от века газете.)

Но поэт всегда сильнее насилия.

За несколько лет до изгнания Кублановский писал:

Россия, ты моя!
И дождь сродни потопу,
и ветер, в октябре
сжигающий листы...
В завшивленный барак,
в распутную Европу
мы унесем мечту о том, какая ты.

Чужим не понята. Оболгана своими
в чреде глухих годин.
Как солнце плавкое в закатном
смуглом дыме
бурьяна и руин,
вот-вот погаснешь ты.
И кто тогда поверит
слезам твоих кликуш?
Слепые, как кроты,
на ощупь выйдут в двери
останки наших душ.

...Россия, это ты
на папертях кричала,
когда из алтарей сынов везли
в Кресты.
В края, куда звезда лучом
не доставала,
они ушли с мечтой о том, какая ты.

Важное для автора стихотворение! — Глубокая страстная мысль, живопись, музыка, боль.

Позднее, в Париже, поэт откажется от простых ассоциаций, постепенно перейдет к гораздо более сложным, порой загадочным: начнет «переслаивать явью мороку», но мне дороже и ближе золотая ясность его прежних стихов. Читая сборники Ю. Кублановского, можно сначала подумать, что поэт как бы продолжил «парижскую ноту», особенно щемяще выраженную у Георгия Иванова; но нет, другая семантика, другая речь:

Сын, мужавший за семью замками
от моих речей,
все равно когда-нибудь глазами,
честный книгочей,
пробежишь хоть по диагонали
эти горбыли —
жидкие парижские скрижали
бати на мели...

«Батя на мели» — это слова человека из Советской России уже нашего времени, так бы не выразились ни Поплавский, ни Ходасевич.

Любовь к родине Кублановского не совсем обычная, я бы сказал, не совсем привычная для эмигранта. Она словно сливается с любовью к женщине, и женщина эта, как и Россия, не всегда праведна, не всегда добра. Но и на чужбине в поэте не умирала уверенность, что он вернется на родину своими книгами: «Шустрящим сусликом, / медлительным червем / я в землю русскую / еще вернусь потом».

Религиозность Кублановского созрела не сразу, она не дань нынешней моде (в которой, однако, я ничего дурного не вижу, это в любом случае лучше, чем прежние моды). Углубляясь в лирику поэта, мы сначала осторожно, потом радостно проникаем в глубины религиозного миропонимания. В конце концов трансцендентность присуща нашей поэзии изначально. Она навеки задана и заповедана нам ее основателями — Ломоносовым и Державиным. Тут дело именно в трансцендентности — в большей степени, чем в принадлежности к определенной конфессии. Достаточно напомнить о поэзии Фета: не будучи ортодоксально православным, он создал насквозь религиозную лирику...

А воинствующий атеизм соотносится с истинной поэзией, как дьявол с Богом.

Для меня религиозная философия Льва Толстого всегда была откровением, однако не могу без волнения читать и такое:

В лжеучении Толстого
есть над чем всплакнуть,
от Козельска до Белёва
коротая путь...

Признаться, резануло меня поначалу это словцо — «лжеучение», но стихи и против желания хватали за душу: хотелось «всплакнуть» вместе с автором.

Еще одна важная строка, зачинающая стихотворение 1987 года:

Судьба стиха — миродержавная,
хотя его столбец и краток,
коль в тайное, помимо явного,
заложен призрачный остаток.

Нерукотворное — содеется,
но до конца не дастся в руки,
спасется — не уразумеется
ни встреченное, ни в разлуке.

Казалось бы, давно за скобками
судьбы — Отечество и вера
в орла с змеиными головками,
как всякая земная мера.

Ах, с вьюгою разноголосою
скольженье по тропе неровной,
что танец с голубоволосою
Елизаветою Петровной...

Сначала может показаться, что это стилизация в духе поэтики XVIII века. Но нет, Державин был в таких случаях пессимистом. Он считал, что звуки лиры иль трубы пожрутся жерлом вечности, а наш поэт уверен, что в нынешние холодные и метельные, знойные и трудные дни судьба стиха может вывести к свету. Она — миродержавная. Понадеемся, что так и будет. Потому что, выражаясь строкой Жуковского, «Жизнь и поэзия — одно».

Андрей Сахаров

ГОРЬКИЙ, МОСКВА, ДАЛЕЕ ВЕЗДЕ

Глава 4

ЗА РУБЕЖ

20 октября также, по совпадению, получил разрешение еще один относящийся ко мне вопрос — Политбюро ЦК КПСС отменило запрет на мои поездки за рубеж. В таком решении были крайне заинтересованы Велихов и другие руководители Фонда. Велихов дважды обращался к Горбачеву с письмами по этому поводу и наконец решился напомнить ему об этом лично во время приема президента Бразилии. Горбачев сказал, что вопрос будет поставлен на Политбюро. Но, вероятно, самое главное, что к этому времени по просьбе Велихова Юлий Борисович Харитон дал письменное поручительство за меня (кажется, он потом повторил его устно на заседании Политбюро 20 октября). Я не знаю, что именно написал Ю. Б. в своем поручительстве — то ли что я не могу знать ничего, что представляет интерес после 20 лет моего отстранения от секретных работ, то ли что я человек, которому безусловно можно доверять и который никогда ни при каких условиях не разгласит известных ему тайн. Во всяком случае, поручительство возымело свое действие. Это необычное действие Харитона безусловно было актом гражданской смелости и большого личного доверия ко мне.

6 ноября я впервые в своей жизни выехал за рубеж для участия в заседании Совета директоров Фонда. Меня также использовали для многочисленных выступлений на собраниях потенциальных или реальных донаторов Фонда. Визнер придавал особое значение такого рода деятельности. Фонд крайне нуждался в материальной поддержке (ведь он со своими дорогостоящими поездками через океан постоянно находится на грани банкротства) и не менее — в моральной поддержке. Мне многие говорили, что весь авторитет Фонда основывается на моем личном участии в нем. Было также много встреч по ранее полученным мною приглашениям, по моей инициативе и встреч с государственными деятелями. В эту первую поездку я поехал без Люси. Мы многократно ранее заявляли, что не претендуем на совместную поездку — чтобы не затруднять принятие решения обо мне. Сейчас мы не могли отступать от своих слов. Кроме того, Люсе было необходимо поработать над ее второй книгой. После моего отъезда несколько дней ей пришлось пробивать поездку защитной группы (Ковалева, Чернобыльского и др.). Сотрудники Московской конторы Фонда оказались совершенно неспособными к подобного рода несложной организационной деятельности.

Сразу по прибытии в Нью-Йорк, а затем Бостон меня встретили толпы корреспондентов с лампами-вспышками и микрофонами. На пресс-конференции в Бостоне я говорил о противоречивом характере происходящих в нашей стране процессов, об августовских Указах, о дефектах реформы Конституции и выборной системы. Я также говорил о крымских татарах, о Нагорном Карабахе, об оставшихся в заключении узниках совести — Мейланове, Кукобаке (теперь они на свободе). Все эти темы потом вошли в большинство моих публичных выступлений в эту и следующую зарубежную поездки. На фондовых встречах я говорил о своих сомнениях относительно Фонда (выступая в Метрополитен-Музеум, я сравнил Фонд с мюгоножкой из известной притчи, у которой так много ног — я имел в виду директоров и аппарат, что она не знает, с какой ноги начать, и поэтому

Окончание. Начало см. «Знамя» № 9 за 1991 г.

не может сдвинуться с места; к слову сказать, в Метрополитен в это время как раз проходила замечательная выставка Дега, и нам с Таней показали ее). Визнер был очень разочарован тем, что я недостаточно рекламирую Фонд. Но я не мог говорить не то, что думаю. Велихов и Визнер рассчитывали собрать несколько миллионов долларов, до 10. Собрали очень мало, менее миллиона, и я был, видимо, плохой приманкой для донаторов. Заседание Совета директоров тоже разочаровало меня. Там не было никаких ярких тем или обсуждений. Единственная новая тема — о создании устройства для уничтожения ракет с ядерными зарядами, если обнаружится, что они запущены по ошибке. Но это тема не для финансируемых Фондом исследовательских групп, а для дипломатов и научно-конструкторских бюро, занимающихся ракетами, их управлением и средствами связи с ними. На заседании был решен вопрос о создании Группы проекта для рассмотрения проблем свободы передвижения и свободы убеждений в СССР и США и пенитенциарной системы в СССР, США и Швеции. Как я уже писал, меня удручает сугубо академический характер этих работ в сочетании с торжественным преувеличением их значения. Может быть, я что-то не понимаю? В моих встречах с государственными деятелями — Рейганом, Бушем (тогда вновь избранным президентом), Шульцем, Маргарет Тэтчер — тоже было много вопросов о правах человека. Похоже, что я пожинаю плоды собственной активности в 70—80-е годы. Вполне законным был вопрос об условиях проведения в СССР международной конференции по правам человека. Этому в основном были посвящены встречи с Шульцем и Маргарет Тэтчер. Но эти встречи проходили до новых событий в СССР, в особенности до ареста членов Комитета Карабах. Правда, еще через полгода их освободили (до суда) из-под стражи. Эти изменения наглядно показывают противоречивость и малую предсказуемость происходящих в нашей стране процессов, необходимость осмотрительности, в особенности при принятии долгосрочных решений.

Рейган произвел на меня впечатление обаятельного человека. Я пытался говорить с ним о проблеме СОИ в широком аспекте проблем международной стратегической стабильности и общих перспектив разоружения. Мне кажется, что Рейган как-то отключался от моих аргументов и повторял то же самое, что он всегда говорит, — что СОИ сделает мир более безопасным. К сожалению, то же самое я услышал от Теллера. Я встречался с ним в день его юбилея. Минут тридцать мы поговорили с ним до начала торжественного заседания в огромном зале, где множество людей в парадных туалетах уже собрались за столиками, готовые слушать ораторов. Теллер сидел в глубоком мягком кресле в полумраке. Я сказал несколько слов о параллелях в нашей судьбе, о том уважении, которое я чувствую к нему за занимаемую им принципиальную позицию, вне зависимости от того, согласен я с ним или нет. Потом я это повторил в публичном выступлении в других словах. Теллер заговорил об ядерной энергетике, тут у нас не было разногласий, и мы быстро нашли общий язык. Я навел разговор на СОИ, поскольку именно ради выяснения глубинных основ его позиции в этом вопросе я приехал. Как я понял, основное, что им движет, — принципиальное, бескомпромиссное недоверие к СССР. Технические задачи всегда могут быть решены, если возникает настоятельная необходимость. Сейчас стала в повестку дня задача создания системы защиты от советских ракет, и она может и будет решена. Щит лучше, чем меч. За всем этим стоит подтекст — мы должны сделать такую защиту первыми, вы пытаетесь нас запутать, отвлечь в сторону, сбить с правильного пути и сами втихомолку делаете то же самое уже много лет. У меня уже не было времени отвечать, нас позвали в зал. Теллеру было трудно идти, кто-то его поддерживал. В зале меня ждала Таня, она сказала: «У вас на выступление только 15 минут, иначе мы опоздаем на последний шатл». Я действительно уложился в 15 минут: 5 минут о судьбе и принципиальности, вспомнил, что Теллер поддерживал Сциларда в вопросе о Хиросиме; 5 минут о роли идеи гарантированного взаимного уничтожения; 5 минут о военно-экономической и технической бесполезности СОИ, о том, что она только поднимает порог стратегической стабильности в сторону бо́льших масс оружия.

Я также сказал, что СОИ провоцирует переход неядерной войны в ядерную, что она увеличивает неопределенность стратегической и научно-технической ситуации и тем способствует возможности трагически опасных

действий — от авантюризма или от отчаяния, что она затрудняет переговоры о разоружении. По окончании выступления Таня и Рема схватили меня под руки и буквально выволокли из зала. Я только успел попрощаться с Теллером и помахать рукой залу. Потом какая-то газета писала, что Сахарова уволокли приставленные к нему агенты КГБ. При выходе из зала меня приветствовал военный в парадной форме, весь в орденах и аксельбантах, пожелал успеха. Я чуть было не ответил ему тем же. Это был генерал Абрахамсон, руководитель программы СОИ.

При встрече с Бушем я говорил о том, как важно, если США примут доктрину отказа от применения ядерного оружия первыми. СССР при этом тоже должен будет подтвердить в законодательном, конституционном порядке свой прежний отказ. При этом возникнет гораздо большее доверие и создадутся предпосылки для достижения стратегического равновесия в области обычных вооружений. Сейчас наличие ядерного оружия, которое якобы может быть в случае необходимости применено первым, создает только иллюзию безопасности. Ядерная война — самоубийство человечества, и никто не решится ее начать, ведь ясно, что при вступлении на этот путь неизбежна эскалация, остановить ее будет невозможно. Нельзя угрожать тем, что никогда не будет применено. Но иллюзия ядерной безопасности гарантированного уничтожения имеет и другую сторону. У Запада нет достаточного внимания к обычным вооружениям. Буш достал из кармана групповую семейную фотографию — люди разных поколений на каких-то скалах на берегу моря. Он сказал: «Вот гарантия того, что мы никогда не применим ядерное оружие первыми. Это — моя семья: жена, дети, внуки. Я не хочу, чтобы они погибли. Такого не хочет ни один человек на Земле». Я: «Но если вы исходите из того, что не будете первыми применять ядерное оружие, об этом необходимо официально заявить, закрепить в законе». Буш промолчал.

Я не перечисляю всех других встреч и бесед в Вашингтоне и Нью-Йорке — их было много. Упомяну лишь беседу в Институте Кеннана, которую вел П. Реддавей.

Вторую часть своего срока пребывания в США я пытался избегать официальных встреч, поочередно жил в домах Тани-Ремы и Лизы-Алеши в Ньютоне и Вествуде (около Бостона), общался с детьми и внуками. Я впервые увидел дочь Лизы и Алеши Сашу. Она мне очень понравилась — живая, умная, смелая и в то же время ласковая. Появление Саши, напомню читателю, стало возможным в результате борьбы за приезд к мужу ее будущей мамы (можно ли так сказать? будущей ведь была Саша).

Я за эту вторую («тихую») часть своего пребывания в США много работал над книгой, я надеюсь, что в какой-то мере приблизил ее затянувшийся выход в свет. Встречался с людьми из Эмнести, дал им телеинтервью о смертной казни.

В это время вновь обострились азербайджанско-армянские проблемы. Начались погромы и насилия в Кировабаде. Ситуация там была ужасающей, сотни женщин и детей скрывались в церкви, которую с трудом обороняли солдаты, вооруженные лишь (так писалось в сообщениях) саперными лопатками. Солдатам действительно было трудно, и вели они себя героически. Среди них были погибшие. Вскоре поступили сообщения о большом числе убитых армян. Как потом выяснилось, сообщения поступали от одного человека, не вполне точного и ответственного, скажем так. Но в Москву они поступали уже по разным каналам и выглядели как независимые и достоверные. Люся, поверив этим сообщениям (да и трудно было не поверить), передала по телефону их мне в США, и я использовал сообщенные цифры в телефонограмме Миттерану (он как раз приехал в Москву с официальным визитом, и я звонил ночью во французское посольство) и в публичном заявлении. Это была одна из нескольких допущенных мною в последние годы досадных ошибок. Конечно, не надо было, по крайней мере, использовать конкретные цифры.

В первые дни декабря в США приехал М. С. Горбачев. Он выступил на Генеральной Ассамблее с большой речью, в которой сообщил о решении советского правительства сократить свои вооруженные силы на 10% и вывести часть войск из Восточной Европы. Это, конечно, было необычайно важное заявление, акт большой государственной смелости. Вместе с тем, я продолжаю думать и настаивать, что вполне возможно гораздо большее сокращение армии (с несравненно большими внешне- и внутриполитическими последствиями) — на 50%, причем реальное сокращение такого масштаба возможно лишь в результате уменьшения срока службы в армии.

Сегодня, когда я пишу эти строчки, поступило сообщение о том, что Верховный Совет принял решение отозвать из армии студентов, призванных со второго курса в прошлом году (в этом году уже не призывали). Это очень радостное известие. Среди демобилизованных будет мой племянник Ваня Рекубратский, сын Маши.

7 декабря, в дни пребывания Горбачева в США, произошло ужасное несчастье — катастрофическое землетрясение в Армении, сопровождавшееся огромными человеческими жертвами и разрушениями. Горбачев прервал свою поездку и вскоре из Москвы вылетел в район бедствия.

В те же дни, а именно 8 декабря, я должен был по приглашению Миттерана лететь в Париж, на торжественную встречу, посвященную 40-летию Всеобщей Декларации прав человека. Я заранее, еще 7-го числа, узнав от Люси по телефону о землетрясении, написал обращение с призывом о международной помощи Армении, раздавал его корреспондентам в аэропортах и зачитывал на пресс-конференциях. Я прилетел в Париж утром 9 декабря (вместе с Эдом Клайном и его женой Джилл). Вечером туда же прилетела Люся из Москвы по приглашению жены президента Даниэль Миттеран. До ее приезда я успел дать краткое интервью в аэропорту, потом состоялась пресс-конференция в советском посольстве (я согласился на ее проведение еще в США, по телефону) и вечером телеинтервью по популярной французской телепрограмме Антенн-2. Еще в аэропорту меня встретила Ирина Алексеевна Иловайская-Альберти, редактор «Русской мысли». Люся ее знала еще с 1975 года и была с ней в очень хороших отношениях. Я познакомился с Ириной Алексеевной в США, куда она специально приезжала. Впоследствии, когда я узнал ее ближе, я тоже вполне оценил ее. Я пригласил Ирину Алексеевну присутствовать на пресс-конференции, она пошла туда, заметив, что впервые идет в советское посольство. На пресс-конференции я был в центре внимания, но кроме меня там был Бурлацкий и кто-то из его группы, они тоже приехали на 40-летие Всеобщей Декларации. Я говорил то же самое, что всегда, быть может даже чуть-чуть резче, чем обычно. Я говорил, что сотрудничество Запада с СССР должно вестись с открытыми глазами, с тем чтобы оно способствовало перестройке и поддерживало новые силы. Тут произошел такой эпизод. Бурлацкий, как бы резюмируя мое выступление, сказал, что Запад должен поддерживать перестройку всеми средствами безусловно. Мне пришлось перебить его и сказать, что смысл моего выступления прямо противоположный — никакой (долгосрочной) безусловной поддержки, только такая политика, при которой ясно, что поворот от перестройки будет означать конец сотрудничества Запада и нашей страны. Из группы Бурлацкого выступал какой-то медик и говорил страшные вещи про нашу педиатрию — большая детская смертность, отсутствие лекарств, хороших больниц, одноразовых шприцев, и т. п. На пресс-конференции мне был задан вопрос об использовании в СССР психиатрии в политических целях. Отвечая на этот вопрос, я, в частности, обращаясь к редактору «Русской мысли» (в этой газете были по этому поводу напечатаны два письма Подрабинека), сказал, что в моей статье в сборнике «Иного не дано» есть неудачная формулировка: не имея точной и представительной статистики, я не должен был утверждать (основываясь лишь на личном впечатлении и личном опыте), что большинство людей, преследуемых по политическим причинам, не являются здоровыми. Эта моя фраза — ошибка.

На следующий день была большая официальная программа. Мы с Люсей имели содержательные, неформальные беседы с премьером Франции и президентом. Нас принимали как гостей Республики — так нам объяснили — с исполнением «Марсельезы» и великолепием церемониала. Трудно было сохранить достаточно важный вид, когда нас вели между двумя рядами гвардейцев в парадной форме, с обнаженными палашами, опущенными к нашим ногам. Основными темами бесед были — трагедия Армении и важность международной помощи, проблема Нагорного Карабаха, вопрос о судьбе иракских курдов. Последний вопрос мы считали необходимым обсуждать, так как знали, что Ирак направил часть своих военных сил, освободившихся после прекращения военных действий ирано-иракской войны,

против курдов. В особенности нас волновали сообщения о применении против курдских деревень отравляющих веществ. Мы говорили о курдской проблеме во Франции, учитывая ее тесные связи с Ираком. Премьер-министр Рокар и президент Миттеран подтвердили, что правительство Франции озабочено событиями в иракском Курдистане. Правда, Рокар выражал сомнения в точности сообщений о применении отравляющих веществ (Миттеран — нет). Рокар сказал, что проблема является очень деликатной, затрагивает сложные международные отношения и интересы. Лидер иракских курдов Барзани-младший (сын известного в прошлом лидера) во время войны якобы сотрудничал с Ираном. Рокар и Миттеран заверили нас, что вопрос находится в центре внимания, уже принято (или готовится, не помню) решение о приостановке военной помощи Ираку. Что касается других санкций, то это дело очень сложное, неоднозначное по своим последствиям. Разговоры продолжались во время обеда у Миттерана и во время ужина после торжественной церемонии во дворце Шайо. На ужине я сидел с госпожой Даниэль Миттеран, она говорила о своих планах помощи жертвам землетрясения и беженцам армяно-азербайджанского конфликта. Люся сидела между Миттераном и Генеральным секретарем ООН Пересом де Куэльяром. Она пыталась использовать предоставившуюся ей возможность контакта с Генеральным секретарем ООН для разъяснения ему армяно-азербайджанских проблем. Переводчица находилась около меня, так что Люсе пришлось изъясняться по-английски самой, и она после мне сказала, что безумно устала за эти полтора часа. В конце ужина Перес де Куэльяр и Люся подошли к нашему столу, и Куэльяр сказал, что, если бы он знал об армянских проблемах то, что рассказала ему моя жена, он мог бы поставить эти вопросы перед Горбачевым во время их встреч в Нью-Йорке. Но он ничего не знал. Позже Алеша высказал некоторые сомнения относительно его незнания, т. к. незадолго до этого Генеральному секретарю были посланы армянскими организациями в США материалы о Нагорном Карабахе.

Еще до приезда Люси я вместе с Эдом и Джилл и приставленными ко мне сотрудниками французских сил безопасности совершил небольшую поездку по Парижу. Мы видели Собор Парижской богоматери, зашли внутрь. Это действительно удивительное создание человеческого труда и духа. Можно представить себе, что чувствовал человек 12-го или 13-го века, входящий под эти великолепные, вознесенные ввысь своды, так отличающиеся от того, что окружает его в повседневной жизни. Конечно, мы все в детстве читали Гюго, и образы его книги тоже присутствуют в нашем воображении.

11 декабря мы с Люсей продолжили осмотр Парижа. Люся в 1968 году провела в Париже около месяца, она была одна и свободно ходила, где хотела. Сейчас у нас не было и малой доли тех возможностей, больше же всего сковывало наличие «секьюрити». Все же мы поднялись на Монмартр, посмотрели церковь Сакре-Кэр и видели знаменитых уличных художников. Хотели спуститься на Пляс Пигаль и купить там чулки с люрексом (я говорю в шутку — с люисом) для наших московских девиц-модниц, но «секьюрити» не разрешили, опасаясь большой толпы и уголовников. Действительно, когда мы проходили по соседней улице, в подворотне мы видели весьма специфическую группу молодых людей со злыми наглыми лицами, с руками в карманах, где вполне можно было предполагать все что угодно — кастет, свинчатку, складной нож с пружиной. Чулки мы купили в безумно дорогом магазине и не совсем такие, как хотели. Проезжая по улице, где расположены секс-магазины и кинотеатры, демонстрирующие картины соответствующего содержания, мы вдруг увидели в окно машины мирно идущую по тротуару знакомую пару. Это были Булат Окуджава с женой. Потребовалось приехать в Париж, чтобы их увидеть... Мы пообедали в итальянском ресторанчике с Ирой Альберти и Корнелией Герстенмайер, которая специально приехала из ФРГ, чтобы нас повидать (я видел ее впервые). К слову сказать, мы выяснили, что цены во Франции, вообще говоря, выше, чем в США, и это не компенсируется уровнем зарплаты. В дни нашего пребывания в Париже на всех улицах города были страшные пробки. Причина — забастовка работников метро, все, кто обычно им пользовался, ехали на собственных машинах. Нас выручала полиция сопровождения — бравые мотоциклисты с жезлами, которые на большой скорости лавировали между машинами, наклоняясь иногда больше чем на 45 градусов.

Вечером мы встретились с нашими друзьями — французскими учеными (в основном, математиками и физиками) в доме одного из них, не помню кого именно. Приехал также Юра Орлов. Вероятно, французы больше других помогали нам в наши трудные годы, я глубоко им благодарен. Квартира, в которую нас привезли, находилась на пятом или шестом этаже старого парижского дома. Было приятно оказаться там среди друзей. Мы очень интересно поговорили «за жизнь», т. е. о положении в Советском Союзе и «куда мы идем». Когда расходились уже поздно ночью, Юра сказал: мне приятно, что мои представления оказались не совсем оторванными от действительности. В этот же (или следующий) вечер мы встречались с Володей Максимовым. Он, как всегда, в пылу борьбы с «носорогами» и их пособниками и пособниками пособников. Зашла речь о Горбачеве. Володя сказал: «Его «вычислило» КГБ, учитывая его положительные и отрицательные качества. Сейчас Горбачеву нет альтернативы, и мы обязаны с этим считаться». Состоялась у нас также встреча с Лехом Валенсой, с министром Франции по правам человека и с Гарри Каспаровым.

Глава 5

АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, КАРАБАХ

13 декабря мы вылетели в СССР. В Москве к нам пришла группа ученых, имея на руках проект разрешения армяно-азербайджанского конфликта. Это, конечно, сильно мною сказано, но, действительно, у них были интересные, хотя и далеко не бесспорные идеи. Они — это три сотрудника Института востоковедения — Андрей Зубов, фамилии других я не помню. Вместе с ними пришла уже знакомая нам Галина Васильевна Старовойтова, сотрудница Института этнографии, давно интересующаяся межнациональными проблемами. Зубов, развернув карту, изложил суть плана. Первый этап: проведение референдума в районах Азербайджана с высоким процентом армянского населения и в районах Армении с высоким процентом азербайджанского населения. Предмет референдума: должен ли ваш район (в отдельных случаях сельсовет) перейти к другой республике или остаться в пределах данной республики. Авторы проекта предполагали, что примерно равные территории с примерно равным населением должны будут перейти в подчинение Армении из Азербайджана и в подчинение Азербайджану из Армении. Они предполагали также, что уже само объявление этого проекта и обсуждение его деталей повернет умы людей от конфронтации к диалогу и что в дальнейшем создадутся условия для более спокойных межнациональных отношений. При этом они считали необходимым на промежуточных этапах присутствие в неспокойных районах специальных войск для предупреждения вспышек насилия. От Азербайджана к Армении, по их прикидкам, должна бы, в частности, отойти область Нагорного Карабаха, но за исключением Шушинского района, населенного азербайджанцами, и населенный преимущественно армянами Шаумяновский район. Мне проект показался интересным, заслуживающим обсуждения. На другой день я позвонил А. Н. Яковлеву, сказал о том, что мне принесли проект, и попросил о встрече для его обсуждения. Встреча состоялась через несколько часов в тот же день в кабинете Яковлева. Я за вечер накануне подготовил краткое резюме достаточно пухлого и наукообразного текста проекта трех авторов. Именно мое резюме я первым делом дал прочитать Яковлеву. Он сказал, что как материал для обсуждения документ интересен, но безусловно при нынешних крайне напряженных национальных отношениях совершенно не осуществим. «Вам было бы полезно съездить в Баку и Ереван, посмотреть на обстановку на месте...» В это время зазвонил телефон. Яковлев взял трубку и попросил меня выйти к секретарю. Через 10—15 минут он попросил меня вернуться в кабинет и сказал, что говорил с Михаилом Сергеевичем, тот так же, как и он, считает, что сейчас невозможны какие-либо территориальные изменения. Михаил Сергеевич независимо от него

высказал мысль, что было бы полезно, если я съезжу в Баку и Ереван. «Практически вы могли бы взять кого-либо из вашей «Народной Трибуны» (Яковлев нарочно перепутал название) и кого-то из авторов проекта». Я сказал, что я хотел бы в качестве члена делегации иметь мою жену, остальные фамилии я согласую. Если нам будут оформлены командировки, мы могли бы выехать очень быстро. «Конечно, конечно. Резюме, я понял по приписке о комитете «Карабах», писали вы». — «Да». Речь в приписке шла о членах комитета «Карабах», арестованных в Армении. Как известно, этот Комитет был создан в Ереване для организации поддержки требований армян Нагорного Карабаха, приобрел огромное влияние в республике, фактически именно он проводил грандиозные митинги и, когда выявилась односторонняя, проазербайджанская позиция центрального руководства, участвовал в организации забастовок. В ноябре, когда в ответ на действия Азербайджана началось изгнание азербайджанцев из Армении, члены комитета «Карабах» удерживали людей от эксцессов; там, где они были вовремя на местах, не было ни избиений, ни убийств. В первые часы и дни после землетрясения, в обстановке всеобщей растерянности, Комитет сделал очень много для организации спасательных работ, для помощи пострадавшим. Только Комитет не забыл о деревнях и стал посылать туда помощь. Характерен рассказ одного из моих сослуживцев. Его сын, студент, вместе со многими товарищами с первых часов трагедии добивался возможности выехать в Армению для участия в спасательных работах, но им отвечали, что там и так слишком много народу (то же самое происходило в Харькове, Киеве и других городах). Они связались с членами Комитета в Москве и все же выехали с их помощью. Получилось так, что сын моего сослуживца лично участвовал в спасении трех засыпанных в Спитаке; участники спасательных работ все с горечью говорили, что если бы помощь была организована раньше и правильно, тысячи людей были бы спасены. Поездка Горбачева в район бедствия не прошла гладко. Ему пришлось выслушать много упреков от несчастных, доведенных до последней степени горя и отчаяния людей, которым уже больше нечего было терять. Он, возможно, считал, что трагедия землетрясения снимет карабахский вопрос, но этого, конечно, не произошло. К сожалению, реакция Горбачева была слишком раздраженной (я бы даже сказал — инфантильно-обидчивой) и недостаточно тактичной в этих трагических обстоятельствах. Он раздраженно говорил о каких-то бородачах, но борода в Армении — знак горя. Сразу после его отъезда были арестованы члены комитета «Карабах». Арест был произведен 10 декабря в Доме писателей Армении, где в это время шла подготовка к отправке посылок для деревень в районе бедствия. Арест членов комитета «Карабах» вызвал огромное волнение и возмущение во всей Армении (даже у тех, кто не согласен с их программой). В дальнейшем очень активна была «Московская трибуна». Первоначально в газетах сообщалось, что причина ареста в том, что их деятельность вносила дезорганизацию в спасательные работы. Потом этот аргумент исчез, стали приводиться другие.

В разговоре с Яковлевым я пытался доказать ему, что освобождение членов Комитета совершенно необходимо для успокоения, насколько это возможно, людей в Армении. Он отвечал, что дело в руках органов правопорядка и что никто не вправе вмешиваться. Я спрашивал о законах о митингах и демонстрациях и полномочиях специальных войск, он пытался их оправдать. Особенно интересной была реакция Яковлева на мой вопрос по поводу поправок к Конституции и нового избирательного закона — почему такая спешка? «Московская трибуна» сформулировала 4 вопроса и предложила провести по ним референдум. Яковлев воскликнул: «Мы не можем тратить время на референдум. Если мы не будем спешить, нас сомнут!» Он не объяснил, кто, но подразумевалось, что правые противники перестройки и Горбачева. Яковлев добавил, что он возражал сначала против некоторых деталей проекта изменений Конституции и выборных правил, но потом согласился с Горбачевым, что на данном этапе, в данной конкретной обстановке наличия правой опасности и недостаточного политического опыта выборов в условиях демократии, предложенный Горбачевым путь — единственно возможный. Но, добавил Яковлев, в будущем, несомненно, необходимо многое изменить, это никем не запрещено. В частности, он упомянул двухпалатную систему, прямые выборы президента, правило — один человек — один голос. В заключение беседы Яковлев дал мне оттиск своей речи в Перми, произнесенной несколько дней назад и не напечатанной в центральных газетах. Он, очевидно, хотел, чтобы я понял, что его позиция является наиболее «перестроечной» во всем высшем руководстве.

В состав группы, которой предстояла поездка в Азербайджан и Армению, вошли Андрей Зубов, Галина Старовойтова и Леонид Баткин от «Трибуны», Люся и я. Встреча с Яковлевым состоялась в понедельник. Во вторник мы оформили командировки и получили билеты в кассе ЦК и уже вечером в тот же день (или, может, все же на следующий?) вылетели в Баку. В Бакинском аэропорту нас встретил президент Академии Азербайджана и кто-то из его вице-президентов, кажется директор Института физики. Меня и в Азербайджане, и в Армении по звонку из ЦК формально принимали как гостя Академии, быть может даже с повышенным почетом. Был также представитель военной комендатуры, который оформил нам пропуска для проезда в ночное время в условиях комендантского часа, объявленного во время митингов и волнений в ноябре. Было уже поздно, комендантский час начался. На двух машинах мы поехали по направлению к городу. Наш спутник (директор Института физики) сказал: «9 месяцев у нас было спокойно. Но мы в конце концов не выдержали, в ноябре обстановка обострилась, и пришлось ввести особое положение и комендантский час. Особенно тщательно охраняются районы с армянским населением». По дороге до гостиницы более 12 раз нас останавливали патрули. Это были стоящие напротив друг друга, один на 5—10 метров дальше другого, танки или БМП (боевые машины пехоты), около каждой — группы солдат с автоматами и офицеров, все в касках и в бронежилетах. Офицеры подходили к нам, тщательно проверяли пропуска, потом махали рукой, давая проезд. Солдаты молча стояли рядом. У всех — усталые русские лица, странно много белобрысых парней средней полосы России.

Нас поселили почти единственными постояльцами в большой, явно привилегированной гостинице. Ужинали мы в заново отделанном, сверкающем золотом зале (там же происходили и последующие трапезы, все бесплатно — за счет Академии). На другой день — встреча с представителями Академии, научной общественностью и интеллигенцией. Она произвела на нас гнетущее впечатление. Один за другим выступали академики и писатели, многословно говорили то сентиментально, то агрессивно — о дружбе народов и ее ценности, о том, что никакой проблемы Нагорного Карабаха не существует, есть исконная азербайджанская территория, проблему выдумали Аганбегян и Балаян, подхватили экстремисты, теперь, после июльского заседания Президиума Верховного Совета, все прошлые ошибки исправлены, и для полного спокойствия нужно только посадить Погосяна (нового первого секретаря областного комитета КПСС Нагорного Карабаха). Собравшиеся не хотели слушать Баткина и Зубова, рассказывавшего о проекте референдума, перебивали. Особенно агрессивно вел себя академик Буниятов как в своем собственном выступлении, так и во время выступлений Баткина и Зубова. (Буниятов — историк, участник войны, Герой Советского Союза, известен антиармянскими националистическими выступлениями, уже после встречи он опубликовал статью с резкими нападками на Люсю и меня). Буниятов, говоря о Сумгаитских событиях, пытался изобразить их как провокацию армянских экстремистов и дельцов теневой экономики с целью обострить ситуацию. Он при этом демагогически обыгрывал участие в Сумгаитских бесчинствах какого-то человека с армянской фамилией. Во время выступления Баткина Буниятов перебивал его в резко оскорбительной, пренебрежительной манере. Я возразил ему, указав, что мы все — равноправные члены делегации, посланные ЦК для дискуссии и изучения ситуации. Меня энергично поддержала Люся. Буниятов набросился на нее и Старовойтову, крича, что «вас привезли сюда, чтобы записывать, так сидите и пишите, не встревая в разговор». Люся не выдержала и ответила ему еще более резко, что-то вроде того: «Заткнись, я таких, как ты, сотни вытаскивала из-под огня». Буниятов побледнел. Его публично оскорбила женщина. Я не знаю, какие возможности и обязанности действовать в этом случае есть у восточного мужчины. Буниятов резко повернулся и, не произнося ни слова, вышел из зала. Потом, в курилке, он уже с некоторым уважением говорил Люсе: «Хоть ты и армянка, но должна понять, что все-таки ты не права». Конечно, никакого сочувственного отношения к проекту Зубова и дру-

гих в этой аудитории не могло быть, вообще никакого отношения, просто отрицалось существование проблемы.

В тот же день была не менее напряженная встреча с беженцами-азербайджанцами из Армении. Нас привели в большой зал, где сидело несколько сот азербайджанцев — мужчин и женщин крестьянского вида. Выступавшие, безусловно, были специально отобранные люди. Они рассказывали, один за другим, об ужасах и жестокостях, которым они подвергались при изгнании, об избиениях взрослых и детей, поджогах домов, о пропаже имущества. Некоторые выступали совершенно истерически, нагнетая опасную истерию в зале. Запомнилась молодая женщина, которая кричала, как армяне резали на куски детей, и кончила торжествующим воплем: «Аллах их покарал» (о землетрясении! мы знали, что известие о землетрясении вызвало прилив радости у многих в Азербайджане, на Апшероне даже якобы состоялось народное гулянье с фейерверком). Мы просили выступавших говорить только о том, чему они сами лично были свидетелями, но бесполезно, атмосфера накалялась все больше. Мы пытались вести диалог с залом, спрашивали — есть ли среди вас желающие вернуться? Дружное н е т, н е х о т и м было ответом. Мы спрашивали всех выступающих в этом и в меньшем зале, куда мы вскоре были вынуждены перейти: «Что вы сейчас хотите, какие у вас трудности?» Типичные ответы — получить компенсацию за пропавшее имущество, за дом, помочь получить документы, которые не смогли взять или пропали при изгнании, помочь с жильем и устройством на работу, помочь найти родственников. Пожилой милиционер просил помощи в оформлении пенсии с учетом тех 35 лет, которые он проработал в Армении (его тоже избивали, по его словам). Очень многие говорили об участии местных армянских властей — милиции, партийных работников — в акциях изгнания, в жестокостях и угрозах. В целом, несмотря на явно подстроенный характер многих рассказов, у нас было несомненное впечатление большой массовой беды множества людей.

В тот же день у нас состоялась встреча с военным комендантом Баку генерал-лейтенантом Тягуновым. Сам Тягунов имел возможность говорить с нами недолго — менее получаса, из которых он часть потратил на любезности в адрес Гали, после него мы еще столько же говорили с замполитом. До введения особого положения было много эксцессов как в самом Баку, так и в других местах республики. Нам приводили примеры как насилий и жестокости в отношении армян, так и примеры жестокости противоположной стороны по рассказам беженцев. Сейчас в Баку, в основном, спокойно, но работы много, офицеры и солдаты устали спать на броне. Очень напряженно было во время митингов, в которых участвовало до 500 тысяч человек. Митинги шли под антиармянскими и националистическими лозунгами, но были также зеленые мусульманские знамена и панисламские лозунги, портреты Хомейни, правда их было немного. Нам показали красный пионерский галстук, превращенный в косынку с вышитым на ней портретом Хомейни.

Вечером к нам в гостиницу пришли два азербайджанца, которых нам охарактеризовали как представителей прогрессивного крыла азербайджанской интеллигенции, которое не имело возможности выступить на утреннем собрании, и будущих крупных партийных руководителей республики. Наши гости с восторгом говорили о ноябрьских митингах (фактически они продолжались до 5 декабря), об их высокой организованности и народности, о национальном подъеме. Вокруг митингующих стояли две цепи: внутренняя — афганцы (вернувшиеся из Афганистана солдаты) в полной парадной форме, с орденами на груди, и внешняя — милиция. Было несколько проходов, по которым люди уходили и приходили. Кое-где на площади по шиитскому обычаю резали баранов, горели костры и варился плов. Лозунги, по утверждению наших гостей, в основном были прогрессивные — против коррупции и мафии, за социальную справедливость. Личная позиция наших гостей по острым национальным проблемам несколько отличалась от позиции Буниятова, но не столь кардинально, как хотелось бы. Во всяком случае, Нагорный Карабах они считали исконно азербайджанской землей и с восхищением говорили о девушках, бросавшихся под танки с криком: «Умрем, но не отдадим Карабах!»

На другой день нам устроили встречу с первым секретарем республиканского комитета КПСС Везировым. Большую часть встречи говорил

Везиров. Это был некий спектакль в восточном стиле. Везиров актерствовал, играл голосом и мимикой, жестикулировал. Суть его речи сводилась к тому, какие усилия он прилагает для укрепления межнациональных отношений и какие успехи достигнуты за то недолгое время, которое он находился на своем посту. Беженцы — армяне и азербайджанцы — уже в своем большинстве хотят вернуться назад. (Это полностью противоречило тому, что мы слышали от азербайджанцев и, вскоре, — от армян. На самом деле, проблема недопустимого насильственного возвращения беженцев, их трудоустройство и обеспечение жильем продолжают оставаться очень острыми до сих пор — н а п и с а н о в и ю л е 1989 г.) Мы спросили его, каково его отношение к нашему проекту. Он сначала высказался отрицательно — никаких проблем нет, все уже решено, ошибки исправляются; потом как бы перестроился и воскликнул: пусть будет один проект, тысяча проектов — мы все их рассмотрим. В конце встречи Люся сказала: «Сейчас у армян, о дружбе с которыми вы говорите, огромная национальная трагедия. Тысячи людей лишились близких, всего необходимого. Само существование нации находится под угрозой. Восточные люди славятся своей широтой, благородством. Так сделайте широкий шаг — отдайте им Нагорный Карабах — как дар другу в беде. Весь мир будет восхищен, на протяжении поколений этот поступок не забудется!» Лицо Везирова сразу изменилось, стало холодным и отчужденным. Он процедил: «Землю не дарят. Ее завоевывают». (Может быть, он добавил: «кровью» — я не утверждаю, что так было сказано.) Мы просили Везирова организовать нам встречу с Пулатовым — одним из лидеров на митингах, рабочим. Пулатов был арестован, находился под стражей. Везиров сказал, что организация подобной встречи — вне его компетенции. Мы просили его также дать нам возможность после Азербайджана посетить Нагорный Карабах, с тем, чтобы уже потом полететь в Армению. Везиров ответил, что наш полет в Нагорный Карабах из Баку — нежелателен. Мы должны прибыть туда из Еревана.

Везиров распорядился обеспечить нам билеты на самолет, и вскоре мы уже прибыли в Ереван. Формально у нас там была программа, аналогичная азербайджанской, — Академия, беженцы, первый секретарь. Но в действительности вся жизнь в Ереване проходила под знаком случившейся страшной беды. Уже в гостинице все командированные были прямо или косвенно связаны с землетрясением. Только накануне уехал Рыжков — он руководил правительственной комиссией и оставил по себе добрую память. Все же, как мы вскоре поняли, в начальный период после землетрясения было допущено много организационных и иных ошибок, которые очень дорого обошлись. Конечно, не один Рыжков в том повинен. Одна из проблем, в которую мне нужно было в какой-то степени войти: что делать с Армянской АЭС? Проблема эта была техническая, сейсмологическая, экономическая — поскольку АЭС играла, к сожалению, важную роль в энергетическом балансе республики и ее энергоподаче в соседнюю Грузию. Это также было острейшей психологической проблемой. Армянский народ находился в состоянии шока, стресса, почти что массового психоза — в результате страшной трагедии землетрясения, на фоне предыдущих драматических событий. Страх аварии АЭС в огромной степени усиливал этот стресс, и его совершенно необходимо было устранить. В холле гостиницы мы встретили Кейлис-Борока, которого я уже знал по дискуссиям о возможности вызвать в нужный момент землетрясение с помощью подземного ядерного взрыва (за 2 месяца до этого я ездил на конференцию в Ленинград, где обсуждался этот вопрос), а также потому, что он был связан по работе с родителями первой Алешиной жены. Кейлис-Борок спешил по каким-то делам, но все же коротко объяснил мне сейсмологическую обстановку как на севере Армении, где проходит один широтный разлом, на пересечении которого с другим долготным разрывом расположен Спитак, так и на юге, где другой широтный разрыв проходит недалеко от АЭС и Еревана. Честное слово, надо быть безумцем, чтобы в таком месте строить АЭС! Но это далеко не единственное безумство ведомства, ответственного за Чернобыль. Все еще не решен вопрос о строительстве Крымской АЭС. В кабинете президента Армянской Академии Амбарцумяна я продолжил разговор об АЭС с участием Велихова и академика Лаверова. При беседе присутствовала Люся. Велихов сказал: «При

остановке АЭС решающая роль перейдет к электростанции в Раздане. Но там тоже сейсмический район и возможно землетрясение с выходом станции из строя». Люся спросила: «Сколько времени потребуется, чтобы вновь запустить в этом случае остановленные реакторы АЭС?» Велихов и Лаверов посмотрели на нее, как на сумасшедшую. Между тем ее вопрос был не бессмысленным. В острых ситуациях пересматриваются границы дозволенного — Люся знала это из своего военного опыта.

На заседании в Академии проект, доложенный Зубовым, не имел сколько-нибудь заметной поддержки. Уже передача Азербайджану района Шуши (населенной азербайджанцами части НКАО, на самом деле оставление ее в пределах Азербайджана) вызвала серьезные возражения присутствующих. Армяне говорили, что в трагической ситуации, в которой оказался народ, все так же критически важен вопрос об Арцахе (армянское название Нагорного Карабаха), но нельзя даже ставить вопрос о передаче Азербайджану каких-то других территорий. Лишь Амбарцумян (президент Академии) говорил о необходимости искать компромиссы. Все говорили о недопустимости ареста членов комитета «Карабах», о том, что их немедленное освобождение во многом будет способствовать снятию напряжения в стране. Очень хорошо и эмоционально выступила Сильва Капутикян, армянская поэтесса, давняя знакомая Люси. Говорили о необходимости закрытия АЭС, о сейсмической опасности в Ереване. В конце собрания меня провели в заднюю комнату, где я имел возможность встретиться с одним из активных членов комитета «Карабах» Р. Казаряном. Он физик, член-корреспондент Академии, уже немолодой человек. Был арестован вместе со всеми 10 декабря, но затем отпущен с подпиской о невыезде. Через несколько дней после нашего разговора вновь арестован. Он рассказал о позиции и работе Комитета, особенно после землетрясения. Казарян особенно убедительно высказался по поводу обвинений в адрес комитета «Карабах», который якобы стремится к захвату власти и отстранению существующих органов власти. «Неужели можно поверить, что мне или другим, имеющим интересную работу и отложившим ее временно в сторону ради интересов нации, может даже прийти в голову мысль добиваться власти?» Баткин и Старовойтова вечером того же дня сумели тайно встретиться с лидерами «Карабаха», находившимися в подполье. Это был целый детектив с паролями, явками, переходами по тайным проходам. Их впечатления не отличались от моих, вынесенных из беседы с Казаряном, но были более детальными.

В это время мы — Зубов, Люся и я — встречались с беженцами. Их рассказы были ужасными. Особенно запомнился рассказ русской женщины, муж которой — армянин, о событиях в Сумгаите. Проблемы беженцев были аналогичны проблемам азербайджанцев — жилье, работа, которая оказалась невозможна без прописки, брошенные квартиры, утерянные документы, пропавшее имущество. Пожалуй, проблемы были еще более болезненными из-за одновременного потока беженцев из района бедствия, а также потому, что большинство среди беженцев составляли городские жители. Никто из них не хотел возвращения в Азербайджан — сама мысль оказаться вновь в атмосфере ненависти и насилия, угроз и реальной опасности жизни взрослых и детей была непереносимой. На другой день я встретился с первым секретарем ЦК Армении Арутюняном. Он не стал обсуждать проект. Разговор шел о беженцах, о том, что якобы некоторые готовы вернуться (я отрицал это), о трудностях устройства их жизни в республике после землетрясения. Арутюнян также говорил об актах бесчинств и убийствах в районах, где проживают азербайджанцы, называл цифру 20 или 22 убитых азербайджанца, не считая 8 человек (целая семья с детьми), которые замерзли на перевале, так как они шли без теплой одежды. Все эти эксцессы произошли в конце ноября, когда хлынул поток беженцев из Азербайджана. При разговоре присутствовал Баталин (член правительственной комиссии). Я поднял вопрос об АЭС. Я также (или вернувшись в Москву, или наоборот, до поездки, не помню) позвонил академику Александрову А. П. и просил при решении вопроса об Армянской АЭС учесть мое мнение о необходимости ее остановки. На беседе с Арутюняном был только я, без Люси и других. Около 12 дня мы все пятеро вылетели в Степанакерт (Нагорный Карабах), к нам также присоединился Юрий Рост (фотокорреспондент «Литературной газеты», с которым

у нас установились хорошие отношения) и Зорий Балаян (журналист, один из инициаторов постановки проблемы Нагорного Карабаха).

В Степанакерте нас у трапа самолета встретил Генрих Погосян, первый секретарь областного комитета КПСС (это его хотели арестовать азербайджанские академики), человек среднего роста, с очень живым смуглым лицом. На машине он отвез нас в здание обкома, где мы встретились с Аркадием Ивановичем Вольским, в то время уполномоченным ЦК КПСС по НКАО (после января — председатель Комитета Особого Управления). Вольский кратко рассказал о положении в НКАО. Он сказал: «В 20-х годах были сделаны две большие ошибки — создание Нахичеванской и Нагорно-Карабахской автономных национальных областей и их подчинение Азербайджану. Из Нахичевани вышла вся алиевщина, которая овладела рычагами власти в Азербайджане. Нагорный Карабах стал неразрешимой проблемой для живущего здесь населения». Он рассказал о столкновениях азербайджанцев и армян, о фактической блокаде армянских районов, о продовольственных трудностях (перекрывалась даже вода, источники которой находятся в азербайджанском районе Шуши), о том запустении, которое возникло в Шуше после того, как оттуда летом 1988 г. были изгнаны армяне — строители, мастера. (В начале века Шуша была третьим по значению городом Закавказья, теперь это захолустная деревня.) Мы встречались с представителями армян и азербайджанцев в Степанакерте и в Шуше, эти встречи были во многом похожи на аналогичные встречи в Ереване и Баку. Перед выездом в Шушу Вольский спросил меня и Люсю, не откажемся ли мы от этой поездки: «Там неспокойно». Мы, конечно, не отказались. Вольский сел с нами в одну машину, мы сидели втроем на заднем сиденье, а рядом с водителем — вооруженный охранник. Баткин и Зубов поехали в другой машине, тоже с охраной, Старовойтову и Балаяна Вольский не взял как слишком «одиозных». У здания райкома, когда мы уезжали, толпилась группа возбужденных азербайджанцев. Вольский вышел из машины, сказал несколько слов и, видимо, сумел успокоить людей. Во время самой встречи Вольский умело направлял беседу и сдерживал страсти, иногда напоминая азербайджанцам, что они не без греха (например, напомнил о том, как женщины забили палками одну армянку, но этому делу не было дано хода). Была еще страшная история, как мальчики 10—12 лет пытали электрическим током в больнице своего сверстника другой национальности и как он выпрыгнул в окно. Люся в начале встречи сказала: «Я хочу, чтобы не было неясностей, сказать, кто я. Я жена академика Сахарова. Моя мать — еврейка, отец — армянин» (шум в зале; потом одна азербайджанка сказала Люсе: «Ты смелая женщина»). Люся также сказала, говоря об истории мальчиков: «Я не знаю, кто больше жертва в этой истории — тот, которого пытали, или те, которые пытали. Ужасно, что межнациональная ненависть переходит детям и уродует их души».

Мы совершили поездку в район Топханы, где якобы армяне стали уничтожать священную заповедную рощу и строить экологически опасный завод. Эта провокационная выдумка была напечатана в азербайджанских газетах и вызвала в октябре — ноябре новое обострение азербайджанско-армянских отношений. Мы увидели красивые холмы, справа дачи азербайджанского начальства. Все эти годы большие начальники (и академики в их числе) проводили тут свои отпуска. Это и была их заповедная роща, ради которой они готовы стоять насмерть (не свою, разумеется). Прямо перед нами был большой холм, без всякой рощи, на котором предполагалось построить лагерь для детей работников небольшого штамповочного заводика, расположенного далеко внизу в долине. Ни в настоящем, ни в будущем не было и речи о чем-то экологически вредном, о порубке отсутствующей рощи. Горный воздух, огромный кругозор были, однако, великолепны. Люся высказала мысль, что тут разумнее всего устроить всесоюзный или международный центр для детей-астматиков, реабилитационный центр для детей, пострадавших при землетрясении, а также, возможно, сеть санаториев для взрослых. Все это могло бы быть создано с международной помощью, так щедро поступающей в Армению, дало бы работу и армянам, и азербайджанцам, подняло бы экономику района, сняло бы остроту национальных проблем.

Когда мы прощались с Вольским, он еще раз сказал, что единствен-

ным приемлемым выходом из положения является введение особой формы управления, а также совершенно необходима борьба с мафией. Он сказал: «Мафия интернациональна. Они легко находят друг с другом общий язык» (он имел в виду азербайджанцев и армян). Он добавил, что в Азербайджане капитал подпольной экономики составляет 10 млрд. рублей, в Армении — 14 млрд. Его помощник, уже без Вольского, заметил, что, по его мнению, освобожденные члены комитета «Карабах» могли бы способствовать устранению мафии из партийно-государственной структуры Армении.

Вечером того же дня в общежитии шелкоткацкой фабрики, где нас поселили, мы встретились с местными руководителями, входящими в «Крунк» (по-армянски «журавль», символ стремления на родину. Комитет «Карабах» в Армении — параллельная организация «Крунку» в Нагорном Карабахе). За ужином они говорили, какие большие опасения вызывает у них план создания особой формы управления. Комитет отстранит все ныне существующие партийные и государственные структуры, но неясно, сможет ли он при этом противостоять давлению Азербайджана. Нельзя также допустить отделения от Нагорного Карабаха Шуши.

Утром мы вылетели в район бедствия. Первоначально предполагалось, что мы на самолете вылетим в Ленинакан, а оттуда поедем на машинах в Спитак. Но в Ленинакане по погодным условиям посадка самолета была невозможна, и план пришлось изменить. Мы долетели до Еревана и там прямо на аэродроме пересели на вертолет для полета в район бедствия. Люся и я первый раз в жизни летели на этой удивительной машине, как бы пришедшей со страниц научно-фантастических повестей. Но сейчас это была реальность, и к тому же трагическая. Мы подождали 15—20 минут, пока студенты-добровольцы, работавшие на аэродроме, загрузили вертолет ящиками с продовольствием и теплыми вещами. Мы взяли курс на Спитак. Незаметно влетели в зону землетрясения. По снегу кое-где прошли полосы, под которыми скрыты трещины. Вдруг я увидел разрушенную деревню. Сверху это выглядело обыденно и не страшно. Нет, очень страшно. Полуразрушенные дома и хозяйственные постройки, все покрыто свежевыпавшим снегом, из-под которого торчат разбросанные, как спички, бревна. Совсем не видно людей.

Мы подлетаем к Спитаку и делаем над ним круг. Внизу видны остовы многоэтажных домов, обрушившихся при землетрясении. На обширных площадях не осталось вообще ни одного целого дома, видны только очертания кварталов, сплошь заполненных обломками. Между кварталами — улицы, большей частью целые. В некоторых местах копошатся группы людей, разбирающих развалины. Их очень мало, на большей части пространства под нами никого нет. В двух-трех местах работают краны. В целом — впечатление смерти и запустения. Вертолет резко разворачивается и летит в сторону деревни, куда мы должны доставить наш груз. Недалеко от города мы пролетели большую деревню, где все разрушено полностью. Балаян говорит: «Это эпицентр землетрясения. 11 баллов. Здесь погибло две с половиной тысячи человек».

Наконец мы у цели. Вертолет опускается на большое заснеженное поле — метрах в 100—150 от разрушенной деревни. Мы видим, как по полю бегут, размахивая руками, какие-то люди. Очевидно, они заметили вертолет еще в воздухе. Впереди бежит несколько вполне крепких на вид мужчин. Вертолетчики разгружают ящики прямо на снег. В это время люди, их уже человек сорок, стоят плотной группой. Прибежавшие первыми мужчины впереди. Мы заговариваем с некоторыми женщинами. В их деревне, как и повсюду, погибли почти все дети школьного возраста (землетрясение произошло за пять минут до звонка на перемену), в том числе внуки и внучки наших собеседниц. В домах жить нельзя, люди по ночам спят в стогах сена.

В это время вертолетчики, закончив разгрузку, отходят в сторону, и люди с криками, расталкивая друг друга, бросаются к вещам и продуктам. Происходят безобразные сцены, кто-то нахватывает слишком много, кому-то не достается ничего. Наши собеседницы хватают охапки теплых одеял и с хохотом (это слушать ужасно) бегут с ними к деревне. Подъезжает грузовая машина. Двое здоровых парней забрасывают туда ящики с продуктами. Мы пытаемся их устыдить, и они нехотя отдают ящики,

но потом кто-то подает им ящики с противоположного борта. Какой-то мужчина открывает банку с детским питанием (дефицит даже в Москве), пробует пальцем на язык. Ему все это ни к чему, и он отбрасывает банку в снег. Поодаль стоит мужчина с красными от слез глазами. Кто-то из нас говорит ему: «Вы плохо одеты, почему вы не возьмете себе чего-нибудь?» — «Я два дня как похоронил жену, я не могу лезть в драку». И отошел в сторону. Женщина с маленькими детьми, которой ничего не досталось, стала громко матерно ругать начальников и советскую власть. Как сказали вертолетчики, подобные сцены повторяются в каждой деревне ежедневно. «Вас они еще стесняются. Бывают настоящие драки. Нигде нет списков, кто остался в живых, кто в чем нуждается. Начальство растерялось или разбежалось, и само ворует больше всех». Когда вертолет поднялся в воздух, Балаян, потрясенный увиденным, заплакал.

В Спитаке мы опустились на окраине города. У разрушенного дома работали на разборке студенты-добровольцы из Москвы. Они жили тут же в вагончике. Метрах в ста от них работали солдаты. Они доставали трупы из-под развалин, делая глубокие подкопы. Шел 17-й день после катастрофы. Большая часть засыпанных оставалась еще под развалинами, вероятно, большинство из них погибли сразу, другие еще несколько дней подавали голос, потом голоса затихли. Ужасная смерть. В воздухе чувствовался трупный запах. Солдаты и некоторые студенты работали в защитных масках-фильтрах. Все же несколько дней назад одному из солдат удалось найти живую женщину.

Еще с вертолета мы увидели яркие пятна — разбросанные детские вещи, разноцветные пальтишки, рукавички, портфели и ранцы, школьные тетрадки. Ветер шевелил листки тетрадей, мы прочли в одной из них отметку 5 под домашней или классной работой и дату — 5 декабря 88. Смотреть на это без слез было невозможно. А в нескольких шагах дальше лежали куклы и другие игрушки и опять детские разноцветные вещи. Нам сказали, что в школе и в детском саду, которые тут находились, погибли почти все дети. Люся потом говорила в Ереване, что необходимо собрать эти детские вещи и тетради и, может, устроить что-то вроде музея, а не оставлять их гнить под снегом. Люся зашла в палатку, в которой жили муж и жена. Жену и сына спасли в первые дни грузины из части гражданской обороны, прибывшие под командованием инициативного полковника в первые часы катастрофы. Этого полковника поминают многие добрым словом. Дочь у них погибла. Сына отправили в Грузию для лечения. Все — и жители, и спасатели — жалуются на плохое снабжение, даже воду подвозят с большими перебоями. Денег (обещанные 50 или 100 рублей компенсации, не помню) еще никому не выплатили.

На аэродроме, куда мы вернулись из Спитака, удручающее впечатление произвела на нас плохая организация распределения и хранения предметов помощи пострадавшим, которые поступают со всего мира. В этом было что-то барское и безнравственное...

На другой день перед отлетом в Москву мы с Люсей были у зам. председателя Совета Министров Армении. Мы рассказали ему о том, что мы видели в деревне и Спитаке, предлагали ряд мер по исправлению положения. В частности, мы настаивали на том, чтобы в деревни были посланы толковые люди из институтов и с предприятий, лучше всего студенты старших курсов, которые могли бы на местах организовать составление списков нуждающихся и распределять помощь. Это нормализовало бы весь конвейер помощи, которая сейчас в значительной степени или попадает не в те руки, или вовсе пропадает. Зампред слушал нас внимательно. Но боюсь, что из наших советов мало что было реализовано. В частности, как рассказал нам Рост, оставшийся в Армении дольше нас, при распределении прибывших палаток повторилось то же безобразие. А часть палаток вообще попала на черный рынок, так же как медикаменты и др.

По прибытии в Москву я немедленно позвонил Яковлеву, рассказал ему о том, что мы видели в Азербайджане, Армении и Нагорном Карабахе. Потом я и другие члены экспедиции представили наши впечатления в письменной форме. Кажется, они не очень заинтересовали руководство. Я высказал желание еще раз поехать в Армению вместе с Люсей, исключительно для того, чтобы участвовать в организации помощи. Я сказал об этом Рыжкову по телефону, и он вроде бы склонялся нас взять, но потом, возможно под давлением Горбачева, передумал.

Глава 6

ПЕРЕД СЪЕЗДОМ

В конце декабря я выступал на общем собрании Академии наук СССР, посвященном вопросам экологии. Я говорил о всевластии ведомств как основной причине неблагополучного экологического положения в нашей стране. Я назвал такие ведомства, как Минводхоз, Минэнерго, Министерство лесной и бумажной промышленности. Я сказал об ответственности Академии наук, которая не занимает принципиальной, научно обоснованной позиции по защите среды обитания и по существу является послушной частью административно-командной ведомственной системы, о необходимости независимой от ведомств научно обоснованной экологически-экономической экспертизы крупных проектов и государственных планов в целом как одной из главных задач Академии. Я говорил о двух конкретных проблемах: о необходимости закрытия Армянской АЭС и о прекращении строительства и финансирования канала Волга — Чограй. О первой проблеме и своем участии в ней я уже писал. Как раз в эти дни на заседании специальной комиссии вопрос о закрытии Армянской АЭС был решен, я хотел бы думать, что и мое вмешательство сыграло тут роль. Во всяком случае, в перерыве общего собрания ко мне подошел Александров и сказал, что он полностью передал мое мнение, хотя он сам и придерживается другой точки зрения. Что касается строительства канала Волга — Чограй, то этот проект бессмыслен с экономической точки зрения (стоимость строительства 4 млрд. рублей, за эти деньги можно построить элеваторы и дороги и сделать многое другое, что в совокупности гораздо важнее возможной выгоды, к тому же в Ставропольском крае нет большого недостатка воды) и крайне вреден и опасен экологически (в Калмыкии велика опасность засоления, отвод воды из Волги окончательно губит осетровое стадо и в перспективе может сделать необходимым уже ранее отвергнутый экологически опасный поворот стока северных рек, которого все еще добивается из своих ведомственных интересов Минводхоз). Проект обсуждался на Президиуме АН. Не доверяя академической бюрократии, четыре академика (Яблоков, Голицын, Яншин и я) послали телеграмму Горбачеву и Рыжкову с изложением нашей точки зрения.

В начале января 1989 года (кажется, 6-го) состоялась встреча М. С. Горбачева с приглашенными представителями интеллигенции — известными писателями, учеными, артистами. Такие аналогичные встречи уже проводились до этого, в этот раз впервые был приглашен и я. Кроме Горбачева, на встрече присутствовал Рыжков, но не выступал. Встреча началась с довольно длинного выступления Горбачева. Он говорил, что перестройка вступает в самый ответственный период, когда нужно последовательное решение ее задач и в то же время недопустима излишняя поспешность, перескакивание через необходимые промежуточные этапы. Опасность справа и опасность слева одинаково серьезны. В этих условиях важна консолидация всех здоровых сил в стране, объединение вокруг основных целей, при этом вполне допустимо и даже полезно различие в понимании более частных вопросов, если оно не перерастает в склоку, личную вражду. Горбачев, по-видимому, пытался как-то помирить различные группировки в писательской среде, в других областях культуры. Но уже из первых выступлений писателей русофильско-антиинтеллигентского крыла и их идейных противников было видно, что противоречия зашли слишком далеко, чтобы их можно было так просто устранить. Выступавшие далеко не ограничивались вопросами культуры, затрагивая экономические, социальные, межнациональные, правовые вопросы. Краткое содержание выступлений было потом опубликовано в газетах, но более острые места, как общеполитического, так и личного характера, были опущены. Я собирался выступить, но колебался, не вполне понимая, что и как говорить. Когда же я наконец решился, в списке было слишком много ораторов и я не получил слова. В речи академика Абалкина давалась впечатляющая картина экономического кризиса и делался вывод: «Кавалерийская атака на административно-командную систему не удалась, и мы должны перейти к планомерной осаде». Эта фраза не вошла в опубликованный отчет. Примерно то же говорил Абалкин на 19-й партконференции. Мне казалось, что позиция Абалкина неприемлема для Горбачева, как слишком радикальная и критическая. Через несколько месяцев я понял, что ошибался.

Ульянов в своей речи затронул вопросы «Мемориала» — в частности, судьбу счета. Виктор Астафьев говорил о том, что законы о митингах и демонстрациях и полномочиях специальных войск антидемократичны, содержат возможность расширенного толкования, расправ над мирными демонстрациями и митингами — как это произошло в Минске, в Куропатах, в Красноярске и других местах. Это было одно из наиболее важных выступлений на встрече. Оно «задело за живое» Горбачева. Он стал возражать Астафьеву, приводя в пример события в Сумгаите, как доказывающие необходимость быстрого и решительного реагирования. «Мы опоздали в Сумгаите на 3 часа, и произошла трагедия. Рабочие требуют от нас, чтобы мы не допускали анархии». Как мне было ясно, Горбачев смешивал две совершенно различные вещи — преступные акты убийств, насилий, зверств в Сумгаите и конституционные мирные демонстрации и митинги, в которых находит свое выражение мнение народа. Без демократического движения снизу перестройка невозможна, и бояться этого нельзя. Ссылка на рабочих явно была придумана. Я стал пробираться к трибуне со своего места, расположенного в самом заднем ряду, надеясь получить слово. Но когда я услышал, что «в Сумгаите мы опоздали на 3 часа», я не выдержал и громко крикнул: «Не на 3 часа, а на 3 дня. На автовокзале стоял батальон, но не имел приказа вмешиваться. До Баку полчаса езды...» Горбачев явно был недоволен моей репликой и воскликнул: «Вы, видимо, наслушались этих демагогов» (он как-то так сказал, что было сначала ясно, что речь идет об армянах-демагогах, потом немного изменил формулировку). Я тут же отдал заранее составленную заявку на выступление, надеясь сказать и о Законах, и о «Мемориале», но, как уже писал, не получил слова. Армянский писатель хорошо говорил о Нагорном Карабахе, литовский — о республиканском хозрасчете.

Я подошел во время перерыва к Горбачеву и Рыжкову, говорил об армяно-азербайджанских проблемах — о том, что никак нельзя толкать беженцев на возвращение назад, сейчас нет для этого условий, возможны новые трагедии; о необходимости освобождения членов комитета «Карабах». Горбачев слушал с явным раздражением, Рыжков, как мне показалось, с интересом. Но возражал мне именно Рыжков, ссылаясь, как и Яковлев, на невозможность вмешиваться в работу следствия. Рыжков также сказал, что он не может взять меня с собой в Армению — это вызовет нежелательную реакцию в Азербайджане (речь шла об организации помощи). Рыжков сказал, что он получил телеграмму четырех академиков о канале Волга — Чограй. Он не знал, что стоимость строительства канала составляет 4 млрд. рублей, он думал, что около 2 млрд. Я заметил, что если реально обеспечивать отсутствие фильтрации воды по ходу канала, что абсолютно необходимо с экологической точки зрения, то стоимость возрастет еще больше, чем до 4 млрд. Весь разговор с Рыжковым был очень доброжелательным.

Теперь я, кажется, выхожу на финишную прямую этой главы и воспоминаний в целом — к выборам на Съезд народных депутатов и к самому Съезду. Сначала — летом и осенью 1988 года — я отказался от предложений стать кандидатом на выборы в Верховный Совет (это было еще до принятия поправок к Конституции). Потом, в январе, когда в очень многих институтах моя кандидатура была выдвинута на Съезд, причем часто с наибольшим числом голосов, я решил, что не могу отказываться. Возможно — я этого не помню — я согласился даже несколько раньше. Не помню же я потому, что в то время я был уверен, что выдвижением моей кандидатуры все и ограничится, и я не буду допущен не только на Съезд, но к выборам. В последнем я как в воду глядел, но всего хода событий предугадать не мог. В моем согласии стать кандидатом присутствовала также мысль, что участие в Съезде может оказаться реально важным для поддержки прогрессивных начинаний.

Принятый в декабре 1988 г. закон о выборах очень сложен. Все же мне придется кое-что разъяснить, иначе многое в дальнейшем будет непо-

нятю. Из 2250 делегатов на Съезд треть (750 человек) выбирается по территориальным округам, треть по национально-территориальным округам и треть от так называемых общественных организаций, к которым в числе прочих причислена КПСС (100 мест) и Академия наук СССР (30 мест). Формально выдвижение кандидатов происходит на собраниях трудовых коллективов, но на самом деле закон составлен так, что кандидатом человек становится только после утверждения его окружным собранием в случае территориальных и национально-территориальных округов, и так называемым Пленумом центрального органа, в случае общественных организаций. Этот пункт закона весьма реакционен, дает возможность аппарату, местным партийным и советским органам осуществлять во многих случаях «селекцию» (отбор) нежелательных кандидатов. К счастью, им это удалось не всегда. Все же очень важно добиться отмены этого пункта. Что такое «Пленум» — из закона о выборах неясно. В декабре и январе Президиум Академии наук принял постановление, согласно которому состав Пленума — это члены Президиума Академии наук и члены бюро (руководства) всех Отделений Академии. Сформированный так Пленум должен был 18 января утвердить кандидатуры на 25 мест для выборов на Съезд. Сами выборы были назначены на 21 марта, в них должны были, по решению Президиума, принимать участие все академики и члены-корреспонденты (около 900 голосов), а также около 550 «выборщиков», по одному от каждых 60 сотрудников институтов Академии. Число мест было 25, а не 30, т. к. 5 мест было выделено научным обществам. Результат был ошеломляющий: только 23 человека получило требуемое большинство голосов. Не получили большинства голосов, в частности, все пользующиеся общественной известностью кандидаты, в их числе я, Сагдеев, Лихачев, Попов и другие, выдвинутые наибольшим числом институтов (я был выдвинут почти 60 институтами). Для того, чтобы число мест не превышало числа кандидатов, Пленум решил передать еще 5 мест научным обществам, т. е. мест в Академии стало 20. Сообщение о результатах Пленума вызвало во всех институтах Академии бурю негодования. Сотрудники Академии справедливо считали, что Пленум проявил неуважение к мнению институтов (по закону Пленум обязан «учитывать» мнение трудовых коллективов, в данном случае институтов, но он проигнорировал это мнение). На собраниях в институтах высказывалось мнение, что результаты Пленума — проявление общего бюрократического отрыва руководства Академии, ее Президиума, от «рядовых» работников научных учреждений, от тех, кто реально делает науку. В общем, возникло общественное движение, переросшее породившую его проблему (как это часто бывает). В московских институтах возникла Инициативная группа, которая взяла на себя координацию всех усилий, связанных с выборами Академии. От Физического института туда вошли, в частности, Анатолий Шабад и Собянин.

Такие же драматические события, как в Академии, происходили в других общественных организациях и почти во всех территориальных и национально-территориальных округах. Кроме работников аппарата и выбранных им «послушных» кандидатов почти всюду были выдвинуты альтернативные кандидаты, обладающие собственной программой, яркой и независимой позицией. Завязалась, впервые за долгие годы в нашей стране, острая политическая предвыборная борьба. И тут выявилось то, на что даже мы, ведшие одинокую и внешне безнадежную борьбу с очень ограниченными целями в предшествующую эпоху, не решались, не смели надеяться. Многократно обманутый, живущий в условиях всеобщего лицемерия и развращающей коррупции, беззакония, блата и прозябания народ оказался живым. Свет возможных перемен только забрезжил, но в душах людей появилась надежда, появилась воля к политической активности. Именно эта активность народа сделала возможным избрание тех новых, смелых и независимых людей, которых мы увидели на Съезде. Не дай Бог обмануть эти надежды. Исторически никогда не бывает последнего шанса. Но психологически для нашего поколения обман надежд, вспыхнувших так ярко, может оказаться непоправимой катастрофой.

На Съезд прошла, конечно, лишь малая часть прогрессивных кандидатов. Аппарат, опомнившись от неожиданности первых недель, стал применять все находившиеся в его распоряжении средства, вплоть до подлогов, подмены бюллетеней, не говоря уж о регулировании допуска к средствам массовой информации. Зато те, что прошли, были уже закаленные борцы.

После 18 января меня (и некоторых других не прошедших в Академии кандидатов) стали выдвигать по территориальным и национально-территориальным округам. У меня нет полного списка этих округов, назову лишь некоторые. Физический институт АН СССР (ФИАН) выдвинул меня «по месту работы» в Октябрьском территориальном округе г. Москвы, мое выдвижение поддержали другие расположенные в этом районе институты. Я выступал на предвыборном собрании в ФИАНе, потом на собрании в Октябрьском райкоме КПСС, где встретился с другими кандидатами, выдвинутыми по этому району, в том числе с Ильей Заславским, молодым инвалидом, предвыборная программа которого включала защиту прав инвалидов СССР. Парадоксально, но Общество инвалидов не вошло в число общественных организаций, имеющих право выдвижения кандидатов. Перед собранием в ФИАНе я, как и все кандидаты, написал предвыборную программу, потом ее несколько раз уточнял. Другое очень важное выдвижение моей кандидатуры имело место в московском национально-территориальном округе № 1, границы которого совпадают с границами г. Москвы. Выдвинул меня сначала «Мемориал», а затем множество учреждений и организаций Москвы. Я присутствовал и выступал на собрании, организованном «Мемориалом». Оно проходило в Доме кино. Уже подъезжая, я увидел протянувшуюся на несколько сотен метров очередь людей, желающих пройти внутрь здания. Это были, в значительной части, знакомые по типажу лица — те, что так же простаивают очереди на выставку Шагала или на кинофестиваль, честные и умные, все понимающие, в большинстве своем стесненные материально пролетарии умственного труда. Но были там, без сомнения, и новые действующие лица исторической сцены. Это они через несколько месяцев заполнят гигантскую площадь стадиона в Лужниках. Это люди, выведенные из сна пассивности надеждами перестройки, рабочие и служащие, самая широкая масса интеллигенции. Меня узнали и бурно приветствовали. Я прошел в зал, был представлен Пономаревым собранию, зачитал свою программу и отвечал на многочисленные, иногда трудные вопросы. Затем состоялось голосование по моему выдвижению в кандидаты — свыше 600 человек в зале и несколько тысяч в других помещениях и на улице, где были установлены динамики и можно было подписывать листы поддержки моего выдвижения.

В этот день, как я это ощутил, я получил нравственный мандат на деятельность депутата. Второй раз я его получил на митинге институтов Академии 2 февраля. Но до этого произошло еще несколько событий. Одно из них — собрание в Московском университете, где я выступал и был выдвинут от МГУ по Московскому национально-территориальному округу № 1. Одновременно со мной был выдвинут от МГУ по тому же округу ректор МГУ Логунов. Всего же по округу № 1 было выдвинуто около 10 человек, среди них — Б. Н. Ельцин. Ельцин в эти дни позвонил мне и сказал, что мы не должны переходить друг другу дорогу. Я согласился с ним, но добавил, что окончательное решение, где баллотироваться, я приму только после того, как пройдут окружные собрания по всем округам, где я выдвинут. Несколькими днями позже я сам, по совету Пономарева, позвонил Ельцину и сказал, что готов выступить в его поддержку по тому округу, где он будет баллотироваться, с тем, чтобы он тоже выступил в мою поддержку. Это был, конечно, излишне политиканский шаг, и я скоро стал о нем сожалеть. К счастью, как видно из дальнейшего, этот шаг не имел практического продолжения. Меня выдвинули еще по двум московским территориальным округам и по двум областным, по одному из Ленинградских территориальных округов, на Камчатке, на Кольском полуострове и еще в ряде мест, у меня нет полного списка. В частности, меня выдвинули в коллективе Объекта. Адамский и другие активисты приезжали, чтобы взять у меня программу и автобиографию. Они заверяли меня, что практически гарантировано утверждение моей кандидатуры на окружном собрании. Но мне казалось неправильным, если я буду избран фактически за мою работу на Объекте, во всяком случае с использованием моей известности в этом мире.

2 февраля состоялся беспрецедентный митинг сотрудников научных учреждений Академии наук. Митинг был организован Инициативной группой по выборам в Академии. Группа добилась в Моссовете разрешения на проведение митинга перед зданием Президиума, в большом сквере, где собралось более 3000 человек (по некоторым оценкам более 5000). На ступеньках старого дворцового здания Президиума были установлены микрофоны, перед которыми выступали организаторы и ораторы митинга. Президент Марчук, председатель избирательной комиссии академик Котельников и некоторые другие находились на втором этаже здания и изредка выглядывали из окна, отодвинув занавеску. Мы с Люсей приехали на академической машине, я прошел вперед и стал вблизи трибуны, но не выступал. Люся стояла вдалеке от меня. Цель митинга, как она была сформулирована Инициативной группой, — выразить отношение научной общественности к решениям Пленума Академии от 18 января, к позиции Президиума АН и руководства Академии в целом, довести до людей возможность и необходимость исправления создавшегося нетерпимого положения. Сотрудники институтов приходили целыми колоннами, неся транспаранты с лозунгами. Чувствовалась удивительная раскованность, радостное возбуждение тысяч людей, которые вдруг осознали себя некой мощной силой. Это была атмосфера освобождения! В начале митинга Толя Шабад стал читать лозунги на транспарантах, а собравшиеся — громко повторять последние ключевые слова. «На съезд — достойных депутатов! Депутатов!», «Бюрократам из Президиума — позор! Позор!», «Сахарова, Сагдеева, Попова, Шмелева — на съезд! На съезд!», «Президиум — в отставку! В отставку!», «Президент — в отставку! В отставку!», «Академии достойного президента! Президента!» На митинге было принято несколько обращений, решено добиваться срыва выборов 21 марта, с тем чтобы были назначены новые выборы (первоначально предлагалось бойкотировать выборы, затем была принята тактика призвать голосовать против всех кандидатов). После митинга, еще в машине, Люся сказала: «Я была уверена, что ты выступишь и объявишь, что будешь добиваться выдвижения своей кандидатуры в Академии и откажешься от всех выборов по территориальным и национальным округам, чтобы поддержать митинг.» Я ответил: «Я понимаю, что очень важно поддержать борьбу в Академии, поддержать резолюцию митинга (мы оба знали, что и в прессе, и на собраниях говорят: зачем беспокоиться о том, что Сахарова и Сагдеева нет в списках кандидатов от Академии, их уже выдвинули по территориальным округам). Но я чувствую ответственность также и перед теми, кто меня выдвигает и поддерживает по территориальным округам. Поэтому мне трудно принять то решение, о котором ты говоришь». Еще несколько дней я колебался в ту или иную сторону, даже устроил панику в Канаде, куда мы должны были вскоре ехать, отказавшись от поездки, чтобы принять участие в предвыборной кампании. Все фиановцы — Шабад, Файнберг, Фрадкин, Пономарев, а также и некоторые другие просили меня не отказываться от территориальных округов. Лишь за сутки до отъезда на Запад я принял окончательное решение, согласившись с Люсей, и написал письмо в «Московские новости», где сообщал об отказе избираться по территориальным и национально-территориальным округам. Одновременно я должен был развязать еще один «узелок». В начале января я согласился встретиться с французским писателем Бару, который в прошлые годы выступал в нашу защиту, я долго откладывал эту встречу, но в конце концов дальше откладывать показалось мне неудобным. Мы довольно долго проговорили на кухне, большей частью говорил я, но несколько раз принимала участие в разговоре Люся. Разъясняя нашу общую точку зрения о необходимости прямых выборов главы государства, она употребила какое-то образное выражение, из которого следовало, что положение не выбранного прямым способом главы государства очень неустойчиво. Все это было не более чем попытка популярно изложить концепцию. Но дальше произошло следующее. Бару опубликовал в ряде газет фрагменты нашей беседы как интервью. Из этого текста многочисленные комментаторы сделали вывод, что мы предсказываем скорое падение Горбачева. Сейчас, спустя полгода, этот эпизод кажется пустяковым. Но тогда нам было неприятно. Редакция «Известий», возможно по просьбе самого Горбачева, попросила меня написать разъяснение. Я это сделал и через Жаворонкова передал редакции «Известий», одновременно

передал упомянутый выше текст для «Московских новостей». В тот же день мы, на этот раз вместе с Люсей, выехали во вторую в моей жизни зарубежную поездку. Вечером мы прилетели в Рим, где нас встретила Ирина Алексеевна Иловайская-Альберти. В Италии мы пробыли шесть дней, за это время я встречался в Риме со многими политическими деятелями (с бывшим президентом республики Пертини, который много раз выступал в нашу поддержку, с бывшим премьером, лидером Социалистической партии Б. Кракси и с нынешним премьером), посетил знаменитую Академию деи Линчеи, где меня давно дожидался диплом иностранного члена. Это одна из старейших академий в мире, с именем которой связано начало отхода от умозрительной схоластики средневековой науки, переход к экспериментальному изучению природы. «Линчеи» означает рысь, как писали основатели академии, это животное обладает остротой взгляда, жаждой поиска и исследования. Чучело рыси стояло в том зале, где мне вручали диплом, и я не преминул использовать этот образ в моем ответном слове.

Центральным моментом в нашем кратком пребывании в Риме было посещение Папы. Люся уже была у Папы в декабре 1985 г., тогда она просила способствовать моему освобождению из горьковской ссылки. Она была глубоко тронута человечностью и отзывчивостью этого человека. Сейчас наши личные обстоятельства были гораздо более благополучными. Мы говорили с Папой о сложных и противоречивых проблемах нашей жизни, я пытался сформулировать основные принципы политики в отношении перестройки и страны. Я говорю о том же самом при всех встречах с государственными деятелями и в публичных выступлениях. Но в беседе с Папой я почувствовал самую большую неподдельную заинтересованность и интуитивное глубокое понимание.

Сильным впечатлением было само посещение Ватикана, этого удивительного города-государства, его дворца, в котором сосредоточены большие художественные ценности. Привез нас в Ватикан на своей машине и провез по его прекрасным садам священник, отец Серж. При беседе с Папой присутствовала и переводила Ира Альберти. Во всех наших встречах в Италии роль Иры была огромной. Она прекрасно и умно, с полным пониманием переводила мои не всегда простые и гладкие выступления и ответы на вопросы. Мне кажется, что иногда ее перевод был даже улучшением подлинника. Натерпевшись от многочисленных полузнающих язык переводчиков, мы особенно оценили Ирину помощь. И конечно, главное, что это была помощь друга, со взаимной симпатией.

После Папы мы встретились с кардиналом украинской католической церкви, затем выехали во Флоренцию. По дороге мне удалось посмотреть собор Франциска Ассизского в Ассизи и фрески Джотто. Было уже поздно, но меня узнал монах-привратник, позвал начальство, и двери собора открылись. Зато во Флоренции не удалось в этот первый приезд посмотреть ни Уффици, ни Питти. Жили мы во Флоренции, конечно, у Нины Харкевич. Из Флоренции выезжали на машине в Болонью и в Сиену, где мне вручили дипломы почетных докторов университетов, я также провел там пресс-конференции и встречи со студентами и преподавателями, было много интересных вопросов. Сами церемонии вручения дипломов в этих старых университетах (Болонский вообще старейший в мире), с процессиями докторов в средневековых мантиях, с герольдами и жезлами, старинной музыкой и торжественными речами — были незабываемыми.

В Италии на каждом шагу — ощущение истории, прикосновения к истокам нашей (европейской все-таки) цивилизации. Не всем, конечно, можно гордиться, но это — было и как-то преломилось в настоящем. Даже милая история о том, что члены городского самоуправления Сиены постоянно работали и жили в квестуре, верша дела города, но рядом на площади каждый день казнили преступников и их предсмертные крики мешали работать и спать отцам города — пришлось перенести место казни в другое место. Никому не пришло в голову, что следовало бы отменить такие казни, как колесование, и вообще поменьше казнить. В Риме мы видели Форум, Колизей («Ликует буйный Рим... торжественно гремит Рукоплесканьями широкая арена...»). Из Италии мы вылетели в Канаду, в совсем

другой мир — благополучного настоящего, но никак не самодовольного, не замкнутого в себе, мира высокого уровня жизни и не очень богатого событиями прошлого — трудового, иногда сурового и даже жестокого (индейцам в прошлом веке якобы давали отравленные одеяла). Я там сказал в одном выступлении, что Канада в ее сегодняшнем виде могла бы быть образцом для других стран — но как трудно следовать каким-либо образцам.

В Оттаве Люсе и мне вручили дипломы докторов наук. Люся произнесла от нашего имени прекрасное ответное слово, упомянув двуязычие Оттавского университета как пример решения таких трудных для всех проблем. Там равноправны французский и английский языки. Есть фотография — мы оба в мантиях, ей вручают квадратную докторскую шляпу с кисточкой.

В Оттаве на пресс-конференции меня спросил приехавший из Москвы корреспондент АПН: «Завтра вы встречаетесь с премьером и министром иностранных дел Канады. Собираетесь ли вы просить их способствовать освобождению наших парней, находящихся в плену в Афганистане и Пакистане?» Я ответил: «Освобождение военнопленных — не дело Канады. Только признание муджахидов воевавшей стороной, прямые переговоры с ними об обмене военнопленными — ведь в Кабуле и Ташкенте есть пленные муджахиды — может привести к освобождению советских военнопленных! Наша страна вела в Афганистане жестокую, страшную войну. Мы называем наших противников бандитами, не признавая их воюющей стороной. А у бандитов не военнопленные, а заложники. Были сообщения, что наши вертолеты расстреливали окруженных советских солдат, чтобы избежать их попадания в плен». Моя последняя фраза была процитирована в советской прессе (в «Красной звезде», кажется, сначала), вызвала очень резкие отклики крупных советских военачальников, многих читателей, бывших участников войны в Афганистане. Читатели сообщали о фактах героизма советских вертолетчиков, идущих на смертельный риск, иногда гибель, ради спасения попавших в окружение товарищей (что само по себе не противоречит возможности событий обратного рода). Я якобы оскорбил советскую армию, память советских солдат, погибших при исполнении интернационального долга. Потом эти же обвинения были мне предъявлены на выборах в Академии и на Съезде.

Западная пресса почти не заметила этого эпизода на пресс-конференции. Гораздо большее внимание привлекла другая история, произошедшая тогда же. Люся отвечала на вопрос об еврейской эмиграции из Советского Союза, об отказниках. Она сказала, уже в самом конце: «Есть тенденция, требование всех евреев-эмигрантов из СССР считать политическими беженцами. Это неправильно, несправедливо. Мы всегда боролись за право каждого на свободу эмиграции и свободу возвращения в свою страну. Но далеко не каждый эмигрант-еврей из СССР, тем более избравший США или Канаду, а не Израиль — политический беженец. У людей могут быть другие, вполне законные мотивы — желание жить лучше, лучше реализовать свои способности (как они надеются). Но почему эти люди имеют больше прав называться политическими беженцами (и получать связанные с этим преимущества), чем многие беженцы из Вьетнама, Камбоджи и разрушенной Армении?» Это Люсино заявление, которое я излагаю своими словами, обошло западные газеты и вызвало бурю. Люсю обвиняли в антисемитизме и в других смертных грехах. Нас предупреждали, что в Виннипеге, куда мы направлялись, так как я был приглашен участвовать в семинаре по ядерно-резонансному сканированию, нас встретит демонстрация возмущенных евреев. Но обошлось без демонстрации. Что касается семинара, то он действительно был интересным. В Виннипеге мы были также на двух данных в нашу честь обедах. На одном из них в очень богатом частном доме, во время обеда на скрипке играл уже не молодой человек. Разговорились. Он еврей из Одессы, там преподавал в знаменитой школе Столярского, играл в большом оркестре. После эмиграции оказался в Канаде. Долгое время был вообще без работы. «Тут нет ни нашей музыкальной культуры, ни традиций. Мне еще повезло, в конце концов меня взяли давать уроки музыки в одной из городских школ», — сказал он с горечью. Мы с Люсей чувствовали себя неловко, сидя за парадным столом, в то время как артисты — скрипач и его компаньон-баянист — играли, стоя в нескольких шагах от нас (в ресторане — другое дело, не знаю почему).

Вторую часть нашей зарубежной поездки мы провели частным образом у наших детей и внуков в США. Пять дней мы с Люсей провели со всеми четырьмя внуками во Флориде, точней на курорте Амелия-Айленд у северной оконечности полуострова. Это были прекрасные дни свободного общения с этими маленькими гражданами США, среди природы, на берегу Атлантического океана. Кстати, мы видели там аллигатора в природных условиях.

В США я увидел английский перевод этой лежащей сейчас перед вами книги, многое на беглый взгляд показалось мне не вполне точным. 18 марта я вернулся в СССР, чтобы участвовать в выборах в Академии, и взял с собой часть переведенных глав. В Москве я просмотрел их и отметил не удовлетворяющие меня места (на всю книгу у меня не было ни времени, ни сил). Люся осталась еще на месяц — чуть больше — в США с детьми и внуками. Она работала там (интенсивно и, я думаю, плодотворно) над своей книгой о детстве. В Москве, особенно при мне, у нее нет ни минуты и для более простых и «механических» дел.

В первый день выборного собрания были дискуссии по процедуре и обсуждению кандидатур. Во второй день — собственно выборы и подсчет голосов. При подсчете голосов произошел инцидент — у одного из счетчиков в его пачке бюллетеней было гораздо больше голосов «за», чем у остальных счетчиков. Члены Инициативной группы, присутствовавшие при подсчете голосов в качестве наблюдателей, обратили на это внимание. Они заметили также, что рядом с этим счетчиком на столе, где были разложены бюллетени, стоял его портфель (что, конечно, противоречит всем правилам). Спешно вызванный председатель комиссии акад. Котельников сказал, что подобные отклонения от средних величин бывают и не следует этому удивляться.

К вечеру стали «по знакомству» известны результаты голосования — восемь кандидатов набрали необходимую норму 50% голосов и стали депутатами, 15 получили менее половины и не прошли. (Возможно, один или два из восьми обязаны своей победой счетчику с портфелем). Таким образом, остались незаполненными 12 мест. На другой день результаты голосования были объявлены на собрании. Было принято решение о проведении новых выборов 13 апреля с новым выдвижением кандидатов по институтам. В составе Пленума решено было иметь только членов Президиума, без членов бюро отделений (что уменьшало возможность каких-либо неожиданностей). Президиум должен был назначить новую избирательную комиссию. Институты начали новый цикл выдвижения кандидатур, Инициативная группа наблюдала за этим процессом. Она составила список кандидатов, получивших поддержку нескольких институтов (по группам: более одного, более 10, более 20 и т. п.), и передала этот список в Президиум. В этот раз я получил поддержку почти всех научных учреждений Академии — от более чем 200 учреждений. Президиум пытался еще раз взять контроль над ситуацией в свои руки, разослав новые правила выдвижения «выборщиков» от институтов, число их стало меньше на 140 человек. Но это уже не имело большого значения. Пленум (Президиум) показал, что он работает как послушная машина голосования в руках президента, утвердив все предложенные им кандидатуры и отвергнув все кандидатуры, предложенные мной и другими участниками собрания. Но Марчук в своем списке, не желая опять попадать в конфликтную ситуацию, в значительной мере учел рекомендации Инициативной группы (хотя и с некоторыми далеко не случайными исключениями).

12 или 13 апреля состоялось Общее собрание членов Академии, на котором обсуждались утвержденные Пленумом кандидатуры. Кандидаты говорили о своих программах, отвечали на вопросы, были довольно острые выступления. У входа в здание Университета стояла группа молодых людей, призывавших голосовать против академика Арбатова. В поддержку Арбатова выступил Ю. Карякин, который сказал, что Арбатов в прошлые годы, когда он пользовался доверием руководства, помогал невинно осужденным. Это ему лично известно. Он также добавил, что те, кто сейчас на улице призывают голосовать против Арбатова, принадлежат к «Памяти». Выступил также Сагдеев, он изобразил прошлую кулуарную деятель-

ность Арбатова в высших сферах как очень прогрессивную и полезную, при этом Арбатову, в качестве цены, приходилось публично выступать с поддержкой официальных заявлений, иногда принимая на себя тяжелый груз позора (то же самое ответил мне Сагдеев, когда я спросил его за несколько дней до этого, почему он поддерживает Арбатова). Арбатова спросили из зала, правда ли, что он уволил недавно нескольких научных сотрудников Института США и Канады, как его в этом обвиняют. В числе уволенных Яковлев*. Тот ли это Яковлев, которому когда-то нанес известный урон Сахаров? Арбатов ответил: «Да, тот самый». К сожалению, я никак не вмешался в эту дискуссию, не успев сообразить, как мне надо реагировать. На самом деле, как я думаю, этот эпизод был хорошо разыгранным спектаклем. Меня больше всего смущала позиция Сагдеева. Выступить против Арбатова означало бы, что я не доверяю Сагдееву.

Другой эпизод произошел в связи с моей кандидатурой. После многих хвалебных в мою честь выступлений к трибуне вышел академик Коптюг, член Президиума Академии. Он сказал: «Меня часто спрашивают избиратели, голосовал ли я на Пленуме 18 января против Сахарова. Я не скрываю этого. Я голосовал против, и объясню почему. Я уважаю академика Сахарова за его научные заслуги. Но некоторые пункты в его предвыборной программе являлись, по моему мнению, неправильными и опасными. Он писал о свободном рынке рабочей силы. По существу этот пункт означает призыв к созданию резервной армии безработных, что повлекло бы за собой тяжелейшие социальные потрясения. Сахаров писал также о необходимости передать в аренду землю убыточных колхозов немедленно, еще до начала посевной кампании. Совершенно ясна нереальность этого требования (посевная кампания уже идет). Это опасный экстремизм. В дальнейшем Сахаров изменил эти пункты, тем самым признав их ошибочность. Но первоначально эти пункты были именно такими» **. Один из выступавших после Коптюга сказал: «Мы должны быть благодарны академику Коптюгу за его выступление. Несомненно, на выборах будут голоса, поданные против Сахарова. Если бы вслух все только хвалили его, наличие голосов против выглядело бы недостойно». Я только вечером сообразил, что ссылки Коптюга на то, что ему не понравилась моя программа, не могут быть правильными. 18 января у меня еще не было никакой написанной программы, я ее составил только через несколько дней перед собранием в ФИАНе.

На другой день состоялись выборы. Избранными оказались 12 депутатов, получивших более половины голосов и больше остальных кандидатов. Я был избран, но далеко не с наибольшим числом голосов — я оказался где-то в середине списка избранных. Почти в конце списка был Арбатов. В целом же было избрано много достойных, энергичных людей.

После выборов Инициативная группа не распустилась. Она взяла на себя некоторые функции организационной помощи депутатам-академикам, пыталась, в частности, организовать связь академических депутатов с прогрессивными депутатами из других регионов страны, составила и разослала письмо с изложением тезисов как базы для объединения. В Доме ученых во время Съезда постоянно дежурили представители группы, проходили совещания.

Еще до академических выборов, с конца марта, в Доме политпросвещения на Трубной площади стала собираться группа депутатов Москвы и Московской области. Первоначально их было человек 20—30. После выборов в Академии я тоже (с некоторым запозданием) примкнул к этой группе. В группу вошли многие радикальные экономисты (Попов, Шмелев, Емельянов, Тихонов, Петраков и другие). Они пытались подготовить для предложения делегатам Съезда документы, содержащие концепцию экономических и социальных реформ и предложения по неотложным экономическим и социальным шагам с целью предотвратить надвигающуюся экономическую катастрофу. Другие депутаты занимались разработкой проекта

* Время показало, что не только Н. Н. Яковлев, но и ряд тех, кто выступал против Арбатова, выступал и против А. Д. Сахарова. **(Прим. Е. Боннэр).**

** Кавычки здесь, как и во многих других местах этой книги, не означают буквального цитирования. Я, конечно, писал по памяти. **(Прим. А. Д. Сахарова).**

повестки дня Съезда, предложений по конституционным правилам Съезда и Верховного Совета, порядка выборов депутатов Верховного Совета и по другим процедурным и концептуальным вопросам, которые необходимо будет обсудить на Съезде. Я принял участие в этих дискуссиях и написал документ, фактически содержавший основные мои идеи о необходимости сосредоточения в руках Съезда всей законодательной власти и по национальному вопросу.

Однако я должен вернуться назад и рассказать о событиях в Грузии, которые также вошли в нашу судьбу. В первых числах апреля в Тбилиси проходили митинги, поводом для которых послужили требования абхазцев об отделении Абхазии от Грузии (и, по-видимому, переходе в состав РСФСР). Абхазцы составляют в Абхазии меньшинство — как они утверждают, в значительной мере в результате политики «грузинизации». Абхазцы недовольны существующим положением и выразили свои требования на многотысячном митинге в древнем центре Абхазии Лыхны. Но большинство грузин (мы имели возможность в этом убедиться) считают недопустимым изменение существующего положения — как по экономическим причинам, так и из-за опасений за судьбу грузинского большинства в Абхазии. Я скорей считаю оправданной позицию абхазцев. Мне кажется, что с особенным вниманием надо относиться к проблемам малых наций, свобода и права больших наций должны осуществляться не в ущерб малым. Но в данном случае наиболее существенно, что проходившие в Тбилиси митинги носили мирный и конституционный характер. Тем не менее они стали объектом необычайной по своей жестокости акции. Хочу также отметить, что, по утверждениям многих, лозунги митингов далеко не сводились к абхазской проблеме и отошли от нее в сторону. Главный тезис свелся к слову «суверенитет» (как нас уверяли, не в смысле выхода Грузии из СССР, а в смысле культурной и экономической независимости). Но даже призыв к выходу из СССР не противоречит Конституции... И вот, в ночь на 9 апреля произошли потрясшие весь мир события... Как известно, утром по улицам Тбилиси прошли прибывшие в город накануне ночью воинские части, с танками, в устрашающей боевой форме. Этот парад привел к результату, быть может, противоположному замыслу его устроителей — на площадь вечером вышло более 10 тысяч человек, ранее было менее тысячи. В 4 часа утра войска напали на митингующих, разделили толпу на части и начали экзекуцию. Людей били саперными лопатками по голове и спине, нанося тяжелые рваные раны, были также применены отравляющие вещества. Особенно сильно пострадали девушки, голодавшие «за суверенитет». 21 человек был убит или получил смертельные повреждения или отравление при этой акции, из них 16 девушек. Среди погибших большинство имели поражение дыхательных путей отравляющими веществами, у двоих по крайней мере не было никаких внешних повреждений: таким образом, отравление было единственной причиной смерти. На предвыборном собрании Академии приехавший в Москву академик Гамкрелидзе спросил меня, согласен ли я принять участие в организованной в Грузии Общественной комиссии по расследованию событий 9 апреля. Я согласился. Вскоре я получил сообщения, что находящиеся в больнице люди объявили голодовку, требуя, чтобы военные назвали, какое отравляющее вещество было против них применено, а также требуя приезда делегации Красного Креста. Я позвонил А. Н. Яковлеву и, рассказав ему об этих требованиях, естественно, спросил, кто распорядился вызвать войска. Яковлев ответил, что войска вызвал Патиашвили, бывший первый секретарь ЦК Грузии, так как он паникер, и что наряду со слезоточивым газом «Черемуха» был применен газ Си-Эс, «неизвестно каким образом попавший из Афганистана». Я передал сообщение о Си-Эс через брата Гамкрелидзе, но, видимо, никто в те дни не придал моему сообщению значения.

3 мая я был приглашен в Моссовет для участия во встрече народных депутатов от Москвы с руководителями партии и правительства. На встрече присутствовали Горбачев, Лукьянов, Зайков, кто еще не помню. Я кратко выступил в защиту предложенной группой депутатов, заседавших в Доме политпросвещения, повестки дня, подразумевавшей сначала широкое обсуждение основных принципиальных проблем, а затем уж выборы в Верховный Совет и его председателя. Как сказал В. И. Кириллов (депутат от Воронежа) — правда, не на этом заседании, где были только

москвичи: «Американский ковбой сначала стреляет, затем думает. Нам бы надо наоборот — сначала подумать, потом стрелять, настрелялись за 70 лет». Я также говорил о необходимости отмены законов о митингах и демонстрациях и полномочиях специальных войск и о несовершенной формулировке Указов от 8 апреля, которые были предназначены заменить статьи 70 и 190-1. Я повторил свой главный тезис, что недопустимо уголовное преследование за убеждения и связанные с убеждениями действия, если это ненасильственные действия и нет призыва к насилию. «Антиконституционные действия» — недостаточно однозначная формулировка. Потом на Съезде я вновь выступил по этому вопросу. Отвечая мне, Горбачев сказал: «Демократия должна себя защищать». Я с места заметил: «Даже нарушая демократию?» Горбачев очень неодобрительно на все это прореагировал. Прекрасно, содержательно выступали экономисты — Попов и Шмелев. Шмелев, в частности, едко возразил одному из выступавших, предлагавшему создать новые ЧК для борьбы с нетрудовыми доходами и злоупотреблениями кооператоров. Разрушителями экономики являются те, кто контролирует 95 ее процентов. ЧК начала с борьбы с мешочниками, а кончила 37-м годом. Горбачев, выступая с ответом, сказал, что КГБ будет поручена борьба с рэкетом.

Драматичным завершением собрания было выступление Гдляна. Я должен дать некоторые пояснения. Внедрение в Узбекистане монокультуры хлопка создало в республике очень тяжелую обстановку, я еще буду об этом писать. Одним из следствий этих трудностей было возникновение так называемой Узбекистанской мафии, группы взяточников, казнокрадов и коррумпированных партийно-государственных функционеров, во главе с первым секретарем ЦК Узбекистана Рашидовым и садистом-палачом министром внутренних дел республики Яхъяевым. Основой доходов преступников были приписки к количеству произведенного в республике хлопка (сами по себе приписки представляли собой некую форму компенсации за низкие, установленные государством закупочные цены, и только таким образом производители имели возможность кое-как сводить концы с концами; но приписки были незаконными и создавали поэтому условия для существования целой мафиозной иерархии взяточников, присваивавших себе часть «незаконных» денег). Конечно, преступники имели очень большую поддержку в Москве, иначе они не могли бы быть безнаказанными многие годы. Расследование этого дела было поручено старшему следователю Прокуратуры СССР Тельману Гдляну, который возглавлял целую группу подчиненных ему следователей. Как писали в наших газетах, работа этих следователей, во всяком случае в начале их деятельности, была достаточно опасной.

Следствие в СССР проходит фактически бесконтрольно. Одна из причин та, что следствие проводится прокуратурой, которой также поручен весь контроль за соблюдением законов в СССР. Результат — систематические нарушения законности и элементарной гуманности в работе следственных органов. Следователи часто добиваются нужных им показаний, применяя варварские методы. В делах политических случаи такого рода более редки (все-таки к ним приковано общественное внимание), но тоже иногда имеют место. Можно предполагать, что у Гдляна были особо большие полномочия, и соответственно нарушения законности и гуманности тоже были велики.

Широкий общественный интерес к расследованиям Гдляна возник в связи со сведениями, что в ходе следствия его группой собраны материалы, изобличающие высокопоставленных московских покровителей «местных» преступников. Впервые об этом было сообщено в журнале «Огонек» незадолго до 19-й партконференции, затем были и другие публикации, создавшие Гдляну и его помощнику Иванову огромную популярность, особенно в среде рабочих, как смелым борцам с коррупцией. Я присутствовал в ФИАНе в начале апреля на выступлении О. Г. Чайковской, постоянного автора «Литературной газеты». Она рассказывала, основываясь на представленных в ее распоряжение документах, что Гдляну разрешалось многолетнее нахождение подследственного под стражей в необычайно тяжелых условиях подземной тюрьмы. Шестеро подследственных умерли за время следствия, шестеро покончили жизнь самоубийством. Несомненно, публикации были санкционированы на высоком уровне, так же как нарушения

сроков содержания подследственных в тюрьме. В то же время Чайковской не разрешали ничего публиковать. Положение резко изменилось в конце апреля. Некоторые высказывают предположение, что это связано с прошедшим в эти дни Пленумом ЦК, на котором многие высокопоставленные противники перестройки были вынуждены уйти в отставку.

Если именно среди них были взяточники, то необходимость держать их под угрозой разоблачения отпала; не исключено даже, что с ними было заключено нечто вроде «джентльменского» соглашения (слово «джентльмен» не случайно тут поставлено в кавычки). Так или иначе, над Гдляном начали сгущаться тучи.

В этих условиях состоялось его выступление в Моссовете 3 мая. Он начал с того, что отверг обвинения в нарушениях закона и в клевете. «Меня обвиняют в государственных преступлениях. Смотрите — перед вами стоит государственный преступник!» — патетически воскликнул Гдлян. «Очень может быть!» — крикнул с места Пуго, председатель комиссии партийного контроля, сменивший на этом посту Соломенцева, которого в числе других Иванов упомянул как «проходящего по делу» (не очень однозначная формула). Гдлян далее рассказал, что несколько дней назад (уже после апрельского Пленума) в камеру подследственного (не помню фамилию) бывшего председателя Совета Министров Узбекистана ночью тайно пришли Генеральный прокурор СССР Сухарев, его заместитель Васильев и полковник КГБ Духанин. Они долго беседовали с подследственным. Утром подследственный написал заявление, в котором он отказался от части данных им ранее показаний, а именно от показаний о даче им крупных взяток высокопоставленным лицам в Москве. Гдлян далее сказал: «У меня имеются документы, доказывающие факты преступлений многих высших работников партийного и государственного аппарата. Я прошу вас, Михаил Сергеевич, принять меня, чтобы я мог ознакомить вас с этими документами. Я прошу назначить комиссию, состоящую из депутатов Съезда, которая рассмотрела бы материалы дела и выдвинутые против меня обвинения. Никакой другой комиссии я не доверяю и показаний давать не буду». Горбачев слушал молча, не перебивая, с мрачным видом. Потом он сказал: «Это чрезвычайно серьезное дело. Я приму вас. Но если у вас нет доказательств ваших утверждений, я вам не завидую».

На другой день мы с Люсей вылетели в Тбилиси. Там нас, как я уже писал, поместили в апартаменты над Курой. Справа нам был виден Метехский замок и нависший над водой головокружительный обрыв. Перед революцией в этом замке, превращенном в тюрьму, сидел отец Люси Геворк Алиханов. Ему удалось бежать из заключения, спустившись по канату в ожидавшую внизу лодку. Большевики, действительно, были отчаянные люди. Но сейчас вся страна стоит перед гораздо более страшным обрывом...

Мы посетили заседание общественной комиссии и комиссии Президиума Верховного Совета Грузии. Слышали много ужасных рассказов очевидцев событий 9 апреля. Врач скорой помощи показал, что беременную женщину, медсестру, дежурившую в санитарной машине (с красным крестом, конечно), солдаты вытащили из машины и избили до смерти. Она даже не была участницей митинга, просто присутствовала на случай, если кому-либо станет плохо. Мать этой женщины, узнав о гибели дочери, умерла в тот же день от инфаркта. После комиссии мы беседовали с бывшим участником афганской войны, который присутствовал при расправе на площади. Он рассказал, что один из солдат пытался оказать помощь двум избитым девушкам, донес их до ограды и перебросил. Офицер крикнул ему: «Андреевский, назад!» Солдат вернулся, его тут же сбили с ног и начали избивать.

Министр внутренних дел Грузии рассказал, что он возражал против вызова войск, обещал справиться с ситуацией собственными силами. Но Патиашвили и его замы, в том числе Никольский (второй секретарь ЦК Грузии; во всех союзных республиках эту должность занимает «человек Москвы»), не согласились.

Мы посетили одну из больниц, где содержались пострадавшие от отравления и избиений. Состояние многих было тяжелое. У многих, конечно, если не у всех, большую роль играл при этом психогенный фактор. Но в основе лежало реальное отравление, реальные травмы. Мы вошли в пала-

ту девушки, лежавшей с капельницей. Это была одна из наиболее тяжелых больных. Доктор рассказала ее историю. Ее сильно ударили солдаты, но она частично пришла в себя и поползла полубессознательно в их сторону. Тогда они закричали «ты еще жива, стерва», и стали бить ее ногами, особенно в живот. Один из солдат приложил баллончик с газом прямо к ее лицу и опрыскал его в упор. В больнице мы встретились также со студентами, которые в качестве «заместителей» больных продолжали их голодовку. Была угроза распространения голодовки на другие города Грузии. Мы сумели уговорить больных и студентов прекратить голодовку, обещав приложить все усилия для удовлетворения их просьб — в особенности присылки врачей с Запада. Еще в первую половину дня по Люсиной инициативе мы дозвонились в посольство США и попросили посла США Мэтлока навести справки о газе Си-Эс. Через 2 дня от посла поступила информация. Люся хорошо знала французских врачей из организации «Медицина без границ», которые выезжают во все районы мира, где происходит какое-нибудь бедствие. Через Иру Альберти она связалась с ними. Я позвонил в МИД СССР помощнику Шеварднадзе, и он обещал помочь с оформлением поездки. Конечно, все в нашем бюрократическом мире происходит совсем не гладко, и нам (главным образом Люсе) пришлось много еще раз звонить Ире, в МИД, в грузинское постпредство. Не менее сложно было организовать приезд американских врачей аналогичного профиля (среди них были крупные специалисты-токсикологи), тоже по Люсиной инициативе. Приезд этих двух групп врачей (а кроме них, независимо от нас приехали врачи из Красного Креста) был очень полезным, успокоил людей и тем значительно разрядил атмосферу. Американские врачи подтвердили применение отравляющих веществ. Наряду с ранее идентифицированными они предполагают применение хлорпикрина.

Перед отъездом из Тбилиси мы имели встречу с патриархом Илией и новым первым секретарем ЦК Грузии Гумбаридзе, сменившим Патиашвили.

Патриарха я спросил, правильны ли сведения — их также повторил Горбачев 3 мая, — что, когда он пришел на площадь уговаривать митингующих разойтись, они оскорбляли его. Патриарх категорически это отрицал.

Я задал Гумбаридзе вопрос, кто ответственен за то, что события 9 апреля приняли такой трагический оборот. Он ответил: «Читайте материалы пленума». Он говорил об апрельском пленуме ЦК и тем самым давал понять, что ответственны консервативные члены ЦК, ушедшие в отставку. Мне тогда этот ответ казался искренним, теперь все для меня не так однозначно.

В Москве продолжались предсъездовские совещания. Меня выбрали так называемым представителем, т. е. я вошел в число $^1/_5$ всех депутатов, которые должны были обсуждать повестку Съезда, — до самого последнего дня не было ясно, когда это произойдет, и эта неясность заставила меня отказаться от давно намеченной поездки во Францию на конференцию по нарушению CP-инвариантности. Поездка хотя бы на один день была бы хоть каким-то знаком вежливости по отношению к пригласившим меня французским ученым (они больше многих заступались за нас в горьковские дни). Что нельзя поехать на всю конференцию, стало ясно, как только была назначена дата начала Съезда. Потом, конечно, оказалось, что аппарат Президиума Верховного Совета СССР «обошел» нас в вопросе о повестке и сумел навязать без обсуждения разработанную им еще давно повестку дня Съезда, начинавшуюся с выборов Председателя Верховного Совета. Заранее это предугадать было нельзя.

После одного из заседаний Президиума Академии ко мне подошел академик Кудрявцев, директор Института государства и права, и сказал, что он сейчас работает в комиссии Верховного Совета, которая разбирает заявления, поступившие по делу Гдляна. В этих заявлениях — их очень много — сообщается о серьезнейших нарушениях Гдляном законности. Я спросил: «Избиения подследственных?» — «Нет, об этом данных нет. Но есть большие нарушения сроков содержания под стражей и другие тяжелые нарушения, бездоказательность многих обвинений. Я хотел бы, чтобы вы были в курсе дела. Вероятно, наша комиссия будет распущена и будет назначена депутатская». Кудрявцев не делал мне никаких предложений, но явно этот разговор был не случайным.

19 мая я слетал на один день в Сыктывкар (главный город Коми АССР), где я хотел поддержать кандидатуру Револьта Пименова, того самого человека, с дела которого (вместе с Б. Вайлем) началось 19 лет назад мое знакомство с диссидентскими судами. В связи с этим делом я встретился впервые с Люсей. Отбыв срок ссылки, Пименов остался в Сыктывкаре, работая по специальности (он математик). Он был выдвинут кандидатом в депутаты, после первого тура выборов осталось два кандидата. Я выступил в Сыктывкаре на нескольких многолюдных собраниях, в том числе и на самом большом заводе города. На собраниях мне задавали много вопросов, не только о Пименове. Постоянными были вопросы о Гдляне. всех волновало, не будет ли в связи с кампанией против него (в эти дни было опубликовано сообщение об отстранении его от следствия) свернуто расследование дел о взяточничестве. Конечно, были также вопросы о том, как я отношусь к Ельцину и Горбачеву. Я был в телецентре, мое выступление о Пименове было записано, но не транслировалось, как можно предполагать, по указанию секретаря обкома Мельникова, одного из самых консервативных ораторов на апрельском Пленуме ЦК. На втором туре выборов, состоявшемся через 2 дня, Пименов не был избран. В городе он получил значительное большинство, но сельские районы поддержали его конкурента (тут бы телевидение могло сыграть большую роль).

Я скажу кратко о моем отношении к Горбачеву и Ельцину. Я считал (и продолжаю считать), что нет альтернативы Горбачеву на посту руководителя страны в этот ответственный период ее истории. Именно Горбачев был инициатором многих решений, которые за 4 года совершенно изменили всю обстановку в стране и в психологии людей. Конечно, к этим решениям нашу страну неумолимо подтолкнула история, но все же нельзя не учитывать роль Горбачева. При этом я совершенно не идеализирую личность М. С. Горбачева, не считаю, что он делает все необходимое. Я считаю очень опасным сосредоточение в руках одного человека ничем не ограниченной власти. Но все это не отменяет того факта, что Горбачеву нет альтернативы. Я говорил об этом неоднократно на многих собраниях. Лицо М. С. Горбачева осветилось радостью и торжеством победы, когда я повторил эти слова в его присутствии на собрании представителей (я стоял при этом лицом к Горбачеву).

Теперь о Ельцине. Я отношусь к нему с уважением. Но это фигура, с моей точки зрения, совсем другого масштаба, чем Горбачев. Популярность Ельцина — это в некотором смысле «антипопулярность Горбачева», результат того, что он рассматривался как оппозиция существующему режиму и его «жертва». Именно этим объясняется, главным образом, феноменальный успех Ельцина (5 или 6 млн. голосов — 87% голосов) на выборах в Московском национально-территориальном округе.

Ельцин принимал участие в работе группы, собиравшейся в Доме политпросвещения. Правда, он большею частью молчал. Но иногда его замечания были вполне разумными. Ельцин, возможно, сыграл определенную роль в том, что заседания Съезда транслировались по телевидению (причем непосредственно, без записи, прямо в эфир). Такая трансляция была обещана Горбачевым 3 мая на встрече с депутатами Москвы. Однако Ельцин во время одной из последних предсъездовских встреч в присутствии Лукьянова и Зайкова встал и сказал: «Здесь передо мной газета с программой телевизионных и радиопередач на ближайшую неделю. В ней не предусмотрена прямая трансляция из зала Съезда — только информация о работе Съезда и беседы с депутатами. Нас, всю страну, пытаются обмануть. Если это произошло по вине К-о (он назвал фамилию, я ее забыл), то он должен быть наказан. Необходимо обязать Комитет по телевидению и радио немедленно принять меры по исправлению ошибки». Лукьянов стал тут же звонить по разным телефонам. На другой день он заверил нас, что недоразумение исправлено.

21 мая в Лужниках происходил большой митинг. Инициатива проведения митинга принадлежала «Трибуне» (кажется, Баткину). Задача, по мысли организаторов, была дать ответ на события в Тбилиси, которые рассматривались как попытка реакции навязать свои «правила игры». Фак-

тически к моменту проведения митинга акценты сместились, и идея митинга оказалась размытой. Я согласился участвовать в митинге (хотя Люся считала это решение неправильным). На митинге присутствовали Ельцин и Гдлян. Перед началом выступлений Гдлян подошел ко мне, сказал, что очень рад лично познакомиться. Я поздоровался. Сказал, что я настороженно отношусь к обвинениям против него, но с не меньшей настороженностью отношусь и к его утверждениям. Гдлян сразу как-то помрачнел и отошел в сторону.

У Баткина был заготовлен список ораторов. По моей просьбе я был записан третьим. Первым должен был выступать рабочий одного из московских заводов, затем кто-то из Инициативной группы. Но рабочий не пришел. В это время на трибуну поднялся Ельцин. Баткин и другие организаторы митинга, посоветовавшись тут же у микрофона, предоставили ему первое слово. Ельцин говорил о повестке дня Съезда, разработанной Московской группой, при этом получалось, что он как бы представляет Московскую группу. (Потом многие говорили, что это был митинг в поддержку Ельцина.) Я тоже хотел говорить о повестке, но многие тезисы моего выступления уже были высказаны Ельциным. Я не сумел перестроиться, и мое выступление оказалось «смазанным».

21 мая — мой день рождения («мое деньрождение», как говорят дети). Но настроение было испорчено. Люся говорила: «Лучше бы ты послушался меня, и мы бы слетали на один день в Париж, где физики заготовили уникальный торт. А так ты их обидел». Гораздо более удачными и необходимыми были два других митинга в Лужниках, на которых я присутствовал и выступал. На митинге 28 мая было более 200 тысяч человек, я говорил там в ключе своего первого выступления на Съезде.

За неделю до митинга 21-го в Москве мы летали на один день за рубеж — в Милан, на ежегодный съезд Социалистической партии Италии. Ира позвонила нам и просила, если есть возможность, приехать, чтобы поддержать Беттино Кракси, лидера Социалистической партии. Достаточно самого факта присутствия на Съезде, нескольких слов. Кракси и Социалистическая партия больше других поддерживали нас в трудные годы. Мы вылетели в 7 часов вечера, переночевали в Милане в гостинице. Утром, после неизбежного телеинтервью, поехали на съезд. Он проходил в огромном прямоугольном помещении производственного вида. Раньше это был цех какого-то завода. В отгороженной части стоял домик-автоприцеп, где помещался штаб Кракси и его помощники. За легкой стенкой были слышны речи ораторов, аплодисменты, пение песен, напоминавших нам по своему звучанию революционные песни и первомайские демонстрации нашей молодости. Участники собрания то и дело выходили и входили через боковые двери, чувствовали себя свободно. Около получаса мы ждали Кракси, потом он приехал, мы вместе с ним прошли в зал на трибуну, встреченные аплодисментами. Кракси представил меня. Я сказал, что мы — моя жена и я — приехали из чувства дружбы и благодарности к Социалистической партии и Беттино Кракси, которые так помогали нам в трудные годы. «Велика была роль и других партий, и лидеров, но все же ваша самая большая». Потом я говорил о положении в СССР, задачах Съезда, о роли мировой общественности в поддержке перестройки. Упомянул армянскую проблему, необходимость защиты членов комитета «Карабах». Мне подарили букет гвоздик. Я поднял его над головой и воскликнул: «Гвоздики — это символ единства трудящихся. За мир! За вашу и нашу свободу!»...

Ира, как всегда, блистательно переводила. Она сказала, что Кракси сиял во время моего выступления. Сразу после окончания выступления мы поехали на аэродром. До Франкфурта мы летели на маленьком частном самолете, принадлежащем бизнесмену, поддерживающему Социалистическую партию. В кабине очень удобные кресла, в них разместились Ира, Люся и я, перед нашими глазами — цветной экран, на котором видна маленькая фигурка самолета, ползущая по карте Италии, Швейцарии, ФРГ, и данные о полете. Во Франкфурте мы простились с Ирой и на самолете Аэрофлота вечером были в Москве. На такси огромная очередь, пришлось взять «левака» за доллары — за рубли никто не хотел, тоже знамение времени.

Глава 7

СЪЕЗД

Итак, Съезд! Он открылся 25 мая в 10 утра в Кремлевском Дворце съездов. Нам выдали талончики с точным указанием места. Делегаты были размещены по территориальному принципу, в пределах делегации — по алфавиту. Рядом со мной сидела Семенова — редактор журнала «Крестьянка». Она то и дело комментировала выступления: «Ну, миленький, что же ты такое говоришь!» Меня она тоже иногда называла «миленьким». С 6 часов утра я не спал, думал, следует ли мне выступать и о чем я должен сказать. Я не подготовил никакого текста выступления, все тезисы держал в голове. Это была, вероятно, ошибка, я переоценил свои психологические возможности. Моя задача оказалась гораздо трудней, чем в Милане. Потом я увидел, что все ораторы читают написанный текст, и последнее свое выступление написал, за исключением вводных и заключительных фраз.

В начале Съезда выступил депутат Толпежников от Латвии. Он предложил почтить память погибших в Тбилиси (все встали) и внес депутатский запрос: «Требую сообщить, кто отдал приказ об избиении мирных демонстрантов в городе Тбилиси и применении против них отравляющих средств...» На этот запрос ответа так и не было дано. С самой первой минуты Съезд принял предельно драматический характер и сохранил его до конца.

После того, как было зачитано предложение по повестке дня, основанное на проекте аппарата Президиума, я попросил слова. Горбачев тут же дал мне его. После моего выступления ко мне подошел сотрудник секретариата и попросил внести исправления в стенограмму и подписать ее. Я внес в текст два мелких стилистических исправления. Одна фраза в стенограмме была записана совершенно неправильно, я не мог вспомнить точно, что я сказал, и просто ее вычеркнул. Сейчас я попытался восстановить эту фразу. Ниже я также опустил одну неудачную фразу (кажется, я ее вычеркнул и в стенограмме или как-то исправил). В тексте, опубликованном в «Известиях», и в бюллетене Съезда все мои исправления не учтены. Почти с первых секунд моего выступления в зале начался шум, хлопанье и выкрики, в конце все это перешло в откровенную обструкцию.

Сахаров, Москва, Академия наук СССР (исправленный текст).

«Уважаемые депутаты, я хочу выступить в защиту двух принципиальных положений, которые стали основой проекта повестки дня, составленного группой московских депутатов в результате длительной работы. Этот проект был поддержан также рядом депутатов страны.

Мы исходим из того, что данный Съезд является историческим событием в биографии нашей страны. Избиратели, народ избрали нас и послали на этот Съезд для того, чтобы мы приняли на себя ответственность за судьбу страны, за те проблемы, которые перед ней стоят сейчас, за перспективу ее развития. Поэтому наш Съезд не может начинать с выборов. Это превратит его в съезд выборщиков. Наш Съезд не может отдать законодательную власть одной пятой своего состава. То, что предусмотрена ротация, это ничего не меняет, тем более, что в спешке, очевидно, ротация составлена так, что только 36 процентов — я основываюсь на Конституции — только 36 процентов депутатов имеют шанс оказаться в составе Верховного Совета.

На этом основан первый принципиальный тезис положения, содержащийся в проекте, представленном московской группой.

Я предлагаю принять в качестве одного из первых пунктов повестки дня Съезда декрет Съезда народных депутатов СССР. Мы переживаем революцию, перестройка — это революция, и слово «декрет» является самым подходящим в данном случае. Исключительным правом Съезда народных депутатов СССР является принятие законов СССР, назначение высших должностных лиц СССР, в том числе Председателя Совета Министров СССР, Председателя Комитета народного контроля СССР, Председателя Верховного Суда СССР, Генерального прокурора СССР, Главного государственного арбитра СССР. В соответствии с этим должны быть вне-

сены изменения в те статьи Конституции СССР, которые касаются прав Верховного Совета СССР. Это, в частности, статьи 108 и 111.

Второй принципиальный вопрос, который стоит перед нами,— это вопрос о том, имеем ли мы право избирать главу государства — Председателя Верховного Совета СССР — до обсуждения, до дискуссии по всему тому кругу политических вопросов, определяющих судьбу нашей страны, которые мы обязаны рассматривать. Всегда существует порядок: сначала обсуждение, сначала представление кандидатами их платформ, а затем уже выборы. Мы опозорим себя перед всем нашим народом — это мое глубокое убеждение, если мы поступим иначе. Этого мы сделать не можем. (Аплодисменты.)

Я неоднократно в своих выступлениях выражал поддержку кандидатуре Михаила Сергеевича Горбачева. (Аплодисменты.) Этой позиции я придерживаюсь и сейчас, поскольку я не вижу другого человека, который мог бы руководить нашей страной. Но такие люди могут появиться. Моя поддержка носит условный характер. Я считаю, что необходимо обсуждение, необходим доклад кандидатов, потому что мы должны иметь в виду альтернативный принцип всех выборов, в том числе и выборов Председателя Верховного Совета СССР. Кандидаты должны представить свою политическую платформу. Михаил Сергеевич Горбачев, который был родоначальником перестройки, с чьим именем связано начало процесса перестройки и руководство страной на протяжении четырех лет, должен сказать о том, что произошло в нашей стране за эти четыре года. Он должен сказать и о достижениях, и об ошибках, сказать об этом самокритично. И от этого тоже будет зависеть наша позиция. Самое главное, о чем он и другие кандидаты должны сказать — что они собираются делать в ближайшем будущем, чтобы преодолеть то чрезвычайно трудное положение, которое сложилось в нашей стране, что они будут делать в перспективе». (Обструкция в зале достигла предела.)

Горбачев М. С.: «Давайте договоримся, что если кто хочет в порядке обсуждения высказаться, то — до 5 минут максимум. Заканчивайте, Андрей Дмитриевич».

Я: «Сейчас я закончу. Я не буду перечислять все вопросы, которые считаю нужным обсудить. Они содержатся в нашем проекте. С этим проектом, я надеюсь, депутаты ознакомлены». Громко, пытаясь перекричать шум в зале: «Я надеюсь, что Съезд окажется достойным той великой миссии, которая перед ним стоит, что он демократически подойдет к стоящим перед ним задачам».

Я не перечислил всех основных принципиальных вопросов, стоявших, по моему мнению, перед Съездом, кроме вопроса о власти, отраженного частично в Декрете (более развернуто в моем выступлении в последний день Съезда). Это — национально-конституционная реформа, проблема собственности на землю, выработка единого закона о предприятии. Я предполагал, что эти вопросы будут подняты другими депутатами. Кроме того, на меня психологически давил лимит времени.

После меня выступал Г. Х. Попов. Он пытался найти компромиссную формулировку повестки дня (исходя из тезиса, повторенного им: «Политика — искусство возможного»). Большинство Съезда не было готово к какому-либо компромиссу, это стало ясно и участникам Съезда, и телезрителям.

В дальнейшем сама логика драматических дискуссий и событий в этот и в последующие дни Съезда привела к радикализации позиции многих депутатов. В течение Съезда непрерывно увеличивалось число депутатов, голосовавших «как наши» по острым принципиальным вопросам, разделявшим Съезд на две противостоящие группировки. Конечно, была большая группа консервативных депутатов, на которых никакие аргументы и факты не могли подействовать. Но очень многие оказались способны к пересмотру своей позиции. Если бы Съезд продлился еще неделю, то не исключено, что «левое» меньшинство превратилось бы в большинство. Еще гораздо важнее, что подобная же эволюция происходила по всей стране, прильнувшей в эти дни к экранам телевизоров. Интерес к передачам со Съезда был огромным. Люди смотрели дома и на рабочих местах, некоторые брали отпуска, чтобы иметь возможность смотреть передачи. Всюду, где собирались люди,— на работе, на транспорте, в магазинах — происходило оживленное обсуждение событий Съезда.

Каков же главный политический итог Съезда? Он не решил задачи о власти, оказался по своему составу и по позиции Горбачева не способен к этому. Поэтому он не мог также заложить основ кардинального решения политико-экономических, социальных и экологических проблем. Все это — дело ближайшего будущего, жизнь нас торопит. Но Съезд полностью разрушил для всех людей в нашей стране все иллюзии, которыми нас и весь мир убаюкивали и усыпляли. Выступления ораторов со всех уголков страны, не только «левых», но и «правых», за 12 дней сложились в сознании миллионов людей в ясную и беспощадную картину реальной жизни в нашем обществе — такой картины не могли создать ни личный опыт каждого из нас, каким бы трагическим он ни был, ни усилия газет, телевидения и других средств массовой информации, литературы и кино за все годы гласности. Психологические и политические последствия этого огромны и будут сказываться длительное время. Съезд отрезал все дороги назад. Теперь всем ясно, что есть только путь вперед или гибель.

В дни Съезда у нас с Люсей сложился особый быт. Утром меня отвозил к Кремлю, к Спасской башне, академический водитель, я его отпускал и шел к Дворцу съездов (минут пять по внутренней территории). Люся же включала телевизор и не отрываясь смотрела и слушала. (Время от времени ей звонила Зоря — двоюродная сестра — или еще кто-либо из Москвы или Ленинграда и возбужденно спрашивал: «Ты слышала, что они сказали? Что это значит?») Как только объявлялся перерыв, Люся бежала к машине, подъезжала к Спасской башне и ждала меня у цепи, которой была отгорожена центральная часть Красной площади, закрытая в дни Съезда для всех, кроме его участников. Я выходил, и мы вместе ехали обедать в ресторан гостиницы «Россия», потом она подвозила меня к Кремлю и возвращалась к телевизору. Вечером она вновь встречала меня. В эти напряженные дни мы были духовно вместе.

Я не могу и не должен пересказывать события Съезда — все это есть в бюллетенях Съезда и в «Известиях». Несомненно, каждый день, каждое выступление на Съезде заслуживает самого тщательного изучения и анализа. Ограничусь тем, в чем участвовал лично я, и то с отбором, а главное — расскажу о некоторых закулисных событиях.

В первый день Съезда все было сосредоточено вокруг выборов Председателя Верховного Совета. В перерыве, когда я получал какие-то документы, ко мне подошел А. Н. Яковлев. Он сказал: «Вы хорошо выступали. Но сейчас главное — помочь Михаилу Сергеевичу. Он принял на себя огромную ответственность и ему по-человечески очень трудно. Практически он один поворачивает всю страну. Выбрать его — значит обезопасить перестройку». Я сказал: «Я знаю, что нет альтернативы Горбачеву, всегда об этом говорю. Но мое отношение к нему в последнее время перестало быть таким однозначным». Яковлев: «Очень жаль! Вы глубоко ошибаетесь, и...» Вокруг нас стали собираться люди, Яковлев оборвал фразу и отошел в сторону.

Выступая в дискуссии, я сказал: «...Хочу вернуться к тому, что я сказал сегодня утром. Моя поддержка лично Горбачева на сегодняшних выборах носит условный характер. Я ее поставил в зависимость от того, как будет проходить дискуссия по основным политическим вопросам... Мы не можем допустить того, чтобы выборы шли формально — в этих условиях я не считаю возможным принимать участие в выборах». Потом были вопросы к Горбачеву, их было явно недостаточно (главным политическим был вопрос о совмещении должностей генсека и председателя ВС). Отпали альтернативные кандидатуры (Оболенского не включили в список с помощью «машины голосования», Ельцин сам снял свою кандидатуру; Ельцин сказал в своем выступлении, что он поступает так в соответствии с резолюцией XIX партконференции и майского Пленума ЦК).

Когда началось обсуждение вопроса о счетной комиссии, я встал со своего места и вышел из зала; я чувствовал при этом на себе взгляды тысяч людей. На другой день Горбачев спросил меня, почему я ушел с голосования. Я сказал, что по тем принципиальным соображениям, о которых я говорил. «Но ведь была дискуссия».— «Это было не совсем то».

Как писал Питер Реддавей в одной из своих статей (цитирую по па-

мяти, приблизительно), дело Гдляна и дело о событиях в Тбилиси — это две бомбы замедленного действия. Получилось так, что я оказался в стороне от этих двух бомб.

В один из первых дней Съезда ко мне подошел президент Академии наук Узбекистана. Он сказал: «Так называемое узбекское дело обросло ложными вымыслами, которые оскорбляют и глубоко ранят узбекский народ. Мы все знаем вашу честность, ваш авторитет. Было бы очень важно, чтобы вы вошли в комиссию по расследованию дела Гдляна». Я ответил: «Я не могу этого сделать. Чтобы разобраться в этом деле, человеку со стороны нужны многие месяцы. А без этого он сам рискует потерять авторитет».

26 или 27 мая ко мне подошел Гдлян. Он сказал: «Когда вы выходили из зала, чтобы не голосовать за Горбачева, мы с Ивановым хотели присоединиться к вам. Но мы под следствием, поэтому мы воздержались». Я сказал: «Мне бы хотелось, если вы не против, задать вам несколько вопросов. Утверждают, что многие показания о взятках были даны в результате угроз, психологического давления, непомерно длительного содержания под стражей в нечеловеческих условиях. И что люди сейчас отказываются от этих показаний». Гдлян: «Те, кто сейчас отказываются, находились в Ташкенте в условиях литерного содержания. Именно сейчас, в Москве, они находятся в худших условиях. Длительное содержание под стражей было необходимо. Но разрешения давал не я, эти разрешения всегда давала Москва». (Выступая 3 мая, Гдлян сказал: «Говорят, что я держал в тюрьме детей. Но этим детям по 40 лет, и только так можно было вернуть награбленные ими миллионы народных денег».) — «Ваше мнение о Галкине?» (Галкин — новый старший следователь по «узбекскому делу» после отстранения Гдляна; он спустил на тормозах расследование по Сумгаиту; по-видимому — если там не было однофамильца — он же ранее вел многие диссидентские дела, включая дело Шихановича). — «Галкин — мой старый друг. Его вина (или беда) — он не умеет противостоять давлению начальства. Я никогда не поддаюсь на давление». Через несколько часов после разговора с Гдляном мне передали по рядам письмо. На конверте надпись: Сахарову А. Д., Гдляну Т. Х. Я разорвал заклеенный конверт. Письмо было без подписи. Сообщалась фамилия человека, который якобы может подтвердить факт получения М. С. Горбачевым взятки в 160 тысяч рублей во время работы в Ставрополе. Этот человек — якобы водитель (или учитель), сообщались два его телефона. Так же утверждалось, что Горбачев получал взятки от работавших в городе армян-строителей, якобы это общеизвестно. Письмо без подписи, в котором указываются фамилии и телефоны других лиц, всегда смахивает на провокацию. Я все же решил отдать письмо второму адресату. Гдлян взял конверт с безразличным видом.

Вскоре после этого (30 мая) на Съезде обсуждался вопрос о комиссии «по Гдляну». Президиум составил большой список членов, председателем был назван Рой Медведев. Меня в списке не было. Тут выступил кто-то из узбеков (кажется, Мухтаров), воскликнув: «Медведев из этих, из пишущих, такой председатель не может быть объективным». Мухтаров не был, видимо, в курсе того, что кандидатура Медведева, несомненно, подверглась предварительному «изучению», подобно тому, что происходило со мной. Председательствующий на собрании нашел выход из ситуации, предложив перенести обсуждение списка на более позднее время. «А председателя пусть назовут сами члены комиссии». Через два дня список, составленный Президиумом с некоторыми коррективами, был представлен Съезду, Р. Медведев вновь был председателем комиссии, Мухтаров уже не возражал. Одновременно со списком Президиума группа депутатов из Свердловска предложила альтернативный список для комиссии по делу Гдляна. В числе других в качестве члена там был назван Леонид Кудрин. Он — бывший судья, отказался от этой должности и от партийного билета, так как не мог смириться с давлением, оказываемым на суд, теперь работает грузчиком и прошел на Съезд после ожесточенной борьбы. Я еще накануне хотел предложить его кандидатуру на пост председателя комиссии. Теперь я сказал: «Дело Гдляна имеет две стороны. Это не только расследование деятельности этой следственной группы, в которой, возможно, были серьезные нарушения. Но это также расследование тех обвинений,

которые брошены высшим слоям нашего аппарата, нашего общества. В нашей стране возник серьезный кризис доверия к партии, к руководству (этой фразы нет в стенограмме, но я ее произнес!). Обе стороны этого конфликтного дела должны быть объективно рассмотрены... Председателю комиссии должен поверить народ, рабочий класс (этой фразы также нет в стенограмме). Человек с биографией Кудрина кажется мне поэтому подходящим на пост председателя комиссии».

Я рассказываю этот эпизод по памяти. В опубликованной в бюллетене версии он выглядит несколько иначе. Получается, что Мухтаров возражал не против Медведева, а против двух журналистов из альтернативного списка (один из них с Сахалина). При этом он якобы сначала просит отвергнуть весь список в целом, а потом тут же исключить из него журналистов, «так как Гдлян и Иванов находятся в теплых объятиях моих дорогих коллег из Москвы». Все это выглядит нелогично. Если правильна моя версия, то попытка как-то смазать дискуссию относительно Медведева весьма симптоматична.

30 мая на Съезде происходили и другие в высшей степени драматические события. Депутат от Каракалпакской АССР Каипбергенов говорил о трагедии Приаралья. Она по своим масштабам и затяжным последствиям сопоставима с последними мировыми катастрофами. На один гектар земли Каракалпакии, Хорезмии и Ташаузской области ежегодно выпадает 540 килограммов песка с солью, выносимых с высохшей бывшей акватории Аральского моря. Наука еще не сумела ни одного клочка земли в Каракалпакии очистить от гербицидов, пестицидов и ядохимикатов, которые вываливались тоннами на каждый гектар. В Приаралье люди умирают неестественной смертью, они обречены на вымирание. Резко возрос процент уродов среди новорожденных. Из каждых трех обследованных в АССР двое больны брюшным тифом, раком пищевода, гепатитом. Среди больных — большинство дети. Врачи не рекомендуют кормить детей материнским молоком... Оратор сказал: «Первое. Я требую создать депутатскую группу Съезда народных депутатов с чрезвычайными полномочиями (пока этот трагический призыв повис в воздухе, как и многое другое на Съезде!). Второе — быстро и резко сократить посевы хлопчатника. Торговать хлопком — это в прямом смысле торговать здоровьем своих сограждан. Надо официально объявить Приаралье зоной экологического бедствия и призвать на помощь мировое сообщество. Но пока берега Арала — засекреченная территория».

Это выступление было одним из самых страшных на Съезде, наравне с выступлениями, рассказывающими о бедствиях Узбекистана, вымирающих северных народов, бедствиях зон радиационного поражения от Чернобыльской аварии, об отравлении воздуха и воды в центрах большой химии и металлургии. В области экологии положение в нашей стране трагично. Эта беда в значительной мере связана с эгоизмом и безнаказанностью гигантских сверхмонополий — ведомств, так же, как и другие трудности нашей жизни.

Съезд перешел к грузинскому вопросу. Первый оратор Гамкрелидзе сказал: «Безнаказанность виновных будет воспринята общественностью как всевластие высшего партийного аппарата и военного командования. Планируемая акция такого масштаба, с такими политическими последствиями, должна быть заранее известна высшему руководству страны». Потом выступал Родионов, командующий войсками Закавказского военного округа. Он утверждал, что события в Тбилиси были вовсе не мирными, они создавали огромную угрозу стабильности в стране. Родионов отрицал применение химических веществ, кроме «Черемухи», обосновывая это тем, что в толпе были «переодетые работники милиции и КГБ», и они не пострадали. Родионов утверждал, что все действия солдат были сугубо оборонительными, вызванными неожиданно сильным вооруженным сопротивлением экстремистов. «Мы киваем на 37-й год, а сейчас тяжелее, чем в 37-м году. Сейчас могут о тебе говорить что вздумается, и оправдаться нельзя». Выступление Родионова было встречено частью депутатов и «гостей» продолжительной овацией, многие аплодировали стоя. Другие кричали «Позор!», «Долой со Съезда!». В бюллетене стыдливо: «Продолжительные аплодисменты».

Одним из самых драматичных моментов Съезда было выступление Патиашвили, бывшего первого секретаря ЦК Грузии. Он сказал: «Я лично

не уходил и не ухожу от ответственности. Большой ошибкой посчитали (он не сказал, кто «посчитали»), что мы поручили командование операцией генералу Родионову. Но это было сделано после того, как 8 апреля утром лично генерал-полковник Родионов вместе с первым заместителем министра обороны СССР генералом Кочетовым пришли ко мне и сказали, что возложено руководство (операцией) на генерала Роднонова» (я помню, что Патиашвили также упомянул в своем выступлении, что до этого был звонок из Москвы Чебрикова, в бюллетене этой фразы нет). Патиашвили сказал в другом месте, что он (первый секретарь ЦК!) не знал (утром 7 апреля) о прибытии в Тбилиси Родионова и Кочетова, хотя последний находился в Тбилиси уже более суток. Цитирую далее по памяти: «Я (т. е. Патиашвили), к сожалению, не спросил тогда, кем возложено...» В бюллетене же написано очень странно. После слов «возложено руководство на генерала Родионова» в тексте многоточие... и далее: «Я знал, что вы этот вопрос зададите (непонятно, какой вопрос). К сожалению, я этот вопрос не задал, а этот вопрос я задаю сегодня... Когда в 5 часов утра сообщили, что два человека погибли, я собрал бюро и подал в отставку, так как считал себя не вправе возглавлять партийную организацию. В этот момент я не подозревал об использовании лопат и химических веществ, иначе, я прямо, искренне заявляю, ни в коем случае не подал бы в отставку. Может, и наверняка, после этого больше был бы наказан, но ни в коем случае не ушел бы (сам) в отставку... Товарищ Родионов категорически отрицал использование лопат. Даже после пребывания в республике членов Политбюро товарищи не признавались. Только на третий день они признались (до этого центральная пресса и телевидение сообщали, что люди погибли в давке.— А. С.). Насчет газов — это позднее было, в конце апреля... Это было неправильно, что по программе «Время» прошло, что командующий отказывался» (в бюллетене многоточие, на самом деле речь шла о том, что якобы Родионов отказывался возглавить операцию. Об этом говорил сам Родионов и — кажется, но я не уверен — Шеварднадзе, выступая по грузинскому телевидению). Далее в бюллетене совсем непонятно. В действительности произошла предельно драматическая сцена. Патиашвили явно решился в конце выступления, в состоянии эмоционального стресса, перед лицом всей страны сказать что-то очень важное. Но в это же время на него крайне усилился психологический нажим зала, в особенности его правого крыла. Патиашвили не давали говорить, выкрикивали оскорбительные вопросы (это выглядело как попытка заткнуть рот). Он был вынужден сойти с трибуны, прошел несколько шагов, остановился в мучительной растерянности и повернул обратно к трибуне. Шум в зале многократно возрос, перерастая в рев. Патиашвили дошел до трибуны, опять остановился. Потом весь как-то сжался, повернулся и почти бегом спустился в зал.

30 мая обсуждалась также комиссия по Тбилиси. Там была и моя фамилия. Я написал записку в Президиум с просьбой не вводить меня в комиссию, так как у меня были в прошлом длительные и сложные отношения с некоторыми из грузинских «неформалов». Я имел в виду в особенности Гамсахурдиа и Коставу (я неоднократно выступал в защиту Мераба Коставы, последний раз — в 1987 году). На заседаниях комиссии неизбежно должен встать вопрос об их роли, и я буду в ложном положении. Но у меня была и другая причина. Я сказал о ней в интервью грузинскому телевидению, ко мне они подошли на улице перед Дворцом съездов. О том же самом говорил на Съезде президент грузинской Академии Тавхелидзе. Никакой необходимости в комиссии нет. Есть один требующий ответа вопрос, сформулированный в депутатском запросе,— кто отдал приказ об избиении мирных демонстрантов и применении отравляющих веществ, о проведении по существу карательной акции. Создание новой комиссии вместо ответа на вопрос не приблизит нас к его решению.

В первые дни после 9 апреля в Тбилиси получил распространение слух, что Горбачев якобы звонил в Москву из Англии и настаивал на мирном разрешении конфликтной ситуации в Тбилиси. Мне неизвестны какие-либо подтверждения справедливости этого слуха. Сам Горбачев, отвечая на вопросы накануне выборов на пост председателя Верховного Совета, ничего об этом не сказал.

В течение Съезда я дважды выступал по правовым вопросам. Первый раз — при обсуждении кандидатуры А. И. Лукьянова на пост заместителя председателя Верховного Совета. Я сказал: «В течение последнего года в нашей стране был принят ряд законов и указов, которые вызывают большую озабоченность общественности. Мы не вполне знаем механизм выработки этих законов и вообще того, как шла законотворческая деятельность в нашей стране. Многие юристы даже писали, что они не знают, на каком этапе, в каких местах формулируется окончательный вид законов. Но законодательные акты, о которых идет речь, действительно вызвали очень большую озабоченность общественности. Это указы о митингах и демонстрациях, об обязанностях и правах внутренних войск при охране общественного порядка, которые были приняты в октябре прошлого года.

По моему мнению, эти указы представляют собой шаг назад в демократизации нашей страны и шаг назад по сравнению с теми международными обязательствами, которые приняло наше государство. Они отражают страх перед волей народа, страх перед свободной демократической активностью народа, и в них был заложен тот взрывчатый материал, который проявился в Минске, в поселке Ленино в Крыму, в Красноярске, Куропатах и многих других местах, и апогеем всего были трагические события в Тбилиси, о которых мы говорим. Я хотел бы знать, какова роль товарища Лукьянова в разработке этих указов, санкционировал ли он их, каково его личное отношение к этим указам. Это первый вопрос.

Второй вопрос. Указ Президиума Верховного Совета СССР, принятый 8 апреля. На мой взгляд, он тоже противоречит принципам демократии. Есть важнейший принцип, который сформулирован и во Всеобщей декларации прав человека, принятой в 1948 году, и такой международной организацией, как Международная амнистия. Принцип заключается в том, что никакие действия, связанные с убеждениями, если они не сопряжены с насилием и с призывом к насилию, не могут служить предметом уголовного преследования. Это ключевой принцип, лежащий в основе демократической правовой системы. И этого ключевого слова «насилие» в формулировке Указа от 8 апреля нет. Поэтому он представляется мне неудовлетворительным. Но, кроме того, там возникла дополнительная статья 11-1, которая всем нам хорошо известна и, к сожалению — так как Указ начал применяться,— уже начали людей осуждать, и потребовалось разъяснение Пленума Верховного Суда СССР, но оно тоже представляется мне не полным и не удовлетворительным, а самое главное — очень плохо, когда к закону, к указу требуется разъяснение. Закон не должен допускать неоднозначного толкования, это чревато огромными опасностями. Я говорю об этом сейчас — это требование многих избирателей, многих групп избирателей — поэтому я имею право об этом говорить. Но я опять же хотел спросить — это мой вопрос товарищу Лукьянову: как он относится к этим указам и участвовал ли он в их разработке?»

Второй раз я выступал при обсуждении кандидатуры Сухарева на пост Генерального прокурора СССР. Я задал следующие вопросы (пишу по памяти):

«1. Сейчас в печати активно обсуждается вопрос о допуске адвоката к следствию с момента предъявления обвинения. 2. Обсуждается вопрос о том, что следует освободить Прокуратуру от ведения следствия, т. к. это приводит к серьезным нарушениям законности и гуманности, и сосредоточить функции Прокуратуры только на надзоре за выполнением закона. Ваша позиция?» Сухарев: «В обоих случаях поддерживаю». «3. Я получал множество писем от людей, по их мнению, незаконно осужденных, и от родственников осужденных. Эти люди сообщали, что они обращались в Прокуратуру, посылая документы, доказывающие несправедливость приговора. В ряде случаев аргументы были очень серьезными. Во всех случаях Прокуратура давала формальный ответ: «Оснований для пересмотра приговора не имеется» — без конкретного анализа аргументов жалобщика. В печати сообщалось, что в большинстве случаев Прокуратура даже не затребовала дело. Формальный ответ получил и я на надзорную жалобу, посланную мною по делу моей жены Боннэр Е. Г. (шум в зале). Как вы относитесь к подобной практике?» Сухарев: «Прокуратура должна добиваться исключения подобных явлений. Моя позиция тут очень определенная и решительная». «4. Вопрос. Каково ваше мнение о ваших сотрудниках Катусеве и Галкине?» Сухарев: «Положительное». Я: «Но Катусев своим заявлением, содержащим ложную информацию, фактически спрово-

цировал события в Сумгаите, во всяком случае обострил их. А Галкин сорвал расследование событий в Сумгаите, выявление организаторов и их покровителей». Сухарев: «Вы не правы».

В один из дней Съезда решался вопрос о создании Комиссии для выработки новой Конституции СССР. Съезду был представлен список членов Комиссии с М. С. Горбачевым в качестве председателя. Завязалась дискуссия. Один из ораторов сказал: «Все члены Комиссии в этом списке — члены КПСС. Что они будут вырабатывать — проект Конституции или новый Устав партии?» Выступил Сагдеев. Он предложил мою кандидатуру, добавил, что это будет по крайней мере один не член партии. Горбачев обратился к залу с вопросом, кто поддерживает это предложение. Многие зааплодировали. Горбачев, не ставя вопрос на голосование, сказал: «Я вижу, вы поддерживаете. Принимаем это предложение». Несомненно, Горбачев хотел, чтобы я вошел в Комиссию, и опасался, что я не получу 50% голосов, необходимых для включения в список. Я подошел к трибуне и сказал: «Как видно из состава Комиссии, несомненно, что по любому принципиальному вопросу я буду в меньшинстве. Поэтому я могу войти в Комиссию, только оговорив, что я считаю себя вправе выдвигать альтернативные формулировки и принципы и не поддерживать то, с чем я не согласен». Когда я сел на свое место, ко мне подошел сотрудник аппарата Горбачева и спросил: «Значит ли ваше заявление, что вы отказываетесь работать в Комиссии?» — «Нет, я согласен войти в Комиссию на тех условиях, о которых я сказал». — «Очень хорошо, Михаил Сергеевич был очень озабочен».

31 мая во время перерыва ко мне подошли несколько военных. Они сказали, что многие обеспокоены моим канадским интервью, в котором я утверждал, что советские вертолеты расстреливали оказавшихся в окружении советских солдат, чтобы те не попали в плен. Если бы такие факты имели место, о них знала бы вся армия. Но они служили в Афганистане и никогда ничего подобного не слышали. Они убеждены, что я был введен в заблуждение. «Мы хотим предупредить вас, что вскоре хотят потребовать публичного обсуждения и осуждения на Съезде вашего заявления». Я сказал, что моя позиция вполне ясная, я готов ее обсуждать с кем угодно и в любой форме. Я кратко повторил то, что было опубликовано в интервью «Комсомольской правде».

В течение последнего года у меня усиливалось чувство беспокойства в отношении общей линии внутренней политики Горбачева. Меня волновал и волнует огромный разрыв между словами и делами в экономических, социальных и политических делах. По существу, экономическая реформа, основу которой должно составлять изменение структуры собственности в сельском хозяйстве и промышленности, ликвидация партийно-государственного диктата, всевластия и грабежа ведомств, еще не началась.

В идеологической области меня волнует отдача ее в антиперестроечные руки Медведева и Дегтярева, многочисленные отступления в области свободы информации.

В политической области меня волнует явное стремление Горбачева получить бесконтрольную личную власть. Меня волнует постоянная ориентация Горбачева не на прогрессивные перестроечные силы, а на «послушные» и управляемые, пусть даже и реакционные. Это проявляется и в отношении к «Мемориалу», и на Съезде. Такая же ориентация проявляется в национальных проблемах — негативное, предвзятое отношение к армянам и прибалтам.

В социальной области меня волнует отсутствие реальных изменений к лучшему в положении почти всех слоев населения. Я решил, что откровенный разговор с Горбачевым без свидетелей был бы очень важен. В начале утреннего заседания 1 июня, подойдя к Президиуму, я сказал Горбачеву о своем желании поговорить с ним один на один. Весь день я был как на иголках. После вечернего заседания я напомнил о своем желании одному из секретарей Горбачева, он через несколько минут вернулся и сказал, что Михаил Сергеевич сейчас говорит с членами грузинской делегации, это надолго, и, вероятно, лучше всего перенести нашу встречу на завтра. Но я просил передать, что буду ждать. Я взял стул и сел недалеко от двери, за которой находился Горбачев. Мне был виден с этого места весь огромный зал Дворца съездов, в это время погруженный в полумрак и пустой (лишь охранники стояли у далеких дверей). Наконец, примерно через пол-

часа появился Горбачев вместе с Лукьяновым, последнее не входило в мои планы, но делать было нечего. Горбачев выглядел уставшим (так же, как я). Мы сдвинули три стула в угол сцены за столом Президиума. На всем протяжении разговора Горбачев был очень серьезен. На его лице ни разу не появилась обычная у него по отношению ко мне улыбка — наполовину доброжелательная, наполовину снисходительная. Я сказал: «Михаил Сергеевич! Не мне говорить вам, какое трудное положение в стране, как недовольны люди и все ждут еще худших времен. В стране кризис доверия к руководству, к партии. Ваш личный авторитет упал почти до нуля. Люди не могут больше ждать, имея только обещания. В таких условиях средняя линия оказывается практически невозможной. Страна и вы лично стоят на перепутье перед выбором — или максимально ускорить процесс изменений, или пытаться сохранить административно-командную систему со всеми ее качествами. В первом случае вы должны опираться на «левые силы», можете быть уверены, что в стране найдется много смелых и энергичных людей, которые вас поддержат. Во втором случае вы сами знаете, о чьей поддержке идет речь, но вам никогда не простят попыток перестройки». Горбачев: «Я твердо стою на позициях перестройки. Это то, с чем я связал себя навсегда. Но я против перескакивания, паники, спешки. Мы много видели «больших скачков», результаты всегда — трагедия, откатывание назад. Я знаю все, что обо мне говорят. Но уверен, народ поймет мою линию». Сахаров: «На Съезде не решается основная политическая задача — вся власть Советам, т. е. ликвидация неравноправного партийно-советского двоевластия. Нужен Декрет о власти, закрепляющий в руках Съезда всю полноту законодательной власти и право выдвижения основных должностных лиц. Только так будет обеспечено народовластие, свобода от хитростей аппарата, который реально сейчас делает политику — и законодательную, и кадровую. Избранный Верховный Совет не является в своей массе достаточно компетентным и работоспособным органом. Страну возглавляют все те же люди, та же система ведомств и министерств, а Верховный Совет почти бессилен». Горбачев: «Съезд не может заниматься всеми законами — их слишком много. Поэтому нужен постоянно работающий Верховный Совет. Но вы, московская группа, захотели поиграть в демократию, и в результате в Верховный Совет не попали многие нужные люди, мы уже рассчитывали дать им посты в комиссиях и комитетах. Вы много испортили. Но мы постараемся все же что-то исправить, например сделать Попова заместителем председателя Комитета. Новые люди есть всюду — например, Абалкин будет зам Рыжкова». Сахаров: «Дело Гдляна — не только вопрос о нарушениях законности, это очень важно, но для народа это вопрос о доверии, о кризисе доверия к руководству. Плохо, что отвергнута кандидатура Кудрина — он рабочий, бывший судья, бывший член партии — ему бы народ поверил». Лукьянов: «Кудрин построил свою предвыборную кампанию на деле Гдляна. Он не может быть беспристрастным» (на самом деле, дело Гдляна не было главным в кампании Кудрина). Сахаров: «Очень беспокоит, что единственным политическим результатом Съезда является достижение вами неограниченной личной власти — Восемнадцатое брюмера в современном варианте. Вы пришли к этой вершине без выборов, вы даже не прошли через выборы в Верховный Совет и стали председателем, не будучи членом». Горбачев: «А вы что — хотели, чтобы меня не выбрали?» Сахаров: «Нет, вы знаете мое мнение, что вам нет альтернативы. Но речь не о личности, о принципе. И, кроме того, вы можете стать объектом давления, шантажа со стороны тех, в чьих руках информация. Уже сейчас говорят, что вы брали взятки, называют цифру в 160 тысяч, в Ставрополе. Провокация? Но найдут что-то иное. Если вы не выбраны народом — никто вас не сможет оградить». Горбачев: «Я совершенно чист. И я никогда не поддамся на попытки шантажировать меня — ни справа, ни слева!» Горбачев сказал эти слова без видимого раздражения, твердо.

Так окончилась эта встреча. Я не записал ее сразу, сейчас пишу по памяти. Очень возможно, что порядок эпизодов был несколько иной, и мои слова не очень точно переданы. Но ключевые формулировки Горбачева, мне кажется, я передал точно.

Никаких конкретных последствий этот разговор не имел. Их и не могло быть. Но мне кажется, что иногда разговор с такой высокой сте-

пенью откровенности необходим — конечно, при условии взаимного уважения.

На другой день, 2 июня, произошло то, о чем предупреждали меня военные. В выступлении участника афганской войны секретаря ЛКСМ г. Черкассы Червонопиского против меня было выдвинуто обвинение в клевете в связи с публикацией в канадской газете. Червонопиский — инвалид афганской войны (он лишился обеих ног). Значительная часть его выступления была посвящена материальным и моральным проблемам ветеранов афганской войны, действительно очень серьезным. Но далее он упомянул «политиканов из Грузии и Прибалтики, которые уже давно занимаются тем, что готовят свои штурмовые отряды», вспомнил «злобные издевательства лихих ребят из передачи «Взгляд» и безответственные заявления депутата Сахарова». Он зачитал обращение воинов-десантников по поводу моего интервью и присоединился к нему. Кончил он словами: «Три слова, за которые всем миром надо бороться, я сегодня назову — Держава, Родина, Коммунизм». (В бюллетене написано: «Аплодисменты. Все встают». Что касается меня, то я не стал бы соединять эти три слова. «Люблю отчизну я, но странною любовью»,— писал Лермонтов. Мне кажется, что соединение слов «Держава» и «Коммунизм» неприемлемо также и для убежденного коммуниста.) В момент, когда Червонопиский кончал свое выступление, я уже пробрался к трибуне, чтобы ему возразить. Уже первые мои слова вызвали, как деликатно написано в бюллетене, шум в зале.

Сказал же я: «Я меньше всего желал оскорбить Советскую армию... Речь идет о том, что сама война в Афганистане была преступной, преступной авантюрой, и неизвестно, кто несет ответственность за это огромное преступление. Я выступал против введения советских войск в Афганистан и за это был сослан в Горький... И второе. Тема интервью была вовсе не та — речь шла о возвращении советских военнопленных, находящихся в Пакистане. И я сказал, что единственным способом являются прямые переговоры с афганскими партизанами... Только на обмене, только на прямом признании их воевавшей стороной... Я упомянул о тех сообщениях, которые мне были известны по передачам иностранного радио: о фактах расстрелов «с целью исключения пленения» — как написано в том письме, которое я недавно получил. Я, к сожалению, не объяснил, что речь идет о переданном мне из Секретариата запросе в Президиум, подписанном многими офицерами — делегатами Съезда, в том числе бывшим командующим советскими частями в Афганистане генералом Громовым. В запросе содержится требование осудить на Съезде мое канадское интервью и использовано словосочетание «с целью исключения пленения». Это проговор чисто стилистический, переписанный из секретных приказов (в бюллетене ошибочно — приговор). Я не Советскую армию оскорблял, не советского солдата я обвинял (в бюллетене — оскорблял) тех, кто дал этот преступный приказ — послать советские войска в Афганистан». (В бюллетене: Аплодисменты, шум в зале.)

На самом деле — пять минут перед лицом миллионов телезрителей бушевала буря, большинство депутатов и «гостей» вскочили с мест, кричали: «Позор, долой», топали, другая, меньшая, часть аплодировала. Потом были другие выступления с осуждением; очевидно, это была запланированная кампания. Казакова Т. Д., учительница средней школы, г. Газалкент: «Товарищ академик. Вы одним своим поступком перечеркнули всю свою деятельность. Вы нанесли оскорбление всей армии, всему народу, всем павшим. И я приношу всеобщее презрение вам». (Аплодисменты.)

В конце заседания я подошел к Горбачеву. Он с досадой сказал: «Зря вы так много говорили». Я сказал: «Я настаиваю на предоставлении мне слова в порядке обсуждения вашего доклада». Горбачев посмотрел на меня с удивлением. Он только спросил: «Вы записаны?» — «Да, очень давно».

Я вышел на улицу. Люся уже ждала меня, как всегда, у Спасской башни. Она сказала: «Ты, конечно, плохо выступил, но ты молодец. Я сильно волновалась только одну минуту, пока ты шел к трибуне и я видела твою спину. А когда ты повернулся и я увидела твое лицо, я сразу успокоилась». Что касается меня, то я вообще волновался много меньше, чем в первый день. Я чувствовал свою моральную правоту, хотя меня при этом в дискомфортное состояние ставило отсутствие документальных подтверждений (их нет и сейчас). От шума, беснования зала я поэтому психологически был отключен. Но на всех тех, кто смотрел передачу по телевидению или был в зале, эта сцена произвела сильное впечатление. В один час я приобрел огромную поддержку миллионов людей, такую популярность, которой я никогда не имел в нашей стране. Президиум Съезда, редакции всех газет, радио и телевидение, ФИАН и Президиум Академии получили в последующие дни десятки тысяч телеграмм и писем в поддержку Сахарова. В нашем же доме телефон не умолкал ни на минуту почти круглые сутки, почтальон и доставщик телеграмм (с которым у нас прекрасные отношения) буквально сбились с ног и завалили нас целыми кипами.

До окончания Съезда оставалась одна неделя. Я и многие считали крайне желательным продолжение Съезда. Но этого, по-видимому, не хотел Горбачев и другие члены Президиума. Более того, Съезд даже оказался сокращен на один день в связи с объявленным после катастрофы в Башкирии днем траура. Это действительно была ужасная трагедия — два поезда были сожжены в результате воспламенения нефтепродуктов, проникших наружу из неисправного трубопровода. Сотни пассажиров, средн них много детей, погибли. В эти же дни произошли и другие трагические события, о которых мы вскоре узнали.

В Китае власти применили военную силу против участников митингов — студентов и рабочих, эти митинги шли в Китае, в особенности в Пекине, уже несколько недель. Они начались еще до визита Горбачева в Китай под лозунгами демократизации, свободы слова, борьбы с коррупцией в партийно-государственных высших слоях. Инициаторами митингов были студенты, затем к ним примкнули рабочие, положение которых в последние годы стало ухудшаться. В митингах на центральной площади Пекина Тяньаньмэнь (площадь Небесного Спокойствия) принимало участие свыше 1 млн. человек, называли и большие цифры. Попытки использовать против митингующих военные части сначала были безуспешными — происходило братание солдат с рабочими и студентами. Но власти сумели ввести в Пекин какие-то другие части, срочно переброшенные из провинции, и в ночь на 4 июня (это, как и 9 апреля, было воскресенье) на митингующих двинулись танки. Число жертв непосредственно на площади и в других городах неизвестно, несомненно, речь идет о многих тысячах погибших. Несколько дней в Пекине и в провинции шли бои. Затем властям удалось сломить сопротивление студентов и рабочих. Начались аресты, суды и казни. Вчера (3 августа 1989 г.) я встретился в доме Ефрема и Тани с китайцами. Среди них был Чэнь Дун, возглавлявший переговоры студентов с правительством, и Лю Янь (участница голодовки на площади), а также сотрудники бостонской организации «Китайский информационный центр». Чэнь рассказал, что требования студентов при переговорах сводились к двум пунктам — легализация студенческой независимой организации и разрешение печататься в одной из издающихся в Пекине газет. Эти требования были отвергнуты, так как власти увидели в них попытку создания в будущем новой партии. Говоря о положении в Китае, Чэнь утверждал, что существуют три класса — партийная верхушка, элита, пронизана семейственностью и коррупцией, основная масса народа — крестьяне и рабочие, и возникший после реформы зажиточный класс. Движение началось в апреле после смерти Ху Яобана, митинг начался 13 мая, а 20 мая было введено военное положение (сразу после отъезда Горбачева). В голодовке приняло участие 3600 человек, в основном девушки. Арестовано 120 тыс. человек, аресты продолжаются, часть направлена на перевоспитание в отдаленные районы, часть в лагерях и тюрьмах, где очень тяжелые условия. Друг Лю 9 месяцев находился в карцере, где можно было только сидеть на корточках. Чэнь считает, что международные санкции совершенно необходимы. Они должны проходить в два этапа. Первый этап: знак осуждения кровавой расправы 4 июня, цель — прекращение арестов и казней. Второй этап: цель — способствовать демократизации в Китае. Санкции должны быть направлены против государственного сектора экономики и против центрального региона, но не против частного сектора экономики и периферийных регионов. Действенность санкций крайне снижается из-за прагматической позиции СССР, не принимающего участия в

санкциях. Студентов очень интересовало положение в СССР, роль Горбачева, забастовки шахтеров, перспективы демократизации и экономической реформы. И мне, и Люсе очень понравились наши гости — серьезностью, цельностью, наконец они были просто лично, физиономически нам симпатичны. Лю — 19 лет, Чэню 21 год.

В первые дни после 4 июня Съезд принял Обращение к китайскому народу, в котором не содержалось ничего, кроме призыва к мирному разрешению конфликта, причем не было конкретизировано, кто призывается к миру — те, кто применяет танки и пулеметы против мирных митингов, или те, кто пытается им сопротивляться. Лишь несколько человек из депутатов голосовали против этого обращения, среди них — Галя Старовойтова. Я, к сожалению, не вполне понял на слух позорный характер этого Обращения, потом старался, как мог, исправить свою ошибку. Потом я слышал, что Обращение было принято по просьбе китайского правительства! Оно было, очевидно, нужно, чтобы как-то сгладить политический эффект протестов во всем мире против жестокости китайских властей.

В эти же дни произошла чудовищная резня в Узбекистане. Сначала поступили отрывочные сведения, из которых было очевидно, что происходит что-то страшное. В один из дней Съезда после 6 часов нас оставили на закрытое заседание, где Чебриков и, кажется, Бакатин (министр внутренних дел) рассказали многое — но далеко не все — об этих ужасных событиях. Главными жертвами были турки-месхетинцы (но также русские, татары, евреи, армяне, украинцы). Я напомню, что до 1944 года турки-месхи жили в Грузии, на границе с Турцией. Одновременно с крымскими татарами были насильно и с большими жертвами переселены в Узбекистан, давно и упорно добиваются возвращения на родину. В 60 — 70-е годы многие активисты борьбы за возвращение были осуждены. Во время погрома в Фергане более ста человек было убито и несколько сот человек ранено. Убийства носили особо зверский, садистский характер (сожжение заживо, распятие, дети, поднятые на вилах, и другие не поддающиеся уму зверства), было много изнасилований, в том числе малолетних. Чебриков рассказал, что для спасения турок-месхов их вывезли на территорию военного лагеря. Лагерь охраняется расположенными по периметру войсками. Условия там очень трудные, воды не хватает, нет палаток, дети и старики — под палящим солнцем. В числе подстрекателей событий Чебриков назвал «экстремистское крыло Берлик» (Берлик — националистическая неформальная группа узбекской интеллигенции). Потом это обвинение не фигурировало. Пока? Кто знает. Совершенно непонятно, что вызвало такой приступ межнациональной ненависти и жестокости (хотя мы уже видели нечто аналогичное в Сумгаите). А по части жестокости в нашем веке тоже есть что вспомнить — доктора Менгеле и Освенцим, Колыму, Кампучию, Сабру и Шатилу... Во всяком случае, мотивы религиозной розни совершенно исключены: и узбеки, и турки-месхи — мусульмане-сунниты. Говорят о проблеме земли. Действительно, монокультура хлопка лишила узбеков земли, обрекла их тем на голод. Быть может, у каких-то турок были маленькие клочки земли, а взаимная помощь, всегда возникающая в гонимом меньшинстве, сделала их жизнь на один волос лучше, чем у коренного населения (вспомним евреев в Европе, России и на Украине или китайцев в Индонезии). Но если дело в земле, то все-таки в этом случае основная ненависть должна была быть направлена не на невольного соседа, а на тех, кто дальше и выше... Мы приходим к неизбежному выводу, что кто-то направлял толпу, канализировал ее ненависть. Говорят, что был распущен слух, что турки-месхи вырезали детей в детском саду. Что ж, это тоже могло быть составной частью провокаций. Но кто ее осуществлял?

На другой день после закрытого заседания мы с Люсей, как всегда, подъехали на обед к «России». Перед дверями стояла группа турок-месхов, ходоков, приехавших из Ферганы. Они обступили нас, умоляя помочь. Мужчины плакали, одна из женщин встала на колени. Им с трудом удалось приехать, на вокзале и в аэропорту их задерживали, избивали в милиции. Ходоки утверждали, что погромщики пользуются полной поддержкой местных властей — им дают автобусы и горючее, снабжают адресами турок-месхов (как в Сумгаите — адресами армян. — **А. С.**). На следующий день к нам на улицу Чкалова пришла группа турок-месхов. Накануне они

встречались с Чебриковым. Ходоки просили помочь им встретиться с Горбачевым — без этого они не могут уехать, это наказ народа. Я стал звонить в секретариат Горбачева. Его самого не было на месте, я просил секретаря связаться с Горбачевым, передать, что ввиду крайней серьезности положения (я приводил ряд новых фактов) я прошу его встретиться с делегацией турок-месхов, я передал секретарю список фамилий. Через полчаса секретарь позвонил и передал, что Михаил Сергеевич не может принять делегацию, так как он готовится к поездке в ФРГ. Я взорвался, может, сильней, чем когда-либо, и закричал: «Передайте Михаилу Сергеевичу, что он никуда не поедет. Я обращусь к Колю, с тем чтобы визит Горбачева в ФРГ был отменен. Немыслимо принимать главу государства, которое допускает геноцид!» На другом конце провода возникла какая-то заминка. Потом секретарь сказал: «Ждите. Вам позвонят». Еще через 20 минут секретарь позвонил и сказал, что делегацию турок-месхов примет Рыжков. Вечером ходоки пришли опять. Они с возмущением рассказали, что Рыжков сообщил им о решении эвакуировать турок-месхов из Узбекистана в Смоленскую область и другие области России, где им уже готовят дома. «Но ведь это вторая ссылка! Мы десятилетиями добиваемся возвращения на родину, готовы за это право отдать жизнь. Если мы сейчас согласимся переехать в Россию, то в Грузию мы уже никогда не вернемся, мы это ясно понимаем!» Мы с Люсей пытались их уговаривать, что сейчас надо спасать жизнь людей, это самое главное. Поэтому отказываться от эвакуации из Узбекистана нельзя, такой отказ приведет к новым жертвам. Добиваться возвращения на родину они не перестанут и в России и когда-нибудь своей цели добьются. Турки не согласились с нами и ушли очень обиженные.

Я говорил со многими грузинами о возможности возвращения турок-месхов в Грузию. Но их позиция была совершенно не поддающейся моим доводам (так же, как в отношении Абхазии и Осетии). Потом, уже после Съезда, я говорил на ту же тему с Лукьяновым (в беседе, о которой я рассказываю в конце книги). Лукьянов говорил, что они пытались уговорить Гумбаридзе принять турок. Но тот заявил, что в нынешней ситуации, при нехватке в Грузии земли (после оползней и т. п.), в обстановке обострения всех национальных проблем, это вызвало бы в Грузии гражданскую войну.

Еще маленький штрих к картине событий в Фергане, возможно, ложный. Нам сообщили, что в видеопленках, на которых запечатлены кровавые события в Узбекистане, среди беснующейся толпы удалось опознать группу работников КГБ Армении, за несколько дней до событий срочно вызванных в Москву. Если это сообщение верно, то можно было бы предполагать участие КГБ в провокации в Фергане. Но, конечно, к сообщениям такого рода надо относиться сугубо осторожно.

Одним из драматических событий последних дней Съезда было обсуждение вопроса о Комитете конституционного надзора. Президиум Съезда предложил состав этого Комитета и пытался добиться тем самым его создания. Ряд депутатов, в особенности из Прибалтики, возражали против самого обсуждения этого вопроса, ссылаясь на то, что нет регламента, определяющего функции и полномочия Комитета. В частности, не была исключена возможность, что такой Комитет может вмешиваться в законодательную деятельность в республиках. Обсуждение носило очень острый характер. Группа депутатов Прибалтики покинула Съезд (кажется, это была делегация Литвы, а может, и других республик). Президиум вынужден был уступить и отменить обсуждение вопроса о Комитете конституционного надзора.

На Съезде все же удалось выступить некоторым «левым» депутатам с концептуальными тезисами. 8 июня выступили Шмелев, Емельянов и Яблоков. До этого 31 мая выступили Бунич и Власов, 1 июня — Черниченко. В последний день Съезда выступил я. Не удалось выступить с программной речью Афанасьеву, а также Тихонову.

Бунич сказал: Наши изменения в области экономики носят косметический характер. Мы забыли, что торговля возникает тогда, когда предложение больше спроса. Наблюдается откатная волна запретительных мер (примеры: нормативное соотношение между ростом производительности

труда и средней зарплатой: «отстреливание» кооперативов). Самые чрезвычайные меры — это просто радикальные. Сегодня, если предприятие убыточное, оно получает такую же зарплату, как рентабельное. Мы объедаем наших детей — живем лучше, чем работаем, хотя живем скверно. Социализм — не собес. Хозрасчет — это когда каждый будет знать, что все, что он сделал, его, за минусом налога. Если к другому уходит невеста, то, наверно, виноваты скрытые пороки первого жениха (это о госсекторе и кооперации). Нужен единый закон о предприятии и кооперации.

Черниченко начал с остроумного освещения происхождения послушного негодования против «москалей», вспомнил «очаровательную депутатку из Казахстана, которая лишила их своего женского расположения» (эта делегатка сказала, что она боится садиться рядом с этими москвичами). «Не сама машина ходит, тракторист машину водит. Но — «разделяй и властвуй» больше не проходит. Хочешь продуктивно властвовать — соединяй и достигай цели! Все жданки мы проели! Никогда не накормит народ принудительная система земледелия. Причины нищеты людей и умирания пашни — только и исключительно политические причины. Сталинизм в сельском хозяйстве — это экономическая Вандея. Руды мы производим в 6 раз больше, чем Штаты, а пластмасс — в 6 раз меньше. Комбайнов — в 10 раз больше, а хлеба — в два раза меньше. Осипьян считал на счетах. Система, представленная арестованным в 1926 году рублем и командующим, но не отвечающим аппаратом, — ведет к национальному унижению. До восьми замов и министров сидит в кабинете зам. зав. отделом ЦК Мураховского. Это все знают, но это не нужно говорить. В воспитанном обществе — это считается невоспитанным. Унижает наш постыдный экспорт — 200 млн. тонн нефти, по преимуществу сырой. Я не знаю, что передам внуку. Унижает импорт. Импорт того, что вырастает на своих землях, вещей и материалов, вполне возобновимых. Почему закуплены 21 млн. тонн пшеницы, когда страна производит пшеницы в 2 раза больше, чем ей самой нужно? За эти чудовищные миллиарды, если бы Мураховский платил бы своим, за эти 25 лет все выросло бы у себя, дома. Я соглашатель. Я хочу увести людей с митингов, отвлечь от забастовок. Повторить вслух ленинские, самые революционные после «Вся власть Советам!» слова — «От продразверстки к продналогу!». Без Закона о земле грош нам цена. Доверия нам с вами больше не будет».

Н. П. Шмелев сказал: «Меня беспокоят ближайшие два-три года — инфляция, распад потребительского рынка, бюджетный дефицит. В случае экономического краха нас ждет — всеобщая карточная система, обесценивание рубля, разгул черного рынка и теневой экономики и вынужденный возврат к жесткой административно-командной дисциплине на какое-то время. (Похоже, что Абалкин и другие считают, что это время уже наступило или наступает? — А. С.) Несправедливо, что во всем виноват быстрый рост заработной платы. Степень эксплуатации рабочей силы в нашей стране из всех индустриальных стран самая высокая. Доля зарплаты в валовом национальном продукте составляет у нас 37—38%, в индустриальном мире этот показатель 70% и выше. Наш рабочий класс имеет моральное право повысить свою долю в ВНП, и всеми возможными мерами он к решению этой задачи приступает. Этот процесс остановить невозможно. Совсем безграмотное объяснение — кооперативы, которые безналичные деньги превращают в наличные. Доходы населения — 430 млрд. рублей. В том, что работает печатный станок, кооператоры виноваты менее чем на четверть процента (1 млрд. рублей). Кроме тяжелого наследия — четыре ошибки: 1) абсолютно неквалифицированная акция с продажей алкогольных напитков; 2) кампания с нетрудовыми доходами 1986 года; 3) при падении цен на нефть мы сократили не импорт оборудования и зерна, а импорт товаров народного потребления; 4) увеличение капиталовложений». Шмелев предлагает систему санационных мер:

1. Вернуться к нормальной торговле спиртным (сейчас половина спиртного в стране производится самогонщиками, это только из сахара). Люди пьют от тоски, от лжи и от безделья. Нам нужно 15 млрд. долларов разового импорта потребительских товаров плюс 5—6 млрд. в год для искусственного импорта, для поддержания товарного равновесия на протяжении 2—3 лет. Итого, 30—35 млрд. долларов, где взять эти деньги?

2. Разрешить колхозам часть продукции сдавать за валюту с правом тратить эту валюту где хотят. Причем наши люди скромные. Не надо им по 200 долларов платить за тонну, они за 75 продадут.

3. Остановим на 5—10 лет импорт оборудования для наших гигантских проектов.

4. Позволительно спросить, сколько нам стоят наши интересы в Латинской Америке. По американским оценкам, 6—8 млрд. долларов ежегодно.

5. Международные займы. Проценты мы выплатить сумеем, остальное не обязательно.

6. Надо решиться на продажу земли или на отдачу ее в вечную аренду.

7. Нам надо решиться не только говорить, но и продавать квартиры по-настоящему, продавать грузовики, трактора, продавать все, что есть в запасах.

8. Акционерная собственность, акции, государственный нормальный заем на 30 лет под высокий процент. Те деньги, которые мы получим от возросшего импорта, списать, уничтожить.

9. Надо понять, что государство разорено, что мы можем строить только то, что дает быстрый потребительский эффект.

10. Мы придумали самую нелепую, самую неэффективную систему помощи сельскому хозяйству. Когда хорошо работающему мы за килограмм продукции платим рубль, а тому, кто работает плохо — 2 рубля. Это нужно ликвидировать!

Емельянов говорил о проблемах власти и роли партии. Сейчас часто подчеркивают, что сама партия является гарантом перестройки. Но не сам народ пришел к нынешней кризисной ситуации. Он пришел, ведомый партией. Однопартийная система — это уже монополизация власти. Совмещение постов — монополизация в квадрате. Емельянов говорит, что, видимо, совмещение необходимо временно на уровне генсек — президент, но это нельзя возводить в принцип и надо запретить на всех нижних уровнях. Необходимо принять решение о ликвидации всех привилегий как принцип. У нас не было и нет политического защитного механизма демократической жизни в стране. Мы не имеем поэтому гарантий необратимости перестройки. В перестройке надо идти снизу вверх. На каждом уровне управления должны быть только такие органы управления, с такими функциями и с такой численностью аппарата, как это нужно низам.

Академик Яблоков А. В. Говорил об экологических проблемах. 20% населения страны живет в зонах экологического бедствия. Еще 35—40% — в экологически неблагоприятных условиях. Каждый третий мужчина в таких районах заболевает раком. Детская смертность в отдельных районах выше, чем в ряде стран Африки. Средняя продолжительность жизни на 4—8 лет ниже, чем в развитых странах мира. Причины: Советы утратили реальную власть на местах. На уровне ведомств отсутствуют экономические стимулы ресурсосбережения. Поэтому — экстенсивный характер эксплуатации природных ресурсов. В условиях монополии ведомств развитие каждой отрасли идет без учета давления на среду соседних ведомств. В пятой части колбасных изделий в 1987 году содержались ядохимикаты в опасном для здоровья количестве, в 42% продукции детских молочных кухонь. Нет нужной экологической информации вообще.

Нет независимой экологической экспертизы (предпроектной) крупных строительств. В лучшем случае через некоторое время, когда крупные средства уже затрачены, возникает достаточно мощное общественное движение, которому удается остановить строительство. Но то, что затрачено, — безвозвратно пропало, омертвлено. Пока экспертиза бесправна и ведется на полуобщественных началах. Пример — строительство АЭС. Астраханского газоконденсаторного комплекса, Тюменского нефтехимического комплекса. В последнем случае нет проекта, нет технико-экономического и экологического обоснования, а Совет Министров принимает решение открыть финансирование (сумма в несколько раз больше затрат на БАМ). Что надо:

Вернуть власть на местах Советам.
Загрязнитель должен платить.
Переход на экологически безопасную технологию.
Обязательная независимая экспертиза.

Я привел (по необходимости конспективное) изложение некоторых выступлений, чтобы показать несостоятельность мнения об отсутствии у «левых» депутатов конструктивной программы. Очень много ценных мыслей содержалось также в выступлениях депутатов, в целом стоящих на более консервативных позициях. Высказанные на Съезде идеи лишь частично вошли в итоговое Постановление «Об основных направлениях внутренней и внешней политики СССР», многие тезисы сформулированы в слишком общей, не конкретной форме. Тем не менее, это Постановление — несомненно важнейший программный документ, суммирующий принципы перестройки и содержащий много новых и ценных положений. Наиболее конкретизированы социальные пункты Постановления: повысить минимальные пенсии по старости всем гражданам до уровня минимальной заработной платы, повысить минимальные пенсии инвалидам первой и второй групп, вдовам и родителям погибших военнослужащих, приравняв их по льготам к участникам Великой Отечественной войны; обещание рассмотреть вопрос о возможности увеличения минимальной продолжительности отпуска до 24 дней и отпуска по уходу за детьми до 3-летнего возраста. Обещано ввести механизм корректирования пенсий в конце каждого года с учетом стоимости жизни. Рыжков в своем докладе, как я понял, упомянул о решении снять ограничения по выплате пенсий работающим пенсионерам вне зависимости от оплаты труда. Либо я неправильно его понял, либо сказанное Рыжковым было пересмотрено — но в проекте итогового документа было написано: «...пенсионеров, работающих в качестве рабочих и мастеров». Я подал записку в Президиум и редакционную комиссию, в которой обосновывал необходимость в интересах социальной справедливости и государства расширить Постановление с включением в него сельских жителей и служащих. Я писал, что очень многие — например, врачи и медсестры или учителя пенсионного возраста — при таком ограничении Постановления предпочтут не работать. Пенсионный фонд не будет сэкономлен, а общество лишится многих опытных ценных работников. К сожалению, в опубликованном окончательном тексте Постановления эти мои (и многих, конечно) замечания не были учтены. Упомянуты инвалиды первой и второй групп, что, конечно, тоже очень важно.

Экономические тезисы Постановления сформулированы в очень общей форме. Основные идеи перестройки в перспективе отражены, но без указания сроков и обеспечивающих их политических гарантий. Почти все санационные меры, предложенные, например, в выступлении Шмелева, в Постановление в явной форме не включены, но косвенно некоторые из них как-то фигурируют. Предложено резко сократить общий объем капитальных вложений на производственные нужды, комиссиям Верховного Совета проанализировать состояние и определить целесообразность строящихся и планируемых крупномасштабных проектов. Совету Министров провести эксперимент по стимулированию дополнительной поставки хозяйствами высококачественной продукции валютой, сэкономленной в результате сокращения импорта зерна и продовольствия. (Это не полностью то, что предлагал Шмелев, но шаг в правильном направлении.) Полностью отсутствуют санационные меры, относящиеся к ограничению внешнеполитических валютных затрат, к свободной продаже квартир, орудий и средств производства, к получению международных займов и выпуску внутренних займов, к прекращению помощи нерентабельным предприятиям и хозяйствам за счет рентабельных, в частности с помощью поощрительных цен на продукцию.

В итоговом документе подтверждены многие требования правового характера, с которыми выступали депутаты. В опубликованном тексте сказано: «Съезд отменяет ст. 11-1 и считает необходимым уточнить редакцию статьи 7 Указа от 8 апреля, а также поручить Верховному Совету рассмотреть вопрос о соответствии Конституции Указов о митингах и демонстрациях и правах внутренних войск МВД». (Я расскажу дальше о том, как было объявлено это решение в последний день Съезда.) В Постановлении упомянуты такие важнейшие идеи, как переход к суду присяжных и допуск к делу адвоката с момента начала следствия (но не упомянут вопрос о выведении следствия из органов Прокуратуры — правда, сказано о выведении его из сферы ведомственного влияния).

В области национально-конституционного устройства подтверждены в общей форме (на мой взгляд, в слишком общей) «ленинские федеративные принципы» и принципы «экономической самостоятельности республик и регионов в сочетании с активным участием в общесоюзном разделении труда». Это можно было бы понимать как республиканский и региональный хозрасчет при расшифровке второй части формулы в духе добровольности и самостоятельности, исходящих из интересов республики и региона. В документе формально подтверждено, что в СССР вся государственная власть принадлежит народу и осуществляется им через Советы народных депутатов. Однако в вопросе о разделении функций Верховного Совета и Съезда в Постановлении отвергаются принципы исключительного права Съезда на принятие законов, кроме законов одноразового и кратковременного действия, и на выдвижение высших должностных лиц. Совершенно не отражено требование многих депутатов о выведении Советов из подчинения партийным органам, об отмене статьи 6 в Конституции и о запрещении совмещений должностей председателя органа Советской власти и секретаря партийного комитета (даже со временным исключением для Председателя Верховного Совета и Генерального Секретаря ЦК КПСС). Я убежден, что на следующей сессии Съезда необходимо будет добиваться принятия гораздо более конкретных и радикальных решений.

В последние дни Съезда «левые» депутаты провели несколько совещаний с целью оформить организацию Межрегиональной группы народных депутатов. Эти совещания проходили, в основном, вечерами, по окончании работы Съезда, в одном из залов гостиницы «Москва», где жило большинство приезжих депутатов. Обсуждения Декларации группы были бурными, но в конце концов нашли приемлемые для всех формулировки. Эту декларацию подписало около 150 депутатов. Задачей Межрегиональной группы является выработка предложений и принципов по основным проблемам, стоящим перед страной и Съездом, и способствование свободной дискуссии по этим проблемам на Съезде и вне его, а также консолидация усилий делегатов в достижении этих целей. Было принято решение, что у Группы не должно быть ни председателя, ни устава. Во время последнего совещания Галя Старовойтова составила текст обращения по поводу событий в Китае. Это «альтернативное» обращение, в отличие от принятого на Съезде бессодержательного и по существу играющего на руку китайским властям, содержало недвусмысленное осуждение кровавой расправы над студентами и рабочими и требовало прекращения кровопролития. Его подписали члены Межрегиональной группы, таким образом это было их первым совместным действием. Люся и я присутствовали на всех совещаниях, подписали, конечно, Обращение, и я как депутат подписал Декларацию.

Наступил последний день Съезда. После нескольких выступлений было принято решение о прекращении прений по докладу Рыжкова и решение, одобряющее как основу для доработки редакционной комиссией проект Постановления «Об основных направлениях внешней и внутренней политики СССР». В этот момент Лукьянов сказал с облегчением, обращаясь к Горбачеву: «Ну, Михаил, все!» Эти слова не были слышны в зале, но их слышали телезрители, так как лежавшие на столе Президиума микрофоны были подключены к системе телевидения. Слышала их и Люся (до этого был еще один аналогичный случай, когда Лукьянов подсказал Горбачеву изменение какой-то формулировки). Очевидно, Лукьянов считал, что все трудности и волнения, связанные со Съездом, уже позади. Н о о н о ш и б с я. За оставшиеся несколько часов произошли драматические события, во многом изменившие психологические и политические итоги Съезда.

Депутаты настояли на продолжении прений по итоговому документу с регламентом 5 минут на выступление. В проходе выстроилась длинная очередь депутатов, многие из них еще ни разу не выступали. В коротких энергичных выступлениях они сообщали о бедах своих регионов, остро и обоснованно критиковали отдельные тезисы документа, вносили очень важные дополнения и конкретные предложения по экономическим и особенно по социальным проблемам. Одним из последних к трибуне подошел Шаповаленко, депутат из Оренбурга. Совершенно неожиданно для Горбачева и Президиума он зачитал Декларацию об образовании Межрегиональной независимой группы. Возможно, если бы Горбачев заранее знал о намерении Шаповаленко, он бы как-то воспрепятствовал ему. Но Шаповаленко не

был даже москвичом, и такого подвоха от него Горбачев не ждал. Горбачев явно испугался. Он сказал: «У нас тут остались чисто внутренние дела. Мы можем прекратить трансляцию Съезда. Кто поддерживает это предложение?» Поднялось несколько рук, кто-то крикнул — да!, большинство ошеломленно смотрели на Горбачева, ничего не понимая в происходящем. Я бросился к столу Президиума, стал возбужденно говорить, что это нарушение... (я не мог вспомнить — нарушение чего; на самом деле, сам Горбачев обещал непрерывность трансляции Съезда). Телевидение было отключено в тот момент, когда я подходил к столу. На экранах перед глазами миллионов телезрителей появилась совершенно растерянная дикторша и объявила, что трансляция из Кремлевского дворца съездов окончена (не объяснив почему, не сказав даже обычного в аналогичных случаях «по техническим причинам»). Началась передача какого-то футбольного матча с середины игры.

Видимо, трансляция была просто выключена, без каких-либо объяснений и указаний телецентру. Телезрители понимали еще меньше. Часть из них, крепко выругавшись, выключили телевизор и перешли к домашним (или служебным) делам. Другие все же ждали чего-то. Зоря позвонила Люсе, но та тоже ничего не могла ей объяснить.

Чего же так испугался Горбачев? Он, по-видимому, опасался, что вслед за Шаповаленко начнутся какие-то другие непредсказуемые события, что его выступление — это, возможно, сигнал к чему-то очень серьезному, такому, что потребует от него, Горбачева, таких действий, которые лучше не демонстрировать всему миру. Даже если последнее предположение не верно и Горбачев ни о чем подобном не думал, он все же продемонстрировал, что гласность приемлема для него лишь в определенных пределах. В своей растерянности Горбачев забыл, что ему еще предстоит закрывать Съезд и что он подготовил, со своей стороны, приятный сюрприз депутатам и всему миру. Немного успокоившись и видя, что никакого «бунта на корабле» не происходит, Горбачев вновь включил телевидение и предоставил слово Лукьянову. Лукьянов сказал, что Президиум с учетом пожеланий многих депутатов считает необходимым исключить статью 11-1 Указа от 8 апреля как допускающую неоднозначное толкование. Я выскочил к столу Президиума и почти закричал: «А как со статьей 7, с принципом, что только насилие и призыв к насилию могут считаться уголовно наказуемыми?» Лукьянов улыбнулся и сказал: «Подождите, все будет...» Он продолжал: «Президиум также считает необходимым пересмотреть формулировку статьи 7, заменить слова «антиконституционные действия» на слова «насильственные действия». По-видимому, измененная таким образом формулировка (окончательный текст подготовят юристы) удовлетворит всех, хотя мы считаем, что первоначальная формулировка означала то же самое». Депутаты, я в том числе, стали аплодировать, многие встали. Конечно, такое нельзя было не показать по телевидению. Съезд подходил к концу. Я продолжил свои попытки добиться выступления, и наконец, уже под занавес, Горбачев дал мне слово (в этот момент выскочила депутатка от Союза театральных деятелей и стала возбужденно говорить, почему дают слово Сахарову, он уже много раз выступал, а руководитель их общественной организации Кирилл Лавров еще ни разу). Но Горбачев уже ее не слушал. Он пытался ограничить мое выступление 5 минутами, я возражал, требуя 15 минут, т. к. мое выступление носит принципиальный характер. Я ссылался на то, что был записан в прениях по его докладу и на свое положение в обществе. Горбачев не соглашался. Я начал говорить, не имея подтверждения права на пятнадцатиминутное выступление, рассчитывал добиться этого просто упорством. Фактически я говорил 13—14 минут. Ниже приводится полный текст выступления, в нем восстановлены несколько небольших купюр, которые я сделал, опасаясь, что мне не дадут окончить. В конце выступления я обратился к Горбачеву с просьбой дать Старовойтовой возможность зачитать текст Обращения по поводу событий в Китае, подписанный более чем 120 депутатами. Однако я чувствовал, что это не получится, и сказал несколько фраз от себя. В это время Горбачев распорядился выключить все микрофоны, включенные на зал. Большая часть депутатов (кроме сидящих в первых рядах, до которых доходил мой довольно громкий голос) ничего не слышала, так же как стенографистки. Но телевизионные операторы не выключили свои микрофоны, а вторично в тот же день выключить трансляцию Горбачев или не решился, или забыл. И все телезрители и радиослушатели слышали полностью все, что я сказал!

Текст Декрета о власти я обсуждал с некоторыми друзьями, в том числе с Толей Шабадом из группы поддержки. Но окончательный текст я написал накануне Съезда и не успел с кем-либо обсудить, в том числе первый пункт об исключении статьи 6 Конституции СССР («Руководящей и направляющей силой советского общества, ядром его политической системы, государственных и общественных организаций является Коммунистическая партия Советского Союза...»). Вероятно, в число должностных лиц, которые избираются Съездом (с альтернативными кандидатами), следовало включить министра иностранных дел и министра обороны. Пункт о функциях КГБ следовало бы дополнить «запрещается поддержка в любой форме терроризма, торговли наркотиками и других несовместимых с принципами нового мышления действий». Люся настояла на включении в текст упоминания о необходимости демобилизации призванных в прошлом году студентов. Сейчас эта группа демобилизуется.

Сразу после окончания последнего заседания Съезда один из сотрудников (кажется — редакции «Известий») попросил меня подняться на третий этаж в секретариат и исправить ошибки в стенограмме. Я вписал от руки конец выступления, который не слышали и не записали стенографистки. Начальник секретариата сказал, что включить можно только то, что было реально произнесено. Я ответил, что все, что я вписал, было произнесено. Но в опубликованном в бюллетене и в «Известиях» тексте конец выступления все же отсутствует, в том числе все относящееся к Китаю. Ниже это место восстановлено *:

Уважаемые народные депутаты!

Я должен объяснить, почему я голосовал против утверждения итогового документа Съезда. В этом документе содержится много правильных и очень важных положений, много принципиально новых и прогрессивных идей. Но я считаю, что Съезд не решил стоящей перед ним ключевой политической задачи, воплощенной в лозунге: «Вся власть Советам!». Съезд отказался даже от обсуждения «Декрета о власти».

До того, как будет решена эта политическая задача, фактически невозможно реальное решение всего комплекса неотложных экономических, социальных, национальных и экологических проблем.

Съезд народных депутатов СССР избрал Председателя Верховного Совета СССР в первый же день без широкой политической дискуссии и хотя бы символической альтернативности. По моему мнению, Съезд совершил серьезную ошибку, уменьшив в значительной степени свои возможности влиять на формирование политики страны, оказав тем самым плохую услугу и избранному Председателю.

По действующей конституции Председатель Верховного Совета СССР обладает абсолютной, практически ничем не ограниченной личной властью. Сосредоточение такой власти в руках одного человека крайне опасно, даже если этот человек — инициатор перестройки. В частности, возможно закулисное давление. А если когда-нибудь это будет кто-то другой?

Постройка государственного дома началась с крыши, что явно не лучший способ действий. То же самое повторилось при выборах Верховного Совета. По большинству делегаций происходило просто назначение, а затем формальное утверждение Съездом людей, из которых многие не готовы к законодательной деятельности. Члены Верховного Совета должны оставить свою прежнюю работу «как правило» — нарочито расплывчатая формулировка, при которой в Верховном Совете оказываются «свадебные генералы». Такой Верховный Совет будет — как можно опасаться — просто ширмой для реальной власти Председателя Верховного Совета и партийно-государственного аппарата.

* Отсутствующие в официальной стенограмме («Известия», 11 июня 1989 г.) места заключены в квадратные скобки. Существуют также иные, как правило незначительные, текстуальные расхождения с опубликованной стенограммой. **(Прим. ред.).**

В стране, в условиях надвигающейся экономической катастрофы и трагического обострения межнациональных отношений, происходят мощные и опасные процессы, одним из проявлений которых является всеобщий кризис доверия народа к руководству страны. Если мы будем плыть по течению, убаюкивая себя надеждой постепенных перемен к лучшему в далеком будущем, нарастающее напряжение может взорвать наше общество с самыми трагическими последствиями.

Товарищи депутаты, на вас сейчас — именно сейчас! — ложится огромная историческая ответственность. Необходимы политические решения, без которых невозможно укрепление власти советских органов на местах и решение экономических, социальных, экологических, национальных проблем. Если Съезд народных депутатов СССР не может взять власть в свои руки здесь, то нет ни малейшей надежды, что ее смогут взять Советы в республиках, областях, районах, селах. Но без сильных Советов на местах невозможна земельная реформа и вообще какая-либо эффективная аграрная политика, отличающаяся от бессмысленных реанимационных вливаний нерентабельным колхозам. [Без сильного Съезда и сильных, независимых Советов невозможны преодоление диктата ведомств, выработка и осуществление законов о предприятии, борьба с экологическим безумием. Съезд призван защитить демократические принципы народовластия и тем самым — необратимость перестройки и гармоническое развитие страны. Я вновь обращаюсь к Съезду с призывом принять «Декрет о власти».]

Декрет о власти

Исходя из принципов народовластия, Съезд народных депутатов заявляет:

1. Статья 6 Конституции СССР отменяется.

2. Принятие Законов СССР является исключительным правом Съезда народных депутатов СССР. На территории Союзной республики Законы СССР приобретают юридическую силу после утверждения высшим законодательным органом Союзной республики.

3. Верховный Совет является рабочим органом Съезда.

[4. Комиссии и Комитеты для подготовки законов о государственном бюджете, других законов и для постоянного контроля за деятельностью государственных органов, над экономическим, социальным и экологическим положением в стране — создаются Съездом и Верховным Советом на паритетных началах и подотчетны Съезду.]

5. Избрание и отзыв высших должностных лиц СССР, а именно:

1. Председателя Верховного Совета СССР,
2. Заместителя Председателя Верховного Совета СССР,
3. Председателя Совета Министров СССР,
4. Председателя и членов комитета Конституционного надзора,
5. Председателя Верховного Суда СССР,
6. Генерального прокурора СССР,
7. Верховного арбитра СССР,
8. Председателя Центрального банка,

а также:

1. Председателя КГБ СССР,
2. Председателя Государственного комитета по телевидению и радиовещанию,
3. Главного редактора газеты «Известия» — исключительное право Съезда.

Поименованные выше должностные лица подотчетны Съезду и независимы от решений КПСС.

[6. Кандидатуры на пост Заместителя Председателя Верховного Совета и Председателя Совета Министров СССР предлагаются Председателем Верховного Совета СССР и, альтернативно, народными депутатами. Право предложения кандидатур на остальные поименованные посты принадлежит народным депутатам.]

7. Функции КГБ ограничиваются задачами защиты международной безопасности СССР.

[Примечание. В будущем необходимо предусмотреть прямые общенародные выборы Председателя Верховного Совета СССР и его Заместителя на альтернативной основе.]

[Я прошу депутатов внимательно изучить текст Декрета и поставить его на голосование на чрезвычайном заседании Съезда.] Я прошу создать редакционную комиссию из лиц, разделяющих основную идею Декрета. Я обращаюсь к гражданам СССР с просьбой поддержать Декрет в индивидуальном и коллективном порядке, подобно тому как они это сделали при попытке скомпрометировать меня и отвлечь внимание от вопроса об ответственности за афганскую войну.

[Я хотел бы возразить тем, кто пугает невозможностью обсуждать законы двумя тысячами человек. Комиссии и Комитеты подготовят формулировки, на заседаниях Верховного Совета обсудят их в первом и втором чтении, и все стенограммы будут доступны Съезду. В случае необходимости дискуссия продолжится на Съезде. Но что действительно неприемлемо — если мы, депутаты, имея мандат от народа на власть, передадим наши права и ответственность своей одной пятой, а фактически — партийно-государственному аппарату и Председателю Верховного Совета.]

Продолжаю. Уже давно нет опасности военного нападения на СССР. У нас самая большая армия в мире, больше чем у США и Китая, вместе взятых. Я предлагаю создать комиссию для подготовки решения о сокращении срока службы в армии (ориентировочно в два раза для рядового и сержантского состава, с соответствующим сокращением всех видов вооружения, но со значительно меньшим сокращением офицерского корпуса), с перспективой перехода к профессиональной армии. Такое решение имело бы огромное международное значение для укрепления доверия и разоружения, включая полное запрещение ядерного оружия, а также огромное экономическое и социальное значение. [Частное замечание: надо демобилизовать к началу этого учебного года всех студентов, взятых в армию год назад.]

Национальные проблемы. Мы получили в наследство от сталинизма национально-конституционную структуру, несущую на себе печать имперского мышления и имперской политики «разделяй и властвуй». Жертвой этого наследия являются малые Союзные республики и малые национальные образования, входящие в состав Союзных республик по принципу административного подчинения. Они на протяжении десятилетий подвергались национальному угнетению. Сейчас эти проблемы драматически выплеснулись на поверхность. Но не в меньшей степени жертвой явились большие народы, в том числе русский народ, на плечи которого лег основной груз имперских амбиций и последствий авантюризма и догматизма во внешней и внутренней политике. [В нынешней острой межнациональной ситуации] необходимы срочные меры. Я предлагаю переход к федеративной (горизонтальной) системе национально-конституционного устройства. Эта система предусматривает предоставление всем существующим национально-территориальным образованиям, вне зависимости от их размера и нынешнего статуса, равных политических, юридических и экономических прав, с сохранением теперешних границ (со временем возможны и, вероятно, будут необходимы уточнения границ * [образований и состава федерации, что и должно стать важнейшим содержанием работы Совета Национальностей]. Это будет Союз равноправных республик, объединенных Союзным договором, с добровольным ограничением суверенитета каждой республики в минимально необходимых пределах (в вопросах обороны, внешней политики и некоторых других). Различие в размерах и численности населения республик и отсутствие внешних границ не должны смущать. Проживающие в пределах одной республики люди разных национальностей должны юридически и практически иметь равные политические, культурные и социальные права. Надзор за этим должен быть возложен на Совет Национальностей. Важной проблемой национальной политики является судьба насильственно переселенных народов. Крымские татары, немцы Поволжья, турки-месхи, ингуши и другие должны получить возможность вер-

* Здесь обрывается официальная стенограмма. По-видимому, в этот момент были выключены микрофоны. (Прим. ред.).

нуться к родным местам. Работа комиссии Президиума Верховного Совета по проблеме крымских татар была явно неудовлетворительной.

К национальным проблемам примыкают религиозные. Недопустимы любые ущемления свободы совести. Совершенно недопустимо, что до сих пор не получила официального статуса Украинская Католическая Церковь.

Важнейшим политическим вопросом является утверждение роли советских органов и их независимости. Необходимо осуществить выборы советских органов всех уровней истинно демократическим путем. В избирательный закон должны быть внесены уточнения, учитывающие опыт выборов народных депутатов СССР. Институт окружных собраний должен быть уничтожен, и всем кандидатам должны быть предоставлены равные возможности доступа к средствам массовой информации.

Съезд должен, по моему мнению, принять постановление, содержащее принципы правового государства. К этим принципам относятся: свобода слова и информации, возможность судебного оспаривания гражданами и общественными организациями действий и решений всех органов власти и должностных лиц в ходе независимого разбирательства, демократизация судебной и следственной процедур (допуск адвоката с начала следствия, суд присяжных, следствие должно быть выведено из ведения прокуратуры: ее единственная задача — следить за исполнением Закона). Я призываю пересмотреть законы о митингах и демонстрациях, о применении внутренних войск и не утверждать Указ от 8 апреля.

Съезд не может сразу накормить страну. Не может сразу разрешить национальные проблемы. Не может сразу ликвидировать бюджетный дефицит. Не может сразу вернуть нам чистый воздух, воду и леса. Но создание политических гарантий решения этих проблем — это то, что он обязан сделать. Именно этого от нас ждет страна! Вся власть Советам!

Сегодня внимание всего мира обращено к Китаю. Мы должны занять политическую и нравственную позицию, соответствующую принципам интернационализма и демократии. В принятой Съездом резолюции нет такой четкой позиции. Участники мирного демократического движения и те, кто осуществляет над ними кровавую расправу, ставятся в один ряд. Группа депутатов составила и подписала Обращение, призывающее правительство Китая прекратить кровопролитие.

Присутствие в Пекине посла СССР сейчас может рассматриваться как неявная поддержка действий правительства Китая правительством и народом СССР. В этих условиях необходим отзыв посла СССР из Китая! Я требую отзыва посла СССР из Китая!]

Я считаю, что мое выступление имело значение не только в силу его фактического содержания и включенных в него предложений,— но и оказалось очень важным в психологическом и политическом смысле. Вместе с заявлением Межрегиональной группы, победой в вопросе о Комитете Конституционного надзора и дискуссией двух последних дней оно завершило Съезд более радикально, более конструктивно и в более вселяющем надежду духе, чем это рисовалось еще незадолго до этого. Поэтому в этот вечер мы все чувствовали себя победителями. Но, конечно, это чувство соединялось с ощущением трагичности и сложности положения в целом, с пониманием всех трудностей и опасностей ближайшего и более отдаленного будущего. Если наше мироощущение можно назвать оптимизмом, то это — трагический оптимизм.

На другой день я опять поехал в Кремль, чтобы заплатить взнос в помощь пострадавшим в Башкирии, попытаться получить недостающие бюллетени (это не удалось) и узнать сроки заседания Комиссии по выработке новой Конституции. По последнему вопросу я зашел в секретариат Лукьянова. Секретарь прошел в кабинет, вскоре вернулся и передал, что Анатолий Иванович освободится через несколько минут и хочет сам со мной побеседовать. Лукьянов вышел мне навстречу и провел в кабинет. Там кроме большого письменного стола с телефонами стоял книжный шкаф со справочной, по-видимому, литературой. На стене висела картина с каким-то высокогорным пейзажем. (В конце беседы Лукьянов рассказал, что раньше там был портрет Брежнева — и, вероятно, других генсеков, Лукьянов в это не вдавался. Затем повесили портрет Горбачева, но Михаил Сергеевич просил его снять. Лукьянов в прошлом увлекался альпинизмом, поэтому он выбрал эту «горную» картину.)

В начале беседы Лукьянов сказал, что относится ко мне с большим уважением. Он вместе с А. Н. Яковлевым были инициаторами моего возвращения из Горького. На мой вопрос о предполагаемом времени начала работы Конституционной комиссии Лукьянов сказал, что до ее первого заседания предполагается провести Пленум ЦК по национальному вопросу, так что Комиссия по выработке Конституции соберется не ранее сентября. Я сказал, что я еду (после Европы) в США, там у детей мы с женой хотим отдохнуть и поработать. Я, в частности, хочу подумать о формулировках идей Союзного договора, о которых я говорил в своем выступлении на Съезде. Лукьянов ответил: «Совершенно спокойно можете ехать до конца августа и работать. Мы думаем над тем, как построить наше государство в национальном плане. Безусловно, необходима какая-то форма федеративного устройства. Но в то же время мы не имеем права допустить распад СССР. Сейчас во всем мире нарастают процессы интеграции, охватывающей экономические, политические, культурные и военные аспекты. Интеграция, например в Европе, дает большие преимущества во всех этих областях. И было бы нелепостью, если бы мы, наоборот, пошли на распад, на конфедерацию. Конфедерации сейчас нет нигде в мире, это не жизненная форма». Лукьянов, кажется, не объяснил, что он понимает под федерацией и конфедерацией и в чем разница, а я не спросил. Но он упомянул о неприемлемости отдельной денежной системы в республиках, раздельной армии, различного законодательства. Лукьянов, далее, сказал: «Мы высоко ценим поддержку Михаила Сергеевича и перестройки в ваших выступлениях и статьях все эти годы после вашего возвращения в Москву. Мы следим за вашими выступлениями и благодарны вам. Ситуация очень сложная. В апреле 1985 года, после Пленума, мы ходили с Михаилом Сергеевичем всю ночь по лесу и обсуждали основные проблемы развития страны. Мы ясно понимали необходимость глубоких реформ, необходимость демократизации. Но всей глубины кризиса, в котором находится страна, и всей меры трудностей предстоящего пути мы не знали».

Я спросил Лукьянова о судьбе переданной ему записки с просьбой о вмешательстве в судьбу человека, приговоренного к смертной казни. (Это было хозяйственное дело — подпольная фабрика — в Алма-Ате. Главный обвиняемый, инженер, Розенштейн, если мне не изменяет память, находился под следствием в тюрьме в очень тяжелых условиях 8 лет (!), стал инвалидом. Он приговорен к смертной казни и сейчас находится в камере смертников. Его брат — инвалид детства второй группы тоже 8 лет в тюрьме под следствием. Я упомянул это дело в разговоре с Горбачевым и Лукьяновым 1 июня и на другой день отдал Лукьянову записку, в которой я просил вмешаться в судьбу братьев. Я подчеркивал, что проект нового законодательства не предусматривает смертной казни за хозяйственные преступления. В этой связи я писал о необходимости приостановки исполнения всех смертных приговоров в стране вплоть до принятия нового законодательства.) Лукьянов ответил, что моя записка передана в Юридический Отдел ЦК (секретарь дал мне телефон) и дело, конечно, будет внимательно рассмотрено. Говоря о проблеме смертной казни вообще, Лукьянов сказал, что Президиум Верховного Совета не утверждает сейчас никаких смертных приговоров, кроме связанных с убийством при отягчающих обстоятельствах, особо жестокими и кратными убийствами, изнасилованиями малолетних с убийством и другими столь же нечеловеческими преступлениями. Ни один смертный приговор за хозяйственные и имущественные преступления не утверждается. Общее число смертных казней в стране сейчас уменьшилось в 8 раз. Я, к сожалению, не спросил, каковы абсолютные цифры. Говоря о приостановке исполнения приговоров за те преступления, которые заведомо и по новому законодательству повлекут за собой смертную казнь, Лукьянов сказал, что еще не ясно, будет ли такая отсрочка актом гуманности. Ожидание смертной казни — самое ужасное. Он предложил мне присутствовать на некоторых заседаниях Президиума Верховного Совета по вопросам помилования. Я согласился, напомнив при этом, что я принципиальный противник смертной казни.

Через несколько дней после разговора с Лукьяновым Люся и я вылетели в Европу и затем в США. Эта глава написана в Ньютоне и Вествуде, Массачусетс, США, в домах наших детей. Рядом Люся, она завершает работу над своей второй книгой.

Конечно, окончание работы над книгой создает ощущение рубежа, итога. «Что ж непонятная грусть тайно тревожит меня?» (А. С. Пушкин). И в то же время — ощущение мощного потока жизни, который начался до нас и будет продолжаться после нас. Это чудо науки. Хотя я не верю в возможность скорого создания (или создания вообще?) всеобъемлющей теории, но я вижу гигантские, фантастические достижения на протяжении даже только моей жизни и жду, что этот поток не иссякнет, а наоборот, будет шириться и ветвиться. Судьба страны. Съезд переключил мотор перемен на более высокую скорость. Забастовка шахтеров — это уже нечто новое, и ясно, что это только первая реакция на «ножницы» между стремительно растущим общественным сознанием и топчущейся на месте политической, экономической, социальной и национальной реальностью. Только радикализация перестройки может преодолеть кризис без катастрофического откатывания назад. Съезд наметил в выступлениях «левых» контуры этой радикализации, но главное все же еще нам предстоит коллективно создать. Глобальные проблемы. Я убежден, что их решение требует конвергенции — уже начавшегося процесса плюралистического изменения капиталистического и социалистического общества (у нас это — перестройка). Непосредственная цель — создать систему эффективную, (что означает рынок и конкуренцию) и социально справедливую, экологически ответственную.

Семья, дети, внуки. Многое я упустил — по лености характера, по невозможности чисто физической, из-за сопротивления дочерей и сына, которое я не мог преодолеть. Но я не перестаю об этом думать. Люся, моя жена. На самом деле это единственный человек, с которым я внутренне общаюсь. Люся подсказывает мне многое, что я иначе по своей человеческой холодности не понял бы и не сделал. Она также большой организатор, тут она мой мозговой центр. Мы вместе. Это дает жизни смысл.

Ньютон — Веcтвуд.
Июль — август 1989 г.

Публикация Елены Боннэр

Сергей Антонов

КЛЕТКА

РАССКАЗ

Как будто кто-то нажимал попеременно на черные и белые клавиши. Или, вернее, выключал и включал лампу, и тогда крыса глотала слюну.

Здесь, в комнате с дощатым мытым полом, сидел за канцелярским столом милиционер и накатывал мои растопыренные пальцы на черное мокрое сукно в плоской железной коробке и затем переносил, оттискивал их на лист бумаги. Это был сон. Очень страшный. Потому что я ничего не мог сделать. Я не мог встать и уйти, я только подставлял растопыренные пальцы, и равнодушный человек, без тени угрозы, просто равнодушно, отпечатывал мои пальцы на листе бумаги. Я видел отпечатки пальцев на бумаге — он, этот человек, что-то отбирал у меня, что-то мое, принадлежавшее мне еще в утробе матери. Мои пальцы уже были не только мои, и с ними уходило из меня еще что-то очень важное, мое, только мое, принадлежавшее мне давно. А сейчас он отбирал это у меня, и я ничего не мог сделать. Он пользовался моим одиноким оцепенелым страхом. Он! Он был из какого-то другого мира. Этого мира я не знал — я знал только, что мне надо быстрее проснуться и оказаться в моем, знакомом мне мире. Это был страшный сон. Но я никак не мог сбросить этот навалившийся сон-кошмар, и теперь я уже лежал на дощатом помосте, в пальто, лицом вниз, и рядом лежали или сидели другие люди, и теперь я уже боялся проснуться, потому что люди могли сказать мне, что это совсем не сон. Один из этих людей попросил выдавить черный угорь у него на носу и подставил нос. Я выдавил угорь во сне, и во сне я почувствовал запах супа и услышал стук алюминиевой посуды. Но это был сон. Я захотел есть, но тогда сон бы кончился, и я не стал есть, и лежал, все так же уткнувшись головой в рукав пальто. Во сне я слышал голоса людей, и кто-то из них иногда пел песню, незнакомую мне. Потом опять звякала алюминиевая посуда, и я чувствовал запах еды, а спустя время кто-то снова запел незнакомую песню, и я готов был проснуться, потому что в песне жила надежда, но я боялся, я был совсем-совсем один, и я не верил этой чужой надежде. Песня пропала куда-то, и я опять оказался в комнате с канцелярским столом и с равнодушным человеком, сидевшим по ту сторону стола.

Со своей стороны стола, не моей совсем, просто я там сидел, был посажен во сне кем-то, я видел в окно желтый двухэтажный дом, по тротуару шли люди, настоящие люди, не из сна, я хотел быть там, с этими людьми, но знал, что мое желание бессмысленно, бесполезно, невозможно раз и навсегда, и это были самые страшные минуты моего сна, и снова, спрятав лицо в складках пальто, я лежал и слушал звяканье алюминиевой посуды и незнакомую песню.

Сергей Александрович АНТОНОВ (р. 1937) — профессиональный художник. Живет и работает в Москве. Публикуется впервые.

А потом был провал в моем сне, я уже ничего не видел, а только чувствовал в темноте, обступившей меня, холод и общее движение людей и мое среди них. Темнота стала черной и железной и двигалась, неся кого-то, не меня, внутри себя. Холодная струя воздуха шла снизу. Кто-то, не я, кто-то, кто подменил меня в черном железном движущемся отсеке, не имел ни разума, ни сердца и поэтому существовал. Черная железная холодная темнота двигалась долго, очень долго, и тот, кто подменил меня, не имел разума и потому мог быть там. Он покинул меня, когда снова зажегся свет, и я оказался стоящим на кафельном полу, в бане. В бане было тепло, и в руках у меня была шайка. Сверху шел желтый электрический свет, и я стоял на теплом кафельном полу с пустой шайкой в руке. В бане были люди.

Я никогда не видел их раньше, в моем сне. Они были разными и существовали отдельно от меня. Они меня не видели, но я видел их, хотя был очень далеко от них, а они были далеко от меня и жили в той незнакомой песне, которую я слышал, лежа в пальто на дощатом помосте, и наверное поэтому я не чувствовал к ним вражды и не испытывал страха. Я видел, что они спокойны и крепки физически. Прямо передо мной сидели, видимо, уже вымывшись, два человека, сидели совсем по-домашнему, тихо переговариваясь, и только когда кто-нибудь из них делал жест рукой, я замечал огромные неподвижные каменные мускулы, и когда рука разгибалась, каменные мышцы оставались неподвижны, и мне уже казалось, что они пришли сюда из огромного холодного леса и, закончив разговор, снова вернутся в свой лес.

Я налил воды в шайку и, взяв нетронутый брикет простого мыла, вымылся как мог. Многие вокруг, кончив мыться, курили. Мне тоже захотелось курить, но я не посмел попросить папиросу — я не мог разрушить свой сон.

Я не слышал команды, но увидел, как все стали одеваться, и я тоже оделся и ждал чего-то, стоя в общей массе людей. Потом все пошли, и я пошел и вышел в холодную темноту двора к черным силуэтам машин.

Теперь в черном движущемся отсеке сидел я сам, одиноко и бездумно.

Сон продолжался, и я видел огромное помещение, с потолком, уходившим в преисподнюю, беспредельным и пустым — только посередине стояла шеренга людей, тень шеренги, потому что свет потерялся, затерялся в огромной пустоте без стен. Я не стоял в этой шеренге, потому что видел все откуда-то сверху, почти с потолка, из темноты его, и поднимаясь все выше, в черную бездну, пропал и растворился там и вдруг только на короткий миг был поставлен кем-то на каменный пол раздетым догола, под ярким светом лампы так и стоял, а потом согнулся и, взяв обеими руками себя за ягодицы и раздвинув их, застыл так. Что это было? Ад или безумие — я не знал. Я снова провалился в темноту. В этой темноте, прямо перед собой, я увидел выкрашенную синей краской каменную стену, и с этой стеной, уткнувшись в нее, я жил во сне, поверяя ей, стене, свое горе и свои воспоминания.

К вечеру стена, мой угол стены окрашивался зажегшимся вечерним светом. С наступлением вечера я знал, день прошел, голову обволакивала спасительная пелена, в которой тихо появлялась добрая надежда, и однажды, обманутый и успокоенный почти, выйдя из своего угла, я повернул голову навстречу голосу человека, ходившему взад и вперед по вечерней камере, и стал слушать и понимать слова его рассказа. Ходивший был в белой нательной рубахе, широких мятых брюках и грубых рыжих бутсах. Еще двое, тоже в нижних рубашках, полулежа на койках, слушали его. Ходивший рассказывал про Чукотку, про северный лагерь, про белые холодные летние вечера. Мой мозг не принимал недоступное мне — только сразу, моментально, поймал и перебросил через сетку волейбольный мяч, который, взлетев над низким горизонтом темным силуэтом, повис в холодном светлом небе. С этим брошенным мне мячом (спасательным кругом) я и заснул, в первый раз с непонятным облегчением, отбросив тот прошлый свой сон-кошмар, безысходный, бездумный.

Потом... А потом был май. Первое мая. На завтрак принесли картошку с селедкой. Открылась кормушка, и надзиратель спросил: «На "Ч" есть?» — и мы подали ему чайник. Солнце было за окном, и я, уцепившись за прутья решетки, видел прогулочный двор и кричал гулявшей там заключенной — «Аллё» — «Нет Аллё» — отвечала весело девка. Я спускался с высоко поднятого над койкой, совсем под потолком, окна и раскладывал на струганых досках стола пасьянс из доминошных фишек.

Нас было четверо, и каждый знал *дело* каждого. Не обсуждали только *дело* четвертого. Сашка в рыжих лагерных бутсах говорил мне, тихо перечисляя статьи кодекса, что четвертого ждет расстрел. Незримая стена отделяла четвертого от остальных троих, и не дай бог было оказаться по ту сторону. Как-то дверь открылась, и он ушел, взяв вещи, в сырую пустоту раннего утра, и день тянулся хмуро и медленно. Но и этот день прошел... Вечером в моем углу волейбольный мяч взлетал над сеткой и застывал в северном белом небе.

К нам троим доставили еще двоих. Начался июнь. По вечерам в камере было душно, и, усевшись на каменный пол, мы пели песни. Пели и ту, незнакомую мне, слышанную когда-то во сне, а теперь знакомую и любимую. В застекленном углублении в стене горела лампа, и потому в окне за решеткой небо казалось темно-синим, черным, но знакомым, городским, и песня уходила в небо и возвращалась, соединяя нас с городом и волей.

Утром я шел за сопровождающим по ковровой дорожке длинным коридором, в котором стояли и разговаривали красивые накрашенные женщины. Они были свободными и веселыми от своей свободы. Меня они не видели. Не видели, я это чувствовал. Я это знал и шел за сопровождающим одиноким невидимкой. Я существовал в ином мире и потому не чувствовал ни обиды, ни зависти. От следователя, к которому я был доставлен, я узнал день моего суда и, вернувшись в камеру, лег лицом вниз, а вечером уткнулся в свой каменный угол и все пытался подкинуть мяч в высокое северное небо над низким горизонтом.

В этой клетке жили и другие, соединенные со мной общей неволей и тоже ждавшие своего часа. Неделю я собирал таблетки кодеина — выпрашивал его у молодой медсестры, когда кормушка открывалась и в железном квадрате появлялся белый кусок халата. В день суда, ранним утром, когда в камере еще горел ночной электрический свет, я принял девять таблеток, надел положенные на ночь под матрац и имевшие теперь выглаженный вид брюки и ходил взад и вперед по камере, взвинченный и отчаянный. Я слышал советы и добрые пожелания моих товарищей и, шагая взад и вперед, с отчаянным вызовом ждал, когда наконец откроется железная дверь.

К горлу подкатил клубок тошноты и, подняв крышку параши, я засунул два пальца в рот, и весь недельный запас кодеина оказался на дне параши. Дверь открылась, и я, вытирая белый рот рукой, взяв вещи, вышел из камеры в ночной коридор тюрьмы.

В черной железной темноте машины откуда-то снизу шел холодный утренний воздух. Время отступило и растворилось в темноте, окружавшей меня. Я начал вспоминать и вспомнил визжащих проституток за деревянным барьером. От проституток пахло дешевой пудрой.

Одна, стоявшая ближе ко мне, была плотной, хорошо скроенной девкой, она тоже кричала и визжала, и слезы проделывали на круглых, нарумяненных и обсыпанных пудрой щеках мокрые желоба-канавки. Она мне понравилась, и я ухватил ее за бедро под короткой юбкой. Потом все проститутки исчезли, и за барьером остался я один, и один пьяница спал на лавке. Может быть, я засыпал и просыпался, а может, это время двигалось так: то быстро, как в немом кино, то останавливаясь, совсем как в жизни. Пьяница на лавке спал долго, как в жизни. Он сейчас спит там, думал я, сидя уже в грязной пустой маленькой клетке. Я совсем отрезвел и захотел есть. Я не понимал, почему я здесь сижу. Сидел и не понимал. Я видел сквозь зарешеченное окно, что уже утро, и по звукам из-за двери понял, что начался рабочий день. Я помнил, что произошло вечером, накануне. Пьяного гармониста я встретил на улице, мы пошли вместе и вместе вошли в подъезд дома, где жил гармонист. Пьяный гармонист был задирист, но я не испытывал к нему никакой вражды, пока он не ударил меня, и тогда я схватил за лацканы пальто этого буяна-гармониста, гармонист заорал на весь подъезд, и я, отпустив его, выбежал из подъезда и попал в объятия милиционера. Я вырвался, и милиционер держал меня теперь только за локоть. Не знаю, почему — я мог десять раз убежать — я пошел за милиционером в милицию. Вот и все. Ерунда. И сейчас я сидел здесь в камере, и ничего не понимал, и ждал, когда меня отпустят домой.

Они кричали мне в лицо. Они кричали и называли часы «боками», потом «рыжими боками». Вернее, кричал, стоя сбоку, сзади, нависая надо мной, один, а второй сидел в темном углу за лампой, свет которой бил мне в лицо.

Этот, за спиной, кричал мне в затылок, а я упрямо мотал головой. Я еще не все понимал, я только начинал понимать, что что-то произошло. Но что, я не знал. И тут второй, оплывший, сидевший здесь, в своем темном углу по-домашнему без пиджака, только в рубашке, поняв то, что происходило во мне, в какой-то момент, выбранный им точно, как-то узнав, что я поверю ему, заговорил спокойно, почти равнодушно. Свет лампы бил в лицо, я почти не видел его лица, я только слушал приговор, и по тому, как назвав статью Указа, он продолжил и, запнувшись тут на секунду, сказал, что я получу лет пять, я понял, что он почему-то обманывает меня и получу я больше, много больше, и, почувствовав это, эту его недоговоренность обостренным чутьем, не разумом, инстинктом загнанного существа, я понял, что он жалеет меня. Он же, узнав, что я поверил ему, отвалился назад, на спинку стула, и я видел теперь только живот его. И опять он что-то понял во мне, нужное ему, для его дела, а может быть, совсем не из-за дела, но только поняв это, он выключил лампу, и я увидел совсем обычную комнату и сидевшего напротив пожилого человека. На мгновение я увидел его взгляд — он тут же отвел глаза — и понял, что этот человек не испытывает ко мне вражды, и даже еще хуже — он жалеет меня. Мое напряжение спало, и появилась тревога, в первый раз со вчерашнего вечера. Тревога росла во мне и превратилась в уверенность, что произошло, действительно произошло, случилось, страшное. Я обвел взглядом комнату, обыденную, канцелярскую, не дававшую никакой возможности решить про себя, что это сон, и, сидя на стуле, посреди полупустой комнаты, я повернулся на звук открываемой двери и увидел мать. Мать смотрела на меня с укоризной, но глаза ее смотрели весело — она еще ничего не знала из того, что уже знал я. Милиционер провел меня мимо вошедшей матери и привел все в ту же коричневую пустую камеру.

Сидя в железном черном отсеке движущейся машины — только откуда-то снизу проходил свежий утренний воздух,— я вспомнил все камеры-клетки, в которых я уже был: я не был только в одной огромной, под белесым, или желтым, северным небом с низким далеким плоским горизонтом, которая ждала меня, и сейчас я ехал за разрешением на вход туда. Эта, может быть, последняя клетка была такой же, как и предыдущие, и волейбольный мяч был только злой шуткой, вброшенный туда рукой злого клоуна. Все клетки были похожи — они отнимали волю и давали взамен сначала отчаяние, а потом сонное злое одиночество. Я помнил минуту, когда из окна комнаты, с канцелярским столом и мытым дощатым полом, я увидел желтый дом на другой стороне улицы.

Там была *Воля*. Это нельзя было объяснить, и только потом я никогда не удивлялся, когда в клетке говорили — «Воля», и никогда почти — «Свобода». «Воля» звучала для каждого в клетке нежно и звучала так для каждого в отдельности, не требуя взамен контрибуций, она давалась каждому еще в материнской утробе, Богом, а не человеком.

Струя воздуха, бившая в железную темноту снизу, стала слабеть — машина остановилась, я поднял голову, но машина снова поехала, и передо мной снова появилась маленькая пустая камера. Я был совсем без сил, и я не знал, как это называется, я только помнил последний снег раннего апреля, уложенный вдоль тротуара в том переулке, где был подъезд гармониста и куда меня привезли сейчас. Людей, приехавших со мной, было много, а я был совсем без сил, а людей было слишком много, и я чувствовал себя шутом, слабым и одиноким, с которым эти большие взрослые играют в поддавки. И еще я боялся взглядов прохожих, мне было стыдно перед ними, они не смеялись и не показывали пальцем только потому, что такая молчаливая игра была для них интереснее. Потом, опять в служебном помещении, меня что-то спрашивали, и я уже согласно кивал, и тогда мне давали лист протокола, где я, увидя слово «часы», отрицательно мотал головой и откладывал ручку, вставленную в мои пальцы кем-то, стоящим сбоку.

Вот и все. И сейчас, в машине, везущей меня в самое страшное место этой истории, я все чаще, чаще, чаще вспоминал желтый дом на противоположной стороне улицы, где была *Воля*.

Я шел вдоль шеренги знакомых и незнакомых людей и чувствовал жадные, любопытные взгляды, глаза шеренги горели в полутемном коридоре суда, горели беспощадно, но вдруг в этом строю метнулся навстречу испуганный и всепрощающий взгляд матери, и я уже, проходя сквозь строй, с ненавистью встречал любопытные, безжалостные глаза, жадно ждущие, когда *все* начнется. Казалось, конца не будет этой шеренге. Нас стало трое — вместе с запахом дегтя и кожи, шедших от конвоиров, я почувствовал неожиданно, что они на моей стороне, что они против этого бесстыдства шеренги, что они просто работают и не хотят участвовать в этом грязном и беспощадном спектакле. Казалось, прошла вечность, прежде чем я оказался в маленькой комнате один.

Прошло часа два. А может, гораздо больше или гораздо меньше. Время то летело вперед к развязке, то останавливалось совсем, и я прожил в комнате без окна с конвоиром за дверью еще одну, только свою, маленькую целую жизнь.

Я сидел на возвышении посередине зала, солнечный свет падал из высоких окон в зал, и в солнечных лучах роились частички пыли, и от этого зал казался набитым до отказа, в нем не было свободного кусочка — весь зал был заполнен солнечной пылью и людьми. Посередине живого враждебного вещества, на возвышении сидел я. Я был хорошо виден всем, а я не видел никого, только ощущал забитый людьми, пылью, солнцем судебный зал. Тряпичная кукла, как две капли воды похожая на меня, сидела на возвышении. Я услышал голос гармониста, потом меня взял в руки похожий на ворону человек в форме и стал

вертеть куклу туда и сюда, тряпичная голова откинулась за спину и так висела, пока этот человек говорил, а потом бросил меня другому кому-то. Тряпичная кукла летала по залу, пока не стала целлулоидной, и слова, и глаза уже не проходили в меня — они отскакивали от целлулоида. Только вскрик матери пробился сквозь розовое покрытие, когда судья сказал: «К четырем годам»,— но тут же после этих слов и крика матери я почувствовал, как спáло жадное напряжение зала, зал съежился, потеряв свою злую силу, а я теперь, сидя за дубовым барьером у стены, стал видеть их. Я видел, как они встают, уходят, и зал, освобождаясь от них, стал просто большой комнатой.

В маленькой комнате мне что-то отдали или взяли — я совсем не помню этого, потому что все было быстрым, мимолетным, и потому, что это уже было совсем неважным, оставшимся сзади, далеко позади. Как и четыре года, полученных условно.

Все шли гурьбой по середине улицы, и шедший в середине, один, один я, чувствовал, как целлулоидно-тряпичный хлам слезает, путаясь еще где-то в ногах,— хотя вот уже нет его совсем — ноги мои не касались асфальта улицы, а сам я тянулся вверх, вверх и по сторонам, и дышал, и видел дома и воздух, и чувствовал в себе и во всем, что окружало меня, понятное только мне, одному мне доступное чувство перворождения. Вечером, когда во дворе вместе с ребятами я выпил стакан водки, я понял, что не буду пить, вино только притупляло неизвестное мне никогда ранее ощущение света и добра, что поселилось во мне. Я вышел из беседки под городское, осыпанное звездами небо и зашагал просто вперед, в улицы знакомого города.

Это наваждение продолжалось долго. Неделю я ходил, не чувствуя шага, совсем не чувствуя городского асфальта, а когда за городом, в деревне, куда мы приехали на субботу и воскресенье, утром, выбравшись из палатки, я увидел зеленую траву, первые деревья леса, речку в бликах утреннего солнца, я не ощущал мягкости травы, свежей холодной воды — я гладил кору дерева и не чувствовал живой поверхности — все это: вода, трава, деревья составляли свой мир, помимо меня, параллельно с тем огромным чувством, которое вошло в меня, когда я оказался на улице после суда. Вот так это было. И я думаю, что мне никто не поверит, когда я скажу, что все окружавшее меня было не главным, оно было нереальным, абстрактным по сравнению с тем, что наполняло меня всего. И ничего, совсем ничего мне было не нужно больше.

Прошел, может быть, год. Я работал. Жизнь вошла в обычную колею, и я не вспоминал прошлого. Я жил и жил.

Как-то в начале осени, вместе с моей девушкой, мы пошли в зоопарк. Как будто заранее что-то предчувствуя, я не хотел идти, но она уговорила меня, и мы пошли.

Уже почти сразу, как только мы вошли на территорию зоопарка, справа потянулись клетки с маленькими зверьками. Клетки были то ли ржавыми, то ли покрашены таким цветом, но только я узнал этот цвет сразу. В черной железной темноте кто-то был, потому что запах я тоже узнал, запах неволи был один на всех. Слева был большой пруд, и, пока мы шли вдоль этого ряда маленьких клеток, я смотрел на пруд. По пруду плавали утки и лебеди, иногда они взлетали над водой, и то, что они взлетали, показалось мне очень важным. Почему? Я не знал, почему. Пруд кончился, и я стал разглядывать толпу. Было много детей. И дети, и родители ели мороженое. Я купил мороженое для моей девушки. Сам я очень хотел курить. Мы ходили по зоопарку уже долго, когда я, бросая сигарету в урну, поднял глаза и увидел волка. Волк сидел в клетке с другими волками, но он чем-то отличался от остальных, и я понял это сразу. Зная, что этого нельзя делать, что будет

только хуже, я внимательно, минуту всего, смотрел на волка. Конечно, он отличался от других волков в клетке. Это был большой волк. Его шерсть была чистой, живой и упругой. Волк не смотрел на меня. Он не смотрел на толпу людей. Глаза его видели что-то за горизонтом. Что-то определенное — то ли поле, то ли лес. Это был очень красивый волк. Этот волк был обманут. Был обманут кем-то очень близким. И только сейчас — не прошло и дня, как его привезли — он начал понимать, что его обманули. Это был подлый обман, и волк никогда бы так не сделал. Он еще не пробовал зубами и грудью крепость прутьев решетки, волк просто не мог понять этой подлости и этой мрази.

Я быстро пошел прочь, стараясь выбросить из головы прекрасный взгляд обманутого, но еще вольного зверя. Я вспомнил желтый дом на противоположной стороне улицы — из груди поднимался яростный крик, и, расталкивая толпу, я побежал и выбежал из зоопарка.

Я шел по Садовому кольцу, постепенно успокаиваясь, и, сев в метро у Парка Культуры, смотря напротив, в черное окно вагона, подумал, что забыл взять с собой оттуда, из прошедшего тряпичную куклу. Ничего нельзя оставлять там, им.

Артур Хейли

ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ

РОМАН

Шейле и Диане
с особой благодарностью,
а также
моим многочисленным друзьям
в средствах массовой информации,
которые поведали мне то, что
неизвестно широкой публике.

Часть первая

1

Первое сообщение о том, что на «аэробусе-300» вспыхнул пожар и самолет идет к далласскому аэропорту Форт-Уорт, поступило в здание, где был расположен Отдел новостей телестанции Си-би-эй в Нью-Йорке, всего за несколько минут до выхода в эфир первого блока «Вечерних новостей на всю страну».

Было 18.21 по времени Восточного побережья, когда заведующий отделением Си-би-эй в Далласе сообщил по радиотелефону выпускающему, сидевшему за «подковой» в Нью-Йорке: «В далласском аэропорту Форт-Уорт с минуты на минуту может произойти большая воздушная катастрофа. Маленький самолет и аэробус, полный пассажиров, столкнулись в в воздухе. Самолет рухнул на землю. В аэробусе вспыхнул пожар, и он пытается сесть. Данные о ситуации непрерывно поступают по полицейскому радио и радио „скорой помощи"».

— Господи! — воскликнул другой выпускающий, сидевший за «подковой». — А у нас есть хоть какая-то возможность получить картинки?

«Подковой» назывался огромный стол, за которым могло разместиться двенадцать человек и где каждый день с самого раннего утра и до последней секунды, пока работало телевидение ночью, планировались и составлялись основные программы новостей. На телестанциях-конкурентах это именовалось по-разному: на Си-би-эс — «рыбным садком», на Эй-би-си — «ободом», на Эн-би-си — «пультом управления». Но любое из этих названий означало одно и то же.

Здесь сидели, бесспорно, лучшие умы телестанции, способные оценить новость и решить, как ее подать: ответственный за выпуск, ведущий, старшие выпускающие, режиссер, редакторы, текстовики, главный художник и их помощники. Там же, словно инструменты в оркестре, стояли с полдюжины компьютеров, а также передающие новости телетайпы, целая фаланга телефонов и телемониторов, на которых можно мгновенно воспроизвести что угодно — от неотредактированной пленки до подготовленного к эфиру блока новостей и передач конкурирующих телестанций.

«Подкова» находилась на четвертом этаже главного здания Си-би-эй, в центре большого пустого помещения, вдоль одной из стен которого шли кабинеты ответственных сотрудников «Вечерних новостей на всю страну», так что те могли на время сбежать из подчас накаленной атмосферы «подковы» в свой рабочий кабинет.

Журнальный вариант

Сегодня, как и почти всегда, на председательском месте за «подковой» сидел ответственный за выпуск Чак Инсен. Худой и вспыльчивый, он был журналистом-ветераном, с молодости печатался в газетах и по сей день предпочитал по старинке внутренние новости международным. Ему было пятьдесят два года, и по нормам ТВ он считался стариком, но был по-прежнему полон энергии, хотя и проработал четыре года на таком месте, где других едва хватало на два года. Чак Инсен, случалось — и нередко, — был груб с сотрудниками: он терпеть не мог людей глупых и болтунов. По одной простой причине: у него не было времени с ними разбираться.

Сейчас — а была середина сентября, среда — напряжение за «подковой» дошло до высшей точки накала. С самого раннего утра и весь день напролет те, кто там сидел, отбирали и выстраивали материал для «Вечерних новостей на всю страну» — корреспонденции просматривались, обсуждались, передвигались, отклонялись. Корреспонденты и выпускающие, разбросанные по всему миру, предлагали идеи, получали задания и присылали материал. В результате события за день сводились к текстам восьми корреспондентов, длительностью от полутора до двух минут, двум комментариям и четырем «пересказам» событий. Комментарии давал ведущий на фоне «картиники», а пересказ делал ведущий без «картинки», и для того, и для другого выделялось в среднем двадцать секунд.

Сейчас из-за сообщения, поступившего из Далласа, — а до эфира оставалось меньше восьми минут, — возникла необходимость перестроить все «Новости». Хотя никто не знал, сколько еще поступит информации и будет ли зрительный ряд, надо было снимать один из сюжетов и сокращать другие, чтобы включить известие из Далласа. А это означало, что для балансировки придется менять и последовательность изложения событий. Передача уже начнется, а продолжение ее еще будут перестраивать. Такое часто случалось.

— Всем: новый план передачи, — последовал сухой приказ Инсена. — Начнем с Далласа. Кроуф дает пересказ. У нас уже есть сообщение по телетайпу?

— Только что поступило от АП. Оно у меня, — ответил ведущий Кроуфорд Слоун. Он как раз читал бюллетень Ассошиэйтед Пресс, который ему вручили несколько мгновений тому назад.

Его резко очерченное лицо, волосы с проседью, волевой подбородок и властная, уверенная манера держаться были знакомы примерно семидцати миллионам телезрителей, которые почти каждый вечер видели Слоуна на своих экранах; он сидел сейчас за «подковой» на своем обычном месте, справа от ответственного за выпуск. Кроуф Слоун тоже был журналистом-ветераном, неуклонно продвигавшимся вверх по служебной лестнице — особенно большой рывок он сделал после того, как поработал корреспондентом Си-би-эй во Вьетнаме. Потрудившись затем репортером в Белом доме, а потом в течение трех лет выступая каждый вечер в роли ведущего, он стал как бы национальным достоянием и принадлежал к элите средств массовой информации.

Через две-три минуты Слоун уйдет в студию и начнет свой «рассказ», основываясь на фактах, поступивших из Далласа по радиотелефону, а также на том, что он почерпнул из отчета АП. Текст он всегда писал сам. Так поступали далеко не все ведущие, Слоун же перед выступлением всегда делал для себя наброски. Только надо было быстро поворачиваться.

Снова раздался громкий голос Инсена. Просмотрев первоначальный план передачи, он сказал одному из трех старших выпускающих:

— Убирайте Саудовскую Аравию. Снимите пятнадцать секунд с Никарагуа...

Слоуна передернуло, когда он услышал решение убрать сюжет о Саудовской Аравии. Это была важная новость о планах Саудовской Аравии, связанных с продажей нефти, к тому же хорошо подготовленная, на две с половиной минуты, корреспондентом Си-би-эй по Ближнему Востоку. А завтра этот сюжет уже не пройдет, так как известно, что этими данными располагают и другие станции, и они передадут их сегодня вечером.

Слоун не сомневался, что новость из Далласа надо ставить на первое место, но если бы ему предложили решать, он снял бы сюжет об американском сенаторе, занимавшемся неблаговидными делами на Капитолийском холме. Законодатель втихую проставил сумму в восемь миллионов долларов в поистине гаргантюанский законопроект, чтобы услужить своему личному другу и человеку, давшему денег на его избирательную кампанию. Только благодаря въедливости одного репортера все это выплыло на свет Божий.

Эта вашингтонская история, хоть и красочная, была не столь уж важной новостью: коррупция среди членов конгресса стала обычным явлением. Но Чак Инсен, мрачно подумал Слоун, принял характерное для него решение — снять международную новость.

Отношения между этими двумя людьми — выпускающим и ведущим — никогда не были особенно хорошими, а в последнее время значительно ухудшились из-за разногласий относительно того, что давать в эфир. Казалось, они все больше расходились в главном — не только каким новостям каждый вечер отдавать предпочтение, но и как их освещать. Слоун, например, предпочитал углубленную разработку нескольких основных тем, Инсен же стремился втиснуть в передачу возможно больше новостей, даже — как он частенько говорил — «давая некоторые скороговоркой».

При других обстоятельствах Слоун стал бы возражать против снятия материала о Саудовской Аравии и, возможно, добился бы положительного решения — ведущий является ведь одновременно и главным редактором и имеет право включать в передачу те или иные материалы, — только вот сейчас не было на это времени.

Поспешно вдавив каблуки в пол, Слоун отодвинул свое кресло на колесиках и слегка повернул вбок, чтобы удобнее было сидеть за компьютером. Сосредоточившись, отключившись от царившего вокруг бедлама, он принялся выстукивать первые фразы вечерней передачи...

Пальцы Слоуна летали по клавишам, в то время как в мыслях промелькнуло, что сегодня лишь немногие выключат свои телевизоры, пока будут идти «Вечерние новости». Добавив фразу и порекомендовав телезрителям смотреть передачу до конца в ожидании дальнейших сообщений, он нажал на клавишу принтера. Копию этого текста получат и на «экране-подсказке», так что когда он спустится этажом ниже, в студию, на экране его уже будет ждать текст.

С пачкой бумаг в руке Слоун быстро направился к лестнице, ведущей на третий этаж, и по дороге услышал, как Инсен спросил у старшего выпускающего:

— Черт подери, да где же «картинки» из Далласа?

— Дело худо, Чак. — Выпускающий, прижав телефонную трубку плечом, как раз говорил с редактором внутриамериканских новостей, находившимся в главной репортерской. — Горящий самолет уже подлетает к аэропорту, а наша съемочная группа еще в двадцати милях от него. Они не успеют.

— А черт! — ругнулся Инсен.

Если бы на телевидении за опасную работу давали медали, у Эрни Ласалла, редактора внутриамериканских новостей, вся грудь была бы в знаках отличия. Ему было всего двадцать девять лет, но он уже успел отличиться, работая — часто в опасных ситуациях — в Ливане, Иране, Анголе, на Фолклендских островах, в Никарагуа и других неспокойных местах в качестве выпускающего Си-би-эй. И хотя в мире по-прежнему возникали подобные ситуации, теперь Ласалл обозревал события, происходящие дома, в Америке, — где порой бывало не менее взрывоопасно, — сидя в удобном мягком кресле, которое стояло в кабинетике, отделенном стеклом от главной репортерской.

Ласалл был ладный, узкокостный, энергичный, он хорошо одевался и носил аккуратно подстриженную бородку — «настоящий молодой делец», как говорили некоторые. На нем лежала большая ответственность за освещение всего, что происходило в стране. Вторым таким человеком в репортерской был редактор международных новостей. У каждого было по кабинетику, куда они уединялись, когда новость требовала особого внимания или же непосредственно касалась одного из них. Авария в далласском аэропорту Форт-Уорт как раз требовала особого внимания, — ergo * Ласалл и бросился в свой кабинетик.

Репортерская находилась этажом ниже «подковы». Там же находилась и студия, которая часто использовала шумную репортерскую в качестве зрительного ряда. Аппаратная, где монтажер склеивал отдельные компоненты программы, находилась в подвальном помещении.

Прошло семь минут с тех пор, как заведующий далласским отделением Си-би-эй передал первое сообщение о том, что пострадавший аэробус приближается к аэропорту Форт-Уорт. Ласалл швырнул телефонную трубку на аппарат, схватил другую трубку, одновременно пробегая глазами экран стоявшего рядом компьютера, на котором только что появилось новое сообщение АП. Он делал все возможное, чтобы обеспечить наиболее полное освещение события, и одновременно сообщал на «подкову» обо всех новых фактах.

Это Ласалл сообщил о том, где — увы! — находится сейчас съемочная группа Си-би-эй... День в далласском отделении выдался напряженный, и все съемочные группы, корреспонденты и выпускающие разъехались по заданиям и, как на беду, находились далеко от аэропорта...

Утешало лишь то, что, как выяснил шеф далласского отделения, никакая другая общенациональная или местная телестанция тоже не имела в аэропорту своей съемочной группы, — правда, они, как и группа Си-би-эй, уже мчались туда.

Продолжая говорить по телефонам, Эрни Ласалл видел из своего кабинетика ярко освещенную студию, куда только что вошел Кроуфорд Слоун и где царила обычная, предшествующая эфиру, сумятица. Телеконтролерам, наблюдавшим за Слоуном во время передачи, всегда казалось, что ведущий находится в репортерском зале. Однако на самом деле студию отделяла от репортерской звуконепроницаемая перегородка из толстого стекла, чтобы шум не мешал передаче, — бывали, правда, случаи, когда шумы репортерской, слегка микшируя, намеренно включали для звукового эффекта.

Было 18.28 — до начала передачи оставалось две минуты.

Как только Слоун опустился в кресло за столом ведущего, спиной к репортерской и лицом к средней камере, — а их всего было три, — к нему подошла гримерша. Слоун уже гримировался десять минут тому назад в комнатке рядом со своим кабинетом, но с тех пор он вспотел. Сейчас девушка промокнула ему лоб, припудрила, провела расческой по волосам и чуть сбрызнула лаком...

Режиссер программы громко объявил:

— Одна минута!

А Эрни Ласалл в своем кабинете вдруг выпрямился в кресле, насторожившись, весь внимание.

За минуту до того у заведующего далласским отделением зазвонил другой телефон, и он, извинившись перед Ласаллом, взял трубку. Ласалл ждал — он слышал голос заведующего, но не слышал, что говорилось. А когда тот сообщил ему, Ласалл заулыбался во весь рот.

Он тотчас взял трубку красного телефона, стоявшего у него на столе и соединявшего его через громкоговорители со всеми службами.

— Говорит внутриамериканская служба новостей. Ласалл. Приятная новость. Сейчас начнем получать «картинки» из аэропорта Форт-Уорт. Там случайно оказались Партридж, Эбрамс, Ван Кань. Эбрамс только что сообщила в далласское отделение, что они берутся за освещение события. Далее: фургон с сателлитом отозван с другого задания и находится на

* Значит, следовательно (лат.). **(Здесь и далее прим. переводчиков).**

пути в Форт-Уорт, должен скоро прибыть. Время передачи через сателлит из Далласа в Нью-Йорк забронировано. Рассчитываем получить «картинки» для включения в первый блок новостей.

Хотя Ласалл говорил отрывисто, лаконично, ему трудно было заставить голос звучать ровно, чтобы в нем не чувствовалось удовлетворения. Сверху, оттуда, где находилась «подкова», донеслось приглушенное «ура». А Кроуфорд Слоун в студии повернулся на своем кресле и радостно поднял вверх два больших пальца.

Помощник положил на стол редактора внутриамериканских новостей лист бумаги, тот взглянул на него и прочитал по радиотелефону:

— Еще одно сообщение от Эбрамс: **«На борту терпящего бедствие аэробуса — 286 пассажиров, 11 человек команды. Столкнувшийся с ним частный самолет ,,Пайпер чиенн'' упал в Гейнсвилле, все погибли. Есть пострадавшие на земле — подробностей об их числе и серьезности увечий нет. У аэробуса отлетел один мотор, пытается сесть на оставшемся моторе. Воздушная диспетчерская сообщает, что пожар — в том месте, где отсутствует мотор».** Конец сообщения.

Ласалл подумал: «До чего высокопрофессиональны все сообщения, поступившие из Далласа за последние несколько минут». Но в этом не было ничего удивительного, так как группа — Эбрамс, Партридж и Ван Кань — была одной из сильнейших на Си-би-эй. Рита Эбрамс, ставшая из простого корреспондента старшим разъездным выпускающим, отличалась умением быстро схватывать ситуацию и изобретательностью в передаче новостей даже в самых трудных условиях. Гарри Партридж был одним из лучших корреспондентов. Вообще-то он специализировался на военной тематике и, как и Кроуфорд Слоун, работал репортером во Вьетнаме, но можно было не сомневаться, что он прекрасно справится с чем угодно. А оператор Минь Ван Кань, выходец из Вьетнама, а теперь американский гражданин, отлично снимал в опаснейших ситуациях, не особо раздумывая, останется ли сам жив. Если уж эта тройка займется сейчас Далласом, хороший материал гарантирован.

К этому времени на часах было уже 18.31, и первый блок внутриамериканских новостей пошел в эфир. Ласалл потянулся к рычажку на консоли рядом со столом и, включив звук в находившемся над его головой мониторе, услышал Кроуфорда Слоуна, сообщавшего об аварии в аэропорту Форт-Уорт. Камера показала руку — руку журналиста, положившего перед ним лист бумаги. Это было явно сообщение, которое только что продиктовал Ласалл, и Слоун, бросив на бумагу взгляд, включил его в свой текст. Слоун блестяще умел это делать.

Наверху, за «подковой», настроение после сообщения Ласалла изменилось. Хотя спешка и напряжение не спадали, люди повеселели, зная, что за развитием событий в Далласе следят и что скоро вместе с более полным отчетом начнет поступать зрительный ряд.

Сторонний наблюдатель мог бы с удивлением подумать: **«Неужели у этих людей не осталось ничего человеческого? Неужели их не волнует то, что происходит? Они, что же, не способны ни чувствовать, ни сопереживать, они не испытывают ни капли горя? Неужели ни один из них не подумал о том, что на этом приближающемся к аэропорту самолете находятся перепуганные люди, почти триста человек, которые скоро могут погибнуть? Неужели тут нет никого, кому это не было бы безразлично?»**

А человек, знакомый с миром новостей, ответил бы: **«Да, тут есть люди, которым не все безразлично, и они станут переживать, возможно, даже сразу после передачи... Но сейчас ни у кого нет на это времени. Они заняты передачей новостей. На их обязанности зафиксировать то, что происходит, дурное или хорошее, и сделать это быстро, эффективно...»**

А потому в 18.40, через десять минут после того, как началась передача «Новостей», главной проблемой, занимавшей всех, кто сидел за «подковой», а также и всех в репортерской, в студии и в аппаратной, был вопрос: появится или не появится вовремя рассказ о происшествии в аэропорту Форт-Уорт вместе с «картинками»?

2

Для группы же из пяти журналистов, находившихся в далласском аэропорту Форт-Уорт, события начали разворачиваться на два часа раньше и достигли пика около 17.10 по времени Срединного пояса.

Этими пятерыми были — Гарри Партридж, Рита Эбрамс, Минь Ван Кань, Кен О'Хара, звукооператор Си-би-эй, и Грэм Бродерик, иностранный корреспондент «Нью-Йорк таймс». Утром, еще до рассвета, они вылетели из Эль-Сальвадора в Мехико-Сити, а затем, пересев после недолгого ожидания на другой самолет, прибыли в Форт-Уорт. Сейчас они сидели в аэропорту и ждали каждый своего самолета, чтобы разлететься в разных направлениях.

Все устали — не только от сегодняшнего долгого путешествия, но и от двухмесячной жизни среди неудобств и опасностей в малоприятных частях Латинской Америки, где они освещали вспыхивающие в разных местах ожесточенные войны.

В ожидании вылета они сидели в баре крыла 2Е, одном из двадцати четырех оживленных баров, работавших в аэропорту. Бар был построен в современном стиле и в то же время удобно. Его окружала стеклянная стена, за которой, словно в зимнем саду, стояли растения; с потолка здесь свисали голубые клетчатые полотнища, подсвеченные розовым. Корреспондент из «Таймс» сказал, что это напоминает ему бордель в Мандалае, куда он однажды заглянул.

Из-за столика у окна, где они сидели, был виден коридор-гармошка и выход № 20. Через этот выход скоро начнется посадка на самолет «Американ эйрлайнз», на котором Гарри Партридж должен вылететь в Торонто. Однако вылет задерживался, и только что объявили, что самолет полетит не раньше, чем через час.

Партридж был высокий, сухопарый, вечно лохматый, отчего вид у него был мальчишеский, хотя ему и перевалило за сорок, а волосы его начали седеть. Сейчас он расслабился, и его мало тревожила задержка вылета или что-либо вообще. Впереди было три недели отпуска, а он крайне нуждался в отдыхе.

Рита Эбрамс ждала самолета на Миннеаполис — Сент-Пол, откуда она собиралась отправиться отдыхать в Миннесоту, на ферму к друзьям. А кроме того, у нее на уик-энд было назначено свидание с одним женатым мужчиной, занимавшим высокий пост в Си-би-эй, — эту информацию она хранила про себя. Минь Ван Кань и Кен О'Хара летели домой, в Нью-Йорк. Как и Грэм Бродерик.

Партридж, Рита и Минь часто работали вместе. О'Хара же поехал с ними звукооператором впервые. Молодой, бледный, тонкий, будто карандаш, он проводил большую часть времени за чтением журналов по электронике; вот и сейчас он сидел, уткнувшись в один из них.

Бродерик был для них человеком посторонним, хотя он часто выезжал с телевизионщиками на одни и те же задания и поддерживал с ними в основном хорошие отношения. Однако сейчас этому солидному, кругленькому и слегка напыщенному человеку было далеко не все по душе.

Трое телевизионщиков немного перебрали спиртного. Исключение составляли Ван Кань, ничего не бравший в рот, кроме содовой воды, и звукооператор, бесконечно долго сидевший за кружкой пива и отказавшийся выпить еще.

— Слушай, ты, наглая твоя душа, — сказал Бродерик Партриджу, увидев, что тот вытаскивает из кармана пачку денег, — я же сказал, что за выпивку плачу я... Если ты получаешь в два раза больше меня, это еще не значит, что ты должен подавать милостыню прессе.

— О, ради всего святого! — воскликнула Рита. — Брод, когда ты наконец выкинешь эту заезженную пластинку?

Рита говорила, как с ней иной раз бывало, достаточно громко. В этот момент через бар проходили два сотрудника аэропортовского отдела охраны общественного порядка; они с любопытством повернули голову в сторону Риты. Заметив это, она улыбнулась и помахала им рукой... Охранники улыбнулись в ответ и пошли дальше.

А Гарри Партридж, наблюдавший эту сценку, подумал: «Стареет Рита»...

Рите было сорок три года, и шесть лет тому назад она еще появлялась на экране в качестве корреспондента, хотя и гораздо реже, чем раньше, когда была моложе и ярче. Все знали про безобразное, несправедливое отношение к женщинам на телевидении, где мужчины-корреспонденты продолжали появляться на телеэкране, даже когда уже было заметно, что они постарели, тогда как женщин выбрасывали с работы, точно отслуживших свое наложниц. Несколько женщин пытались против этого бороться — Кристина Крафт, репортер и ведущая, подавала даже в суд, но проиграла.

Рита же, вместо того, чтобы вступать в борьбу, в которой, она знала, ей не избежать поражения, переключилась на другое и, став выпускающей, стоя теперь за камерой, а не перед нею, работала необычайно успешно. Это дало ей основание требовать у старших выпускающих, чтобы ее послали в какую-нибудь «горячую точку» за границу, куда почти всегда посылали мужчин. Ее начальники некоторое время противились, потом сдались, и скоро Риту — вместе с Гарри — стали автоматически посылать туда, где шли самые жестокие бои и где были наиболее тяжелые условия жизни.

Бродерик, поразмыслив, решил все же ответить на последнее замечание Риты:

— И ведь получаете-то вы такие деньги не потому, что ваша команда занята чем-то особо важным. Подумаешь, каждый вечер выдавать крохотную кучку новостей — да это все равно, что поковырять в зубах мира и вытащить на свет то, что в них застряло. Сколько времени она у вас длится, ваша передача, — девятнадцать минут?

— Если вы решили бить нас, как желторотых птенцов, — любезным тоном заметил Партридж, — то уж по крайней мере прессе следует правильно излагать факты. Наша передача длится двадцать одну с половиной минуту.

— Исключая семь минут на рекламу, — добавила Рита, — что, кстати, дает возможность платить Гарри такие безумные деньги, а вас заставляет зеленеть от зависти.

«Рита со своей прямотой лихо попала в точку насчет зависти», — подумал Партридж. Разница в оплате тех, кто работал на телевидении, и тех, кто работал в прессе, была всегда болезненным моментом для журналистов. Если Партридж получал 250 тысяч долларов в год, то Бродерик, первоклассный, высококомпетентный репортер, зарабатывал, по всей вероятности, тысяч 85.

Корреспондент «Нью-Йорк таймс», словно его и не прерывали, тем временем продолжал:

— То, что весь ваш Отдел новостей производит за день, поместилось бы на половине нашей полосы.

— Глупое сравнение, — парировала Рита, — всем же известно, что «картинка» стоит тысячи слов. А мы даем сотни «картинок» и показываем людям само событие, чтобы они могли своими глазами увидеть и судить. Ни одна газета за все время существования прессы такого не в состоянии была сделать...

Гарри Партридж зевнул. Он понимал, что разговор этот подобен много раз прокрученной пленке, которую запускают, чтобы заполнить свободное время, — это игра, которая не требует умственных усилий, и они уже много раз играли в нее.

Тут Партридж вдруг заметил, что атмосфера в баре изменилась.

Два сотрудника охраны общественного порядка находились по-прежнему здесь, но если раньше они прогуливались вразвалку, то сейчас сосредоточенно и внимательно слушали свое переговорное устройство. По нему передавалось какое-то сообщение. Партридж уловил слова: «...состояние тревоги номер два... столкновение в воздухе... подлетает к полосе один-семь, левой... всем сотрудникам охраны общественного порядка явиться...» И молодые офицеры поспешно покинули бар.

Остальные в группе тоже это слышали.

— Эй! — сказал Минь Ван Кань. — Может...

Рита вскочила.

— Пойду узнаю, что там происходит. — И выбежала из бара.

Ван Кань и О'Хара принялись собирать камеры и магнитофоны. Партридж и Бродерик — свои вещи.

Рита нагнала у стойки «Американ эйрлайнз» одного из сотрудников охраны общественного порядка. Это был молодой красивый парень с фигурой футболиста.

— Я — из «Новостей» Си-би-эй. — И она показала ему свою карточку прессы.

Он окинул ее оценивающим взглядом.

— Да, я знаю.

В других обстоятельствах, мелькнула у Риты мысль, она бы не прочь приобщить этого малого к радостям утех с более опытной женщиной. К сожалению, на это не было времени. Она спросила:

— Что происходит?

Охранник замялся.

— Вам следует позвонить в Бюро информации...

— Это я сделаю позже, — нетерпеливо перебила его Рита. — Чрезвычайное происшествие, верно? Так скажите же мне, в чем дело?

— У «Маскигон эйрлайнз» случилась беда. Один из их аэробусов потерпел аварию. Загорелся, но летит. У нас объявлена тревога номер два: это значит, что все средства помощи срочно направляются на полосу один-семь, левую. — Тон у него был серьезный. — Худо дело.

— Я хочу, чтобы моя съемочная группа была там. Сейчас и немедленно. Куда нам идти?

Охранник помотал головой.

— Без сопровождения вы на поле не выйдете. Вас арестуют.

Тут Рита вспомнила, что ей как-то говорили, будто аэропорт Форт-Уорт хвастается сотрудничеством с прессой. Она ткнула в переговорное устройство.

— А вы можете по этой штуке вызвать Информацию?

— Могу.

— Так сделайте это. **Пожалуйста!**

Ее убедительный тон подействовал. Охранник вызвал Информацию. Он взял у Риты карточку прессы, прочел то, что на ней было написано, и объяснил Ритину просьбу.

Последовал ответ: «Скажите, чтобы они прошли на пункт охраны общественного порядка номер один, записались в журнале и получили значки для прессы».

У Риты вырвался стон. Она протянула руку к переговорному устройству.

— Разрешите мне самой поговорить.

Охранник нажал кнопку передачи. И поднес к Рите радиофон. Пустив в ход все свое умение убеждать, Рита заговорила в микрофон: «Вы же должны понимать — на это нет времени. Мы — телевидение. У нас есть все допуски. Потом мы заполним вам все бумаги, какие хотите. Только пожалуйста, **пожалуйста**, разрешите нам сейчас выйти к месту события».

«Не отключайтесь. — Пауза, затем другой голос авторитетно и сухо произнес: — О'кей, быстро идите к выходу девятнадцать. Попросите кого-нибудь вывести вас на поле. А там увидите ,,универсал'' с мигалкой. Выезжаю к вам».

Рита сжала охраннику локоть.

— Спасибо, дружок!

И помчалась к Партриджу и остальным, как раз выходившим из бара...

Рита быстро рассказала Партриджу, Миню и О'Харе то, что ей удалось узнать, и добавила:

— Это может быть большой новостью. Идите на поле. Не теряйте времени. А я сделаю несколько телефонных звонков и присоединюсь к вам. — Она взглянула на свои часы: 17.20 по местному времени, 18.20 в Нью-Йорке. — Если сработаем быстро, можем успеть к первому блоку «Новостей». — Но в глубине души она в этом сомневалась.

Партридж кивнул, принимая команду Риты. Отношения между корреспондентом и выпускающим никогда не были четко определены. Официально разъездной выпускающий — в данном случае Рита Эбрамс — возглавлял всю группу, включая корреспондента, и, если на задании

что-то выходило не так, вся вина ложилась на выпускающего. Если же все шло хорошо, то хвалили, конечно, корреспондента, чье лицо и имя фигурировали на экране, хотя выпускающий, несомненно, внес свою лепту в формирование материала и в текст.

Однако когда Партридж и Рита работали вместе, ни один из них не думал о том, кто кем командует. Оба просто хотели, чтобы материал, который они пошлют, поработав вместе, в одной упряжке, был как можно лучше.

Рита побежала к телефону-автомату, а Партридж, Минь и О'Хара быстро направились к выходу № 19, чтобы выйти на поле. Грэм Бродерик, мигом протрезвев, следовал за ними.

Недалеко от выхода № 19 была дверь с табличкой:

ВЫХОД НА ПОЛЕ — ДЛЯ СЛУЖЕБНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
ТОЛЬКО НА КРАЙНИЙ СЛУЧАЙ
ПРИ ПОПЫТКЕ ОТКРЫТЬ ДВЕРЬ — РАЗДАСТСЯ СИГНАЛ

Вблизи никого не было видно из служащих, и Партридж без колебаний открыл дверь; остальные последовали за ним. Когда они с грохотом бежали вниз по металлической лестнице, сзади раздался сигнал тревоги. Не обращая на него внимания, они выскочили на поле.

В это время дня на поле было полно самолетов и машин авиакомпаний. Неожиданно откуда-то вырулил «универсал» — на крыше его горела мигалка. Взвизгнув шинами, машина остановилась у выхода № 19.

Минь, стоявший к ней ближе всех, открыл дверцу и вскочил вовнутрь. Остальные влезли следом. Шофер, стройный молодой чернокожий в коричневом деловом костюме, отъехал столь же быстро, как и подкатил. Не оборачиваясь, он произнес:

— Привет, ребята! Меня зовут Вернон, я из Бюро информации.

Партридж представился и представил остальных.

Пошарив рукой по сиденью рядом, Вернон отыскал три зеленых значка. И передал их назад.

— Это — временные, но лучше их прикрепить. Я и так уже нарушил правила, но, как точно выразилась ваша подружка, времени у нас не навалом.

Они пересекли две рулевые дорожки и поехали по параллельной объездной дороге на восток. Впереди и вправо от них тянулись две взлетно-посадочные полосы. У дальней полосы стояли в ряд аварийные машины.

А в аэропорту Рита Эбрамс говорила по телефону-автомату с далласским отделением Си-би-эй. Заведующий, как она выяснила, уже знал о чрезвычайной ситуации в аэропорту и пытался послать туда местную команду Си-би-эй. Он невероятно обрадовался, узнав, что Рита и остальные уже там.

Рита попросила сообщить об этом в Нью-Йорк, затем осведомилась:

— Как у нас с передачей через сателлит?

— В порядке. Из Арлингтона выехал фургон с передвижным сателлитом...

Это известие обрадовало Риту. Она поняла, что, по всей вероятности, сообщение и «картинки» удастся передать в Нью-Йорк так, чтобы они попали в первый блок «Вечерних новостей».

«Универсал» остановился на рулевой дорожке, у пересечения с полосой 17Л, откуда видно будет самолет, когда он станет подлетать и садиться.

— Здесь будет ваш командный пункт, — сказал Вернон.

Тем временем аварийные машины продолжали прибывать, некоторые остановились совсем рядом. В том числе семь желтых фургонов из пожарной команды аэропорта...

Подкатило и с полдюжины голубых с белым полицейских машин, из которых выскочили полицейские, открыли багажники и, вытащив оттуда серебристые противопожарные костюмы, стали их натягивать. Вернон

пояснил, что полиция в аэропорту натренирована также на тушение пожаров. Поток непрерывно даваемых указаний шел по радио и слышен был в «универсале».

Пожарные машины, которыми командовал лейтенант в желтом автомобиле, занимали позицию через равные промежутки вдоль взлетно-посадочной полосы. Кареты «скорой помощи», вызванные из ближайших мест, съезжались к аэропорту и сосредоточивались поблизости, но в некотором отдалении от посадочной полосы.

Партридж первым выскочил из «универсала» и принялся делать записи в блокноте. Бродерик — с меньшей поспешностью — занялся тем же. Минь Ван Кань залез на крышу «универсала» и, нацелив камеру в небо, стоя ждал появления самолета. Позади него Кен О'Хара тащил провода и звукозаписывающую аппаратуру.

Почти тотчас, примерно в пяти милях от них, показался терпящий бедствие самолет — черный шлейф густого дыма тащился за ним. Минь поднял камеру, прильнул глазом к видоискателю...

Он был одним из лучших операторов телевидения — трудолюбивый, надежный, честный. Его снимки были не просто хороши — они приковывали внимание и часто были высокохудожественны... Никто на Си-би-эй не помнил, когда и кем был взят на работу Минь. Он просто стал сотрудником телестанции — и все...

В видоискателе четче обрисовывались очертания приближающегося аэробуса. Четче обозначился и ореол пламени справа, а также летящий следом дым... И Минь, и все, кто наблюдал за приближением аэробуса, могли лишь удивляться тому, что пламя еще не охватило весь самолет.

А в «универсале» Вернон включил радио, настроенное на волну воздушной диспетчерской. Слышно было, как диспетчер переговаривается с пилотами аэробуса. Спокойный голос диспетчера, следившего за посадкой по радару, предупредил: «Вы спустились немного ниже линии скольжения... уклоняетесь влево от центра... Теперь вы на линии скольжения, идете по центру...»

Но пилотам аэробуса явно трудно было держать высоту и идти ровным курсом. Самолет спускался точно краб — поврежденное правое крыло ниже левого. Моментами нос самолета нацеливался куда-то в сторону; потом, видимо, под влиянием усилий, срочно предпринятых в рубке, он снова устремлялся на взлетно-посадочную полосу. Видно было, как самолет то подпрыгивает в воздухе, то ныряет, словно вдруг теряя в весе, а потом набирая его. Люди, находившиеся на земле и напряженно следившие за происходящим, молча спрашивали себя: «Неужели аэробус, пролетев такое расстояние, не сумеет сесть?» Дать точный ответ никто не мог.

По радио раздался голос одного из пилотов: «Диспетчер, у нас проблема с шасси... не работает гидравлика. — Пауза. — Попытаемся выбросить шасси „свободным падением"... а ну»...

И несколько мгновений спустя — снова спокойный голос воздушного диспетчера: «„Маскигон", ваши шасси выбросились. Учтите: пламя близко к правому переднему шасси».

Было ясно, что если шины на правых передних колесах сгорят, что было вполне вероятно, эта часть шасси отлетит при соприкосновении с землей и самолет на большой скорости резко накренится вправо...

Яркая вспышка показала, что лопнула одна из шин.

Теперь горящий аэробус уже летел над взлетно-посадочной полосой со скоростью 150 миль в час. Самолет пронесся над аварийными машинами, и они — одна за другой — тотчас вырулили на взлетно-посадочную полосу и на предельной скорости, так что завизжали шины, помчались за ним. Два желтых фургона с пенными огнетушителями двинулись следом; за ними — остальные пять.

А на взлетно-посадочной полосе, когда колеса самолета соприкоснулись с землей, лопнула еще одна шина справа, потом еще одна. В один миг все правые шины исчезли — остались лишь колеса с ободами. Послышался визг металла, брызнули искры, и облако пыли и кусочков цемента поднялось в воздух... Пилотам поистине чудом удалось удержать аэробус на полосе... Казалось, самолет катился еще бесконечно долго и далеко... Наконец он стал. И, как только он стал, в небо взметнулось пламя.

Пожарные машины быстро окружили самолет и буквально через несколько секунд стали поливать пеной. Она вздымалась гигантскими горами, словно выжатый из тюбика крем для бритья.

В самолете распахнулись двери, на землю выпали спасательные трапы. Из правой передней двери огонь не позволял выйти, как и из двери в середине фюзеляжа. Затем открылась левая передняя дверь, где огня не было, а вслед за ней и дверь в середине фюзеляжа. По трапам заскользили вниз пассажиры.

Однако в хвосте самолета, где было по два запасных выхода с каждой стороны, ни одна дверь не открылась.

Из трех раскрытых дверей валил густой дым. Несколько пассажиров уже стояли на земле. Последние из спустившихся кашляли, многих рвало, и все ловили ртом воздух.

С помощью пены, залепившей самолет с одной стороны, огонь снаружи удалось притушить.

Пожарные в серебряных защитных костюмах, с аппаратами для дыхания, быстро приставили лестницы к неоткрывшимся задним дверям. Наконец их удалось открыть, и из аэробуса повалил дым. Пожарные ринулись внутрь. Другие, проникнув в аэробус через передние двери, помогали пассажирам выйти, так как некоторые были слишком слабы или почти без сознания.

Поток пассажиров стал значительно меньше. Гарри Партридж быстро прикинул, что из самолета вышло около двухсот человек, хотя из полученной информации он знал, что вместе с командой там находилось 297 человек. Пожарные стали выносить обгоревших — среди них были две стюардессы. Изнутри все еще шел дым, хотя уже не так сильно, как раньше.

Минь Ван Кань продолжал снимать все происходящее — бесстрастно, профессионально, сознавая, правда, что он тут единственный оператор и что его аппарат делает совершенно уникальные снимки...

Кареты «скорой помощи» стояли у командного пункта. Их было с десяток, и подъезжали все новые. Санитары помогали пострадавшим, укладывали их на пронумерованные носилки и загружали в кареты «скорой помощи». Через несколько минут жертвы аварии будут уже на пути в местные больницы, которые оповещены об их прибытии. Прилетел вертолет с врачами и медсестрами, и командный пункт возле аэробуса превратился в импровизированный полевой госпиталь, где происходила сортировка раненых.

Как быстро все делается, подумал Партридж, это означает, что в аэропорту хорошо поставлена служба помощи при авариях...

Один из пожарных, стянув с лица противогаз, чтобы вытереть пот, произнес:

— О, господи! На задних сиденьях одни покойники. Видно, дым там был самый густой.

Теперь ясно стало, почему четыре задние двери не открылись изнутри.

Как всегда при авариях, погибших не трогают до тех пор, пока не явится представитель Национальной транспортной службы безопасности, — а судя по слухам, он уже выехал в аэропорт, — и, договорившись о процедуре опознания, не разрешит убрать трупы.

Из аэробуса вышла команда, категорически отказавшись от предложенной помощи. Капитан, седеющий ветеран с четырьмя нашивками, окинул взглядом раненых и, уже зная, сколько людей погибло, без стеснения заплакал. Догадываясь, что, несмотря на количество жертв, пилотов будут хвалить за то, что они сумели посадить самолет, Минь снял крупным планом сраженного горем капитана. Это был его последний снимок, ибо тут раздался голос:

— Гарри! Минь! Кен! Хватит! Быстро! Забирайте, что у вас есть, и поехали. Передаем материал в Нью-Йорк через сателлит.

Голос принадлежал Рите Эбрамс, подъехавшей на автобусе Бюро информации. В отдалении стоял обещанный фургон с передвижным сателлитом. Диск его, складывающийся, как веер, во время переездов, сейчас был раскрыт и нацелен в небо...

Вернон подвез их на своем «универсале» к фургону с сателлитом. По пути Партридж уже начал набрасывать текст выступления.

— Сделай текст на минуту сорок пять секунд, — сказала ему Рита. — Как только будешь готов, включай звук, тебя дадут крупным планом. А я пока начерно передам сообщение в Нью-Йорк.

Партридж кивнул, и Рита посмотрела на часы — было 17.45 по местному времени, или 18.45 в Нью-Йорке. Оставалось едва пятнадцать минут до первого блока «Вечерних новостей».

Тем временем Партридж продолжал писать, перечитывая про себя, исправляя уже написанное. Минь вручил две бесценные кассеты Рите и вставил новую кассету в камеру, готовясь к тому моменту, когда Партридж включит звук и надо будет снять его крупным планом.

Вернон высадил их у фургона с сателлитом. Бродерик, который тоже был с ними, ехал в аэровокзал, чтобы передать свое сообщение в Нью-Йорк по телефону.

— Спасибо, ребята, — сказал он на прощание. – Помните, если захотите завтра прочесть действительно проникновенное описание события, купите «Нью-Йорк таймс»...

Тем временем Рита, стоя в фургоне рядом с техником, ловко монтировала пленку Миня, просматривая ее на телемониторе. «Ничего удивительного, — думала она, — „картинки", как всегда, великолепные».

В нормальных условиях выпускающий и редактор передачи, работая вместе, отбирают из пленки определенные куски, затем накладывают на них звуковую дорожку с комментариями корреспондента и из всего этого составляют готовый к выходу в эфир материал. Но на такой процесс требовалось минут сорок пять, а иногда и больше, и сегодня это абсолютно исключалось из-за недостатка времени. Рите приходилось решать быстро, и она отобрала несколько наиболее драматичных сцен...

А Партридж, сидя на металлических ступеньках фургона, дописал свой текст и, посовещавшись с Минем и звукооператором, наговорил его на пленку.

Учитывая, что в Нью-Йорке будет еще вступление ведущего, где будут изложены основные факты, Партридж начал так:

«В давно отгремевшей войне пилоты называли это „посадкой с молитвой на одно крыло". Была даже такая песенка... Сейчас вряд ли кто-либо станет такую писать.

Аэробус компании «Маскигон», летевший из Чикаго... с почти полной загрузкой пассажиров... находился в шестидесяти милях от далласского аэропорта Форт-Уорт... когда в воздухе произошло столкновение...»

Партридж, как и положено опытному телекорреспонденту, описывал все «чуть иначе, чем на картинке». Это особая форма репортажа, которой нелегко научиться, и на телевидении есть сотрудники, которые так и не сумели ею овладеть. Даже профессиональные писатели не признают, что это требует мастерства, так как текст дополняет «картинку», а без нее плохо читается.

Фокус — как знал Гарри Партридж и другие профессионалы его класса — состоял в том, чтобы не описывать изображаемое на экране. Человек, сидящий у телевизора, сам увидит, что происходит, ему не нужны словесные описания. В то же время текст не должен быть абстрактным, чтобы не отвлекать внимание зрителя. Словом, это настоящая литературная эквилибристика, основанная в значительной степени на инстинкте.

Было на телевидении еще одно правило, которому следовали работающие с новостями корреспонденты: не писать законченными предложениями и абзацами. Куда доходчивее, если текст идет отрывистый. Факты должны быть неукоснительно изложены, глаголы выбраны сильные и действенные — текст должен звенеть. И, наконец, манерой изложения и интонацией корреспондент способствует лучшему пониманию содержания. Да, безусловно, он или она должны быть отличными репортерами, но и актерами. Во всем этом Партридж был большим докой, но сегодня он находился в крайне невыгодном положении: он же не видел «картинок», а корреспондент обычно их видит. Правда, он более или менее знал, что они будут изображать.

Выступление Партриджа заканчивалось крупным планом — он стоял лицом к зрителям и говорил прямо в аппарат...

Кассета с рассказом Партриджа и его крупным планом была передана Рите в фургон. И, доверяя Партриджу, отлично зная его, она не стала терять драгоценное время на проверку и велела тут же передать пленку в Нью-Йорк. А мгновение спустя, глядя и слушая пленку, когда техник передавал ее, Рита восхитилась Партриджем. Ей вспомнился разговор, который полчаса назад они вели в баре аэровокзала, и она подумала: этим материалом Партрчдж показал, какой он талантливый и почему он получает намного больше репортера «Нью-Йорк таймс».

А Партридж выполнял на улице еще одну из обязанностей корреспондента — давал по своим записям репортаж о событии для «Новостей» по радио. После того как передадут материал для телевидения, сателлит передаст и этот репортаж Партриджа в Нью-Йорк.

3

Хотя здание Си-би-эй выглядело более чем неприглядно, в нем содержалось поистине феерическое богатство — сложнейшая электроника, значительная часть которой находилась в краю, где властвовали техники двумя этажами ниже уровня земли; называлось это место частенько Катакомбами. И среди многообразия выполнявшихся здесь функций был один важнейший отдел с прозаическим названием «Однодюймовка»...

Казалось, все материалы поступали сюда в спешке и с опозданием. Так уж повелось, что выпускающие, корреспонденты и редакторы работали над пленкой, полируя и отполировывая свои куски до последней минуты, так что большая часть передачи поступала в Однодюймовку в течение получаса, предшествовавшего эфиру, или даже когда передача уже началась. Бывали случаи, когда первая половина сообщения уже передавалась с одного аппарата в эфир, а вторая еще только наматывалась на бобину другого. В такие минуты вспотевшие, нервничающие операторы до предела напрягали все свое умение.

Старшим выпускающим тут частенько был Уилл Казазис, родившийся в Бруклине в весьма эмоциональном греческом семействе, от которого он и унаследовал эту черту. Однако его эмоциональность, похоже, вполне соответствовала своеобразию выполняемой работы; при этом, несмотря на такое свойство характера, Казазис никогда не терял над собой власть. В этот день именно он получил через сателлит передачу Риты Эбрамс из аэропорта Форт-Уорт...

Было 18.48 — оставалось десять минут до начала «Новостей». В эфире шла реклама.

Казазис сказал монтажеру, принявшему материал:

— Живо склей. Используй всю звуковую дорожку Партриджа. Наложи на нее самые лучшие «картинки». Я тебе доверяю. А ну, давай, давай!

Сам же Казазис уже послал на «подкову» помощника с сообщением о том, что из Далласа начал поступать материал. И сейчас Чак Инсен, находившийся в аппаратной, спросил по телефону:

— Как материал?

Казазис ответил:

— Фантастика! Роскошь! То, чего и следовало ожидать от Гарри и Миня.

Зная, что у него нет времени самому просмотреть материал и доверяя Казазису, Инсен решил:

— Даем в эфир сразу после рекламы. Будь наготове.

До эфира оставалось меньше минуты, монтажер, вспотев, несмотря на воздушный кондиционер, продолжал склеивать материал, соединяя воедино комментарии, зрительный и звуковой ряд.

Приказ Инсена был передан и ведущему, а также сидевшему рядом с ним текстовику. Краткое изложение события было уже готово, и текстовик передал бумажку Кроуфорду Слоуну, который, пробежав ее глазами, быстро изменил одно-два слова и кивком поблагодарил текстовика... В студии, где заканчивался выпуск рекламы, режиссер начал отсчет:

— Десять секунд... пять... четыре... две...

Вот он махнул рукой, и Слоун начал:

«В начале этой передачи мы уже сообщали, что неподалеку от Далласа в воздухе произошло столкновение между аэробусом компании „Маскигон" и частным самолетом... На месте события находится наш корреспондент Гарри Партридж, и он только что прислал нам свой репортаж».

В Однодюймовке лихорадочная склейка материала завершилась всего за несколько секунд до эфира. И теперь на мониторах по всему зданию и на миллионах телеэкранов на Востоке и Среднем Западе Соединенных Штатов, а также в Канаде появилась драматическая «картинка» приближающегося горящего аэробуса, и послышался голос Партриджа: **«В давно отгремевшей войне пилоты называли это „посадкой с молитвой на одно крыло"...»**

Этот репортаж вместе с «картинками» и составил первый блок «Вечерних новостей на всю страну».

Сразу за первым блоком пойдет второй. Так всегда бывало, и он передавался на Восточном побережье телестанциями, не успевшими принять первый блок, широко принимался на Среднем Западе и большинством станций Западного побережья, которые запишут второй блок и позже передадут его в эфир...

Между окончанием первого блока и началом второго было две минуты, и Кроуфорд Слоун воспользовался этим перерывом, чтобы позвонить Чаку Инсену.

— Послушай, — сказал Слоун, — я считаю, надо вернуть на место материал о Саудовской Аравии.

— Я чаю, — не без сарказма ответил Инсен, — кто-кто, а ты нажимать умеешь. Но в таком случае устрой нам пять минут дополнительного времени, хорошо?

— Нечего играть в бирюльки. Это важный материал.

— И такой же тягучий, как нефть. Я говорю — нет.

— А имеет значение то, что я говорю — да?

— Безусловно, имеет. Поэтому мы поговорим об этом завтра. А пока я тут все-таки кое за что отвечаю.

— Что не исключает, а вернее, должно включать разумное отношение к международным новостям.

— У каждого из нас своя работа, — сказал Инсен, — и время для твоего материала истекает. Да, кстати, ты отлично сработал с Далласом — и тут, и там.

Слоун, никак на это не отреагировав, повесил трубку. И, вспомнив о чем-то, сказал сидевшему рядом текстовику:

— Попроси кого-нибудь вызвать Гарри Партриджа к телефону в Далласе. Я поговорю с ним во время следующего перерыва. Хочу поблагодарить его и остальных.

— Пятнадцать секунд! — раздался голос режиссера.

Да, решил про себя Слоун, завтра надо будет провести разговор с Инсеном — и разговор откровенный. Инсен, пожалуй, уже пересидел, пора ему уходить.

А Чак Инсен — по окончании второго блока «Новостей» — хмурый, с поджатыми губами, зашел к себе в кабинет, чтобы взять с десяток журналов, которые он вечером читал дома.

Читать, читать, читать, быть в курсе событий на множестве фронтов являлось обязанностью ответственного выпускающего. Где бы он ни находился и какой бы ни был час дня, Инсен хватал газету, журнал, бюллетень, публицистическую книгу, а иногда какую-нибудь совсем неизвестную публикацию, как другие хватают чашку кофе, носовой платок или сигарету. Он часто просыпался ночью и читал или слушал новости, передаваемые зарубежными радиостанциями. Дома с помощью личного компьютера он получал все основные новости телеграфных агентств и каждое утро в пять часов, все их просматривал. По дороге на работу он слушал в машине «Известия» по радио — главным образом станцию Си-би-эс, чьи радиопередачи считал, как и многие профессионалы, наилучшими.

По мнению Инсена, широкое знакомство с «ингредиентами» новостей и темами, которые интересуют простых людей, и позволяло ему судить о том, что следует давать в эфир, с большей компетентностью, чем Кроуфорду Слоуну, который часто рассуждал с элитарных позиций.

У Инсена была своя философия насчет миллионов телезрителей, которые смотрят «Вечерние новости на всю страну». Большинство телезрителей, по его мнению, жаждало получить ответ на три основных вопроса: Спокойно ли в мире? Могу ли я быть спокойным за свой дом и свою семью? Произошло ли сегодня что-то интересное? И Инсен старался, чтобы «Новости» каждый вечер давали ответ прежде всего на эти вопросы.

Устал он до смерти, со злостью думал Инсен, сражаться со Слоуном, державшимся позиции «Я-знаю-все-лучше-всех», «Я-святее-самого-папы» при отборе новостей, поэтому завтра они выскажут друг другу все без обиняков: Инсен скажет то, что он сейчас по этому поводу думает, и плевал он на последствия.

А какие могут быть последствия? Ну, в прошлом, когда возникал спор между ведущим и ответственным за выпуск, побеждал неизменно ведущий, а выпускающему приходилось искать себе другую работу. Но сейчас многое стало меняться. Возник другой климат, да к тому же рано или поздно с чего-то все начинается, и ведущий может уйти, а выпускающий остаться.

Имея в виду такую возможность, Инсен несколько дней тому назад провел разведку и строго конфиденциально поговорил по телефону с Гарри Партриджем. Согласился ли бы Партридж, спросил Инсен, «уйти с холода», обосноваться в Нью-Йорке и стать ведущим «Вечерних новостей на всю страну»? При желании Гарри способен был заставить себя слушать и вполне мог подойти для этой роли — он ведь не раз уже демонстрировал свои способности, замещая Слоуна, когда тот уходил в отпуск.

Реакцией Партриджа было изумление и неуверенность, но по крайней мере он не сказал «нет». Кроуф Слоун, конечно, ничего не знал об этом разговоре.

Так или иначе, Инсен был уверен: хватит до бесконечности препираться со Слоуном — надо разрубить этот узел.

4

Было 19.40, когда Кроуфорд Слоун на «бьюик-Сомерсет» выехал из гаража Си-би-эй. По обыкновению он взял машину Си-би-эй, которая полагалась ему по контракту, — он мог бы ехать с шофером, если бы захотел, но большую часть времени обходился без него. Свернув с Третьей авеню на Пятьдесят девятую улицу, он поехал на восток, в направлении шоссе Франклина Делано Рузвельта, продолжая думать о только что окончившейся передаче.

Сначала он думал об Инсене, а потом решил отложить все мысли о нем до завтра. Слоун нимало не сомневался в своей способности справиться с Инсеном и способствовать его передвижению — возможно, в кресло вице-президента компании, что, несмотря на звучный титул, будет понижением по сравнению с работой в «Вечерних новостях на всю страну». Слоуну ни на минуту не приходило в голову, что может произойти нечто обратное. Если бы кто-то высказал такое предположение, он бы только рассмеялся.

Он стал думать о Гарри Партридже.

Для Партриджа, вынужден был признать Слоун, этот наскоро сработанный, но превосходный репортаж из Далласа был еще одной ступенькой в его и без того успешной профессиональной карьере. Слоун нашел Партриджа в аэропорту по телефону и поздравил с успехом, попросив передать поздравления Рите, Миню и О'Харе. Это была естественная благодарность со стороны ведущего — так сказать, noblesse oblige * — хотя в отношении Партриджа Слоун сделал это без великого восторга...

Сейчас, мчась в машине и находясь наедине с собой, Слоун совершенно честно спросил себя: **«Как я все-таки отношусь к Гарри Партриджу?»** И со всею честностью ответил: **«При нем я не чувствую себя в безопасности».**

* Положение обязывает (франц.).

И вопрос и ответ имели свое объяснение в недавнем прошлом.

Эти двое знали друг друга свыше двадцати лет — столько времени они работали в «Новостях» Си-би-эй, почти одновременно поступив на службу. Карьера у обоих с самого начала складывалась успешно, но по характеру они были совсем разные.

Слоун был педантичный, требовательный, безупречный в одежде и речи; он любил власть и естественно пользовался ею. Младшие сотрудники, обращаясь к нему, говорили «сэр» и пропускали в дверях впереди себя. С малознакомыми людьми он склонен был держаться холодно и сдержанно, но его острый ум все подмечал — как сказанное, так и оставшееся в подтексте.

Партридж же, наоборот, был со всеми за панибрата, ходил в мятой одежде, обожал старые твидовые пиджаки и редко надевал костюм. Он умел располагать к себе, держался со всеми как равный, отчего людям всегда было с ним легко; нередко создавалось впечатление, что он ничем не дорожит, хотя это было с его стороны уловкой. Довольно рано в своей журналистской карьере Партридж понял, что сможет выяснить куда больше, если не будет изображать из себя важную шишку и обнаруживать свой удивительно острый ум.

Разными были эти двое и по происхождению.

Кроуфорд Слоун был выходцем из кливлендской семьи среднего достатка и первую стажировку на телевидении прошел в Кливленде. А Гарри Партридж прошел школу работы в Отделе новостей на Си-би-эс в Торонто, а до того работал диктором — читал новости и погоду на маленьких радио- и телестанциях в Западной Канаде. Родился он в провинции Альберта недалеко от Калгари, в селении под названием Де-Уинтон, где у его отца была ферма.

Слоун окончил Колумбийский университет. А Партридж не закончил даже средней школы, но, работая в мире новостей, быстро получил образование.

Долгое время на Си-би-эй их карьеры развивались параллельно — в результате на них стали смотреть как на соперников. Сам Слоун тоже считал Партриджа соперником, даже представлявшим опасность его продвижению вперед. Он, правда, не был уверен, считал ли так Партридж.

Особенно сильное соперничество возникло между ними, когда оба вели репортажи с полей войны во Вьетнаме. Телестанция послала их туда в конце 1967 года — предполагалось, что они будут работать вместе, и в известном смысле так оно и было. Хотя Слоун смотрел на войну, лишь как на бесценную возможность продвинуться по службе...

Слоун знал, что весьма существенную роль в этом продвижении могло сыграть возможно более частое появление на экране в «Вечерних новостях». Поэтому вскоре после прибытия в Сайгон он решил не слишком удаляться от «Восточного Пентагона» — штаб-квартиры военного командования США во Вьетнаме, находившейся на воздушной базе Тан-Сон-Нгут, в пяти милях от Сайгона, — а если придется все-таки куда-то поехать, то отлучаться не надолго.

Даже после стольких лет Слоун хорошо помнил разговор, который произошел однажды между ним и Партриджем. «Кроуф, — заметил тот, — ты никогда не поймешь ничего в этой войне, если будешь только ходить в сайгонский Цирк или околачиваться в „Каравелле"». Первое было прозвище, которое пресса дала пресс-конференциям, устраиваемым военными; второе было названием отеля, в бассейне которого любили плавать международные корреспонденты, старшие офицеры и сотрудники американского посольства...

«А кроме того, я уверен, ты уже прикинул, зная, как я намерен работать, что сможешь почти каждый вечер появляться в „Новостях"».

Слоуну было не очень приятно, что Партридж без труда разгадал его замысел, хотя именно так он и собирался себя вести.

Ловко следуя намеченному плану, Слоун не слишком усердствовал в опасных ситуациях и, как правило, оказывался под рукой, когда в Сай-

гоне устраивались пресс-конференции дипломатов и военных, где в ту пору всегда можно было почерпнуть что-то интересное. Лишь много позже станет ясно, какими поверхностными были материалы Слоуна... Но когда это стало ясно, для Кроуфорда Слоуна сие уже не имело значения.

В общем и целом замысел Слоуна сработал. Он всегда внушительно выглядел перед камерой, а тем более — во Вьетнаме. Он стал любимцем выпускающих не только на нью-йоркской «подкове» и потому часто появлялся в «Вечерних новостях» — порой по три или четыре раза в неделю, а это создавало корреспонденту определенную репутацию как у телезрителей, так и у тех, кто принимал решения в главном здании Си-би-эй.

Гарри же Партридж придерживался своих правил игры и действовал совсем иначе. Он выискивал более глубинные явления, требовавшие времени для изучения и заводившие его вместе с оператором в дальние уголки Вьетнама. Он стал специалистом по военной тактике и американцев, и вьетконговцев и понимал, почему ни та, ни другая порой не срабатывали. Он изучал соотношение сил, выезжал на передовые, собирая факты об эффективности наземных и воздушных атак, о жертвах, а также о положении в тылу. Некоторые его сообщения противоречили официальным отчетам военных из Сайгона, другие подтверждали их, и это-то — беспристрастное суждение об американских военных операциях — выделяло Партриджа и горстку ему подобных из общей массы корреспондентов, работавших во Вьетнаме...

Выезды Партриджа в районы тяжелых боев удерживали его обычно вдали от Сайгона целую неделю, а то и больше. Как-то раз, тайно пробравшись в Камбоджу, Партридж отсутствовал почти месяц...

К сожалению, поскольку его материалов было меньше и они появлялись реже, чем репортажи Слоуна, Партриджа не заметили в той мере, как его коллегу.

Было во Вьетнаме и еще кое-что, что повлияло на будущее Партриджа и Слоуна. Это была Джессика Кастильо.

Джессика...

Кроуфорд Слоун почти машинально вел «бьюик» — ведь он дважды в день проделывал этот путь — и теперь свернул с Пятьдесят девятой улицы на Йорк-авеню... До его дома в Ларчмонте, расположенном к северу от Нью-Йорка, на берегу пролива Лонг-Айленд, ехать оставалось еще полчаса.

Слоун увеличил скорость, и следовавший за ним синий «форд-Темпо» тоже поехал быстрее.

Как обычно в это время дня, Слоун расслабился, и мысль его снова вернулась к Джессике... которая в Сайгоне была подругой Гарри Партриджа... а потом вышла замуж за Кроуфорда Слоуна.

В ту пору во Вьетнаме Джессике было двадцать шесть лет; это была тоненькая девушка с длинными каштановыми волосами, живым умом и, при случае, острым язычком. Она не разрешала вольностей журналистам, с которыми имела дело, будучи младшим сотрудником Информационного агентства США...

А корреспонденты порою заглядывали в агентство чаще, чем нужно, с разными вопросами, лишь бы поболтать с Джессикой.

Их внимание забавляло Джессику. Но когда Кроуфорд Слоун познакомился с нею, ее расположением пользовался прежде всего Гарри Партридж.

Даже и сейчас, думал Слоун, не все ему известно о том, какие отношения существовали в ту пору между Партриджем и Джессикой, — осталось что-то, о чем он никогда не спрашивал и чего теперь никогда уже не узнает. Но то, что определенные двери закрылись больше двадцати лет тому назад и с тех пор никогда не открывались, не мешало ему — и не помешает — раздумывать о подробностях интимных отношений между женой и Партриджем в то время.

5

Джессику Кастильо и Гарри Партриджа потянуло друг к другу в первую же их встречу во Вьетнаме — хотя встретились они далеко не дружески. Партридж отправился в Информационное агентство США за информацией о том, что, как он знал, имело место, но что ему отказались подтвердить американские военные. Речь шла о широко распространенном среди американских войск во Вьетнаме употреблении наркотиков.

Во время своих поездок на передовые Партридж видел немало свидетельств того, что это так. Употреблялся героин, и было его сколько угодно. Партридж попросил Отдел новостей Си-би-эй сделать официальный запрос и узнал, что в госпитали для ветеранов поступает всевозрастающее, поистине пугающее число наркоманов из Вьетнама. Это становилось проблемой уже не только для военных, но и для всей страны.

Нью-йоркская «подкова» дала зеленый свет для разработки этого сюжета, но официальные органы перекрыли все шлюзы и не предоставляли информации.

Когда Партридж зашел к Джессике в ее крошечный кабинетик и заговорил об этом, она отреагировала, как и все официальные лица до нее:

— Извините. Я не могу с вами это обсуждать.

Ее ответ задел Партриджа, и он с осуждением заметил:

— Вы хотите сказать, что не станете говорить со мной об этом, потому что вам велено кое-кого прикрывать. Речь, видимо, идет о после — это может поставить его в сложное положение?

Джессика покачала головой.

— Я и на этот вопрос не могу ответить.

Разозлившись, Партридж не стал ее жалеть.

— Значит, вы хотите сказать, что здесь, в этом уютном кабинетике, вам наплевать на то, что ребята там, в джунглях, трясутся от страха, страдают, а потом — за неимением лучшего — губят себя наркотиками, становятся рабами героина.

— Ничего подобного я не говорила, — возмутилась она.

— Да нет, именно это вы и сказали. — Голос Партриджа был полон презрения. — Вы сказали, что не станете говорить о том, что прогнило и воняет и что необходимо проветрить на публике, чтобы люди знали: есть проблема и что-то надо тут делать. Ведь сюда приезжают все новые зеленые юнцы — их надо предупредить и, возможно, удастся спасти. Как вы считаете, кого вы оберегаете, леди? Уж, конечно, не ребят, которые ведут бои, не тех, кто этого заслуживает. Вы называетесь сотрудником по информации. Так вот я называю вас сотрудником по сокрытию информации.

Джессика вспыхнула. Она не привыкла, чтобы с ней так разговаривали, и глаза ее засверкали от гнева. На столе стояло хрустальное пресс-папье, и она крепко вцепилась в него. На секунду Партриджу показалось, что она сейчас швырнет пресс-папье ему в голову, и он уже собрался пригнуться. Но Джессика справилась с гневом и спокойно произнесла:

— Что конкретно вы хотите знать?

Партридж постарался ответить ей так же спокойно:

— Главным образом статистику. Я знаю, что у кого-то она есть — ведется ведь учет, проведены обследования.

Жестом, который стал ему потом таким знакомым и любимым, она отбросила на спину свои каштановые волосы.

— Вы знаете Рекса Талбота?

— Да.

Талбот был молодым американцем, служившим вице-консулом в посольстве на улице Тонг-Нгут, в нескольких кварталах от того места, где они находились.

— Так вот, попросите его рассказать вам о проекте МАКВ, доклад Нострадамус...

— А вы не такая бессердечная, как я думал, — сказал он ей. — Не хотите поподробнее поговорить на эту тему сегодня за ужином?

К собственному удивлению, Джессика приняла приглашение.

А когда они встретились, то обнаружили, что получают удовольствие от общества друг друга, и за этой встречей последовало много других.

Правда, на удивление долго их встречи не выходили за те рамки, которые, со свойственной ей прямотой, с самого начала поставила Джессика.

— Я хочу, чтобы вы поняли, что как бы люди здесь себя ни вели, я — не легкая добыча. Если я ложусь с кем-то в постель, то лишь с человеком, который много значит для меня, а я — для него, так что не говорите, будто я вас не предупредила.

Из-за поездок Партриджа в разные районы Вьетнама они, случалось, подолгу не виделись.

Но неизбежно настал момент, когда желание возобладало над обоими.

Они ужинали в «Каравелле», где жил Партридж. После ужина, в саду отеля, мирном оазисе среди раздираемого противоречиями Сайгона, Партридж обнял Джессику, и она прильнула к нему... Годы спустя Партридж будет вспоминать этот момент как одну из тех редких, волшебных минут, когда все проблемы и заботы — Вьетнам, мерзость войны, неуверенность в будущем — казалось, отошли на задний план, и было лишь настоящее и они сами.

Он спросил ее тихо:

— Пойдем ко мне?

Джессика кивнула в знак согласия...

В его номере, освещенном лишь светом с улицы, она сказала ему:

— Ох, как же я тебя люблю!

Потом Партридж так и не мог припомнить, сказал ли он, что тоже любит ее, но он знал, что любил ее в ту минуту и всегда будет любить...

В другое время и в другом месте они быстро поженились бы. Джессике хотелось выйти замуж; ей хотелось иметь детей. Но Партридж — по причинам, о которых он потом сожалел, — воздерживался делать ей предложение. У него уже был неудачный брак в Канаде, и он знал, что браки телекорреспондентов часто кончаются крахом. Корреспонденты телевостей ведут кочевой образ жизни, они могут не бывать дома по двести дней в году, а то и больше, они не привыкли выполнять семейные обязанности и встречают на своем пути такие соблазны по части секса, которым лишь немногие в силах противостоять...

Ну, а ко всему этому добавлялся Вьетнам. Партридж знал, что рискует жизнью всякий раз, как уезжает из Сайгона, и хотя до сих пор ему везло, — везение может ведь когда-то и кончиться. Поэтому было бы нечестно, рассуждал он, взваливать на кого-либо — в данном случае, на Джессику — бремя постоянных волнений и возможность страданий потом.

Однажды утром после ночи, проведенной вместе, он признался в этом Джессике и, надо сказать, попал в неудачный момент. Джессика была потрясена и обижена этой, как ей показалось, ребячливой уловкой со стороны человека, которому она уже отдала душу и тело. И она холодно заявила Партриджу, что на этом их отношения кончаются.

Лишь много позже Джессика поняла, как неправильно истолковала то, что на самом деле было продиктовано добротой и заботой о ней. А Партридж через несколько часов уехал из Сайгона — как раз тогда он отправился в Камбоджу — и отсутствовал месяц.

Кроуфорд Слоун несколько раз встречался с Джессикой, когда она была в обществе Партриджа, и видел ее в здании Информационного агентства США, когда заглядывал туда по делам...

Узнав от самой Джессики, что они с Партриджем расстались, Слоун тотчас пригласил Джессику поужинать с ним. Она согласилась, и они стали встречаться. Две недели спустя Слоун признался, что уже давно любит ее, а теперь, узнав ближе, вообще стал боготворить, и сделал ей предложение.

Джессика, никак этого не ожидавшая, попросила дать ей время подумать.

В ее душе царил полный хаос. Она страстно и безоглядно любила Гарри... Инстинкт подсказывал ей, что такое чувство бывает лишь раз в жизни. И она продолжала его любить — Джессика была в этом уверена. Даже и теперь она отчаянно по нему скучала — вернись он и предложи ей замужество, она скорее всего сказала бы «да». Но Гарри явно не собирался это предлагать. Он отверг ее, и чувство горечи и злости засело в Джессике. Некий голос в ней кричал: «...покажи ему! Пусть знает!»

А с другой стороны, появился Крouф. И Джессике нравился Кроуфорд Слоун... Но и только!.. Он был ей безусловно приятен. Добрый и мягкий, любящий, интеллигентный — ей было интересно с ним. И на Кроуфа можно было положиться. Он был — Джессика не могла этого не признать — человек надежный, чего про Гарри, при всем его обаянии, сказать было нельзя. С которым же из них лучше прожить вместе жизнь, — а именно так понимала Джессика брак, — жизнь яркую, но полную волнений, или же надежную и прочную? Ей трудно было на это ответить.

Джессика могла бы задать себе и другой вопрос, но почему-то не задала. А зачем надо вообще принимать решение? Почему нельзя подождать? Она ведь еще молода...

Хотя она этого и не сознавала, но на ее размышления влияло то, что все они были во Вьетнаме в огне войны — он опалял самый воздух, которым они дышали. Было такое ощущение, будто время спрессовано и течение его ускорилось — часы и дни календаря сменяли друг друга со страшной скоростью. И каждый день стремительно вытекал сквозь раскрытые ворота шлюзов. Кто из них знал, сколько им еще осталось дней? И кому из них суждено вернуться к нормальному ходу жизни?

Во всех войнах на протяжении всей истории человечества так было всегда.

И вот, хорошенько все взвесив, Джессика на другой день приняла предложение Кроуфорда Слоуна.

Их тут же обвенчал в американском посольстве армейский капеллан. На церемонии присутствовал посол, который потом дал в их честь прием.

Слоун был счастлив до безумия. Джессика уверяла себя, что она тоже счастлива...

Партридж же узнал об этом браке, лишь вернувшись в Сайгон, и только тогда — по навалившемуся на него горю — понял, что он потерял. Встретив Джессику и Слоуна, он постарался скрыть свои чувства и поздравил их. Но Джессика слишком хорошо его знала, и это ему не вполне удалось.

Однако Джессика, если и разделяла в какой-то мере чувства Партриджа, хранила это про себя и даже старалась о нем забыть. Она твердила себе, что сделала выбор и решила быть хорошей женой Слоуну — такой на протяжении лет она и была. Как в любом браке, у них бывали конфликты и раздоры, но раны заживали. И теперь — ко всеобщему удивлению — приближался уже серебряный юбилей их свадьбы: до него оставалось всего пять лет.

6

Сидя за рулем своего «бьюика», Кроуфорд Слоун проехал уже полпути до дома. Мост Триборо остался позади, он выскочил на скоростное шоссе Брюкнер, по которому быстро доберется до шоссе 95, пересекающего Новую Англию.

«Форд-Темпо», отъехавший за ним от здания Си-би-эй, продолжал двигаться следом.

Ничего удивительного, что Слоун не заметил этой машины — ни сегодня вечером, ни в другие дни, когда она ездила за ним в течение последних недель. Дело в том, что водитель — молодой тонкогубый колумбиец с холодными глазами, взявший себе недавно имя Карлос, — был большим специалистом по преследованию дичи.

Карлос приехал в Соединенные Штаты два месяца тому назад по фальшивому паспорту и уже больше трех недель вел наблюдение за Слоуном вместе с шестью другими колумбийцами — пятью мужчинами и женщиной. Подобно Карлосу, остальные тоже пользовались подложными именами, в большинстве случаев скрывая таким образом преступное прошлое. Прежде — до этого задания — члены группы не знали друг друга. Даже и сейчас только Мигель, их вожак, находившийся сегодня в нескольких милях от них, знал, кто они на самом деле.

За то недолгое время, что они пользовались «фордом», машину уже дважды перекрашивали. При этом она была у них не единственной, чтобы слежку было труднее заметить.

Наблюдение за Слоуном дало точную и подробную картину его передвижений, а также передвижений его семьи.

Сейчас, в потоке транспорта, мчавшегося по шоссе, Карлос ехал через три машины за Слоуном — так, чтобы не выпускать «бьюика» из виду. Рядом с Карлосом сидел еще один человек, отмечавший время в журнале. Звали его Хулио — он был смуглый, со шрамом от ножевой раны, пересекавшим левую щеку, вспыльчивый и любивший спорить. Он был в группе связистом. За ними, на заднем сиденье, находился радиотелефон, один из шести аппаратов, связывавших машины со временным штабом группы.

И Карлос, и Хулио, люди безжалостные, были тренированными снайперами, и оба были вооружены.

Сбавив скорость, Слоун объехал место аварии, где столкнулось бамперами несколько машин, затем включил прежнюю скорость и снова стал вспоминать Вьетнам и Гарри Партриджа.

Несмотря на успехи во Вьетнаме, да и блестящую карьеру потом, мысли о Партридже не переставали бередить Кроуфорда Слоуна — правда, не слишком сильно...

«Форд» обогнал Слоуна и находился теперь на несколько машин впереди. Оставалось всего две-три мили до съезда на Ларчмонт. Карлос с Хулио, уже изучившие привычки Слоуна, знали, где он съедет с шоссе. Это был старый трюк — опережать время от времени дичь. Вот и сейчас «форд» первым съедет с шоссе у Ларчмонта, дождется Слоуна и затем снова поедет за ним.

Минут десять спустя, когда Слоун въехал на улицы Ларчмонта, «форд» на некотором расстоянии последовал за ним и затормозил, не доезжая до дома Слоуна, стоявшего на Парк-авеню, фасадом к заливу Лонг-Айленд.

Дом — в соответствии с солидными доходами Слоуна — был большой и внушительный. Белый, под серой шиферной крышей, он стоял в тщательно распланированном саду, и к нему вела заканчивающаяся полукругом подъездная аллея. У входа высились две ели. Над двойными дверями висел чугунный фонарь.

С помощью дистанционного управления Слоун из машины открыл дверь трехместного гаража, въехал вовнутрь, и дверь опустилась за ним.

«Форд» подъехал ближе и с безопасного расстояния продолжал вести наблюдение.

7

Уже в небольшом крытом коридоре, соединявшем гараж с домом, Слоун услышал голоса и смех. Но когда он открыл дверь и шагнул в выстланный ковром холл, куда выходили почти все комнаты нижнего этажа, — голоса умолкли. Джессика окликнула его из гостиной:

— Это ты, Кроуф?

Он по обыкновению ответил:

— Если не я, то дело худо.

Она мелодично рассмеялась в ответ.

— Мы рады тебе, кто бы ты ни был! Минуту терпения — и я буду с тобой.

Он услышал позвякиванье льда и понял, что Джессика готовит «Мартини»: она всегда встречала его этим коктейлем по вечерам, стремясь помочь расслабиться и забыть о трудностях минувшего дня.

— Привет, пап! — крикнул с лестницы Николас, одиннадцатилетний сын Слоунов. Мальчик был тоненький и высокий для своих лет, с умными глазами. Он сбежал вниз и обнял отца.

Слоун поцеловал сына и провел пальцами по его каштановым кудрям. Ему нравилось, что сын так встречает его, а все благодаря Джессике. Она внушила ему — чуть ли не с рождения, — что любовь надо выражать, а не таить в себе.

Сам же Слоун с другими людьми был сдержан. Он не мог припомнить, когда в последний раз обнимал отца, — несколько раз он порывался его обнять и всякий раз воздерживался, не зная, как это воспримет старик Энгус, человек сухой, даже жесткий.

— Привет, милый!

Джессика появилась в блекло-зеленом платье — Кроуфорду всегда нравились такие тона. Они поцеловались и вместе прошли в гостиную. Ненадолго там появился и Никки: он уже поужинал и собирался спать.

— Как дела в музыкальном мире? — спросил Слоун сына.

— Отлично, пап. Я разучиваю Второй прелюд Гершвина...

Джессика взглянула на часы.

— Никки, уже поздно.

— Ах, мам, разреши мне побыть еще. Завтра же в школе нет занятий.

— Но тебе все равно целый день надо заниматься. Так что — нет.

Джессика следила за дисциплиной в семье, и Никки, пожелав родителям спокойной ночи, ушел к себе...

А Джессика вновь занялась своим «Мартини». Глядя, как она разливает коктейль по бокалам, Слоун думал: **«Можно ли быть счастливее?»** Такое чувство вызывала у него Джессика, то, как она выглядела после двадцати лет брака. Она уже не ходила с распущенными волосами и не старалась скрыть пробивавшуюся седину. Да и возле глаз у нее появились морщинки. Но фигура по-прежнему была стройная, хороших пропорций, а ноги притягивали взгляды мужчин. В общем, думал Слоун, она, право же, не изменилась, и он по-прежнему гордился женой, когда появлялся с ней в чьем-либо доме.

— Похоже, у тебя был тяжелый день? — заметила она, протягивая ему бокал.

— В общем — да. Ты смотрела «Новости»?

— Да. Несчастные пассажиры этого самолета! Такая страшная смерть!..

Слоун почувствовал укор совести: он об этом даже и не подумал. Порою профессионал настолько занят сбором информации, что забывает о людях, участниках события...

— Если ты смотрела сюжет про самолет, — сказал он, — значит, ты видела Гарри. Что ты о нем скажешь?

— Он хорошо вел передачу.

Джессика произнесла это безразлично ровным тоном. Слоун наблюдал за ней, ждал, что́ она еще скажет — неужели прошлое совсем для нее умерло?

— Гарри не просто хорошо вел... Он выступил без подготовки. У него на это не было времени... Гарри, Рита и Минь — все трое здорово сработали. Мы же обскакали все другие станции.

— Гарри и Рита, похоже, часто работают теперь вместе. Между ними что-то есть?

— Нет. Они просто хорошо сработались.

— Тебе-то откуда это известно?

— Потому что у Риты роман с Лэсом Чиппингемом. Они думают, что никто об этом не знает. Но знают, конечно, все.

Джессика расхохоталась.

— Ну и команда у вас — сплошной инцест.

Лэсли Чиппингем был шефом Отдела новостей Си-би-эй. Именно с ним Слоун собирался разговаривать на другой день по поводу Чака Инсена и настаивать, чтобы его убрали.

— Меня можешь из этой братии исключить, — сказал Слоун жене. — Я вполне доволен тем, что у меня есть дома.

«Мартини», как всегда, сняло напряжение, хотя ни он, ни Джессика не пили много. Бокал «Мартини» и бокал вина за ужином — это была их норма, а в течение дня Слоун не пил вообще.

— Я вижу, у тебя сегодня хорошее настроение, — сказала Джессика, — и для этого есть еще одно основание. — Она поднялась и достала из маленького бюро, стоявшего в другом конце комнаты, уже вскрытый конверт: Джессика обычно вскрывала корреспонденцию, так как вела большую часть их личных дел. — Это письмо от твоего издателя и гонорарный расчет.

Он взял у нее конверт и внимательно просмотрел бумаги — лицо его просияло.

Несколько месяцев назад вышла книжка Кроуфорда Слоуна «Телекамера и правда». Он написал ее с соавтором, и это была третья его работа.

Продавалась книга плохо... Но по мере того, как шли недели, определенные места в ней привлекли внимание обозревателей газет, а лучшей рекламы ни одной книге и не надо.

Особой похвалы удостоились следующие высказывания Слоуна:

«Ни у одного политического деятеля не хватит духу сказать это вслух, но заложников — в том числе и американцев — следует считать людьми приговоренными.

С террористами можно говорить только языком контртерроризма, ибо это единственный язык, который они понимают: надо по возможности их выслеживать и исподтишка уничтожать. Никогда нельзя — прямо или косвенно — идти на сделку с террористами или платить им выкуп!..

Мы, живущие в Соединенных Штатах, не избавлены от терроризма — скоро и нам предстоит столкнуться с ним на собственном дворе. Но ни психологически, ни как-либо иначе мы не подготовлены к этой, не знающей границ, безжалостной войне».

Когда книга вышла в свет, кое-кто из начальства Си-би-эй занервничал, опасаясь, как бы утверждения о том, что «заложников следует считать людьми приговоренными» и что террористов надо «исподтишка уничтожать», не вызвали в политических кругах и среди широкой публики возмущения против телестанции. Как выяснилось, тревожились они напрасно...

Широко улыбаясь, Слоун отложил в сторону бумажку с солидной цифрой гонорара.

— Ты это вполне заслуживаешь, и я горжусь тобой, — сказала Джессика. — Кстати, звонил твой отец. Он приезжает завтра рано утром и намерен пробыть у нас с неделю.

Слоун поморщился.

— Что-то он зачастил.

— Одиноко ему, да и стар он становится.

Отец Кроуфорда уже несколько лет жил один во Флориде после того как умерла его жена.

— Я рада, когда он с нами, — сказала Джессика. — И Никки тоже.

Кроуфорд и Джессика продолжали болтать и за ужином — это было их любимое время дня. Ежедневно приходила прислуга, но ужин Джессика готовила сама, стараясь все так устроить, чтобы после приезда мужа как можно меньше времени проводить на кухне.

— Знаешь, — задумчиво произнес Кроуфорд, — я глубоко продумал некоторые выводы в этой книге. И по-прежнему на них настаиваю.

— Ты имеешь в виду терроризм?

Он кивнул.

— С тех пор, как это было написано, я не раз думал о том, что и как способны — могут — сделать террористы тебе и мне. Поэтому я принял некоторые меры предосторожности. До сих пор я не говорил тебе об этом, но ты должна знать. — Джессика с любопытством смотрела на него, а он продолжал: — Тебе никогда не приходило в голову, что такого человека, как я, могут выкрасть, что я могу стать заложником?

— Я думала об этом, когда ты был за границей.

Он покачал головой.

— Это могло бы произойти и здесь. Всегда ведь что-то случается впервые, а я, как и многие другие на телевидении, работаю, так сказать, в аквариуме с золотыми рыбками. Если террористы начнут орудовать в США, — а ты знаешь, я считаю, что это произойдет и произойдет скоро, — люди вроде меня станут притягательной добычей, так как все, что мы делаем или что с нами делают, получает широчайшую огласку.

— А семьи? Они тоже могут стать объектом нападения?

— Едва ли. Террористам нужно имя. Человек, которого все знают.

— Ты упомянул про меры предосторожности, — с беспокойством сказала Джессика. — Что это за меры?

— Меры, которые будут приняты после того, как меня возьмут заложником.... если это произойдет. Я разработал их с одним знакомым юристом, Саем Дрилендом. Он знает все в деталях и имеет право довести это до сведения публики, когда потребуется.

— Что-то мне не нравится этот разговор, — сказала Джессика. — Ты меня разволновал. Ну какие меры предосторожности могут помочь после того, как зло свершилось?

— До того придется полагаться на телестанцию, — сказал он, — будем надеяться на ее защиту, а кое-что уже делается. Но если это случится, я бы не хотел, как я и написал в своей книге, чтобы за меня платили выкуп, даже из наших собственных денег. И я сделал на этот счет соответствующее заявление — в официальной форме.

— Ты хочешь сказать, что все наши деньги будут тотчас заморожены?

Он отрицательно покачал головой.

— Нет. Я бы не мог это сделать, даже если б захотел. Почти все, что мы имеем, — этот дом, банковские счета, акции, золото, иностранная валюта, — принадлежит нам обоим, и ты, как и сейчас, сможешь распоряжаться всем по своему усмотрению. Но после того, как мое заявление будет опубликовано и все будут знать мою точку зрения, мне б хотелось, чтобы ты не поступала вопреки ей.

— Ты что же, лишаешь меня права самой решать! — возмутилась Джессика.

— Нет, дорогая, — мягко возразил он. — Я просто хочу снять с тебя бремя ответственности и не ставить тебя перед дилеммой.

— Ну, а если телестанция готова будет заплатить выкуп?

— Сомневаюсь, но они, безусловно, не станут это делать против моей воли, которая зафиксирована в моей книге и повторена в заявлении.

— Ты сказал, что станция предоставляет тебе определенную защиту. Я впервые об этом слышу. Что это за защита?

— Если кто-то угрожает по телефону, или приходят какие-то идиотские письма, которые можно понять определенным образом, или появляются слухи о возможном нападении — такое происходит на всех телестанциях, особенно в отношении ведущих, — приглашают частных детективов. Они занимаются тем, чем обычно занимается охрана: ведут наблюдение за зданием Си-би-эй, где бы я там ни работал. Со мной так уже было не раз.

— Ты мне об этом никогда не говорил.

— Да, наверное, не говорил, — сказал он.

— А о чем еще ты мне не говорил?..

— Про телестанцию — больше ни о чем, но есть кое-что, о чем я договорился с Дрилендом.

— Это будет слишком нахально с моей стороны, если я попрошу тебя рассказать и об этом?

— Да нет, тебе это нужно знать. — Слоун предпочел не обращать внимания на сарказм, к которому иной раз прибегала жена, когда особенно волновалась. — Нынче, когда человека выкрадывают, — неважно, в какой части света, — террористы непременно делают видеозапись: они вынуждены ее делать. Затем эти видеозаписи иногда появляются на телевидении, но никто не знает наверняка, заложники были сняты добровольно или по принуждению и, если по принуждению, то какого рода. Однако если заранее договориться о системе сигнализации, человек, оказавшийся заложником, может таким путем дать кое-что понять. Кстати, сейчас все больше и больше потенциальных заложников оставляют у своих юристов заранее разработанный код.

— Можно подумать, речь идет о шпионском романе, не будь это так серьезно, — заметила Джессика. — Ну, и о каких же ты условился сигналах?

— Если я облизываю губы, — а на это никто не обратит внимания, — значит: **«Я это делаю против воли. Не верьте ничему, что я говорю».** Если я почесываю мочку правого уха или трогаю ее, значит: **«Мои захватчики хорошо организованы и основательно вооружены».** Если же я проделываю то же самое с левой мочкой, значит: **«Охрана здесь не всегда строгая. Нападение извне может быть успешным».** Есть и другие сигналы, но не будем пока о них говорить. Я не хочу тебя расстраивать.

— Ну, ты все-таки меня расстроил,— сказала Джессика. И подумала: «Неужели такое может случиться? Неужели Кроуфа могут выкрасть и куда-то увезти?» Это было непредставимо, но ведь каждый день случалось непредставимое.

— Все это не только напугало меня,— задумчиво произнесла она,— но, должна признаться, и потрясло: таким я тебя еще не знала. Я только удивляюсь, почему ты не пошел на эти курсы самообороны, о которых мы говорили.

Курсы были организованы английской компанией по противодействию террористам — их рекламировали несколько американских телепрограмм. Курсы были рассчитаны на неделю, и их целью было подготовить людей на тот случай, о котором говорил Слоун: как себя вести, если тебя взяли заложником. Кроме того, там обучали невооруженной самообороне — Джессика уговаривала мужа поучиться этому методу после жестокого нападения на ведущего комментатора Си-би-эй Дэна Разера на нью-йоркской улице в 1986 году. Двое неизвестных до того избили Разера, что ему пришлось лечь в больницу; нападавших так и не нашли.

— Проблема в том, где взять для этого время,— сказал Слоун.— Кстати, а ты продолжаешь брать уроки борьбы?

Это был особый вид борьбы, применяемый в рукопашных схватках элитарными отрядами британской армии. Обучение проводил отставной английский генерал, обосновавшийся в Нью-Йорке, и Джессика хотела, чтобы Кроуфорд этим занялся. Но поскольку он никак не мог выкроить время, занялась этим она.

— Регулярно я уже не занимаюсь,— ответила она.— Правда, раз в месяц или в два тренируюсь часок, а кроме того, генерал Уэйд иногда читает лекции — я хожу на них.

Слоун кивнул.

— Отлично.

В ту ночь — после этого разговора — Джессика заснула с трудом.

А на улице сидевшие в «форде» проследили за тем, как в доме один за другим погасли огни, затем доложили обстановку по радиотелефону и, закончив на этот день наблюдение, отбыли.

8

Вскоре после 6.30 утра наблюдение за домом Слоуна возобновилось. На сей раз это был «шевроле-Селебрити», и на переднем сиденье — следуя методу, обычно применяемому при наблюдении, чтобы седоков не могли заметить из проезжающих мимо машин,— полулежали колумбийцы Карлос и Хулио. «Шевроле» удобно стоял за домом Слоуна, в боковой улочке; наблюдение велось с помощью бокового зеркальца и зеркальца заднего вида.

Оба мужчины были взвинчены, зная, что день предстоит решающий — они долго и тщательно готовились к нему.

В 7.30 произошло непредвиденное: к дому Слоуна подкатило такси. Из такси вышел пожилой мужчина с чемоданом. Он вошел в дом и больше не появлялся. Присутствие этого человека осложняло дело и потребовало переговоров по радиотелефону с временной штаб-квартирой наблюдателей, находившейся на расстоянии двадцати миль.

Средства связи, которыми они располагали, равно как и количество машин, свидетельствовали о том, что на проведение операции не жалели денег. Заговорщики, продумавшие и организовавшие наблюдение, а также то, что должно было за этим последовать, были профессионалами, отличались изобретательностью и имели доступ к большим деньгам.

Они были связаны с преступным и безжалостным в своих методах «Медельинским картелем», этим объединением королей наркотиков, которое действовало в Колумбии; в одной статье, напечатанной в «Ньюсуик» в 1988 году, было сказано, что этот картель «столь же богат, как „Дженерал моторс", и столь же беспощаден, как Иди Амин *». Члены картеля,

* Амин, Иди (р. 1925) — президент Уганды с 1971 по 1979 г.

писал журнал, в достижении своих целей «не знают границ, не заботятся о пристойности и не останавливаются ни перед чем».

«Медельинский картель», действуя со звериной жестокостью, совершил в Колумбии бесчисленное множество кровавых убийств — среди его жертв были и полицейские, и судьи, и журналисты. Шефов картеля иногда связывали с группой колумбийских социалистов-партизан М-19, которая за одну только операцию в 1986 году убила девяносто человек, в том числе половину членов Верховного суда Колумбии. И тем не менее, невзирая на такую репутацию, «Медельинский картель» поддерживал тесные связи с римско-католической церковью: один из кардиналов похвально отозвался об его членах, а один епископ открыто признался в том, что берет деньги у торговцев наркотиками.

В данном случае, однако, «Медельинский картель» выступал не в своих интересах, а в интересах перуанской маоистской террористической организации «Сендеро луминосо», или «Сияющий путь». За последнее время «Сендеро луминосо» стала весьма влиятельной организацией в Перу, тем более что официальное правительство выказывало все большую слабость и инертность. Если раньше область деятельности «Сендеро» ограничивалась Андами и городами Аякучо и Куско, то теперь ее террористические группы и команды убийц бродили по столице Перу — Лиме. Организация имела в Лиме тайных приверженцев в правительственных и военных кругах.

«Сендеро луминосо» не впервые действовала вместе с «Медельинским картелем». «Сендеро» нередко использовала преступников для взятия заложников, особенно когда речь шла об иностранцах; в Перу то и дело похищали людей, однако американские средства массовой информации широко это не освещали...

Сейчас колумбийские бандиты, сидевшие в «шевроле», стали спешно просматривать фотографии, которые Карлос, искусный фотограф, делал поляроидом, снимая всех, кто входил в дом Слоуна на протяжении последнего месяца. Только что приехавшего пожилого мужчины среди них не было.

Хулио произнес в телефон условные фразы:

— Прибыл синий пакет. Второй доставкой. Пакет на складе. Отправитель не выяснен.

Если перевести на нормальный язык, это означало: «Прибыл мужчина. Доставлен такси. Прошел в дом. Кто он — неизвестно: снимка его нет...»

И уже незашифрованным языком Хулио добавил:

— Он с чемоданом. Похоже, что приехал пожить.

А в ветхом арендованном доме к югу от Хакенсака, штат Нью-Джерси, человек по прозвищу Мигель ругнул про себя Хулио за неосторожность...

«¡Estúpidos!» * Он просто не мог вдолбить этим идиотам, с которыми ему приходилось работать, как важно соблюдать бдительность и осторожность, быть начеку не большую часть времени, а все время — от этого зависит успех дела, а кроме того, их жизнь и свобода.

Сам Мигель, насколько помнил себя, всегда был предельно осторожен. Поэтому его ни разу и не смогли арестовать, несмотря на то, что он был в списке преступников, «наиболее разыскиваемых» полицией Северной и Южной Америк, а также некоторых стран Европы и Интерполом. В Западном полушарии за ним охотились не менее усердно, чем за его собратом-террористом Абу Нидалом по ту сторону Атлантики. Мигель позволял себе в известной мере гордиться этим обстоятельством, никогда не забывая, однако, что гордость может породить излишнюю самоуверенность, а это было еще одним моментом, против которого он предостерегал.

Хотя Мигель побывал во многих переделках, это был еще молодой человек: ему не было и сорока. Он ничем особенно не выделялся — доволь-

* Тупицы! (исп.).

но интересный мужчина, но и только: прохожий на улице мог принять его за банковского клерка или, в лучшем случае, за управляющего небольшого магазина. В известной мере это было результатом немалых трудов: Мигель усиленно старался быть незаметным. Он также приучил себя вежливо держаться с незнакомыми людьми, но не настолько, чтобы запомниться...

В прошлом заурядная внешность сослужила Мигелю большую службу, как и то обстоятельство, что он не производил впечатления человека властного. Его умение командовать оставалось скрытым от глаз посторонних — об этом знали лишь те, кем он распоряжался, а уж они слушались его беспрекословно.

Преимуществом Мигеля в данной операции было то, что он выглядел и говорил как американец. В конце шестидесятых и начале семидесятых годов он в качестве иностранного студента занимался в Калифорнийском университете в Беркли, где изучал английский язык, усиленно стараясь говорить без акцента.

В те дни он жил под своим настоящим именем — Улисес Родригес. Родители у него были люди состоятельные, и онн оплачивали его обучение в Беркли. Отец Мигеля, нейрохирург в Боготе, надеялся,что его единственный сын тоже станет медиком, но эта перспектива уже тогда не интересовала Мигеля. К концу шестидесятых годов сын понял, что в Колумбии произойдут коренные перемены: из процветающей демократической страны с хорошей правовой системой она превращалась в пристанище невероятно богатых бандитов, которые, поправ все законы, стали править с помощью диктатуры, жестокости и страха. Кладом фараонов в этой новой Колумбии была марихуана; потом им станет кокаин.

Такова была натура Мигеля, что произошедшие перемены не огорчили его. Наоборот, он жаждал принять участие в начавшейся кипучей деятельности.

А пока он действовал на собственный страх и риск в Беркли и обнаружил, что напрочь лишен совестливости и может быстро н решительно убивать людей без всякого неприятного осадка потом.

Его первой жертвой стала молодая женщина, с которой он познакомился, сойдя в Беркли с автобуса. Они вместе пошли по улице, разговорились и обнаружили, что оба учатся на первом курсе. Он, видимо, ей приглянулся, и она пригласила его к себе, а жила она в скромной квартирке в конце Телеграф-авеню. Было это в ту пору, когда подобные знакомства были обычным явлением: страх перед спидом еще не наступил.

Хорошенько потрудившись с ней в постели, Мигель уснул, а проснувшись, обнаружил, что девица просматривает содержимое его бумажника. Там было несколько удостоверений личности на разные фиктивные имена: он ведь уже и тогда готовился к будущей жизни вне закона. На свою беду, девица проявила излишний интерес к этим удостоверениям — возможно, она сотрудничала с какой-то службой, хотя Мигель так никогда этого и не узнал.

Мигель вскочил тогда с постели, схватил ее и задушил. Он до сих пор помнил, с каким изумлением она взглянула на него, как вырывалась из его рук и как потом, перед тем как потерять сознание, с отчаянной мольбой смотрела на него. А он с интересом обнаружил — словно врач-клиницист, наблюдающий больного, — что убив ее, не почувствовал никаких укоров совести.

Больше того, он с ледяным спокойствием прикинул, могут ли его поймать, и пришел к выводу, что это исключено. Они ведь не сидели рядом в автобусе, да, собственно, тогда вообще не были еще знакомы. Едва ли кто-либо заметил, как онн вместе шли с остановки. В вестибюле, как и в лифте, пока они поднимались на четвертый этаж, они не встретили никого.

Мигель не спеша вытер какой-то тряпкой те несколько поверхностей, на которых могли остаться отпечатки его пальцев. Затем, обернув носовым платком правую руку, выключил всюду свет и вышел из квартиры — дверь сама собою захлопнулась за ним.

Он не стал спускаться на лифте, а пошел по лестнице, и прежде чем выйти в вестибюль, проверил, нет ли там кого, а затем уже вышел на улицу.

На другой день и в последующие несколько дней он внимательно просматривал местные газеты, не появится ли заметка о задушенной девушке. Но прошла почти неделя, прежде чем нашли ее полуразложившийся труп, а еще через два нли три дня, поскольку ничего нового обнаружено не было и никаких ключей к раскрытию преступления не появилось, газеты потеряли к этой истории интерес, и она исчезла с их страниц.

Если какое-то расследование и было, Мигеля со смертью девушки никто не связал...

Окончив университет в Беркли и вернувшись домой в Колумбию, Мигель стал околачиваться около расширявшего свою деятельность объединения осатаневших королей наркотиков. Он имел права летчика и совершил несколько полетов с кокаиновой пастой из Перу в Колумбию, где она проходила обработку. Вскоре он завязал дружбу с гнусным, но весьма влиятельным семейством Очоа, что позволило ему принять участие в более крупных операциях. Затем Мигель присоединился к М-19, устраивавшей настоящие вакханалии убийств, — он участвовал во всех массовых убийствах, убивал и в одиночку и с тех пор давно потерял счет оставленным им трупам. Имя его, естественно, стало широко известно во всем мире, но он принимал такие тщательные меры предосторожности, что схватить его за руку не удавалось.

Связи Мигеля — или Улисеса Родригеса — с «Медельинским картелем», с М-19, а в последнее время и с «Сендеро луминосо» постепенно расширялись. Тем не менее он сумел сохранить свою независимость, став международным бандитом, наемным террористом, на которого — благодаря его ловкости — был постоянный спрос.

Политика играла тут, по-видимому, определенную роль. Мигель был по духу социалистом, он страстно ненавидел капитализм и презирал эти лицемерные, прогнившие Соединенные Штаты, как он их называл. Но вообще к политике он относился скептически, — просто любил, можно сказать, сладострастно любил опасность, риск и тот образ жизни, который вел.

Этот-то образ жизни и побудил его приехать полтора месяца тому назад в Соединенные Штаты, чтобы втайне подготовить то, что произойдет сегодня и о чем вскоре узнает весь мир.

Первоначально Мигель намеревался попасть в США кружным, но безопасным путем: из Боготы через Рио-де-Жанейро — в Майами. В Рио он должен был сменить паспорт и личность и явиться в Майами в качестве бразильского издателя, направляющегося на Нью-Йоркскую книжную ярмарку. Но тайный агент «Медельинского картеля» в госдепартаменте предупредил, что Иммиграционная служба в Майами срочно запросила всю имеющуюся информацию на Мигеля, особенно относительно того, какие он принимал обличья в прошлом.

А Мигель однажды уже выступал в качестве бразильского издателя, и хотя считал, что эта его маскировка еще не высвечена, ему показалось более разумным не появляться в Майами вообще. Поэтому, хоть так получалось и дольше, он полетел из Рио-де-Жанейро в Лондон, где обрел новое лицо и вполне законный, новешенький британский паспорт.

Все оказалось очень просто.

Ах, эти чистенькие демократии! До чего же глупы и наивны они!..

До 1988 года всем обладателям британских паспортов для въезда в США требовалась виза. А затем она стала не нужна для тех, кто собирался там пробыть менее девяноста дней н у кого был обратный билет. Хотя Мигель не намеревался использовать свой обратный билет н после въезда в страну собирался его уничтожить, легче было заплатить за билет, чем рисковать и проходить через бюрократические препоны. Что же касается правила, ограничивающего пребывание девяноста днями, то для Мигеля в любом случае оно не имело значения. Во-первых, он не собирался так долго задерживаться в США, а кроме того, покидать страну он будет либо тайно, либо под другим именем...

Итак, он прилетел в Нью-Йорк и прошел безо всяких осложнений через паспортный контроль в аэропорту Джона Ф. Кеннеди.

Добравшись до Нью-Йорка, Мигель тотчас отправился в Куинс, где жило довольно много колумбийцев и где агент «Медельинского картеля» подыскал для него конспиративный дом.

Малая Колумбия на Джексон-Хейтс находится между Шестьдесят девятой и Восемьдесят девятой улицами. Это процветающий центр торговли наркотиками и один из самых опасных районов Нью-Йорка, где расправиться с человеком все равно, что чихнуть, а убийство считается самым обычным делом. Полицейские в форме редко отваживаются появляться там поодиночке, а ночью никогда не ходят пешком, даже и парами.

Репутация этого района не волновала Мигеля, — собственно, он даже решил, что она будет служить ему защитой, пока он будет планировать операцию, доставать деньги из тайных фондов и собирать свою небольшую команду. Эта команда, состоящая из семи человек, включая самого Мигеля, была подобрана еще в Боготе.

Хулио, который в этот момент вел наблюдение за Слоуном, и Сокорро, единственная женщина в группе, были колумбийцами, «агентами по требованию» «Медельинского картеля». Несколько лет тому назад оба были засланы в Соединенные Штаты под видом иммигрантов с единственной инструкцией — осесть там и ждать, пока их услуги не понадобятся в связи с торговлей наркотиками или для другой преступной цели. И вот сейчас их время пришло.

Хулио был специалистом по связи. Сокорро за период ожидания окончила курсы медицинских сестер.

Но она была связана не только с «Медельинским картелем». Через друзей в Перу она познакомилась с ультрареволюционной организацией «Сендеро луминосо» и стала агентом этой организации, выполнявшим отдельные поручения в США. Такое сочетание политических мотивов со стремлением к наживе через преступление стало обычным явлением среди латиноамериканцев, и теперь в этой операции Сокорро играла также роль наблюдателя от «Сендеро луминосо».

Трое из четверки были колумбийцами, выступавшими под фиктивными именами — Рафаэль, Луис и Карлос. Рафаэль был механик и вообще мастер на все руки. Луиса отобрали за высокую шоферскую квалификацию: он лихо умел уходить от преследования, особенно с места преступления. А Карлос был молодой, смекалистый — это он организовал наблюдение за домом Слоуна на протяжении последнего месяца. Все трое свободно говорили по-английски и неоднократно бывали в США. Сейчас они приехали в страну по подложным паспортам, с фиктивными именами, не зная друг друга. Им была дана инструкция явиться к агенту «Медельинского картеля», который подобрал для Мигеля конспиративный дом, а затем получать указания уже непосредственно от Мигеля.

Последним в группе был американец, которого в этой операции звали Баудельо. Мигель не доверял Баудельо, однако знания и умение этого человека были необходимы для успешного проведения операции.

Сейчас, в Хакенсаке, во временном оперативном центре колумбийской группы, Мигель почувствовал, как в нем вспыхнула ярость против Хулио: надо же было допустить такую оплошность — сообщить открытым текстом по телефону о случившемся, находясь у самого дома Слоуна. Не опуская трубки, стараясь совладать с чувством досады, Мигель обдумывал, что сказать Хулио...

До своего отъезда из Боготы он получил всеобъемлющие сведения о семействе Слоуна, которыми лишь в известной мере поделился с остальными. В полученном им досье значилось, что у Кроуфорда Слоуна есть отец, и описание приехавшего с чемоданом человека соответствовало ему. Мигель рассудил: «Ну, если старик приехал повидать сына, это, конечно, помеха, но не более того. До конца дня отца почти наверняка придется убрать, но это же не проблема».

И нажав на кнопку передачи в радиотелефоне, Мигель приказал:

— С синим пакетом ничего не предпринимать. Сообщать только новые цены. — «Новые цены» означало «изменение ситуации».

— Понял, — коротко ответил Хулио.

Положив на место трубку радиотелефона, Мигель взглянул на свои часы. Было без малого 7.45. Через два часа все семь членов его группы будут на месте и начнут действовать. Последующие шаги были тщательно спланированы, все осложнения предусмотрены, меры предосторожности приняты. Когда операция начнется, возможно, придется прибегнуть к импровизации, но в незначительной мере.

И ни в коем случае нельзя ничего откладывать. За пределами Штатов уже приведены в готовность силы, которые включатся в дело вслед за ними.

9

Энгус Слоун удовлетворенно вздохнул, поставил на стол чашку, из которой пил кофе, и промокнул салфеткой рот и серебристо-седые усы.

— Решительно заявляю, — сказал он, — что во всем штате Нью-Йорк никому сегодня утром не подавали лучшего завтрака.

— И никому не подавали завтрака с бо́льшим содержанием холестерола, — заметил его сын из-за раскрытых страниц «Нью-Йорк таймс», которую он читал по другую сторону стола. — Ты что, не знаешь, что жареные яйца — это плохо для твоего сердца?..

Вся семья сидела в светлой веселой комнате рядом с кухней, где они обычно завтракали. Энгус приехал полчаса тому назад, сердечно поцеловал невестку и внука и несколько официально поздоровался за руку с Кроуфордом...

Хотя день еще только начинался, уже было ясно, что пропасть между Кроуфордом и его отцом отнюдь не сократилась.

Как уже не раз говорил Энгус — и повторил сейчас, — он всю жизнь любил приезжать рано утром. Поэтому он накануне прилетел из Флориды в аэропорт Ла-Гардия, переночевал у приятеля по «Американскому легиону», который жил недалеко от аэропорта, затем на рассвете прибыл в Ларчмонт на автобусе, а потом взял такси.

Слушая уже знакомые объяснения отца, Кроуфорд воздел глаза к потолку, тогда как Джессика улыбалась и кивала, словно ни разу не слышала всего этого раньше...

Кроуфорд сложил «Таймс» и сказал:

— Тут указаны цифры жертв той катастрофы, что произошла вчера в Далласе. Страшновато выглядит. Думаю, мы будем говорить об этом всю будущую неделю...

— Я видел это вчера вечером в твоих «Новостях», — сказал Энгус. — Репортаж вел этот малый, Партридж. Мне он нравится. Когда он дает материал из-за границы, особенно про наших военных, я тоже начинаю гордиться, что я американец. А не все твои люди так работают, Кроуфорд.

— К сожалению, папа, есть только одна неувязочка, — заметил Слоун. — Гарри Партридж — не американец. Он канадец. А кроме того, какое-то время придется тебе обходиться без него. Он сегодня уезжает в длительный отпуск. — И затем из любопытства спросил: — А кто из наших ребят **не возбуждает** в тебе гордости?

— Да почти все. Очень уж у вас, работающих на телевидении, развита манера все порочить, особенно наше правительство — ссоритесь с властями, вечно стараетесь принизить президента. Похоже, никто уже ничем не гордится. Это тебя никогда не смущало?..

— Папа, — сказал Слоун, — мы с тобой уже столько раз об этом говорили, и я не думаю, чтобы наши точки зрения когда-либо совпали. То, что ты называешь «все порочить», мы, в Отделе новостей, считаем вполне законной манерой подвергать вещи сомнению — публика имеет право знать разные мнения. Репортеры обязаны задавать вопросы политикам и бюрократам и подвергать сомнению все, что нам говорят, это же хорошо. Правительство врет и мошенничает — это же факт: и демократы, и республиканцы, и либералы, и социалисты, и консерваторы. Стоит им прийти к власти, они тотчас начинают этим заниматься. Да, конечно, мы, люди, выуживающие новости, иной раз бываем резковаты, а порой — признаюсь — заходим слишком далеко. Но с нашей помощью выявляется уйма

бесчестных поступков и лицемерия — то, что в прошлом сходило с рук властям предержащим. Так что благодаря более резкой манере освещения новостей, начатой телевидением, наше общество стало немного лучше, чуть чище, а принципы, которых держится наша страна, — ближе к тем, какими они должны быть. Что же до президентов, папа, то если кто-то из них выглядит мелковато — а большинство именно так и выглядит, — этим они обязаны только себе. Да, безусловно, мы, журналисты, время от времени этому способствуем, потому что мы скептики, а иногда и циники, и часто не верим тому, чем, подсластив водичку, поят нас президенты. Но грязные дела, которые творятся в коридорах власти — во всех коридорах власти, — дают нам достаточно оснований вести себя так, как мы себя ведем...

— Когда я воевал, — сказал Энгус, — а к твоему сведению, Никки, это была вторая мировая война, — репортеры вели себя иначе, чем сегодня. Мы тогда считали, что те, кто писал о ней и говорил по радио, были всегда на нашей стороне. Теперь такого больше нет...

— А когда ты был на войне, — спросил Никки, — ты очень боялся?

— Господи, Никки! Боялся? Да я был в ужасе. Когда вокруг рвались снаряды зениток и в воздухе полно было острых, как бритва, кусков стали, которые могли всего тебя изрезать... когда строем летели немецкие бомбардировщики, паля из пулеметов и пушек, и казалось, что целятся именно в тебя... когда ты видел, как рядом с тобой другой «Б-17» камнем падает вниз, иной раз в огне, а иной раз крутясь в штопоре, и ты понимал, что команда не сможет выбраться оттуда и спуститься на парашюте... и все это происходило на высоте в двадцать семь тысяч футов, и воздух был такой холодный и разряженный, что если вспотеешь от страха, пот замерзнет, и даже с кислородной маской трудно было дышать... Так что сердце у меня перемещалось в пятки, а иногда казалось, и все кишки тоже... Но вот что я хочу тебе сказать, Никки: это естественно, когда человек до смерти чего-то боится. Такое может быть с самыми лучшими людьми. Важно не пойти ко дну, держать себя в руках и делать то, что, ты считаешь, надо делать.

— Понял, дед.

Голос у Никки звучал сухо, и Кроуфорд подумал: интересно, все ли он понял. Наверное, многое. Никки был мальчик умный и добрый. А сам он, подумал Кроуфорд, старался ли он в прошлом лучше понять отца.

Он взглянул на часы. Пора двигаться. Обычно он приезжал в Си-би-эй в 10.30, но сегодня надо быть раньше, так как он хотел повидать руководителя отдела по поводу Чака Инсена — настало время снимать его с ответственного за выпуск «Вечерних новостей». Слоуна все еще бесило воспоминание о стычке с Инсеном накануне, и он был преисполнен решимости добиться изменений в подборе кадров для «Новостей».

Кроуфорд встал из-за стола и, извинившись, поднялся к себе, чтобы одеться...

Надев пиджак, он посмотрелся в зеркало и, удовлетворенный своим видом, спустился вниз.

Он попрощался с Джессикой и с Никки, затем подошел к отцу и сказал:

— Ну-ка встань.

Энгус в изумлении посмотрел на него. Кроуфорд повторил:

— Встань же.

Энгус отодвинул стул и медленно поднялся. Инстинктивно, как с ним часто бывало, он встал по стойке «смирно».

Кроуфорд подошел к отцу, крепко обнял его и расцеловал в обе щеки.

Старик явно удивился и даже покраснел.

— Эй, эй! Это еще что такое?..

— Я люблю тебя, старый ты чудак.

У порога Кроуфорд обернулся. По лицу Энгуса расплылась блаженная улыбка. У Джессики на глазах были слезы. А Никки так и сиял.

Карлос и Хулио с удивлением увидели, что Кроуфорд Слоун выехал из дома раньше обычного. Они тотчас условным кодом сообщили об этом своему шефу Мигелю.

К этому времени Мигель уже выехал из оперативного центра в Хакенсаке и вместе с другими ехал в пикапе «ниссан», снабженном радиотелефоном, по мосту Джорджа Вашингтона, соединяющему Нью-Джерси с Нью-Йорком.

Мигеля это известие ничуть не смутило. В свою очередь, он передал зашифрованный приказ, что все планы остаются в силе, время их осуществления при необходимости можно приблизить. А сам подумал: «Намеченная акция явится для всех полной неожиданностью; логически она никак не будет оправдана, и очень скоро возникнет вопрос — зачем?».

10

Приблизительно в то время, когда Кроуфорд Слоун выехал из своего дома в Ларчмонте, направляясь в Си-би-эй, Гарри Партридж проснулся в Канаде — это было в Порт-Кредите, близ Торонто. Спал он крепко и, проснувшись, в первые минуты не мог понять, где находится. Это случалось с ним часто, поскольку просыпался он в самых разных местах.

Когда мысли его пришли в порядок, он оглядел знакомую комнату и понял, что если сесть в постели — чего пока он еще не склонен был делать, — то в окно видны будут широкие просторы озера Онтарио.

Это была база Партриджа, его логово, но из-за работы, требовавшей постоянных переездов, он приезжал сюда в течение года лишь ненадолго. И хотя тут были его вещи — одежда, книги, фотографии в рамках, сувениры, привезенные в разные времена из разных мест, — квартира не была записана на его имя. Как гласила карточка рядом со звонком в вестибюле шестью этажами ниже, официальным квартиросъемщиком была В. Уильямс (В. — означало Вивиен).

Каждый месяц, в каком бы уголке земного шара Партридж ни был, он посылал Вивиен чек для уплаты за квартиру, а она за это жила в его норе и поддерживала порядок. Такой уговор — включая то, что время от времени они спали вместе, — устраивал обоих.

Вивиен работала медсестрой неподалеку, в больнице на Куинсуэй, а сейчас, слышал Партридж, хлопотала на кухне. По всей вероятности, готовит чай, — а она знала, что он любит пить чай по утрам, — и скоро принесет его. Тем временем мысли Партриджа вернулись к событиям, происшедшим накануне, и к тому, как он летел потом из Далласа в Торонто на запоздавшем самолете...

В спальню вошла Вивиен, неся на подносе утренний чай.

Ей перевалило за сорок — у нее было резко очерченное лицо и прямые черные волосы, в которых проглядывала седина. Она не была ни красивой, ни, как принято говорить, хорошенькой, но теплой и щедрой, — с ней было легко. Вивиен овдовела еще до знакомства с Партриджем, причем замужество ее, как он догадывался, было не из удачных, хотя она редко говорила о нем. У нее была дочь, жившая в Ванкувере. Время от времени девушка приезжала в Торонто, но Партридж ни разу не видел ее.

Партриджу нравилась Вивиен, хотя он и не был в нее влюблен и, поскольку знал ее достаточно долго, понимал, что никогда не полюбит. А вот Вивиен, как он подозревал, любила его... Но мирилась с их отношениями, не требуя большего.

Пока Партридж пил чай, Вивиен критически оглядывала его: она обнаружила, что он еще больше похудел, а лицо его, хоть оно и казалось по-прежнему мальчишечьим, прорезали морщины усталости и напряжения. Лохматая грива, в которой стала заметна седина, нуждалась в стрижке.

Заметив, что она его разглядывает, Партридж спросил:

— Ну-с, и какой же будет приговор?

Вивиен с наигранным отчаянием покачала головой.

— Ты только посмотри на себя! Ты же уехал от меня здоровым и крепким. А через два с половиной месяца вернулся усталый, бледный, изголодавшийся.

— Знаю, Вив. — Он состроил гримасу. — Такая уж у меня жизнь. Огромное напряжение, спать ложусь в самое непотребное время, ем черт знает что и пью. — И с улыбкой добавил: — Так что вот — приехал, как всегда, в разобранном состоянии. Чем меня порадуешь?

— Для начала дам тебе хороший завтрак, чтоб ты поел «здоровой пищи», — со смесью решительности и дружелюбия сказала она. — Можешь не вставать — я все тебе принесу. Затем будешь есть всякие питательные вещи вроде рыбы и дичи, свежих овощей и фруктов. Как позавтракаешь, я подстригу тебя. А потом отведу в сауну и на массаж — я уже договорилась.

Партридж откинулся на подушки и выбросил вверх руки.

— Отлично!

— Завтра, — продолжала Вивиен, — тебе, наверно, захочется повидать старых приятелей в Си-би-си — ты всегда ведь с ними встречаешься. Но на вечер я взяла нам билеты на концерт Моцарта в зале Роя Томсона в Торонто. Пусть музыка вымоет из тебя всю грязь. Я знаю, ты это любишь. А помимо этого будешь отдыхать и делать, что хочешь. — Она передернула плечами. — Может, в промежутках тебе захочется побаловаться и в постели. Вчера ты уже пытался, но слишком был усталый. Сразу заснул.

Партридж почувствовал безмерную благодарность к Вивиен. Надежная она — как скала. Накануне в аэропорту Торонто, хотя самолет приземлился поздно ночью, она терпеливо ждала его и затем привезла сюда.

— А тебе разве не нужно на работу? — спросил он.

— У меня есть несколько неиспользованных выходных. Я договорилась, что возьму их, начиная с сегодняшнего дня. Меня заменит другая сестра.

— Вив, такая, как ты, встречается одна на миллион, — сказал он ей.

Вивиен ушла готовить завтрак, и мысли Партриджа вернулись к вчерашнему дню.

Он вспомнил о звонке Кроуфорда Слоуна, поздравившего его... Две недели тому назад у него был разговор с Чаком Инсеном, который, предупредив, что «разговор будет деликатный и личный», сообщил, что в «Вечерних новостях на всю страну» предстоят серьезные перемены. «Если это произойдет, — сказал тогда Инсен, — не хотел ли бы ты вернуться с холода и стать ведущим? У тебя это чертовски хорошо получается».

Партридж настолько удивился, что не знал, как реагировать. Тогда Инсен сказал: «Можешь сейчас не давать мне ответа. Я просто хотел, чтобы ты подумал — на случай, если потом я к тебе с этим вопросом обращусь».

Впоследствии по своим каналам Партридж узнал, что между Чаком Инсеном и Кроуфордом Слоуном идет борьба за власть. Но даже если Инсен победит, что представлялось нереальным, Партридж сомневался, захочет и сможет ли он стать ведущим. Особенно, с усмешкой сказал он себе, когда в стольких точках планеты еще гремят пушки.

Ну и всякий раз, когда он думал о Кроуфорде Слоуне, в памяти неизбежно возникала Джессика — хотя это было уже лишь воспоминанием, так как между ними ничего теперь не было, даже случайных разговоров, — да и в обществе они сталкивались редко, может быть, раз-другой в году...

В спальне снова появилась Вивиен и начала постепенно приносить, как и обещала, «здоровую пищу»: свежевыжатый апельсиновый сок, густую овсяную кашу с бурым сахаром и молоком, затем — яичницу на белом хлебе, крепкий черный кофе, который она смолола перед самой заваркой, и наконец — тосты с медом...

11

Каждый четверг Джессика утром отправлялась за покупками. Узнав об этом, Энгус решил поехать с ней. И Никки, у которого не было занятий в школе, попросил, чтобы его тоже взяли вместе с дедушкой.

— А разве тебе не надо упражняться на рояле? — спросила Джессика.

— Да, мам. Но я могу ведь поиграть и позже. У меня еще будет время.

Джессика, зная, что Никки очень добросовестный мальчик — он просиживал иногда за роялем по шесть часов в день, — не стала возражать.

Они втроем выехали из дома на «вольво-универсале» Джессики незадолго до 11 часов, то есть через час с четвертью после отъезда Кроуфорда. Утро было чудесное, деревья стояли в золотом убранстве осени, и на водах залива блестело солнце.

Флоренс, служанка, приходившая на день к Слоунам, видела из окна, как троица отъехала. Видела она и то, как из боковой улочки выехала машина и последовала за «вольво». В тот момент она не придала этому значения.

Джессика по обыкновению остановилась у супермаркета на Чэтсуорс-авеню. Она поставила свою «вольво» на стоянку и вместе с Энгусом и Никки вошла в магазин.

Колумбийцы Хулио и Карлос, следовавшие на почтительном расстоянии за «универсалом» на своем «шевроле», наблюдали за ними. Карлос, уже сообщивший об отъезде Джессики из дома по радиотелефону, передал теперь, что «три пакета находятся в контейнере номер один».

На этот раз за рулем сидел Хулио, и он не стал сворачивать на площадку для стоянки машин, а вел наблюдение с улицы. Карлос же, следуя указаниям Мигеля, вылез из «шевроле» и пошел в супермаркет. В противоположность предшествовавшим дням, когда он был одет весьма небрежно, сегодня на нем был аккуратный коричневый костюм и галстук.

Увидев, что Карлос на месте, Хулио погнал «шевроле» — на случай, если их приметили, — в Хакенсак.

Первые два телефонных сообщения Мигель принял в пикапе «ниссан», стоявшем неподалеку от ларчмонтского вокзала. Здесь пикап был окружен машинами, которые оставляли те, кто ездил в Нью-Йорк на службу, и никому не мог броситься в глаза. С Мигелем находились Луис, Рафаэль и Бауделько — правда, ни одного из четверых не было видно, так как боковые и задние стекла машины были прикрыты тонкими затемненными пластмассовыми шторками. За рулем пикапа сидел Луис.

Когда стало известно, что из дома Слоуна выехали трое, Рафаэль воскликнул:

— Ай! Значит el viejo * — с ними. Он может нам помешать.

— Тогда мы уберем старого пердуна, — сказал Луис. И дотронулся до бугра под своей замшевой курткой. — Одной пули хватит.

— Будь любезен следовать приказам, которые тебе дают, — рявкнул на него Мигель. — Ничего не делать без моего разрешения.

Он уже заметил, что Рафаэль и Луис все время агрессивно настроены и, подобно тлеющему под пеплом огню, готовы в любой момент взорваться. Рафаэль, отличавшийся могучим телосложением, был некоторое время профессиональным боксером и с той поры у него остались заметные шрамы. Луис же прошел службу в колумбийской армии — это была суровая, жестокая школа. Злобность, свойственная этой паре, еще пригодится, но пока ее следовало всячески укрощать.

Мигель уже думал о том, что появление третьего человека может многое осложнить. Их давно задуманный план предусматривал только жену Слоуна и мальчишку. Именно они — а не Кроуфорд Слоун — были предметом интереса «Сендеро луминосо» и «Медельинского картеля». Этих двоих следовало схватить и держать в качестве заложников, а что за них просить, — пока еще было неясно.

Но теперь возник вопрос, как быть со стариком. Убить его, как предлагал Луис, было бы легко, но тогда могут возникнуть другие проблемы. Мигель решил, что не станет об этом думать до критического момента, который был уже не за горами.

В одном им повезло. Баба и мальчишка были вместе. За время тщательного наблюдения они выяснили, что жена Слоуна всегда ездит за покупками в четверг утром. Мигель знал также, что у мальчишки сегодня нет занятий в школе. Карлос позвонил по телефону в школу на Чэтсуорт-авеню, куда ходил Николас, и, представившись родственником, получил нужную информацию. Мигель и его команда не знали только, как взять одновременно жену Слоуна и мальчишку. А теперь, сами того не ведая, они решили эту проблему за Мигеля.

---

* Старик (исп.).

Когда Карлос позвонил вторично и сообщил, что все трое Слоунов зашли в супермаркет, Мигель кивнул Луису:

— О'кей! Поехали!

Луис включил мотор. Остановятся они теперь лишь на площадке для машин возле магазина.

Во время пути Мигель повернулся и посмотрел на Бауделько, продолжавшего внушать ему беспокойство.

Бауделько не было еще и шестидесяти, но выглядел он на двадцать лет старше. Тощий, с квадратной челюстью, нездоровым цветом лица и обвислыми седыми усами, которые он почти никогда не стриг, Бауделько напоминал ходячее привидение. Он был в свое время врачом-анестезиологом, практиковавшим в Бостоне, и пил... Лет десять тому назад Бауделько лишили права заниматься медициной после того, как он под пьяную руку дал пациенту перед операцией слишком большую дозу наркоза. С ним такое и раньше бывало, и коллеги выгораживали его, но в данном случае пациент умер, и мимо этого пройти было уже нельзя.

Будущего в Штатах у него не было, к тому же не было ни родных, ни детей. Даже жена ушла от него. Раньше он несколько раз бывал в Колумбии и, за неимением лучшего, решил поселиться там. Через некоторое время он обнаружил, что может использовать свои изрядные медицинские способности для всяких темных, порой даже преступных дел, не вызывая подозрений. Капризничать ему не приходилось, и он соглашался на все, что предлагали. Он читал медицинские журналы и благодаря этому находился на уровне современных достижений по своей специальности. Потому-то «Медельинский картель», на который он уже и раньше работал, и выбрал его для выполнения задания.

Все это было заранее сообщено Мигелю, причем его предупредили, что во время задания Бауделько нельзя и близко подпускать к алкоголю. А чтобы бывший врач не забывал о запрете, он должен принимать ежедневно по таблетке антабуса. Человек, выпивший вина после принятия антабуса, тяжело болеет потом, что было хорошо известно Бауделько. Поскольку алкоголики склонны потихоньку выплевывать таблетку, Мигеля предупредили, чтобы он следил за этим: Бауделько должен проглатывать антабус. Мигель выполнял инструкции, но удовольствия ему это не доставляло.

Учитывая склонность Бауделько к выпивке, Мигель решил не доверять ему оружия. Таким образом, Бауделько был единственным невооруженным участником операции.

Сейчас, поглядев исподтишка на Бауделько, Мигель спросил:

— Ты готов? Ты понял, как надо действовать?

Бывший врач кивнул...

Это лишь отчасти успокоило Мигеля. Но перед ними был супермаркет, и Мигель отвернулся от бывшего врача.

Карлос увидел, как подъехал пикап. На стоянке было немного машин, и «ниссану» удалось въехать на свободное место рядом с «универсалом» Джессики. Проследив за этим, Карлос вошел в магазин.

А тем временем Джессика, указав на свою, уже наполненную, тележку, спросила Энгуса:

— Если вам еще чего-то хочется, берите и кладите.

— Дед любит икру, — заявил Никки.

— Мне бы следовало об этом вспомнить, — сказала Джессика. — Давайте возьмем.

Они прошли в гастрономический отдел и обнаружили там большой выбор икры. Энгус, посмотрев на цены, сказал:

— До чего же дорого — просто ужас.

— А вы имеете представление о том, сколько зарабатывает ваш сын? — тихо спросила Джессика.

Старик улыбнулся и так же тихо произнес:

— Я где-то читал — около трех миллионов долларов в год.

— Приблизительно. — Джессика рассмеялась: ей всегда было хорошо с Энгусом. — Так швырнем немножко на ветер. — И она указала на банку белужьей икры, стоившую 199,95 доллара. — Полакомимся сегодня перед ужином — в виде закуски к коктейлям.

В этот момент Джессика заметила худощавого, хорошо одетого молодого человека, который подошел к стоявшей неподалеку покупательнице. Он ее о чем-то спросил. Женщина отрицательно мотнула головой. Молодой человек подошел к другой покупательнице. Снова спросил и снова получил отрицательный ответ. Заинтригованная, Джессика не спускала глаз с молодого человека, а он направился к ней.

— Извините, мэм, — сказал Карлос. — Я тут ищу одного человека.

Джессика заметила его испанский акцент, но в Нью-Йорке это не редкость. Ей показалось также, что у говорившего был уж очень холодный, жесткий взгляд, но в конце концов, какое ей до него дело.

— Да? — сказала она.

— Некую миссис Кроуфорд Слоун.

Джессика вздрогнула.

— Я миссис Слоун.

— Ох, мэм, у меня для вас скверная новость. — Лицо у Карлоса было серьезное: он хорошо играл свою роль. — Ваш муж попал в аварию. Он тяжело ранен. «Скорая помощь» отвезла его в Докторскую клинику. Меня послали за вами, чтоб туда отвезти. Горничная у вас дома сказала мне, что вы поехали сюда.

Джессика охнула и помертвела. Рука ее инстинктивно схватилась за горло. Подошедший Никки, услышав последние фразы, стоял как громом пораженный.

Энгус, которого тоже потрясла эта весть, первым пришел в себя.

— Джесси, оставь все это, — сказал он, указывая на покупки. — Поехали.

— Это с папой случилось, да? — спросил Никки.

— К сожалению, да, — с серьезной миной ответил Карлос.

— Да, дорогой, — сказала Джессика, обнимая Никки. — Сейчас мы поедем к нему.

— Прошу вас, следуйте за мной, миссис Слоун, — сказал Карлос.

Джессика и Никки, все еще ошарашенные страшной вестью, быстро направились вместе с молодым человеком в коричневом костюме к главному выхода из магазина. Энгус шел следом. Что-то смущало его, но он не был уверен — что именно.

Выйдя на автостоянку, Карлос пошел вперед, к пикапу «ниссан», стоявшему рядом с «вольво». Обе дверцы его со стороны «вольво» были открыты. Карлос увидел, что за рулем «ниссана» сидит Луис и мотор работает. Человеком, смутно просматривавшимся в глубине, очевидно, был Бауделько. Рафаэля и Мигеля видно не было.

Остановившись возле «ниссана», Карлос сказал:

— Мы поедем на этой машине, мэм. Это будет...

— Нет, нет! — воскликнула, волнуясь, Джессика и стала шарить в сумке в поисках ключа от машины. — Я поеду в своей машине. Я знаю, где находится Докторская клиника...

Карлос встал между «вольво» и Джессикой. Схватив ее за локоть, он сказал:

— Мы предпочитаем, мэм.

Джессика попыталась высвободить руку, но Карлос лишь крепче сжал ее и подтолкнул к пикапу.

— Это еще что такое? Прекратите! — возмутилась Джессика. Впервые мысль ее вышла за пределы страшной вести.

А Энгус, находившийся немного позади, вдруг понял, что́ его смутило. Этот странный молодой человек сказал в магазине: «Он тяжело ранен. „Скорая помощь" отвезла его в Докторскую больницу».

Но в эту больницу не принимают пострадавших от аварий. Энгус случайно узнал об этом, когда несколько месяцев тому назад посещал в этой больнице своего старого товарища, бывшего летчика. Докторская больница, большая и широко известная клиника, находилась рядом с резиденцией мэра, по пути Кроуфорда на работу. **Но людей, попавших в аварию, везут в Нью-Йоркскую больницу, что в нескольких кварталах южнее...** Это знают все шоферы „скорой помощи"...

Значит, этот парень врет! И его появление в магазине подстроено! Да и то, что происходило сейчас, выглядело странно. Из-за пикапа вышли двое — их вид совсем не понравился Энгусу. Один из них, здоровенный

детина, вместе с тем, который подошел к ним в магазине, стал заталкивать Джессику в фургон! Николас стоял чуть позади.

Энгус крикнул:

— Джессика, не садись туда! Никки, беги! Позови...

Он так и не докончил фразы. Рукоятка пистолета с силой опустилась ему на голову. Энгус почувствовал резкую боль, все вокруг завертелось, и он без сознания рухнул на землю. А Луис, мгновенно выскочивший из машины и ударивший его, тем временем сгреб в охапку Никки.

— Помогите! Кто-нибудь... пожалуйста... помогите! — закричала Джессика.

Рафаэль, помогавший Карлосу справиться с Джессикой, накрыл ей рот своей лапищей, а другой рукой втолкнул в пикап. Затем впрыгнул туда сам и скрутил ее, а она кричала и отбивалась... Рафаэль рявкнул на Бауделъо.

Бывший врач достал из своей медицинской сумки марлевый тампон, только что пропитанный этил-хлоридом. Он приложил марлю к носу и ко рту Джессики и подержал. Глаза ее тотчас закрылись, тело обмякло, и она потеряла сознание. Бауделъо удовлетворенно вздохнул, хоть и знал, что этил-хлорид будет действовать всего пять минут.

Теперь и Николаса, как он ни упирался, втащили в пикап. Карлос держал его, и Бауделъо сделал ему укол.

Затем, взяв ножницы, он быстро разрезал рукав платья Джессики и ввел ей в предплечье целый шприц. Это был мидазолам, сильно действующее снотворное, благодаря которому Джессика будет находиться без сознания по крайней мере час. Такой же укол он сделал и мальчику.

Тем временем Мигель подтащил к пикапу лежавшего без сознания Энгуса. Рафаэль спрыгнул на землю и выдернул из-за пояса пистолет-автомат.

— Дай я его прикончу! — сказал он Мигелю, сбросив предохранитель.

— Нет, не здесь!

Вся операция по захвату бабы и мальчишки прошла поразительно быстро — она заняла не больше минуты. К изумлению Мигеля, никто, казалось, не видел, что произошло. Во-первых, их прикрывали две машины, а кроме того, по счастью, никто не проходил мимо... Но если оставить тут старика, — а из раны на голове у него обильно текла кровь, — сразу забьют тревогу. Мигель принял решение и приказал:

— Помоги-ка мне погрузить его.

Несколько секунд — и дело было сделано. Затем Мигель сам залез в пикап и, уже закрывая боковую дверь, увидел, что ошибся: без свидетелей не обошлось. Ярдах в двадцати от них, между двух машин, стояла, опершись на палку, седая пожилая женщина и смотрела на них. Вид у нее был растерянный и озадаченный.

Когда Луис стал выруливать машину, женщину заметил и Рафаэль. Он быстро схватил «беретту» и прицелился через заднее окно.

— Нет! — рявкнул на него Мигель.

Плевать на старуху — лучше все-таки удрать, пока не поднялась тревога. Оттолкнув в сторону Рафаэля, Мигель весело крикнул:

— Не пугайтесь. Это мы снимаем кино.

Он заметил, как с облегчением заулыбалась женщина. Они выехали со стоянки, а вскоре и из Ларчмонта. Луис умело вел машину и не терял времени зря. Через пять минут они уже были на шоссе 95, пересекающем Новую Англию, и мчались на юг.

12

Было время, когда Присцилла Ри славилась в Ларчмонте своим острым умом. Она была школьной учительницей и вбивала в головы нескольких поколений местных юнцов основы извлечения квадратного корня и решение уравнений с алгебраическими величинами «х» и «у». Присцилла прививала им также чувство гражданской ответственности и учила никогда не уклоняться от выполнения своего долга.

Но все это было давно — до того, как Присцилла вышла на пенсию пятнадцать лет тому назад, — а потом возраст и болезни сломили ее тело, притупили мозг. Теперь она поседела, стала совсем хрупкой и медленно передвигалась, опираясь на палочку, а о своих мыслительных способностях с отвращением говорила, что голова у нее работает «со скоростью трехногого осла, поднимающегося в гору».

Тем не менее сейчас Присцилла мобилизовала все свои мыслительные способности...

Она видела, как двух людей — женщину и мальчика — сажали в такой маленький как бы автобусик явно против их воли. Они, несомненно, сопротивлялись, и Присцилле показалось, что она слышала, как женщина что-то крикнула, хотя на этот счет она не была уверена, так как слух у нее тоже сдал, как и все остальное. Затем в ту же машину внесли мужчину, который, похоже, был без сознания и притом ранен.

Она, естественно, встревожилась, но тревога ее улеглась, когда ей крикнули, что это снимают кино. Ничего тут не скажешь. Киношников и телевизионщиков нынче можно встретить повсюду: они снимают на натуре и даже берут прямо на улице интервью для теленовостей.

Но лишь только автобусик уехал, Присцилла посмотрела вокруг в поисках камер и операторов и никого не обнаружила. Она рассудила вполне здраво, что не могла же киногруппа так быстро исчезнуть, если она вообще была.

Впрочем, ни к чему ей так волноваться — вполне возможно, что в голове у нее все перепуталось, как уже бывало не раз. Самое разумное, сказала она себе, пойти в магазин, сделать нужные покупки и заниматься своим делом. Но ведь она всю жизнь следовала принципу не уклоняться от ответственности, так что и сейчас не должна так поступать. Как бы ей хотелось с кем-то посоветоваться, и тут она увидела Эрику Маклин, одну из своих бывших учениц, тоже направлявшуюся в супермаркет.

Эрика, уже ставшая мамашей, спешила; тем не менее она приостановилась и любезно осведомилась:

— Как поживаете, мисс Ри?..

— Да вот что-то я в растерянности, дорогая, — ответила Присцилла.

— Почему, мисс Ри?

— Я что-то видела... Правда, не уверена, что видела именно то. Мне б хотелось знать, что ты на это скажешь. — И Присцилла описала сцену, отчетливо запечатлевшуюся в ее мозгу.

— И вы уверены, что никакой киногруппы не было?

— Я во всяком случае никого не видела. А ты видела, когда шла сюда?

— Нет. — Эрика Маклин вздохнула про себя. Она нимало не сомневалась, что милой старенькой Присцилле все это привиделось, а ей, Эрике, просто не повезло, что она в этот момент попалась Присцилле на пути и та ее заарканила. Но не может же она взять и распрощаться со старой гусыней — она все-таки искренне любит старушку, поэтому надо забыть, что она торопится, и попытаться успокоить Присциллу.

— Где же это все случилось? — спросила Эрика.

— Да вон там. — И Присцилла указала на пустое место рядом с «универсалом» Джессики. Они обе направились туда. — Вот тут! — сказала Присцилла. — Это случилось как раз тут.

Эрика огляделась вокруг. Она ничего не ожидала увидеть — и не увидела. Но уже поворачиваясь, чтобы уйти, вдруг заметила на земле несколько лужиц. На черном покрытии площадки жидкость казалась темно-коричневой. По всей вероятности, масло. А может быть, нет? Эрика из любопытства нагнулась и дотронулась до лужицы. А через секунду уже с ужасом смотрела на свои пальцы. Они были, бесспорно, в крови, притом еще теплой.

В полицейском управлении Ларчмонта, в небольшом, но хорошо натасканном подразделении, утро прошло тихо. Дежурный сидел в своей стеклянной будке, потягивал кофе и просматривал местную газету «Саунд-Вью ньюс», когда зазвонил телефон — звонили из автомата на углу Бостон-Пост-роуд, находившемся в полуквартале от супермаркета.

Сначала говорила Эрика Маклин. Представившись, она сказала:

— Со мной тут рядом дама — мисс Присцилла Ри...

— Я знаю мисс Ри, — сказал дежурный.

— Так вот, ей кажется, что она видела, как было совершено преступ-

ление, по всей вероятности, похищение. Я хотела бы, чтобы вы поговорили с ней.

— Мы поступим иначе,— сказал дежурный.— Я вышлю нашего сотрудника с патрульной машиной, и вы все ему расскажете. Где вы находитесь, леди?

— Мы возле супермаркета.

— Стойте там, пожалуйста. К вам подъедут через две-три минуты...

С тех пор как пикап с Джессикой, Николасом и Энгусом выехал с площадки для машин перед супермаркетом, прошло одиннадцать минут.

Молодой полицейский по имени Дженсен внимательно выслушал Присциллу Ри, которая во второй раз рассказывала все уже более уверенно. Она даже вспомнила две дополнительные подробности: цвет так называемого автобусика — светло-бежевый — и то обстоятельство, что у него были затемненные стекла. Нет, она не заметила номера и даже где зарегистрирована машина — в Нью-Йорке или в каком-нибудь другом штате.

Первоначально полицейский, хотя он этого ничем не выказал, отнесся к ее рассказу скептически. Полицейские привыкли к тому, что горожане чего-то пугаются, а потом оказывается, что это сущая ерунда; подобные случаи происходили каждый день, даже в таком маленьком местечке, как Ларчмонт. Но молодой полицейский был человек добросовестный, он внимательно все выслушал и тщательно записал.

С уже гораздо большим интересом он выслушал Эрику Маклин, женщину на вид серьезную и разумную, когда она рассказала про лужицы на асфальте, производившие впечатление крови. Они вдвоем отправились это проверить. К тому времени бóльшая часть жидкости высохла, хотя еще были влажные места, и когда они дотронулись до жижи, пальцы оказались красными. Конечно, это еще не значило, что перед ними была человеческая кровь. Однако, решил Дженсен, рассказ старушки выглядит теперь более достоверным и требует срочного принятия мер.

Возвратясь к Присцилле, они обнаружили, что она разговаривает с несколькими людьми, полюбопытствовавшими, что происходит.

Один из мужчин вдруг сказал:

— Полисмен, я был в магазине и видел, как из дверей поспешно вышли четверо — двое мужчин, женщина и мальчик. Они так спешили, что женщина даже не взяла своих покупок. Так и оставила полную тележку.

— Я тоже их видела,— сказала женщина.— Это была миссис Слоун, жена ведущего на телевидении. Она часто приезжает сюда за покупками. Вид у нее был, когда она уходила, очень расстроенный — будто случилось что.

— Вот странно,— сказала другая женщина.— Какой-то мужчина подходил ко мне и спрашивал, не я ли миссис Слоун. Он и других спрашивал тоже.

— А кто-нибудь из вас видел то, что эта дама,— и он указал на Присциллу,— называет «маленьким автобусиком светло-бежевого цвета»?

— Да, я видел,— сказал мужчина, который говорил первым.— Он как раз въезжал на площадку, когда я шел к магазину. Это был пикап марки «ниссан».

— А вы не заметили номера?

— Заметил только, что он из Нью-Джерси. О, да, еще вот что — у него были затемненные стекла того типа, когда изнутри видишь, а тебя не видно.

— Стойте, стойте! — сказал полицейский.— Всех, кто может еще что-то сказать, а также кто уже дал мне информацию, прошу побыть здесь. Я сейчас вернусь.

Он быстро залез в полицейскую машину, которую оставил возле супермаркета, и схватил радиотелефон.

«Машина четыреста двадцать три — Центру. Возможно, совершено похищение людей со стоянки возле универсама. Прошу помощи. Даю описание машины возможных угонщиков: пикап „ниссан", цвет — светло-бежевый. Зарегистрирован в Нью-Джерси, номер неизвестен. Затемненные стекла. Три человека были, по всей вероятности, похищены неизвестными, приехавшими в пикапе».

Это сообщение будет услышано всеми полицейскими машинами в Ларчмонте, равно как и в соседних Мамаронек-Таун и Мамаронек-Вилледж. Дежурный по прямому проводу автоматически поставит в известность все полицейские силы в близлежащем округе Уэстчестер, а также оповестит полицию штата Нью-Йорк. Полиция штата Нью-Джерси пока информирована не будет.

А возле супермаркета уже слышались сирены двух приближавшихся полицейских машин, которые мчались для подкрепления.

С тех пор, как пикап «ниссан» выехал со стоянки, прошло почти двадцать минут.

Пикап «ниссан» находился милях в восьми и собирался съехать с автострады № 1 — 95 и углубиться в лабиринт улочек Бронкса.

Луис перевел машину в правый ряд, готовясь к повороту. И он, и Мигель внимательно смотрели, нет ли сзади погони. Ничего не было.

Тем не менее, когда они съехали с автострады, Мигель рявкнул Луису:

— Да двигай же! Двигай!

Со времени отъезда из Ларчмонта Мигеля не покидала мысль, не совершил ли он ошибки, не позволив Рафаэлю убить ту старуху на стоянке. Она ведь вполне могла не поверить тому, что он сказал насчет съемок. И сейчас могла поднять тревогу. Полиции, возможно, уже даны их описания.

Луис выжимал максимальную скорость, с какою машина могла ехать по плохо мощеным улицам Бронкса.

С тех пор как они покинули Ларчмонт, Бауделью уже несколько раз проверял, живы ли двое пленников, которым он сделал уколы,— похоже, все было нормально. По его подсчетам, мидазолам продержит женщину и мальчишку в бессознательном состоянии еще час. Если же они придут в себя раньше, Бауделью вколет им еще, хотя он предпочитал бы этого не делать — тогда придется отсрочить выполнение более сложной медицинской задачи, которую ему предстояло решать в конце поездки.

Помимо этого он остановил кровотечение у старика и перевязал ему голову. Старик начал шевелиться и слегка постанывать. Предвидя возможные осложнения, Бауделью набрал в шприц мидазолама и сделал старику укол. Тот сразу перестал шевелиться и стонать. Бауделью понятия не имел, какая судьба ждет старика. Скорее всего Мигель пристрелит его и избавится от трупа в удобном месте — за время своей работы на «Медельинский картель» Бауделью не раз наблюдал такое. В общем, его это ничуть не волновало. Он давно перестал волноваться за жизнь других людей.

Рафаэль вытащил бурые одеяла, и они с Карлосом завернули в них женщину, мальчишку и старика — так, чтобы из одеяла торчала лишь голова. При этом был оставлен достаточно большой угол одеяла, чтобы накрыть им голову, когда узников будут вытаскивать из пикапа. Карлос перевязал каждый из живых свертков веревкой, чтобы они больше походили на обычный груз.

Ехали они теперь по Коннер-стрит в Бронксе — это была серая унылая безлюдная улица. Луис отлично знал дорогу: они дважды проезжали тут, готовясь к операции. На углу стояла заправочная станция «Тексако» — они свернули за ней направо в полупустынный промышленный район. На дороге время от времени попадались припаркованные грузовики — казалось, они давно стоят тут. А людей почти не было.

Луис остановил пикап возле длинной стены заброшенного склада. Не успел он остановиться, как стоявший на противоположной стороне фургон переехал через улицу и встал чуть впереди пикапа. Фургон был белый, фирмы «Дженерал моторс», по обоим его бокам шла надпись: «Супрхлеб»...

Дверь пикапа открылась, и живые свертки с закрытыми одеялом лицами были быстро перенесены Рафаэлем и Карлосом в фургон. Бауделью, собрав свои медицинские приспособления, последовал за ними.

А Мигель с Луисом занялись пикапом. Мигель сорвал темные тонкие пластмассовые шторки с окон: они сыграли свою роль, теперь же могли послужить опознавательным знаком, так что от них надлежало избавить-

ся. Луис достал из-под сиденья водителя заранее заготовленные планки с нью-йоркскими номерами...

В преступных кругах было налажено производство таких планок, и, хотя это было дело противозаконное, оно не значилось в имевшихся у полиции списках запретного бизнеса, а потому планки стоили во много раз дороже своей реальной цены.

Мигель выскочил из пикапа с пластмассовыми шторками и бросил их в стоявший неподалеку переполненный контейнер для мусора. Луис принес планки с номерами Нью-Джерси и сунул их туда же.

Затем Луис сел за руль фургона... Резко развернувшись, они помчались назад, к автостраде, и меньше чем через десять минут, уже в фургоне, продолжили свой путь на юг.

А Карлос сел за руль пустого пикапа и тоже развернулся. Он тоже выехал на автостраду, но поехал на север. Теперь, когда с окон были убраны затемненные шторки, а вместо нью-джерсийского номера была планка с нью-йоркским номером, пикап ничем не отличался от тысяч подобных ему машин и совсем не походил на тот, чье описание было распространено ларчмонтской полицией.

Карлос получил задание избавиться от пикапа — эта операция тоже была тщательно спланирована. Проехав три мили по автостраде, он свернул с нее и уже не по магистрали проехал еще двенадцать миль на север, до Уайт-Плейнза. Там он подъехал к общественному гаражу — четырехэтажному зданию, примыкавшему к большому торговому комплексу.

Карлос поставил машину на третьем этаже и, с внешне небрежным видом, принялся за дело. Ближайших соседей, садившихся в машины или вылезавших из них, явно ничуть не интересовал ни Карлос, ни пикап.

Первым делом Карлос протер все поверхности, чтобы уничтожить следы пальцев. Делалось это на случай, если власти найдут пикап. А потому Карлосу следовало исключить такую возможность.

Из шкафчика в пикапе Карлос достал распылитель стирофома. Он вскрыл баллончик, и там оказалось изрядное количество пластиковой взрывчатки, маленький детонатор с прищепкой, два мотка мягкой проволоки и клейкая лента. С помощью клейкой ленты Карлос закрепил взрывчатку и детонатор под передними сиденьями — так, чтобы их не было видно. Проволоку от детонатора он протянул к ручкам каждой из передних дверей, прикрыв двери, обмотал вокруг ручек, осторожно закрыл двери и запер. Теперь достаточно открыть любую из дверей — и произойдет взрыв...

Мигель рассудил, что пройдет несколько дней, прежде чем кто-либо обратит внимание на пикап, а к этому времени и похитители, и их жертвы будут уже далеко. Но когда пикап обнаружат, произойдет типичный для террористов взрыв, который лишь подчеркнет, что люди, участвовавшие в похищении, — народ серьезный.

Карлос вышел из гаража через торговый центр и на общественном транспорте поехал в Хакенсак, чтобы воссоединиться с остальными.

А фургон проехал пять миль на юг и затем свернул на запад. Минут через двенадцать он пересек реку Гарлем и вскоре уже поехал по мосту Джорджа Вашингтона через реку Гудзон.

На мосту фургон и ехавшие в нем распростились со штатом Нью-Йорк и вступили в Нью-Джерси. Теперь логово в Хакенсаке было совсем близко.

13

Берт Фишер жил и работал в крошечной квартирке в Ларчмонте. Было ему шестьдесят восемь лет, и он уже десять лет как овдовел. На его карточках значилось «репортер», хотя на языке журналистов его назвали бы «хроникером»...

Берт любил свое дело. Во время второй мировой войны, будучи с американскими войсками в Европе, он работал в военной газете «Старз-энд-страйпс». Тогда журналистика вошла в его кровь, и с тех пор он был счастлив играть в ней пусть скромную, но все же какую-то роль. Даже и сейчас, хотя годы немного поубавили ему прыти, он по-прежнему каждый день обзванивал местные организации и держал включенными несколько приемников, чтобы слышать сообщения местной полиции, пожарного отделения, «скорой помощи» и прочих служб. А вдруг он услышит о чем-то, что надо осветить и передать в основные газеты, печатающие хронику.

Вот так Берт услышал, как ларчмонтской полицейской машине № 423 было приказано подъехать к супермаркету. Это звучало как обычное, рядовое указание, но вскоре полицейский сообщил в Центр, что, похоже, произошло похищение. При слове «похищение» Берт насторожился, настроил приемник на волну ларчмонтской полиции и достал бумагу для записей.

К концу сообщения Берт уже знал, что надо срочно выезжать к месту действия. Однако прежде следовало позвонить на нью-йоркскую городскую телестанцию У-Си-би-эй.

На телестанции трубку взял помощник режиссера «Новостей».

У-Си-би-эй, дочернее предприятие Си-би-эй, обслуживала район Нью-Йорка...

В шумной репортерской, где за тесно сдвинутыми столами работало около тридцати человек, помощник режиссера проверил, значится ли имя Берта Фишера в списке журналистов, привлекаемых к работе.

— О'кей, — сказал он, — что там у тебя?

Он выслушал хроникера — тот передал ему сообщение полицейского радио и сказал о своем намерении поехать на место действия.

— Значит, только «возможность» похищения?

— Да, сэр.

Хотя Берт Фишер был почти в три раза старше молодого человека, с которым он говорил, обращался он к помощнику режиссера на «вы», соблюдая дистанцию, как положено было в прошлом.

— Ладно, Фишер, давай двигай! Тут же позвони, если там в самом деле что-то стряслось.

— Есть, сэр. Будет сделано.

Повесив трубку, помощник режиссера решил, что скорее всего это ложная тревога. С другой стороны, ошеломляющие новости входили иной раз на цыпочках в самые неожиданные двери. Он подумал было послать съемочную группу в Ларчмонт, потом решил, что не стоит.

Тем не менее он поднялся на несколько ступенек — туда, где сидела женщина — режиссер Отдела новостей, и сообщил о звонке.

Выслушав его, она подтвердила, что решил он правильно. Но потом ей пришло в голову, что надо бы позвонить в Си-би-эй, и она сняла трубку прямого телефона. Она попросила к телефону Эрни Ласалла, с которым время от времени обменивалась информацией.

— Послушай, — сказала она ему, — может, это все, конечно, и туфта. — И, повторив только что услышанное, добавила: — Но ведь это случилось в Ларчмонте, а я знаю, что там живет Кроуфорд Слоун. Местечко это совсем маленькое, так что беда, возможно, случилась с кем-то из его знакомых, и я подумала, может, стоит тебе ему об этом сказать.

— Спасибо, — сказал Ласалл. — Сообщи мне, если еще что-нибудь узнаешь.

Опустив трубку, Эрни Ласалл мгновенно взвесил полученную информацию. Скорее всего кончится это ничем. И все же...

Повинуясь импульсу и инстинкту, он взял красный телефон.

— Внутриамериканские новости. Ласалл. Нам стало известно, что в Ларчмонте — повторяю: в Ларчмонте, штат Нью-Йорк, — по радио местной полиции прошло сообщение о возможном похищении. Подробностей нет. Наши коллеги из У-Си-би-эй выясняют подробности и будут нас информировать.

Слова его, как всегда, транслировались по всему главному зданию Си-би-эй. Услышав это, некоторые удивились, зачем Ласаллу понадобилось передавать такую пустяковину по радио. Другие не обратили на это сообщение внимания и продолжали заниматься своим делом. А старшие выпускающие, работавшие за «подковой» этажом выше, прислушались.

Кто-то, указав на Кроуфорда Слоуна, сидевшего за закрытой стеклянной дверью в своем кабинетике, заметил:

— Если в Ларчмонте в самом деле кого-то умыкнули, возблагодарим Бога, что не Кроуфа. Если, конечно, там не сидит сейчас его дублер.

Все рассмеялись.

Кроуфорд Слоун слышал сообщение Ласалла по переговорному устройству, стоявшему в его кабинете. Дверь он закрыл, чтобы поговорить наедине с руководителем Отдела новостей Лэсли Чиппингемом. Слоун сказал шефу, что хотел бы зайти к нему для разговора, но Чиппингем предпочел прийти к нему сам.

Оба замолчали, пока не кончилось сообщение, к которому Слоун, услышав слово «Ларчмонт», проявил живейший интерес. В любое другое время он пошел бы в репортерскую, чтобы узнать побольше. Но сейчас ему не хотелось прерывать разговор, который вдруг вылился в ожесточенную конфронтацию и проходил, к изумлению Слоуна, совсем не так, как он ожидал.

14

— Инстинкт подсказывает мне, Кроуф, что у тебя возникла проблема,— сказал шеф Отдела новостей, начиная разговор.

— Инстинкт тебя обманывает,— возразил Кроуфорд Слоун.— Проблема возникла у тебя. Она легко разрешима, но необходимо произвести некоторую структурную перестройку. И быстро...

Чиппингем держался со всеми одинаково свободно, и людям было с ним легко. Кто-то сказал однажды, что на него невозможно было бы обидеться, даже сообщи он тебе об увольнении.

— Я слушаю тебя,— сказал он Слоуну.— Какую именно?

— Я не могу больше работать с Чаком Инсеном. Он должен уйти. И когда будем выбирать нового ответственного за выпуск, я хочу иметь право голоса.

— Ну и ну. Ты прав: это проблема.— Чиппингем тщательно подбирал слова.— Хотя,— добавил он,— возможно, и несколько иная, Кроуф, чем ты думаешь.

Кроуфорд Слоун посмотрел на своего начальника. Перед ним сидел высокий мужчина, с довольно красивым, резко очерченным лицом, яркими голубыми глазами и почти совсем седыми волосами в крутых завитках. На протяжении лет целая череда женщин ласкала эти завитки. Собственно, женщины всю жизнь были слабостью Лэса Чиппингема, его неудержимо тянуло покорять их. Как раз в этот момент его брак и финансы находились на грани краха, чего не знал Слоун, хотя ему, да и другим, было известно, как любит Чиппингем коллекционировать женщин...

— Давай не будем ходить вокруг да около,— сказал Слоун,— и перейдем к делу.

— Я как раз собирался это сделать,— согласился Чиппингем.— Мы оба знаем, многое в области новостей у нас сейчас меняется...

— О, Господи, Лэс, конечно, меняется! — прервал его Слоун.— Потому-то у меня и возникают проблемы с Инсеном. Надо менять характер наших «Новостей», меньше давать «шапок», глубже раскрывать важные события.

— Я в курсе того, что ты думаешь. Мы ведь по этому поводу уже говорили. Знаю я и точку зрения Чака — кстати, он заходил ко мне сегодня утром и жаловался на тебя.

Слоун широко раскрыл глаза. Никак он не ожидал, что Чак возьмет на себя инициативу разрешения их спора: до сих пор так не бывало.

— Что же, по его мнению, ты можешь предпринять? — спросил Слоун.

Чиппингем ответил не сразу.

— А, черт, наверное, нет смысла об этом умалчивать. Он считает, что слишком далеко вы разъехались и ваши точки зрения непримиримы. Чак хочет, чтобы ты ушел.

Слоун откинул назад голову и расхохотался.

— А чтобы он остался? Это же нелепо.

Шеф в упор посмотрел на него.

— В самом деле?

— Конечно. И ты это знаешь.

— Когда-то знал, но не уверен, что знаю теперь...

— Ты дал мне понять,— вдруг произнес Слоун,— что Инсен хочет видеть на моем месте кого-то другого. Кого?

— Он упомянул Гарри Партриджа.

Партридж! Снова он возникает как соперник, подумал Слоун. Интересно, не сам ли Партридж подал такую идею. Чиппингем, словно угадав его мысли, сказал:

— Чак, кажется, намекнул об этом Гарри — тот удивился, но, похоже, едва ли это его заинтересует.— И добавил:— Ах, да, Чак Инсен сказал мне еще одно: если дело дойдет до выбора между тобой и им, он не сдастся без борьбы... Он пригрозил, что дойдет до самого верха.

— Имея в виду кого?

— Имея в виду Марго Ллойд-Мэйсон.

— Он пойдет к этой стерве? — взорвался Кроуфорд Слоун.— Да он не посмеет!

— А я уверен, что пойдет. Марго, возможно, и стерва, но власть в руках у нее есть.

Это Лэсли Чиппингем хорошо знал.

Си-би-эй была последней из крупных телестанций, павших жертвой процесса, который в мире средств массовой информации называли «оккупацией со стороны обывателей». Так характеризовали переход радио- и телестанций в руки промышленных конгломератов, чье желание получать большие доходы перевешивало все соображения особого статуса станций и их обязанностей по отношению к общественности...

Девять месяцев тому назад, после того, как все попытки сохранить независимость Си-би-эй провалились, телестанция была поглощена «Глобаник индастриз Инк», гигантской корпорацией, имеющей капиталовложения во всем мире. Подобно «Дженерал электрик», которая ранее приобрела Эн-би-си, «Глобаник» тоже работала на оборону. И так же, как «Дженерал электрик», «Глобаник» не отличалась чистоплотностью в делах. В одном случае после расследования, проведенного Большим жюри, компания была оштрафована, а ее руководители приговорены к тюремному заключению за махинации на аукционах и с ценами. В другой раз компания признала себя виновной в обмане правительства США, подделав отчетность по выполнению контракта на оборону: ей был присужден штраф в миллион долларов — максимальная сумма по закону и совсем незначительная по сравнению со стоимостью одного лишь контракта. Когда «Глобаник» завладела Си-би-эй, один комментатор написал по этому поводу: «Глобаник» особо заинтересована в том, чтобы Си-би-эй не высказывала больше независимых суждений. Разве сможет теперь Си-би-эй когда-нибудь глубоко копнуть в сфере, чувствительной для основной компании?»

После того, как Си-би-эй была перекуплена, новые владельцы публично заверили сотрудников, что они будут уважать традиционную независимость взглядов всех, кто работает в «Новостях». Однако на деле эти обещания оказались пустым звуком.

Перестройка в Си-би-эй началась с появления Марго Ллойд-Мэйсон в качестве нового президента и главного исполнительного директора телестанции. Известно было, что женщина она деловая, безжалостная и крайне честолюбивая: она ведь уже была вице-президентом «Глобаник индастриз». Ходили слухи, что ее передвинули в Си-би-эй для проверки: проявит ли она достаточную твердость, чтобы стать со временем председателем правления основной компании.

Лэсли Чиппингем впервые встретился с новым начальством, когда Марго вызвала его через несколько дней после своего появления. Вместо обычного разговора по телефону,— а предшественник миссис Ллойд-Мэйсон любезно звонил сам руководителям отделов,— Лэс получил вызов через секретаря немедленно явиться в Стоунхендж *, как прозвали административное здание Си-би-эй на Третьей авеню...

---

* Стоунхендж — одно из самых больших доисторических каменных сооружений, служивших, по-видимому, могильником; находится в графстве Уилтшир, Великобритания.

Марго Ллойд-Мэйсон была рослая блондинка, с зачесанными наверх волосами, слегка загорелым лицом с высокими скулами и проницательными глазами. На ней был элегантный серовато-коричневый костюм от Шанели с более светлой шелковой блузкой...

Держалась она дружелюбно и в то же время холодно.

— Можете называть меня по имени, — сказала она Чиппингему, хотя прозвучало это как приказ. И, не теряя времени, перешла к делу: — Речь идет о ситуации, в которую попал Тео Эллиот.

Теодор Эллиот был председателем правления «Глобаник индастриз».

— Сообщение об этом уже появилось, — сказал Чиппингем. — Сегодня утром сообщила Ай-эр-эс из Вашингтона. Утверждают, что наш король королей недоплатил четыре миллиона долларов налогов...

— Не стоило бы по этому поводу зубоскалить, — ледяным тоном сказала Марго. — Я послала за вами, так как хочу, чтобы в наших «Новостях» не было ничего про Тео и про налоги, и я бы хотела, чтобы вы попросили и другие станции не сообщать об этом.

Чиппингем был потрясен, он с трудом верил услышанному.

— Марго, — сказал он, стараясь, чтобы голос звучал спокойно, — если я обращусь к другим станциям с подобной просьбой, они не только отклонят ее, но еще и сообщат в эфир о том, что Си-би-эй пытается замолчать мошенничество. И, честно говоря, если бы кто-то обратился к нам с подобной просьбой, мы на Си-би-эй поступили бы точно так же...

— Хорошо, — нехотя согласилась она, — я, видимо, должна смириться с тем, что вы сказали про другие станции. Но я не желаю, чтобы это появилось в наших «Новостях».

Чиппингем вздохнул про себя: он понял, что отныне ему будет гораздо труднее выполнять свои обязанности руководителя Отдела новостей...

И трудности возникли через несколько недель, когда по Си-би-эй была разослана бумага с новым предложением миссис Ллойд-Мэйсон. Речь шла о создании фонда для оплаты лоббистов в Вашингтоне, которые выступали бы в поддержку Си-би-эй. Фонд будет состоять из «добровольных» пожертвований сотрудников телестанции, которые предполагается вычитать из их жалованья. Как и из жалованья ответственных сотрудников Отдела новостей. В документе упоминалось, что аналогичный фонд уже существует в основной компании «Глобаник индастриз».

В день, когда на телестанцию пришла эта бумага, один из выпускающих на «подкове» спросил Чиппингема:

— Лэс, ты, конечно, выступишь против этого дерьмового фонда от имени всех нас, да?

— Конечно, выступит, — вмешался Кроуфорд Слоун, находившийся неподалеку, — Лэс никогда в жизни не согласится, чтобы Отдел новостей искал себе покровительства у политиков, а не изобличал их. В этом смысле мы все можем положиться на Лэса...

Эту проблему Лэс в конце концов решил, сообщив обо всем в «Вашингтон пост» и передав в газету копию документа. У Лэса работал в газете один знакомый, чьими услугами он уже и раньше пользовался и мог быть уверен, что тот не раскроет источника информации. В результате в «Вашингтон пост» появилось сообщение, перепечатанное потом другими газетами, в котором высмеивалась идея вовлечь организацию, занимающуюся распространением новостей, в политические аферы. Не прошло и двух-трех дней, как от плана создания фонда официально отказались — судя по слухам, по личному приказанию председателя правления «Глобаник индастриз» Теодора Эллиота.

А Чиппингема снова вызвала к себе Марго Ллойд-Мэйсон...

— Я вижу, вы не желаете со мной сотрудничать.

— Мне очень жаль, если вы так считаете; по-моему, это не так. Наоборот, я всегда старался быть с вами честным.

— Поскольку вы упорно придерживаетесь определенной позиции, — продолжала Марго, будто и не слышала его, — я велела навести о вас справки и кое-что узнала. В частности, я узнала, что для вас чрезвычайно важна сейчас ваша работа, так как вы не можете, по финансовым соображениям, потерять ее.

— Моя работа всегда имела для меня большое значение. Что же до финансовых соображений, то разве работа не важна почти для всех? Да, наверное, и для вас тоже. — Чиппингем не без тревоги подумал, что будет дальше.

А глава телевидения, усмехнувшись, с видом превосходства заметила:

— Я не увязла в грязном разводе. А вы увязли. Ваша жена требует крупного финансового обеспечения, включая большую часть вашего общего имущества, и если она этого не получит, то представит суду доказательства того, что вы изменяли ей с полудюжиной женщин, даже не трудясь это скрывать. Кроме того, у вас есть долги, в том числе большой заем, сделанный в банке, так что вам отчаянно нужно зарабатывать, иначе вы обанкротитесь и станете почти нищим.

— Вы же оскорбляете меня! — повысив голос, возразил Чиппингем. — Вы вмешиваетесь в мои личные дела.

— Возможно, — спокойно произнесла Марго, — но это ведь правда... А теперь слушайте меня внимательно, — продолжала она. — Не так уж трудно найти замену руководителю Отдела новостей, и если мне понадобится, я эту замену произведу. Вы и глазом моргнуть не успеете, как будете вышвырнуты на улицу, и другой человек будет сидеть в вашем кресле. И здесь, да и на других телестанциях, сколько угодно кандидатов на ваше место. Ясно?

— Да, ясно, — покорно произнес Чиппингем.

— Однако, если вы будете играть со мной в одни ворота, вы останетесь. Отдел новостей будет проводить такую политику, какую я хочу. Запомните это. И еще одно: когда я хочу, чтобы что-то было сделано, а вам это не нравится, не заставляйте меня терять время и выслушивать всю эту ерунду насчет этики и чистоты в подходе к новостям... Это все. Можете идти.

Разговор этот произошел за два дня до того, как Чак Инсен, а потом Кроуфорд Слоун пришли к своему шефу в связи с возникшими между ними трениями. Чиппингем понимал, что их спор следует утрясти в отделе, и притом быстро. Не хотел он больше встречаться с Марго, не желал новых с ней конфронтаций.

— Я тебе скажу, Кроуф, то же, что говорил Чаку, — сказал Чиппингем: — Если вы пойдете на открытое столкновение, вы нанесете величайший ущерб всем, кто работает в «Новостях». В Стоунхендже Отдел новостей не в фаворе. Что же до идеи Чака ввязать в эту историю Марго Ллойд-Мэйсон, знай: она не примет ни его сторону, ни твою. Скорее всего она еще больше урежет наш бюджет на том основании, что если у нас есть время заниматься внутренними распрями, значит, мы недостаточно загружены, и следовательно, число сотрудников надо сократить.

— Я могу с этим побороться, — сказал Слоун.

— И я гарантирую, что на твою борьбу никто не обратит внимания... Пора тебе знать, что у нашей новой начальницы нет для тебя времени. Из-за того идиотского письма, которое вы все — и ты в том числе — написали в «Таймс», она обозвала вас зажравшимися наглецами...

— Но имею же я право на собственное мнение — его я и выразил.

— Ерунда! Нечего было тебе ставить под этим письмом свое имя. Тут я согласен с Марго. Ради всего святого, Кроуф, да стань ты наконец взрослым! Нельзя получать на телестанции такие деньги и продолжать трепать языком, точно какой-нибудь мальчишка.

Нечего, подумал Чиппингем, принимать на себя одного всю критику новых хозяев. Пусть и другие, вроде Слоуна и Инсена, получат свою долю! При этом у руководителя Отдела новостей была еще одна причина для раздражения. Был четверг. И он собирался вечером отправиться на большой уик-энд с Ритой Эбрамс в Миннесоту. Рита уже ждала его там. А он никак не хотел, чтобы эта дурацкая ссора разгорелась в его отсутствие.

— Я все же возвращаюсь к тому, с чего начал, — сказал Слоун. — В нашей группе, отвечающей за выпуск новостей, необходимы перемены.

— Они и могут произойти, — сказал Чиппингем. — У меня самого на этот счет есть некоторые идеи. Мы их тут обкатаем.

— Каким же это образом?

— На будущей неделе я проведу совещания с тобой и с Чаком Инсеном — мы встретимся столько раз, сколько нужно, чтобы прийти к согласию. Даже если мне придется сшибить вас лбами, мы найдем приемлемый компромисс.

— Попробуем, — с сомнением произнес Слоун, — но решение это не самое мудрое.

— Назови мне, что было бы мудрее, — передернул плечами Чиппингем.

После того как руководитель отдела ушел, Слоун еще какое-то время посидел в своем кабинете, раздумывая над их разговором. Потом он вдруг вспомнил об объявлении насчет Ларчмонта, которое слышал через громкоговоритель. Он решил узнать, не поступила ли новая информация, и, выйдя из своего кабинета, направился в репортерскую.

15

Берт Фишер продолжал идти по следу объявления о «возможном похищении», услышанного на волне полицейского радио. Поговорив по телефону с телестанцией У-Си-би-эй, Берт выскочил из своей квартиры, надеясь, что потрепанный двадцатилетний «фольксваген» не подведет его. После целой минуты завываний и рычания мотор все-таки завелся. У Фишера в машине был приемник, и он настроил его на волну ларчмонтской полиции. Затем помчался в центр города — к супермаркету.

По пути он услышал по радио переговоры полицейских, что побудило его изменить направление.

«Машина 423 — Центру. Едем к дому возможных жертв указанного происшествия. Адрес: Парк-авеню, 66. Просьба выслать туда сыщика».

«Центр — машине 423. Десять часов четыре минуты». И после короткой паузы: **«Центр — машине 426. Срочно выезжайте на Парк-авеню 66. Встречайте офицера связи на машине 423. Изучите сообщение офицера».**

Берт понимал, что на местном полицейском жаргоне «срочно выезжайте» означает — с включенными фарами и сиреной. Дело явно начинало становиться жарким, и Берт увеличил скорость, насколько позволял его древний «фольксваген». Повторяя про себя адрес — Парк-авеню, дом 66, — он страшно разволновался. Он не был уверен, но если дом принадлежит тому, кому он думает, из этого получится грандиозная новость.

У полицейского Дженсена, приехавшего по звонку из супермаркета и разговаривавшего со старушкой Присциллой Ри, возникло ощущение, что он имеет дело с чем-то серьезным...

Один из тех, кто стоял возле супермаркета, жил рядом со Слоунами и дал Дженсену их адрес. Делать в супермаркете больше было нечего, и Дженсен попросил по радио выслать сотрудника сыскной полиции на Парк-авеню, 66 для встречи с ним...

И сейчас Дженсен уже ехал по Парк-авеню.

Не успел он свернуть на дорожку к дому № 66, как вторая машина — без опознавательных знаков, хотя со съемной «мигалкой» на крыше и с включенной сиреной — остановилась позади него. Из нее вылез сотрудник сыскной полиции Эд Йорк, которого Дженсен хорошо знал. Немного поговорив, Йорк и Дженсен направились к дому. Полицейские представились Флоренс, горничной Слоунов, вышедшей на крыльцо при звуке сирены. Флоренс впустила их в дом — на лице ее были написаны изумление и тревога.

— Есть вероятность — только вероятность, — что с миссис Слоун что-то случилось, — сообщил ей Йорк. И начал задавать вопросы, на которые Флоренс отвечала с возрастающим беспокойством.

Да, она была в доме, когда миссис Слоун, Никки и отец мистера Слоуна поехали за покупками. Это было около одиннадцати... Нет, когда они отъехали, она не заметила ничего необычного. Вот только... в общем...

— Что значит «вот только... в общем»?

— В общем, когда миссис Слоун, ее свекор и Никки собрались уезжать, я была тут. — Флоренс указала на террасу в фасадной части дома. — Я видела, как они отъехали.

— И?

— Там, на боковой улочке, стояла машина — отсюда видно эту улочку. И когда миссис Слоун уехала, эта машина вдруг тоже помчалась туда же. Я тогда ничего такого не подумала.

— А можете вы описать машину?

— По-моему, она была темно-коричневая. Вроде не очень большая.

— Номера вы не заметили?

— Нет.

— А какой она была марки?

Флоренс покачала головой.

— Они все для меня одинаковые.

— Прекрати это пока, — сказал Йорк Дженсену. И, обратившись к Флоренс, добавил: — Сосредоточьтесь мыслью на этой машине. Постарайтесь вспомнить еще что-нибудь, мы с вами еще потолкуем.

Йорк и Дженсен вышли наружу. В этот момент к дому подъехали еще две полицейские машины. Одна привезла сержанта в форме, другая — начальника полиции Ларчмонта... Все четверо прямо на дорожке принялись совещаться.

Под конец начальник полиции спросил Йорка:

— Ты в самом деле считаешь, что было настоящее похищение?

— Пока, — сказал Йорк, — все указывает на это.

— А ты, Дженсен?

— Да, сэр. Это было действительно похищение.

— Ты сказал, что у пикапа «ниссан», который видели возле супермаркета, был номер штата Нью-Джерси?

— Судя по словам свидетельницы, да, сэр.

— Если это действительно похищение и они выедут за пределы штата, тогда делом должно заниматься ФБР, — задумчиво произнес начальник полиции. — По закону Линдберга. — И добавил: — Хотя подобные мелочи не волнуют ФБР.

Последние слова были произнесены с горечью и отражали убеждение многих местных чиновников, что ФБР занимается только громкими делами и всегда находит причины отпихнуть дело, которое не попадает в эту категорию.

— Я сейчас звоню в ФБР, — наконец решительно заявил начальник полиции. Он направился к своей машине и взял трубку радиотелефона.

Через минуту-другую он вернулся и приказал Йорку зайти в дом и оставаться там.

— Прежде всего вели горничной соединить тебя с мистером Слоуном и переговори с ним сам. Сообщи ему то, что знаешь, а также, что мы делаем все возможное. Затем отвечай на все телефонные звонки. Все записывай. Скоро подошлем помощь. — Сержанту и Дженсену было приказано охранять дом снаружи. — Скоро тут будет столько народу — слетятся точно мухи к уборной. Никого не впускайте в калитку, кроме ФБР. Когда прибудет пресса, направляйте всех в Центр.

Тут они услышали шум приближающейся машины. Все повернули головы. И увидели потрепанный белый «фольксваген».

— Первый уже явился, — мрачно объявил начальник полиции.

Берт Фишер мог не смотреть на номера домов по Парк-авеню. Скопление полицейских машин сразу указало ему нужный дом.

Когда он остановил свою малолитражку у края тротуара и вылез из нее, начальник полиции как раз влезал в свою машину и собирался уезжать. Берт кинулся к нему.

— Шеф, можете сделать заявление?

— Ах, это вы! — Начальник полиции опустил стекло со стороны водителя: он много раз встречал старого хроникера. — Так о чем заявление?

— Перестаньте, шеф! Я слышал все переговоры по радио, в том чис-

ле и ваше указание вызвать ФБР. — Берт огляделся и понял, что его предположение правильно. — Это ведь дом Кроуфорда Слоуна, верно?

— Да, верно.

— И выкрали миссис Слоун? — Поскольку начальник полиции медлил с ответом, Берт взмолился: — Послушайте, я же первый сюда приехал. Ну почему не дать местному человеку возможность отличиться?

Начальник полиции был мужчина разумный, и он подумал: «В самом деле, почему нет?» Фишер был ему даже симпатичен — случалось, приставал, как комар, но никогда не злобствовал, что бывает с журналистами.

— Если вы слышали все наши переговоры, — сказал начальник полиции, — то вы знаете, что уверенности у нас пока нет. Да, мы думаем, что миссис Слоун, возможно, была похищена вместе с сыном Слоунов Николасом и отцом мистера Слоуна.

Берт все это наскоро записал, понимая, что более важного события в его жизни еще не было и надо быть точным.

— Значит, я могу так истолковать ваши слова: ларчмонтская полиция действует исходя из предположения, что выкрадены трое.

Начальник полиции кивнул.

— Процитировано точно.

— А есть у вас предположение, кто мог это сделать?

— Нет. Да, кстати. Мистер Слоун еще не поставлен об этом в известность, и мы только пытаемся разыскать его. Так что прежде чем начнете бить в колокола, ради Бога, дайте нам время.

И начальник полиции отъехал от тротуара, а Берт помчался к своей малолитражке. Несмотря на предупреждение начальника полиции, Берт не собирался ждать. В голове у него вертелся лишь один вопрос: где ближайший телефон-автомат?

А несколько минут спустя, сворачивая с Парк-авеню, Берт повстречал машину, в которой сидел репортер местной телестанции. Значит, состязание на скорость началось. И если Берт не хочет, чтобы его обогнали, мешкать нельзя.

Неподалеку, на Бостон-Пост-роуд, он обнаружил телефон-автомат. Рука его, набирая номер телестанции У-Си-би-эй, дрожала.

16

В 11.20 в репортерской У-Си-би-эй царило нарастающее напряжение, что бывало всегда перед «Полуденными новостями», которые транслировала нью-йоркская городская телестанция. А сегодня — в особенности: сразу несколько новостей претендовали на главное место в программе.

Известного евангелиста, прибывшего в Нью-Йорк получать премию, нашли мертвым в его номере в «Уолдорф-Астории» — по-видимому, перебрал какаина, — и проститутку, проведшую с ним ночь, допрашивала сейчас полиция. В центре Манхэттена загорелось конторское здание, — людей, застрявших на верхних этажах, эвакуировали с помощью вертолетов. Уолл-стритского миллиардера, умирающего от рака, возили по Бронксу в инвалидном кресле, и он направо и налево раздавал пригоршнями стодолларовые банкноты. Каждые две-три минуты ему доставляли пополнение из следовавшего за ним бронированного автомобиля.

Звонок Берта Фишера раздался среди этого бедлама, и к телефону подошел все тот же помощник режиссера Отдела новостей, что и раньше; услышав, кто звонит, он рявкнул:

— Нас засыпали новостями — задыхаемся. Давай коротко и быстро!

Берт так и сделал, и молодой журналист, выслушав его, недоверчиво произнес:

— Ты уверен? Абсолютно уверен? Кто-то тебе это подтвердил?

— Начальник полиции. — И Берт с гордостью добавил: — Он сделал это заявление только мне, и я для верности попросил его повторить.

Помощник режиссера тотчас вскочил на ноги и, замахав режиссеру, закричал:

— Четвертый провод! Четвертый провод! — А редактору по заданиям, сидевшему рядом с ним, сказал: — Надо срочно выслать в Ларчмонт съемочную группу. Не спрашивай меня, откуда ее взять, просто сними откуда-нибудь, и чтоб они мигом были там.

Женщина-режиссер уже слушала Берта Фишера. Записав основные факты, она спросила:

— Кто еще об этом знает?

— Никто — я был там первым. И пока остаюсь первым. Но я видел, как туда подъехал журналист У-Эн-би-си, как раз когда я отъезжал.

— С ним была съемочная группа?

— Нет.

Помощник режиссера подошел с другого конца репортерской и доложил:

— Я послал туда съемочную группу. Мы вытащили их из Бронкса.

Режиссер сказала Берту:

— Не вешай трубки. — И обратилась к текстовику, сидевшему за соседним столом: — Возьми четвертый провод. Это Фишер из Ларчмонта. Запиши все, что он скажет, и выдай текст — пойдет первым номером в «Полуденных новостях».

Одновременно она сняла трубку телефона, соединявшего ее с главным зданием телестанции. Ответил Эрни Ласалл, и режиссер сказала:

— Похищение в Ларчмонте подтверждается. Полчаса тому назад неизвестные схватили жену, сына и отца Кроуфорда Слоуна.

— Господи помилуй! — Слышно было, как потрясен и изумлен Ласалл. — А Кроуфорду сказали?

— Не думаю.

— Полиция задействована?

— Даже очень, и они вызвали ФБР. Наш корреспондент Фишер получил интервью у начальника ларчмонтской полиции. — И режиссер прочитала заявление начальника полиции. .

— Ну-ка перечитайте еще раз. — Ласалл отчаянно стучал по клавишам, записывая то, что она говорит.

Режиссер добавила:

— Мы слышали, что У-Эн-би-си уже на месте событий, хотя они и отстают от нас. Так что мы даем это в полдень, и я намерена сейчас перестроить передачу. Но поскольку дело это наше, семейное, я подумала...

— Ни в коем случае ничего не делайте, — прервал ее Ласалл. — Такие вещи должно решать высокое начальство. И если кто-то даст сообщение, то это будем мы.

В течение секунд Эрни Ласалл должен был принять решение. Вариантов было несколько.

Один из вариантов сначала поймать Кроуфорда Слоуна, который, возможно, находился в здании, а возможно, и нет, затем лично и как можно осторожнее сообщить Кроуфу страшную весть. Второй вариант: взять красный телефон и объявить всему Отделу новостей о похищении семьи Слоуна, после чего передать сообщение в эфир. Третий: сообщить в главную аппаратную, что «Новости» выйдут в эфир приблизительно через три минуты и врежутся в передаваемую программу со Специальным бюллетенем. Ласалл был в числе полудюжины людей, которые имели право дать указание «врезаться» в программу, а, по его мнению, полученное только что известие представляло огромный интерес для широкой публики.

Он решил действовать по второму варианту. Побудило его к этому то, что группа другой телестанции уже находилась в Ларчмонте, на месте события. Значит, Эн-би-си, которой принадлежит эта станция, сразу получит отчет о событии, как уже получила Си-би-эй. А потому считаться с человеческими чувствами не было времени...

«Чертовски мне неприятно поступать так с тобой, Кроуф», — подумал Ласалл, снимая трубку красного телефона...

Ужас приливной волной накрыл Отдел новостей. Все перестали работать. Многие переглядывались, как бы молча спрашивая друг друга: «Я не ослышался?» И, получив подтверждение, люди восклицали: «Как же это могло случиться?» — «Кто это совершил?» — «Их выкрали ради выкупа?» — «Чего хотят похитители?» — «Есть ли шансы, что полиции удастся быстро их поймать?» — «О, Господи, каково должно быть сейчас Кроуфорду!»

А этажом ниже ответственные сотрудники, сидевшие за «подковой»,

были не менее потрясены, хотя шок у них продолжался недолго. По привычке и следуя трудовой дисциплине, они мгновенно начали действовать.

Чак Инсен выбежал из своего кабинета. Инстинкт газетчика подсказывал ему, что решение нью-йоркской телестанции о выходе в эфир будет выполнено. Когда случались такие ЧП, Инсену положено было находиться в аппаратной четырьмя этажами ниже. Он кинулся к лифтам и нажал на кнопку «вниз».

Нетерпеливо дожидаясь, пока придет кабина лифта, Инсен думал о Слоуне — все их разногласия были мигом забыты. Где он сейчас? Несколько раньше Инсен видел Кроуфорда издали, когда тот совещался с Лэсом Чиппингемом у себя в кабинете, при этом Инсен знал — о чем. По всей вероятности, Кроуфорд находится где-то в здании и, должно быть, услышал сообщение по громкоговорителям. И тут возникал самый главный вопрос.

Когда программу прерывали специальным сообщением, перед камерами появлялся ведущий «Вечерних новостей», а в Си-би-эй это был Кроуфорд Слоун. Если ведущего не оказывалось на месте, за ним посылали, а тем временем его заменял любой из корреспондентов, который был под рукой. Но Инсен понимал: не может Слоун сам сообщать об этой неожиданной и страшной вести про свою семью.

В этот момент подошла кабина лифта, и из нее вышел корреспондент Си-би-эй по экономике Дон Кеттеринг. Кеттеринг был уже немолодой мужчина, с тонкими усиками, всем своим видом напоминавший процветающего бизнесмена; он только было открыл рот, чтобы что-то сказать, но так ничего и не успел произнести. Инсен втолкнул его обратно в лифт и нажал на кнопку подвала. Двери лифта закрылись.

— Что такое... — поперхнулся Кеттеринг.

— Помолчи, — прервал его Инсен. — Ты слышал, что передали сейчас по громкоговорителям?

— Да, мне его чертовски жалко. Я как раз собирался сказать Кроуфу...

— Так вот ты сейчас пойдешь не к Кроуфу, а в эфир, — сказал Инсен. — Не может же Кроуф сам с этим выступить. А ты как раз подвернулся. Я буду руководить тобой из аппаратной.

Кеттеринг, человек сообразительный и к тому же долгое время работавший репортером, прежде чем специализироваться по экономике, кивнул. Похоже, ему было даже приятно выступить в таком качестве.

— А меня кто-нибудь проинструктирует?

— Мы предоставим тебе все данные, которыми располагаем. У тебя, возможно, будет минута на то, чтобы их просмотреть, а потом — прямой эфир. Мы передадим тебе все, что будет поступать.

— Хорошо.

Инсен вышел из лифта, а Кеттеринг нажал на кнопку верхнего этажа, где находились студии.

Тем временем в других местах здания автоматически развернулась бешеная деятельность.

В репортерской срочно собирали две съемочные группы с корреспондентами. Им велено было спешно отправиться в Ларчмонт и заснять место похищения, а также взять интервью у полиции и любых свидетелей, каких они найдут. Следом за ними выедет фургон с передающей аппаратурой.

В небольшом аналитическом отделе, находившемся рядом с «подковой» и являвшемся филиалом большой картотеки в другом здании, с полдюжины людей спешно закладывали в компьютер биографию Кроуфорда Слоуна, и то немногое, что было известно о его семье, — а известно было совсем немного, так как Джессика Слоун всегда отгораживала себя и Николаса от излишней шумихи.

Однако в картотеке где-то раздобыли фотографию Джессики, которую передавали сейчас на телестанцию по факсу. А на соседнем компьютере принтер выдавал военную биографию Энгуса Слоуна, отца Кроуфорда. Его фотография тоже будет. Вот только фотографию Никки пока раздобыть не удалось.

Один из помощников схватил весь материал и помчался по лестнице вниз, в студию, куда только что вошел Кеттеринг. За ним следом появился посыльный от редактора внутриамериканских новостей с сообщением Берта Фишера из Ларчмонта, полученным от У-Си-би-эй. Кеттеринг

сел за стоявший в центре студии стол и, отключившись от окружающего, стал вникать в материал. А вокруг него суетились техники, загорался свет. Кто-то прикрепил микрофон к пиджаку Кеттеринга. Оператор настраивал на него камеру.

— Чак, мы готовы. Идем в эфир или нет? — спросил ответственный за выпуск.

Чак Инсен, прижав трубку телефона к плечу, ответил:

— Сейчас выясняю.

Он разговаривал с шефом Отдела новостей, находившимся в репортерской, где Кроуфорд Слоун умолял его подождать.

Часы показывали 11.52.

Когда через громкоговорители передали чрезвычайное сообщение, Кроуфорд Слоун находился на лестничной площадке четвертого этажа по дороге в репортерскую. Он хотел попытаться выяснить, что произошло в Ларчмонте.

Когда ожили громкоговорители, он остановился, чтобы выслушать сообщение, и потом, не веря своим ушам, еще какое-то время стоял, оцепенев, в состоянии шока. Из этого транса его вывела одна из секретарш, которая видела, как он уходил с «подковы», и сейчас кинулась за ним.

— Ох, мистер Слоун! — задыхаясь, произнесла она. — У вас на проводе ларчмонтская полиция. Они хотят срочно говорить с вами.

Он вернулся вслед за секретаршей и взял трубку у себя в кабинете.

— Мистер Слоун, говорит сотрудник сыскной полиции Йорк. Я у вас в доме, и у меня для вас весьма печальное...

— Я только что слышал. Скажите, что вам известно.

— Собственно, сэр, очень мало. Мы знаем, что ваша жена, отец и сын около пятидесяти минут тому назад выехали в супермаркет. В магазине, согласно показаниям свидетелей, к ним подошел... — Йорк продолжал излагать уже известные факты. — Мы только что узнали, — добавил он, — что специальные агенты ФБР находятся на пути сюда и кто-то из ФБР едет к вам. Мне велено сказать вам, что беспокоятся за вашу безопасность. Вам будет дана охрана, а пока вы не должны покидать здание, в котором находитесь.

Голова у Слоуна шла кругом. Снедаемый тревогой, он спросил:

— Есть предположения, кто мог это сделать?

— Нет, сэр. Все случилось неожиданно. Мы в полном неведении.

— А многие знают об этом... о том, что произошло?

— Насколько мне известно — немногие... Чем дольше сохранится такое положение, — добавил Йорк, — тем лучше.

— Почему?

— При похищении, мистер Слоун, излишняя шумиха может повредить. Похитители, очевидно, дадут о себе знать — по всей вероятности, они прежде всего постараются связаться с вами. Потом мы — а скорее всего ФБР — начнем с ними диалог, вступим в переговоры. Нам ни к чему, чтобы весь мир знал об этом. Да и им тоже, потому что...

— Поговорим об этом позже, — прервал его Слоун, — а сейчас мне надо кое-что предпринять.

Заметив оживление на «подкове» и зная, что́ оно означает, Слоун хотел во что бы то ни стало помешать поспешной акции. Выскочив из своего кабинета, он крикнул:

— Где Лэс Чиппингем?

— В репортерской, — сказал один из старших выпускающих. И более мягко добавил: — Кроуф, мы все очень сочувствуем, но, похоже, сейчас будет эфир.

Слоун едва ли дослушал его. Он кинулся к лестнице и быстро взбежал по ней. Вдали он увидел шефа Отдела новостей, совещавшегося с несколькими людьми у стола редактора внутриамериканской службы.

— А вы уверены, что этот ларчмонтский хроникер ничего не напутал?

— У-Си-би-эй говорит, что это их старый сотрудник — человек вполне надежный и честный, — ответил Эрни Ласалл.

— В таком случае надо давать то, что у нас есть.

В этот момент Слоун подскочил к разговаривавшим.

— Нет, нет и нет! Лэс, не надо. Нужно выждать. Полиция только что сказала мне, что похитители могут объявиться. А шумиха может повредить моей семье.

Ласалл сказал:

— Мы понимаем, Кроуф, каково тебе сейчас. Но это серьезное событие, и другие станции располагают информацией. Они не станут держать ее про себя. У-Эн-би-си...

Слоун затряс головой.

— Я все равно говорю — нет! — И повернулся к шефу Отдела новостей: — Лэс, я тебя умоляю: повремени!

Воцарилась напряженная тишина. Все знали, что при других обстоятельствах Слоун первым требовал бы выхода в эфир. Но ни у кого не хватало духу сказать: «Кроуф, ты непоследователен».

Чиппингем взглянул на висевшие в репортерской часы: 11.54.

В этот момент позвонил Инсен. Ласалл выслушал его и сообщил:

— Чак говорит — все готовы. Он хочет знать: мы врезаемся в программу или нет?

Чиппингем сказал:

— Передай ему — я еще не решил.

Он колебался: может, следует подождать до полудня? На мониторах ему видно было, что передавалось по всем телестанциям. Си-би-эй передавала популярную мелодраму; когда она окончится, пойдет реклама. Если сейчас врезаться, это дорого обойдется. Неужели какие-то шесть минут могут что-то изменить?

В этот момент на нескольких компьютерах в репортерской раздалось «би-ип». На экранах появилась яркая буква «Б» — сигнал срочного пресс-сообщения. Кто-то воскликнул:

— АП передает о похищении Слоунов.

На столе у редактора внутриамериканских новостей зазвонил телефон. Ласалл снял трубку, послушал и спокойно произнес:

— Спасибо, что сказали. — Повесил трубку и сообщил шефу Отдела: — Это из Эн-би-си. Они любезно сообщили, что у них есть информация о похищении. Они передадут ее в двенадцать.

Часы показывали почти 11.55.

Чиппингем решил:

— Выходим в эфир немедленно! — И, повернувшись к Ласаллу, добавил: — Сообщи Чаку — пусть врезается.

17

В здании Си-би-эй, двумя этажами ниже уровня земли, в маленькой голой комнате сидели два оператора; перед ними была панель со сложной системой переключений, стояли компьютеры и телемониторы. Две стены у комнаты были стеклянные, выходившие в унылые коридоры. Так что прохожие при желании могли заглядывать в комнату. Это была главная аппаратная, технический командный пост Си-би-эй.

Через эту комнату проходили все программы — развлекательные, новости, спорт, хроника, послания президента, игры на Капитолийском холме, передачи прямого эфира и заранее записанные на пленку, а также реклама...

Сейчас основная передача была прервана.

Несколько мгновений тому назад Чак Инсен объявил по прямому проводу из аппаратной Отдела новостей:

— Даем спецвыпуск «Новостей». Всем телеканалам. Выходим в эфир — пошли!

Инсен не успел еще закончить, как на мониторе в главной аппаратной появилась надпись: «Специальный бюллетень Новостей Си-би-эй».

Опытный оператор, выслушавший Инсена, знал, что означает слово «пошли». При отсутствии этого слова, если до окончания программы остается минуты полторы, он выждет, пока она кончится, и только тогда в р е ж е т с я. Точно так же, если в эфире будет реклама, он даст ей дойти до конца.

Но «пошли» означало, что материал должен идти без задержки, немедленно. А передавалась одноминутная реклама, и до конца ее оставалось тридцать секунд. Но оператор, повернув ручку, выключил рекламу, сбросив таким образом из доходов Си-би-эй около 25 тысяч долларов. Повернув другой рычажок, он включил «картинку» с надписью «Специальный бюллетень». Мгновенно на экранах более чем двенадцати миллионов телевизоров появились ярко-красные буквы.

В течение пяти секунд, сверяясь по висевшим перед ним часам, оператор держал эти буквы на экране без звука. За это время аппаратные дочерних телестанций смогут прервать свои программы и настроятся на передачу «Специального бюллетеня».

По истечении пяти секунд включился голос диктора:

— Прерываем нашу программу и передаем специальное сообщение «Новостей» Си-би-эй. Слово нашему нью-йоркскому корреспонденту Дону Кеттерингу.

И по всей стране на телевизионных экранах появилась физиономия корреспондента Си-би-эй по экономике...

«Полиция города Ларчмонта, штат Нью-Йорк, сообщила, что, судя по всему, произошло похищение жены, несовершеннолетнего сына и отца ведущего программы «Новостей» Си-би-эй Кроуфорда Слоуна...»

Часы показывали 11.56.

Опередив конкурентов, Отдел новостей Си-би-эй первым передал сообщение о происшедшем.

Часть вторая

1

Специальный бюллетень Си-би-эй, сообщавший о том, что у Слоуна выкрали семью, имел мгновенный и широкий отклик...

На главном коммутаторе Си-би-эй без конца спрашивали Кроуфорда Слоуна. Когда звонившим вежливо говорили, что мистер Слоун не может подойти к телефону, большинство просили выразить ему сочувствие.

Пресса и репортеры других средств информации, зная, что с коммутатором лучше не связываться, напрямую звонили в Отдел новостей. В результате некоторые телефоны были постоянно заняты, что затрудняло связь с внешним миром...

Но на один звонок Слоун все же ответил: звонил президент США.

— Мне только что сообщили, Кроуфорд, страшную новость, — сказал президент. — Я знаю, голова у вас сейчас занята другим и вам не до разговоров, но я хочу, чтобы вы знали: Барбара и я думаем о вас и вашей семье и надеемся, что вы скоро получите добрые вести. Мы, как и вы, хотим, чтобы эта пытка быстрее кончилась.

— Благодарю вас, господин президент, — сказал Слоун. — Ваш звонок много для меня значит.

— Я дал указание министерству юстиции, — сказал президент, — чтобы ФБР в приоритетном порядке занялось поисками вашей семьи, и если нужно будет задействовать какие-то другие правительственные организации, будут использованы и их ресурсы.

Слоун снова поблагодарил президента...

Средства массовой информации за рубежом тоже проявляли острый интерес к истории с похищением. Хотя лицо и голос Кроуфорда Слоуна не были настолько знакомы иностранцам, как американцам, то, что речь шла о крупной фигуре на телевидении, уже само по себе, видимо, привлекло внимание всего мира.

Это показывало, что ведущий на современном телевидении стал фигурой особого рода, человеком, которому публика поклоняется не меньше, чем королям и королевам, кино- и рок-звездам, папам, президентам и принцам.

В мозгу Кроуфорда Слоуна царила полная сумятица.

В течение нескольких часов он ходил, как во сне, чуть ли не надеясь вот-вот узнать, что произошло недоразумение, легко объяснимая ошибка. Но по мере того, как шло время и машина Джессики продолжала стоять

на автомобильной площадке у супермаркета в Ларчмонте, это казалось все менее и менее вероятным.

Слоуну не давало покоя воспоминание о разговоре с Джессикой накануне вечером. Ведь он сам говорил о возможности похищения, и сейчас его мучило не совпадение разговора с событием — опыт научил его, что в реальной жизни бывают — и притом часто — самые невероятные совпадения. Он же думал сейчас о том, что из эгоизма и чувства собственной значимости считал тогда, что выкрасть могут только его...

Тревожила, конечно, Слоуна и участь отца, хотя ясно было, что оказался он там случайно...

В течение дня бывали минуты, когда Слоун не находил себе места от нетерпения — надо что-то делать, делать,— но он понимал, что едва ли может что-то предпринять. Он подумал было поехать в Ларчмонт, потом понял, что ничего этим не выиграет, а только не будет на месте, если появится что-то новое. Другой причиной, не позволявшей уехать, было появление трех агентов ФБР, которые развили вокруг него бурную деятельность.

Специальный агент Отис Хэвелок, старший в этой троице, сразу показал, что он — из тех, кто «атакует с ходу», как сказал про него один наблюдательный выпускающий. Хэвелок велел немедленно провести его в кабинет Кроуфорда Слоуна и, представившись Слоуну, потребовал, чтобы туда явился начальник службы безопасности телестанции. Затем Хэвелок позвонил по телефону в нью-йоркскую полицию и попросил, чтобы ему прислали подкрепление.

Хэвелок был маленький, лысеющий, подвижный, с глубоко посаженными зелеными глазами, которые в упор смотрели на того, с кем он беседовал. С лица его не сходило подозрительное выражение, как бы говорившее: «Все это я уже слышал и знаю». Впоследствии Слоун и остальные поймут, что так оно и было. Отис Хэвелок двадцать лет прослужил в ФБР и большую часть своей жизни имел дело с самыми отвратительными сторонами человеческой натуры.

Начальник безопасности на Си-би-эй, седеющий нью-йоркский полицейский в отставке, мигом явился на зов Хэвелока.

— Я хочу, чтобы на этом этаже была немедленно обеспечена полная безопасность,— сказал ему Хэвелок.— Люди, выкравшие семью мистера Слоуна, могут предпринять попытку выкрасть и его самого. Поставьте двух ваших охранников у лифтов, а других — на всех лестницах. Они обязаны проверять — тщательно проверять — личность всех, кто приходит на этот этаж или с него уходит. Как только это будет сделано, начните основательную проверку всех, кто уже находится на этаже. Это ясно?

— Конечно, ясно, и все мы переживаем за мистера Слоуна. Но у меня ограниченное число людей,— возразил пожилой полицейский,— а ваши требования чрезмерны. У меня ведь есть и другие объекты, которые я обязан охранять.

— И плохо охраняете,— отрезал Хэвелок. И вытащил из кармана удостоверение в пластиковой обложке.— Взгляните на это! Вот по этому удостоверению я прошел сюда. Показал его охраннику внизу, и он меня пропустил.

Полицейский уставился на фотографию мужчины в форме.

— Кто это?

— Спросите мистера Слоуна.— И Хэвелок протянул Слоуну удостоверение.

Слоун взглянул и, не выдержав, расхохотался.

— Это же полковник Каддафи.

— Я специально изготовил это удостоверение,— сказал сотрудник ФБР.— И иногда им пользуюсь, чтобы доказать компаниям, вроде вашей, как плохо у них поставлена охрана.— И обращаясь к потрясенному начальнику охраны, добавил:— Так что давайте действовать, как я сказал. Охранять этот этаж и приказать людям тщательно проверять удостоверения, в том числе и фотографии...

В эту минуту на улице раздался нарастающий вой нескольких сирен. Вой прекратился, и через несколько мгновений двое полицейских — лейтенант и сержант, оба в форме — вошли в кабинет.

— Я хочу,— сказал Хэвелок лейтенанту после того, как тот представился,— чтобы две радиофицированные машины стояли у здания: пусть все знают, что тут полиция, а также поставьте полицейского у каждого входа и одного — в холле. Скажите своим людям, чтобы они останавливали и расспрашивали каждого подозрительного субъекта.

— Будет сделано,— сказал лейтенант.

— Проверьте-ка и все вокруг — пошлите кого-нибудь на крышу. Пусть осмотрит здание сверху. Убедитесь, что все выходы перекрыты.

Лейтенант и сержант, заверив, что все будет сделано, отправились выполнять приказание.

— Боюсь, вам придется часто меня видеть, мистер Слоун,— сказал Хэвелок, когда они остались вдвоем.— Мне велено не спускать с вас глаз. Я вам уже говорил, что, по нашему мнению, вы тоже можете стать объектом похищения.

— Я иногда думал, что такое может со мной случиться,— сказал Слоун. И добавил, побуждаемый всевозрастающим чувством вины: — Мне никогда и в голову не приходило, что моей семье может что-то грозить.

— Это потому, что вы рассуждали логически. А умные преступники непредсказуемы.

— Вы думаете, что мы имеет дело именно с такими? — явно нервничая, спросил Слоун.

— Мы еще не знаем. Но я считаю — никогда не надо недооценивать противника...— И, помолчав, продолжал:— Скоро явятся наши люди — и сюда, и в ваш дом — с электронной аппаратурой. Мы хотим прослушивать все звонки, которые будут к вам поступать, так что, пока вы в этом здании, отвечайте всякий раз, как будет звонить ваш городской телефон... И если позвонят похитители, постарайтесь говорить с ними как можно дольше, хотя, конечно, теперь можно быстро выяснить, откуда звонят, и преступники об этом тоже знают.

— А вам известно, что номера моих домашних телефонов не числятся в справочнике?

— Да, но я полагаю, похитители их знают...

Наступила пауза; в этот момент раздался стук в дверь, и вошел Чак Инсен.

— Разрешите вас прервать...

Полицейский и Кроуфорд кивнули, и Чак Инсен продолжал:

— Кроуф, ты знаешь, все мы готовы сделать все, что в наших силах,— для тебя, для Джессики, для Никки...

— Да, знаю,— кивнул Слоун.

— Мы считаем, что сегодня вечером ты не должен выступать в «Новостях». Во-первых, там будет много про тебя. А во-вторых, даже если ты будешь вести остальную часть передачи, создастся впечатление, будто все идет как всегда — бизнес есть бизнес, и нашей станции безразлично, что с тобой произошло, а это, конечно, не так.

Слоун подумал и сказал:

— Я полагаю, ты прав.

— Знаешь, другие телестанции и пресса хотят взять у тебя интервью. Как насчет того, чтобы дать сегодня пресс-конференцию?

Слоун беспомощно пожал плечами и согласился.

— В таком случае, Кроуф,— сказал Инсен,— когда ты освободишься, не зайдешь ли ко мне в кабинет, чтобы поговорить со мной и с Лэсом? Мы хотели бы знать твою точку зрения по поводу уже другого вопроса.

— Я хотел бы, чтобы мистер Слоун по возможности оставался у себя в кабинете,— вмешался Хэвелок,— и был рядом с телефоном.

— В любом случае я буду рядом,— заверил его Слоун.

Лэсли Чиппингем уже позвонил Рите Эбрамс по телефону и сообщил, что, к сожалению, их совместный уик-энд придется перенести. У него нет никакой возможности уехать из Нью-Йорка, когда разразилось такое.

Рита все поняла, хотя и огорчилась...

Судя по всему, Хэвелок, поставив себе задачей неотступно находиться при Кроуфорде Слоуне, собирался последовать за ним и в кабинет Инсена. Но Инсен преградил ему путь.

— Мы должны обсудить кое-какие внутренние дела. Мистер Слоун будет снова в вашем распоряжении, как только мы закончим. Если же тем временем случится что-то срочное, входите, не стесняясь.

— Если вы не возражаете, — произнес Хэвелок, — я сначала войду и посмотрю, где будет сидеть мистер Слоун. — И он решительно прошел мимо Инсена в помещение...

Когда Слоун с Инсеном вошли в комнату, где уже сидел Чиппингем, тот сказал:

— Чак, изложи суть дела Кроуфу.

— Дело в том, — сказал Инсен, глядя в лицо Слоуну, — что у нас нет большой веры в правительственные организации и их способность развязать этот узел. Мы с Лэсом вовсе не хотим тебя расстраивать, но все мы помним, сколько времени понадобилось ФБР, чтобы найти Патрицию Херст, — больше полутора лет. Есть тут и еще одно обстоятельство. — Инсен порылся среди бумаг на своем столе и вытащил экземпляр книги Слоуна «Телекамера и правда». Инсен открыл ее на странице с закладкой. — Ты сам писал, Кроуф: «Мы, живущие в Соединенных Штатах, не избавлены от терроризма — скоро и нам предстоит столкнуться с ним на собственном дворе. Но ни психологически, ни как-либо иначе мы не подготовлены к этой, не знающей границ, безжалостной войне». — Инсен закрыл книгу. — Мы с Лэсом подписываемся под этим. Полностью.

Последовало молчание. Собственные слова поразили и напугали Слоуна. Ему вдруг пришло в голову — а не хотели ли террористы, захватив Джессику, Никки и его отца, таким образом отомстить ему...

Наконец он сказал:

— Вы серьезно считаете, что террористы...

— Но это же возможно, верно? — отозвался Инсен.

— Да. — Слоун медленно кивнул. — Я сам начал об этом думать.

— Не забывайте, что на данный момент, — вставил Чиппингем, — мы понятия не имеем, кто эти люди, которые захватили вашу семью, и чего они хотят. Вполне возможно, что это обычное похищение и похитители потребуют выкупа, хотя и это уже скверно. Но мы не исключаем у них — из-за того, кто ты и какое ты занимаешь положение, — и других, далеко идущих целей.

— Мы говорили про ФБР, — вспомнил Инсен то, о чем было сказано раньше. — Опять-таки не хочу тебя волновать, но если Джессику и остальных каким-то образом вывезут из страны, что не исключено, то, боюсь, правительству придется обратиться к ЦРУ. Ну, а за все годы, в течение которых американские граждане были узниками в Ливане, ЦРУ — при всей его мощи и ресурсах, сателлитах-шпионах, разведке и умении проникать в ряды противника — так и не удалось обнаружить, где этот сброд, банда полуграмотных террористов держала их. И это в малюсенькой стране, которая лишь немногим больше нашего штата Дэлавер. Так можно ли считать, что это же самое ЦРУ сработает лучше в других частях света?

Подытожил разговор Чиппингем.

— Вот что мы имели, Кроуф, в виду, — сказал он, — когда говорили, что у нас нет веры в правительственные организации. Зато мы верим, что мы сами — опытная организация по добыче новостей, привыкшая делать репортажи, основанные на расследовании, — имеем куда больше шансов обнаружить, где твоя семья.

Впервые за этот день Слоун почувствовал, что у него немного полегчало на душе.

— Итак, мы решили, — продолжал Чиппингем, — создать свою команду расследования. Сначала мы прощупаем нашу страну, а потом — при необходимости — и весь остальной мир. Мы пустим в ход все наши ресурсы плюс необходимую для расследования технику, которая уже опробована в прошлом. Что до людского состава, мы немедленно мобилизуем самых талантливых наших людей...

— Есть один момент, относительно которого мы хотели бы посоветоваться с тобой, Кроуф, — перегнувшись к нему через стол, сказал Инсен. — Команду должен возглавлять опытный корреспондент или выпускающий, человек, способный руководить работой и набивший руку на репортажах, требующих расследования, ну и, конечно, такой, кому ты доверяешь. Ты мог бы нам кого-то назвать?

Кроуфорд Слоун помедлил с секунду, сопоставляя свои личные чувства с тем, что поставлено на карту. Затем он твердо произнес:

— Я хочу, чтобы это был Гарри Партридж.

2

Похитители, действовавшие по указанию «Медельинского картеля», залегли, словно лисы, в глубокой норе своей временной штаб-квартиры, к югу от Хакенсака, в штате Нью-Джерси.

Это были старые облупившиеся строения — основной дом и три пристройки, — которыми не пользовались несколько лет, пока Мигель, изучив другие возможности и рекламные объявления, не подписал договора об аренде на год с оплатой вперед. Дело в том, что год был самым малым сроком, на какой агенты сдавали помещение. Мигель, не желая раскрывать, что он будет пользоваться помещениями чуть больше месяца, безоговорочно согласился на предложенные условия...

Мигель предвидел, что, как только жертвы будут выкрадены, поднимется крик и вой, полиция установит заслоны на дорогах и начнет проводить усиленные поиски. Поэтому он решил, что небезопасно будет тотчас пускаться в дальний путь. А с другой стороны, им необходимо иметь временное прибежище подальше от Ларчмонта.

Дом в Хакенсаке находился приблизительно на расстоянии двадцати пяти миль от места похищения. То, с какой легкостью похитители вернулись в Хакенсак, равно как и отсутствие преследования, доказывало, что Мигель спланировал все правильно — пока.

Трое узников — Джессика, Николас и Энгус — находились в основном доме. Они все еще не пришли в себя после уколов и были в бессознательном состоянии перенесены в большую комнату на втором этаже. В противоположность другим помещениям в этом ветхом, пропитанном сыростью, доме, эта комната была тщательно вычищена и выкрашена белой краской. Здесь установили дополнительные розетки и флюоресцентные трубки под потолком. Пол был застлан новым светло-зеленым линолеумом. Бывший врач Бауделио дал по этому поводу соответствующие указания и проследил за их выполнением, а отремонтировал комнату мастер на все руки Рафаэль.

Сейчас в центре ее стояли две больничные койки с решетками по бокам. На одной лежала Джессика, на другой — Николас. Ноги и руки у них были связаны ремнями — на случай, если они вдруг очнутся, что было нежелательно.

Хотя анестезиология и не очень точная наука, Бауделио был уверен, что его «пациенты» — так он теперь их мысленно называл — еще полчаса, а то и больше, будут находиться под влиянием снотворных.

Рядом с двумя койками стояла узкая железная кровать с матрасом, которую срочно принесли и поставили для Энгуса. Ремни для него заготовлены не были — пришлось связать его веревками. Мигель смотрел сейчас на них с другого конца комнаты: он так и не решил, как быть со стариком. Убить его и зарыть труп после наступления темноты? Или же включить и его в первоначальный план? Решение следовало принять быстро.

Тем временем Бауделио хлопотал возле трех распростертых жертв — устанавливал штативы для внутривенного вливания, укреплял на них баллоны с жидкостью. На столе, накрытом зеленым полотнищем, он разложил инструменты, пакетики с лекарствами, поставил подносы. Хотя ему потребуются лишь внутривенные катетеры, Бауделио давно привык иметь под рукой и другие инструменты — а вдруг понадобятся. Помогала ему Сокорро.

Сокорро была стройная, гибкая, с кожей оливкового цвета и черными, как вороново крыло, волосами, стянутыми на затылке в пучок; ее лицо с правильными чертами могло бы быть красивым, если бы оно не было вечно угрюмым. Сокорро выполняла все, что от нее требовалось, не ожидая снисхождения из-за того, что она женщина, но была неразговорчива и никогда не выдавала того, что у нее на уме. Все домогательства со стороны мужчин грубо ею высмеивались и отклонялись...

Мигель сел в кресло в дальнем конце комнаты и, откинувшись на спинку, спросил Бауделью:

— Ну-ка, скажи мне, что ты делаешь? — Это было произнесено тоном приказа.

— Готовлюсь к тому, что мидазолам, который я им ввел, очень скоро перестанет действовать. Тогда мне надо будет ввести пропофол, внутривенный анестетик, средство более долгого действия и более подходящее для того, что их ждет впереди... Пропофол — лекарство капризное. Оптимальная доза для каждого индивидуума — своя, а если его будет слишком много в крови, то может наступить смерть. Поэтому для начала придется ввести пробную дозу и тщательно следить за реакцией.

— А ты уверен, что справишься? — спросил Мигель.

— Если вы во мне сомневаетесь, — не без иронии заметил Бауделью, — ищите себе кого-нибудь другого. — И поскольку Мигель молчал, бывший врач продолжил: — Во время переезда они ведь будут без сознания, и мы должны быть уверены в том, что у них не начнется рвоты или удушья. Поэтому пока мы тут выжидаем, они должны голодать. Но поскольку нельзя допустить обезвоживания, я введу им внутривенно раствор. А через два дня — вы сказали мне, что именно стольким временем я располагаю, — их уже можно будет класть в эти штуки. — И Бауделью кивком указал на стену за своей спиной.

У стены стояли два крепко сбитых, выложенных шелком гроба. Один был поменьше, другой — побольше. Затейливые крышки с них были сняты и стояли рядом.

При взгляде на гробы Бауделью вспомнил, что должен задать один вопрос. И, ткнув пальцем в Энгуса Слоуна, спросил:

— А его тоже готовить или нет?

— Если мы возьмем его с собой, у тебя хватит на него медицины?

— Да. У меня всего в избытке — на всякий случай. Но нам тогда потребуется еще один... — И он снова взглянул на гробы.

— Мне можешь этого не говорить, — раздраженно заявил Мигель. Тем не менее он сам не знал, как быть. «Медельинский картель» и «Сендеро луминосо» дали ведь ему указание выкрасть женщину и мальчишку и как можно быстрее доставить их в Перу. Гробы были придуманы для перевозки, чтобы избежать досмотра американской таможни. А в Перу узники станут ценными заложниками — козырными картами, с помощью которых «Сендеро луминосо» будет делать крупную ставку, предъявив пока еще не ясные требования. Но станет ли неожиданное появление отца Кроуфорда Слоуна, с точки зрения «Сендеро», дополнительным козырем или же останется ненужным риском и докукой?

Будь у Мигеля хоть малейшая возможность связаться со своими шефами и получить у них ответ, он так бы и сделал. Но в данный момент он не мог воспользоваться единственным надежным каналом связи, а звонок по радиотелефону мог быть прослежен. Мигель требовал от всех участников операции, чтобы телефоны использовались исключительно для переговоров между машинами или между машинами и штаб-квартирой. Ни по каким другим номерам категорически не разрешалось звонить. Необходимые звонки в другие города делались из телефонов-автоматов.

Таким образом, решать Мигелю приходилось самому. При этом следовало учесть, что дополнительный гроб повлечет за собой и дополнительный риск. Стоит ли игра свеч?

Мигель решил, что стоит. По опыту он знал, что, предъявив свои требования, «Сендеро луминосо» убивает одного из узников, а труп бросает в таком месте, чтобы его нашли: пусть все знают, что похитители — люди серьезные. Присутствие Энуса Слоуна означало, что в их распоряжении есть лишний человек, — тогда женщину и мальчишку можно будет пока не трогать и прикончить позже, если потребуется второе подтверждение. Словом, с этой точки зрения лишний узник был выгоден.

И Мигель сказал Бауделью:

— Да, старик едет с нами.

Бауделью кивнул. Несмотря на внешнюю уверенность в себе, он внутренне трясся в присутствии Мигеля, так как накануне совершил серьезную промашку — сейчас он это понимал, — поставив под угрозу всеобщую безопасность. Он сидел в одиночестве, и ему стало бесконечно тоскливо —

тогда он взял и позвонил по одному из радиотелефонов в Перу. Разговаривал он с единственным близким ему человеком — своей неряшливой подругой жизни, с которой они часто выпивали и которой сейчас ему отчаянно не хватало.

Волнение, в котором пребывал Бауделью в связи с этим звонком, и явилось причиной того, что он не сразу отреагировал на неожиданно возникшую ситуацию.

Когда Джессика возле супермаркета стала вырываться из рук тащивших ее людей, она была словно в шоке и лишь через минуту-другую с ужасом поняла, что происходит. Даже после того, как ей заткнули рот кляпом, она продолжала отчаянно бороться, особенно увидев, что неизвестные громилы схватили и Никки, а Энгуса безжалостно ударили, и он упал. Но буквально через несколько мгновений ей сделали укол, сильное лекарство попало в кровь, опустилась черная пелена, и Джессика потеряла сознание.

И вдруг она начала выбираться из этого состояния, оживать, к ней возвращалась память. Сначала смутно, потом все явственнее она стала различать звуки. Джессика попыталась шевельнуться, что-то сказать, но обнаружила, что не способна ни на то, ни на другое. Она попыталась открыть глаза, но и они не открывались.

Она словно находилась на дне темного колодца, старалась сделать хоть что-то, что угодно, — и не могла.

Затем наступил момент, когда голоса зазвучали явственнее, вспомнилось то, что произошло в Ларчмонте.

И Джессика открыла наконец глаза.

Бауделью, Сокорро и Мигель этого не заметили.

Джессика чувствовала, что к ней возвращается жизнь, но не могла понять, почему не может двинуть ни рукой, ни ногой — разве только чуть-чуть. Потом она увидела, что левая рука ее привязана ремнями к кровати, и поняла, что лежит на чем-то вроде больничной койки и что другая ее рука и обе ноги тоже привязаны.

Она слегка повернула голову и застыла от ужаса.

На соседней койке лежал Никки, привязанный так же, как и она. А за ним — Энгус, тоже привязанный, только веревками. А дальше — О, нет! Господи, только не это! — она увидела два раскрытых гроба разной величины, явно предназначенных для нее и для Никки.

Вот тут она закричала и стала отчаянно биться. Каким-то образом ей удалось высвободить левую руку.

Трое заговорщиков тотчас повернулись на крик. Бауделью, которому следовало немедленно отреагировать, оцепенел от испуга...

А Джессика, продолжая отчаянно биться, протянула левую руку и стала шарить, пытаясь найти хоть что-то, что можно было бы использовать в качестве оружия. Рядом находился стол с инструментами. Под руку ей попалось что-то вроде кухонного ножа для чистки овощей. Это был скальпель.

Бауделью, придя в себя от изумления, кинулся к Джессике. Увидев, что она сумела высвободить руку, он хотел было снова пристегнуть ее ремнями с помощью Сокорро.

Но Джессика оказалась быстрее него. В своем отчаянии она взмахнула ножом и рассекла лицо Бауделью, затем руку Сокорро. У обоих на коже сначала появились узкие красные полоски. А через мгновение хлынула кровь.

Бауделью, не обращая внимания на боль, все-таки пытался схватить руку Джессики. В этот момент к койке подскочил Мигель и, ударив Джессику изо всей силы кулаком, помог Бауделью пристегнуть ее руку.

Джессика еще пыталась бороться, но это было уже бесполезно. Сознавая свою беспомощность, она разразилась слезами.

Тут возникло новое осложнение. Анестезия переставала действовать и на Никки. А крики матери довольно быстро привели его в сознание. Он тоже начал кричать и вырываться, но, конечно, не смог высвободиться из прижавших его к койке ремней.

Энгус же, которому ввели снотворное позже, чем остальным, даже не шевельнулся.

В комнате стоял невероятный шум, но и Бауделью и Сокорро — оба понимали, что пора заняться собственными ранами. Сокорро заклеила пластырем порез на руке и стала помогать Бауделью, пострадавшему больше нее. Она прилепила марлевые тампоны к ране на его лице, но они тотчас пропитались кровью.

Бауделью, кивком поблагодарив ее, указал на инструменты и пробормотал:

— Помоги-ка мне.

Сокорро жгутом перекрутила левую руку Джессики. Бауделью ввел ей в вену иглу и сделал инъекцию пропофола. Глаза у Джессики закрылись, и она снова погрузилась в забытье.

Бауделью и Сокорро перешли к Никки и повторили процедуру... Мигель не вмешивался в их действия, но кипел от бешенства...

Осыпав Бауделью ругательствами и облегчив душу, он ушел, а Бауделью с помощью ручного зеркальца принялся обследовать свою кровоточащую рану. И сразу все понял. Во-первых, у него теперь до конца жизни будет шрам через все лицо. И во-вторых, — что было куда важнее, — надо немедленно зашить рану. В данных обстоятельствах в больницу или к другому врачу он обратиться не мог. Значит, оставалось только сделать все самому — с помощью Сокорро.

Он сел перед зеркалом, чувствуя, как от слабости кружится голова, и велел Сокорро принести медицинскую сумку. Он достал оттуда хирургические иглы, шелковую нитку и препарат для местной анестезии — лодокаин.

Затем он объяснил Сокорро, что каждый из них должен делать. Она по обыкновению лишь время от времени произносила: «¡Sí!» или: «¡Está bien!» *. Затем Бауделью начал вкалывать лодокаин по краям раны.

Вся процедура заняла почти два часа, и, несмотря на местную анестезию, боль была жуткая. Бауделью несколько раз едва не терял сознание. Рука у него то и дело вздрагивала, отчего швы получились неровные. Осложняло дело и то, что ему приходилось работать, глядя в зеркало. Сокорро подавала ему то, что он просил, и когда он был на грани обморока, помогала прийти в себя. Он все-таки выдержал до конца, и хотя шов получился плохой и Бауделью понимал, что останется шрам, он не сомневался, что рана заживет.

Когда с этим было покончено, Бауделью, зная, что самая трудная часть задания еще впереди и ему необходимо отдохнуть, принял двести миллиграммов секонала и заснул.

3

Около 11.50 в гостиной квартиры в Порт-Кредите Гарри Партридж включил телевизор и поймал станцию «Буффало» — филиал Си-би-эй в штате Нью-Йорк.

Вивиен куда-то ушла и должна была вернуться не раньше обеда. Из дневного выпуска новостей Партридж надеялся узнать о последствиях вчерашней аварии самолета «Маскигон эйрлайнз» в далласском аэропорту Форт-Уорт. В 11.55, когда в программу «врезался» Специальный бюллетень Си-би-эй, Партридж сидел у телевизора.

Как и все остальные телезрители, он был глубоко потрясен и взволнован услышанным...

Ему сразу стало ясно: его отпуск закончился, не успев начаться.

Поэтому он не удивился, когда минут через сорок пять раздался телефонный звонок, и его попросили прибыть в штаб-квартиру телестанции Си-би-эй в Нью-Йорке. Удивило его лишь то, что просьба исходила от Кроуфорда Слоуна...

Партридж почувствовал, что никогда еще, — а они со Слоуном знали друг друга много лет, — они не были так близки, как в эту минуту.

— Держись, Кроуф. Вылетаю ближайшим рейсом.

— Спасибо, Гарри. Можешь назвать людей, с которыми ты бы хотел работать?

* Да! Хорошо! (исп.).

— Да. Достаньте из-под земли Риту Эбрамс — она где-то в Миннесоте — и попросите приехать. Минь Ван Каня тоже.

— Если их еще не будет к твоему приезду, они появятся чуть позже. Кого-нибудь еще?

Пораскинув мозгами, Партридж сказал:

— Мне нужен Тедди Купер из Лондона.

— Купер? — в голосе Слоуна прозвучало недоумение, потом он вспомнил. — Это тот, что занимался расследованиями в нашем отделении?

— Верно.

Тедди Купер, двадцатипятилетний англичанин из тех, кого на его родине снобы именуют «питомцами кирпичных университетов», был в то же время жизнерадостным кокни, который мог с успехом пройти на роль в фильме «Я и моя девушка». По мнению Партриджа, он обладал гениальной способностью превратить обычную поисковую работу в детективное расследование и на основе его прийти к проницательным умозаключениям.

Партридж открыл Купера, работая в Европе — в то время Тедди занимал должность младшего библиотекаря на Би-би-си. Партриджа поразила изобретательность, с какою Купер выполнил для него кое-какую розыскную работу. После чего он помог Куперу устроиться в лондонское отделение Си-би-эй, где ему хорошо платили и перед ним открывались более интересные перспективы.

— Считай, что он в твоем распоряжении, — ответил Слоун. — Он вылетит из Англии на первом же «Конкорде».

— Если ты в состоянии отвечать, — сказал Партридж, — я бы хотел задать тебе несколько вопросов — мне надо кое-что обдумать по дороге.

— Конечно. Спрашивай.

Задать вопросы было необходимо, однако все ответы на них оказались отрицательными.

— Ну неужели тебе ничего не приходит в голову, — упорствовал Партридж, — может, был какой-то пустяк, который ты пропустил мимо или почти не заметил, но который может иметь отношение к тому, что произошло?

— Пока ничего не припоминаю, — сказал Слоун. — Но я подумаю.

Повесив трубку, Партридж возобновил сборы. Еще до звонка Слоуна он начал укладывать чемодан, который распаковал всего час назад.

Он позвонил в «Эйр Канада» и забронировал место на самолет, вылетающий в 14.45 из международного аэропорта Пирсона в Торонто...

Уходя, он увидел билеты на завтрашний концерт Моцарта, лежавшие на буфете. Он с грустью подумал, что они — как, впрочем, и другие пропавшие билеты и приглашения — символизируют извечную непредсказуемость жизни тележурналиста.

В «боинге 727» компании «Эйр Канада», вылетавшем беспосадочным рейсом, места были только в туристском классе. Пассажиров было мало, и Партридж сидел в своем ряду один, без соседей. Он обещал Слоуну, что постарается собраться с мыслями уже на пути в Нью-Йорк, и сейчас намеревался обдумать стратегию группы расследования Си-би-эй. Однако он располагал лишь отрывочными сведениями, и ему явно не хватало информации. Так что по прошествии некоторого времени он бросил это занятие и, потягивая водку с тоником, предался совсем другим размышлениям.

Он пытался разобраться в своем отношении к Джессике.

За годы, прошедшие с вьетнамской войны, он приучил себя к мысли, что Джессика принадлежит прошлому — когда-то он любил ее, но теперь они далеки друг от друга, по крайней мере она от него. Отчасти это было самовнушением — таким образом Партридж старался совладать с собой, воздвигнуть барьер чувству жалости, которое он ненавидел.

Однако сейчас, когда Джессика была в опасности, он признался себе, что она столь же много значит для него, как и прежде. «Взгляни правде в глаза, ведь ты все еще любишь ее. — Да, люблю...»

Мысли Партриджа вернулись к настоящему, лишь когда самолет пошел на посадку в Нью-Йорке. Он первым сбежал по трапу и быстро пересек зал аэропорта Ла Гардия. У него была только ручная кладь, поэтому ему не надо было дожидаться багажа — он взял такси и отправился в штаб-квартиру телестанции Си-би-эй.

Первым делом он зашел в кабинет Чака Инсена, но там никого не оказалось. Старший выпускающий крикнул ему с «подковы»:

— Привет, Гарри! Чак на пресс-конференции Кроуфа. Ее записывают на видео. Сможешь посмотреть.

Партридж подошел к «подкове», и выпускающий добавил:

— Кстати, если тебе еще не сказали, Кроуфа на сегодня отстранили от передачи. Так что тебе придется вести вечерний выпуск.

4

В тот вечер в Хакенсаке, в логове медельинских гангстеров, Мигель настроил приемник на радиостанцию, передающую последние известия. Одновременно вся команда смотрела портативный телевизор, переключая его с одной программы новостей на другую: всюду сообщалось о похищении семьи Слоуна.

Было очевидно, что ни пристальный интерес, ни тщательный анализ происшедшего пока не дали никаких результатов: личности похитителей и мотивы похищения оставались невыясненными. Правоохранительные органы не знали, в каком направлении скрылись похитители и где находятся их жертвы. В одних сообщениях высказывались предположения, что они сейчас уже далеко от Нью-Йорка. В других говорилось о том, что подозрительные автомобили были остановлены и задержаны на дорогах Огайо, Вирджинии и на канадской границе. Полицейские арестовали нескольких преступников, но ни один из них не имел отношения к делу Слоунов.

Приводилось описание пикапа «ниссан», в котором якобы скрылись похитители. Значит, пикап, оставленный Карлосом в Уайт-Плейсе, до сих пор не обнаружен. Карлос благополучно вернулся в Хакенсак несколько часов тому назад.

Мигель и остальные члены команды, хоть и понимали, что полиция разыскивает их по всей Северной Америке и ликовать еще рано, все же вздохнули с некоторым облегчением. Сознавая, что опасность отнюдь не миновала, Мигель установил круглосуточное дежурство. Вот и теперь Луис и Хулио расхаживали с автоматами вокруг дома, стараясь держаться в тени строений.

Мигель понимал, что если их логово обнаружат и оцепят отрядами полиции, вряд ли кому-то из них удастся бежать. На этот случай он уже отдал четкие приказания: никто из похищенных не должен остаться в живых. Сейчас в приказ была внесена единственная корректива — три жертвы вместо двух.

Из всех телепрограмм больше всего заинтересовал Мигеля выпуск «Вечерних новостей» Си-би-эй. Его удивило то, что вопреки традиции передачу вел не Кроуфорд Слоун, а человек по фамилии Партридж — Мигель как будто видел его раньше. Однако в прямой эфир вышло интервью со Слоуном, а затем была показана видеозапись пресс-конференции...

Мигель просмотрел все программы новостей, выключил телевизор и принялся тщательно анализировать информацию.

Во-первых, подозрение не падало ни на «Медельинский картель», ни на «Сендеро луминосо». На данном этапе это было большим плюсом. Вторым, не менее существенным плюсом было то, что никто не знал, как он выглядит и как выглядят шестеро остальных участников похищения. Если бы властям удалось раздобыть эти сведения, они, безусловно, были бы уже обнародованы.

Мигель пришел к выводу, что все это несколько снижает опасность его дальнейших действий.

Мигелю требовались деньги, и чтобы их получить, надо было сегодня вечером позвонить по телефону и назначить встречу на завтра в здании Организации Объединенных Наций или где-то поблизости.

Перевод крупных сумм в Соединенные Штаты с самого начала оказался делом непростым. У «Сендеро луминосо», финансировавшей эту операцию, денег в Перу было предостаточно. Сложность состояла в том, чтобы обойти перуанские законы, регулирующие обмен валюты, и перевести в Нью-Йорк сумму в американских долларах, сохранив в тайне, откуда, через какие банки и куда они переведены.

Все это хитроумно проделывал некий сочувствующий левым силам пособник «Сендеро», который занимал высокий пост в банковской системе Лимы. Его посредником в Нью-Йорке был перуанский дипломат, первый помощник постоянного представителя Перу при ООН.

«Сендеро» и «Медельинский картель» выделили на подготовку операции 750 тысяч долларов. Сюда входило: плата участникам операции, расходы на транспорт и суточные, аренда конспиративной квартиры, приобретение шести автомобилей, медицинского оборудования, медикаментов и гробов, оплата секретной агентуры в «Малой Колумбии» в Куинсе, стоимость оружия, комиссионные за перевод денег в Перу и Нью-Йорке, ну и вознаграждение служащей американского банка. А кроме того, расходы по перевозке узников из США в Перу на частном самолете.

Почти все деньги, потраченные в Нью-Йорке, Мигель получал наличными от сотрудника ООН.

Осуществлялось это следующим образом: банкир в Лиме тайно превращал деньги, вверенные ему «Сендеро луминосо», в американские доллары — по 50 тысяч долларов за раз. Затем он переводил эту сумму в нью-йоркский банк, находившийся на Даг Хаммаршельд-плац, рядом со зданием ООН, где деньги оседали на специальном счету миссии Перу при ООН. О существовании счета знали только Хосе-Антонио Салаверри, который имел право подписи и был доверенным лицом постоянного представителя при ООН, и заместитель управляющего банком Хельга Эфферен. Она же лично занималась специальным счетом.

Хосе-Антонио Салаверри был одним из тайных союзников «Сендеро», однако не брезговал брать комиссионные за передачу денег. Хельга спала с двурушником Салаверри, и оба, ни в чем не отставая от дипломатической элиты ООН, вели шикарный образ жизни, несоразмерный с их официальными доходами. Поэтому-то они и не прочь были подработать на секретных посреднических операциях.

Всякий раз, когда Мигелю требовались деньги, он звонил Салаверри и называл сумму. Они договаривались о встрече через день или два, обычно около штаб-квартиры ООН, иногда в другом месте. За эти дни Салаверри успевал набить портфель наличными. Мигель забирал деньги и уходил.

Но одно обстоятельство беспокоило Мигеля. Однажды Салаверри проговорился: хоть он, мол, и не знает, для чего предназначены эти деньги и где прячутся Мигель и его компания из «Медельинского картеля», он все же догадывается, что они затевают. Мигель понял, что в Перу произошла утечка информации. Тут уже ничего нельзя было предпринять, но во время встреч с Хосе-Антонио Салаверри Мигель стал держаться настороженно.

И сейчас Мигель взглянул на находившийся рядом радиотелефон. Он чуть было не поддался искушению набрать номер, но знал, что этого делать нельзя — надо выйти на улицу. В кафе за восемь кварталов отсюда находился телефон-автомат, которым он уже пользовался раньше. Он посмотрел на часы: 19.10. Если повезет, он застанет Салаверри дома, в его квартире в центре Манхэттэна.

Мигель надел куртку и быстро пошел по улице; он был начеку, следя за тем, нет ли чего-то подозрительного. Все было как всегда.

Его мысли вернулись к пресс-конференции с Кроуфордом Слоуном, которую передали по телевизору. Мигеля заинтересовало упоминание о книге Слоуна, где, судя по всему, говорилось, что никогда нельзя платить выкуп: «заложниками следует жертвовать ради принципа». Мигель слышал о книге впервые, и наверняка о ней не знали ни в «Медельинском картеле», ни в «Сендеро луминосо». Хотя вряд ли эта информация повлияла бы на их решение похитить семью Слоуна: то, что человек пишет для публикации, зачастую не совпадает с тем, как он поступает и что чувствует в жизни. Впрочем, сейчас это не имело значения.

На пресс-конференции прозвучало кое-что поинтереснее: оказывается, этот mocoso *, слоуновский отпрыск, собирается стать концертирующим

* Сопляк (исп.).

пианистом. Мигель припрятал в сознании эту деталь, ибо интуиция подсказывала ему, что когда-нибудь она может пригодиться.

Подойдя к кафе, Мигель увидел, что там сидят всего два-три человека. Он вошел и, подойдя к телефону, висевшему в глубине помещения, набрал заученный наизусть номер. После трех гудков Салаверри снял трубку.

— Алло, — произнес он с сильным испанским акцентом.

Мигель трижды — так было условлено — легонько стукнул ногтем по микрофону в телефонной трубке. Потом сказал очень тихо:

— Завтра утром. Пятьдесят штук. — «Штука» означала тысячу долларов.

На другом конце провода послышалось учащенное дыхание. Голос его собеседника звучал испуганно.

— Estas loco? * Зачем звонишь сегодня? Ты где? Наш разговор не могут засечь?

Мигель презрительно спросил:

— Неужели я похож на pendejo? **

В его голове пронеслась мысль, что Салаверри связал его с сегодняшним событием, значит, встречаться с ним опасно. Но выхода не было. Мигелю нужны были деньги, чтобы, помимо всего прочего, купить гроб для Ангуса Слоуна. К тому же он знал, что на нью-йоркском счету лежит еще кругленькая сумма, и хотел до отъезда кое-что урвать для себя. Он был уверен, что к грязным пальцам Хосе-Антонио Салаверри прилипали не только комиссионные.

— Мы не сможем встретиться завтра, — сказал Салаверри. — Слишком рано и слишком маленький срок, чтобы приготовить деньги. Вы не должны...

— Callate! *** Не заставляй меня терять время. — Мигель сжал трубку и, сдержав гнев, продолжал говорить тихо, чтобы сидящие в кафе не услышали: — Это приказ. Чтобы пятьдесят штук были готовы завтра утром. Я приду как обычно, сразу после полудня. Если провалишь дело, сам знаешь, наши общие друзья тебя по головке не погладят, а руки у них длинные.

— Нет, нет! Пусть не беспокоятся, — Салаверри залопотал торопливо, заискивающе. Угроза мести со стороны «Медельинского картеля» была делом нешуточным. — Я постараюсь.

— Одних стараний мало. До завтра, — отрезал Мигель. Повесил трубку и вышел из кафе.

В хакенсакском логове трое похищенных, оставленных на попечение бдительной Сокорро, все еще находились под действием снотворного...

Рано утром Мигель, который почти не сомкнул за всю ночь глаз, снова включил телевизор и стал смотреть «Новости». Похищение Слоунов по-прежнему оставалось сенсацией номер один, хотя новой информации не прибавилось.

Немного погодя Мигель сказал Луису, что в одиннадцать часов они вдвоем поедут на Манхэттэн в катафалке.

Катафалк был их шестым автомобилем — подержанный «кадиллак» в хорошем состоянии. До сих пор они пользовались им всего два раза. Остальное время катафалк стоял за домом, и остальные члены команды называли его el angel negro — черный ангел. Дно катафалка, где обычно стоит гроб, было выложено прекрасным розовым деревом, в которое были вмонтированы резиновые колесики — это позволяло плавно двигать гроб. Верх и боковины были обиты синим бархатом.

Мигель собирался воспользоваться катафалком только напоследок, чтобы добраться до аэропорта перед отлетом в Перу; однако сейчас он решил, что это, пожалуй, самый безопасный вид транспорта. Прочие легковые автомобили и грузовик слишком долго были на виду, когда велось наблюдение в Ларчмонте, и вполне возможно, в распоряжении полиции уже есть их описание.

---

* Ты что, рехнулся? (исп.).
** Идиот (исп.).
*** Заткнись! (исп.).

Погода испортилась — теперь лило как из ведра, дул сильный, порывистый ветер, небо было мрачного, свинцового цвета.

Луис сел за руль, и они двинулись из Хакенсака окольным путем; несколько раз они меняли направление и дважды останавливались, желая удостовериться, что нет хвоста. Луис вел «кадиллак» очень осторожно — дорога была скользкой и едва различимой за монотонно работающими «дворниками». До самого Вихокена они держались своей стороны Гудзона, затем нырнули в туннель Линкольна и в 11.45 въехали на Манхэттэн.

Оба — Мигель и Луис — были в темных костюмах, при галстуках, как и подобает едущим в катафалке.

Из туннеля они двинулись к Сороковой улице. Из-за сильного дождя они тащились по городу мучительно медленно — машины буквально упирались одна в другую. Мигель смотрел на толпу пешеходов, бредущих по неровным тротуарам...

Они свернули на Третью авеню; не доезжая до Сорок четвертой улицы, Луис притормозил у края тротуара, и Мигель вышел из машины. Подняв воротник, чтобы дождь не затекал за шиворот, Мигель зашагал к зданию ООН, до которого оставалось два квартала... Луису дано было указание колесить по городу, а через час вернуться на то же место. А затем приезжать сюда через каждые полчаса, пока не появится Мигель.

На углу Сорок четвертой улицы Мигель купил у уличного торговца зонтик, но никак не мог сладить с ним на ветру. Через несколько минут он пересек Первую авеню напротив белого здания Генеральной ассамблеи ООН. Из-за дождя флаги с многочисленных флагштоков были сняты, и те стояли голые, заброшенные. Миновав чугунную ограду, Мигель прошел через вход для делегатов и поднялся по ступенькам в холл, через который посетители попадали в здание. У Мигеля ничего с собой не было, и он быстро прошел через пропускной пункт, в то время как другие должны были предъявлять сумки и свертки для досмотра.

В большом зале на скамьях сидели посетители, чьи лица и одежда в полной мере соответствовали пестрому разнообразию самой ООН...

Не обращая внимания на ожидающих, Мигель направился в дальний конец зала, где висела табличка с броской надписью «Экскурсии для посетителей». Под ней стоял с чемоданчиком Хосе-Антонио Салаверри.

«Вылитый хорек», — подумал Мигель, глядя на узкое, худое лицо, ниточку усов и лысеющую голову Салаверри. Перуанскому дипломату, обычно державшемуся с надменным видом, сегодня было явно не по себе.

Они едва кивнули друг другу, и Салаверри подвел Мигеля к бюро информации, где, пользуясь полномочиями дипломата, записал его под вымышленной фамилией. Мигель получил пропуск посетителя.

Они пошли по галерее с колоннами — из окон открывался вид на сад и на Ист-ривер за ним. Поднявшись по эскалатору на следующий этаж, они вошли в Индонезийский зал — только для дипломатов и гостей... Мигель и Салаверри устроились в уединенном уголке.

Посмотрев на севшего напротив Мигеля, Салаверри неприязненно скривил тонкие губы.

— Я ведь предупреждал: являться сюда опасно! И без того риск слишком велик.

— А что здесь опасного? — спокойно спросил Мигель. Ему необходимо было выяснить, до какой степени осведомлен этот слизняк.

— Идиот! Будто вы сами не знаете! По телевидению, в газетах только и речи о том, что вы натворили, об этих людях, которых вы выкрали. ФБР, полиция повсюду вас ищут. — Салаверри сглотнул, затем с беспокойством спросил: — Когда вы уезжаете?.. Когда сматываетесь из Штатов всей компанией?

— Допустим, мы действительно уезжаем, но вам-то зачем это знать? Не все ли вам равно?

— Хельга от страха места себе не находит. Да и я тоже.

Стало быть, этот кретин все выболтал своей шлюхе из банка. Значит, первоначальная брешь в системе безопасности расползлась и сейчас оборачивается прямой угрозой, которую придется устранять. Хотя Салаверри ничего не мог знать наверняка, однако его идиотская догадливость предрешила судьбу его самого и его подружки.

— Сначала давай деньги, — сказал Мигель, — а потом я отвечу.

Салаверри набрал шифр на замке своего чемоданчика. Затем извлек оттуда пухлый пакет из толстой бумаги, перетянутый клейкой лентой, и протянул его Мигелю.

Мигель вскрыл пакет, взглянул на деньги и приклеил ленту на место.

— Вы что же, не собираетесь пересчитывать? — язвительно спросил Салаверри.

Мигель пожал плечами.

— Вы не посмеете меня надуть. — И, помолчав, сказал с наигранным безразличием: — Так значит, вас интересует, когда я и мои люди уберемся отсюда?

— Да, интересует.

— Где вы с вашей приятельницей будете сегодня вечером?

— У меня. Мы так расстроены, что никуда не хотим идти.

Мигель бывал у него дома и помнил адрес.

— Там и ждите, — сказал он. — Я не смогу позвонить — почему, потом узнаете. Сегодня вечером к вам явится мой человек и сообщит все, что вы хотели бы выяснить. Его зовут Плато. Когда он назовется, можете смело открывать дверь.

Салаверри энергично закивал. Ему явно стало легче.

— Я оказываю вам эту услугу, — добавил Мигель, — за то, что вы так быстро управились с деньгами...

Выйдя из здания ООН, Мигель пересек Первую авеню и вошел в отель «Плаза», принадлежащий ООН. На первом этаже, рядом с газетным киоском, находился телефон-автомат.

Он набрал заученный на память номер в Куинсе. Когда на другом конце провода раздался голос, Мигель знал, что попал в частный дом в районе Малой Колумбии на Джексон-Хейтс, напоминавший по виду крепость. Мигель был краток: не называя никаких имен, он продиктовал номер телефона, с которого звонил, и повесил трубку.

Он терпеливо ждал у автомата; дважды подходили какие-то люди, но он делал вид, будто звонит. Через семь минут раздался звонок. Мигелю сообщили, что говорят из другого телефона-автомата. Следовательно, их разговор не засекут и не прослушают.

Понизив голос, Мигель изложил свою просьбу. Его заверили, что она будет выполнена. Соглашение было достигнуто, плата — шесть тысяч долларов. Мигель продиктовал адрес Салаверри и предупредил: пароль — имя Плато. Он еще раз подчеркнул:

— Непременно сегодня вечером, и чтоб было похоже на убийство и на самоубийство.

Ему пообещали, что его инструкции будут выполнены самым тщательным образом.

К месту встречи на Третьей авеню Мигель подошел чуть раньше чем через час. Несколько минут спустя подъехал Луис.

Усаживаясь в машину, мокрый от дождя, Мигель сказал Луису:

— Едем в похоронное бюро — то же, что в прошлый раз. Помнишь?

Луис кивнул и вскоре свернул на восток, в направлении моста Куинсборо.

Продолжение следует

А. А. Любищев

О СМЫСЛЕ И ЗНАЧЕНИИ ВЕНГЕРСКОЙ ТРАГЕДИИ

За участие в событиях осени 1956 года нынешний президент Венгрии Арпад Генц в том же году был приговорен к пожизненному тюремному заключению. Он отказался признать свою вину и на первом же допросе заявил, что это была революция. В интервью, напечатанном в газете «Известия» (4.10.1990), Арпад Генц сообщил, что закончил писать книгу — взгляд венгра на 1956 год, без чего «нельзя достоверно судить о том, что же тогда происходило у нас в стране».

В официозах советской прессы венгерское восстание 1956 года продолжают называть эвфемизмом «венгерские события». Правды об этих событиях в советской печати еще нет. Уже признают ошибкой ввод войск в Чехословакию и подавление Пражской весны 1968 года. Видимо, придет время признать ошибкой и жестокое подавление венгерского восстания 1956 года.

В 1976 году я лежал в одной палате с бывшим водителем танка советского батальона, осенью 1956 года переброшенного (на вертолетах) в Венгрию.

Из рассказа танкиста: сначала не было приказа стрелять. Потом начались уличные бои. На узких улицах танки были уязвимы, потери — велики. Ожесточение со стороны восставшего народа и со стороны советских солдат в разгар революции достигло крайних пределов. Однажды танковой колонне на шоссе преградила путь толпа женщин с детьми. Был дан приказ не останавливаться...

Венгерские события глубоко потрясли многих современников, умеющих видеть за официальными сообщениями истинную суть событий. Вот оценка, данная по горячим следам в декабре 1956 года известным в те годы биологом и философом, а точнее, мыслителем А. А. Любищевым:

«Венгерское восстание не контрреволюция, а настоящее народное... Интервенция, подавление венгерских рабочих и крестьян есть акт контрреволюционный, и не случайно, что и средства усмирения (военно-полевые суды) заимствованы из арсенала реакционного правительства Столыпина. Значение же венгерских событий в том, что первый страшный удар по сталинизму в международном масштабе нанесен не капиталистами, а рабочими и прогрессивной молодежью».

Естественно, что эта статья, как и многое другое из творческого наследия Любищева, не была опубликована

Любищев — выпускник Петербургского университета. Мне известен еще один случай, когда человек с «Университетской набережной», а именно студент физмата Револьт Пименов, протестовал против подавления венгерской революции советскими войсками. Он разослал письма-протесты всем членам Верховного Совета СССР. Через некоторое время Р. Пименов был исключен из Ленинградского университета и оказался в ГУЛАГе, где с перерывами провел более 15 лет.

Несомненно, что страшная венгерская трагедия уже сейчас потрясла мир. Это потрясение несколько слабее того, чем могло бы быть, так как одновременно с преступлением против Венгрии было совершено преступление против Египта, но, конечно, оба преступления не могут быть сравнимы, хотя некоторое сходство и обнаруживают. В Египте мы имеем просто возвращение Англии и Франции к приемам старого империализма (Израиль тут оказался в дурном обществе), и приходится удивляться только тому, как умный и выдержанный Иден мог совершить подобную глупость, так как даже в случае удачи с Египтом выиграли бы прежде всего Соединенные Штаты в ущерб Англии. В Венгрии же мы имеем даже не возвращение к приемам Сталина (что было бы уже достаточно скверно), но возвращение к приемам Николая I и даже хуже того. Ведь Франц-Иосиф все-таки мог претендовать на роль «законного» правителя Австро-Венгрии. Кадар же ни с какой точки зрения законным правителем

считаться не может. Старый легитимизм, во-первых, здесь неприложим, а во-вторых, неприемлем с республиканской точки зрения, так как «законным» с современной точки зрения является только правительство, опирающееся на волю народа, избранное народом. А правительство Кадара, как известно, не только не было избрано рабочими Советами (подобно правительству Ленина), но распустило рабочие Советы и сейчас борется военно-полевыми судами, расстреливая рабочих за хранение оружия (это будет почище Столыпина: там казнили за вооруженное сопротивление, но не за хранение оружия). Кроме того, с республиканской точки зрения вообще немыслимо «законное» правительство, призывающее иностранные войска для борьбы с собственным народом, хотя бы и заблуждающимся. Ссылка на Варшавский Договор просто нелепа: по Варшавскому Договору иностранные войска вводятся для охраны от иностранного нападения иной великой державы, но отнюдь не для подавления восстания рабочих и крестьян. Поэтому использование иностранных войск подлежит безусловному осуждению в принципе. Но тут возникает новый подход: принцип наименьшего зла. Конечно, использование иностранных войск — это зло, но в данном случае это зло было необходимо для избежания еще большего зла. На такую точку зрения стали, по-видимому, югославы, в частности, в своей речи Кардель. Насколько я его понял, его мысль такова: первое выступление советских войск (23 и 24 октября) было недопустимым, так как тогда было чисто народное движение, которое подавлять было нельзя, но после советских войск и Будапешта стали брать верх реакционные силы, подавление которых было необходимо во избежание торжества реакционных сил и возможного развязывания новой мировой войны. Поэтому Кардель осуждает первое вмешательство советских войск и с горечью примиряется со вторым, 4 ноября.

Эти доводы никем, насколько мне известно, не развивались, попробую из доводов моих собеседников восстановить всю аргументацию. 1. Возможность восстановления фашистского режима. Аргументация сводится к тому, что ряд крайне правых фигур (Эстергази, Миндсенти и др.) заявили о своих притязаниях на власть, армия фактически распалась, и вооруженные группы, заранее хорошо подготовленные, готовились к возвращению заводов — капиталистам, земли — помещикам и т. д. Что Эстергази мечтал о возвращении земель — это вполне возможно, но чтобы ему их удалось получить — в этом позволительно усомниться. Мы знаем из истории, что когда была реставрация Бурбонов во Франции с опорой на иностранные штыки, то вернувшиеся аристократы думали вернуть земли, но даже правительство Людовика XVIII не решилось этого сделать, ограничившись выплатой компенсации. Вернуть землю от мужиков — это нелегкая задача. Думаю, что так же трудно было бы вернуть и заводы капиталистам. Думаю, что максимум отхода от социализма было бы предоставление инициативы капиталистам наряду с государственным сектором. То есть нечто вроде нашего нэпа или государственного капитализма в Китае, это весьма далеко от фашизма.

Но, говорят, вернулся бы режим Хорти, так как среди заговорщиков было много хортистских офицеров. Что такое режим Хорти, я ясно себе не представляю, но попробуем ответить на вопрос, что более противно желаниям венгерского народа — режим Хорти или режим Ракоши — Гере. Мы знаем, что Венгерская Народная Республика, возникшая в 1919 году, просуществовала очень недолго и была ликвидирована с помощью иностранных войск, насколько мне помнится, главным образом с помощью румынских войск, действовавших по мандату Антанты. С тех пор установилась диктатура Хорти, господствовавшая в течение 25 лет (Полит. словарь, 1956, стр. 76). По официальной версии, народная власть Венгерской Народной Республики была насильственно, вопреки желанию народа свергнута. Что же это была за власть? Известны три имени, связанных с венгерской Советской властью: Бела Кун (кажется, он был главой правительства), Матиас Ракоши (род. 1892, видный деятель Венгерской Народной Республики), Эрне Гере (род. 1898, активный участник венгерской революции 1919 г.).

Мне лично знакомы два венгерских коммунистических деятеля: проф. Булгар, бывший, кажется, министром просвещения Венгерской Народной Республики (бесцветная личность), и Влад. Вильг. Рудаш — самый интересный философ

среди знакомых мне марксистских философов (а также всех пишущих философов-марксистов) — действительно оригинальный ум и по всем данным честный и преданный делу коммунист. С ним я познакомился в Пржевальске. Рудаш ненавидел Белу Куна и считал его виновником провала Советской власти. Как известно, Бела Кун действовал в Крыму после ликвидации врангелевщины и был одним из главных виновников (вместе с Г. Л. Пятаковым) разнузданного и вероломного террора прежде всего по отношению к сдавшимся офицерам, которым была обещана амнистия. Передавали, что он говорил: «Вы, русские, не умеете быть беспощадными с врагами, мы покажем, как с ними надо поступать». Что касается Ракоши и Гере, то о них даже в выступлениях наших вождей и самого Кадара говорится ясно: это клика Ракоши и Гере. Ясно поэтому, что когда во главе Венгерской Народной Республики действовали фигуры, подобные этим трем (а они подлинные «бесы» революции), то они могли вызвать чисто народную контрреволюцию, подобную народной контрреволюции в Вандее. Кадар в своем докладе перечисляет четыре главные причины событий в Венгрии: 1) антинародную политику клики Ракоши — Гере, 2) вынесенную на улицу (но, по существу, справедливую) критику Имре Надя, 3) примесь чисто контрреволюционных элементов, 4) пропаганду «Свободной Европы».

Ракоши и Гере сохранили весь стиль работы 1919—1920 годов. Где был Гере с 1920 по 1924 год — неизвестно, но с 1924 по 1944 год жил в СССР, где, видимо, полностью пропитался сталинским духом, родственным его натуре. Ракоши был арестован в Венгрии, находясь на нелегальной работе в 1925 году, приговорен к восьми с половиной годам тюремного заключения, потом, по отбытии этого срока в 1935 году, был приговорен к пожизненной каторге, а в октябре 1940 года, после переговоров между венгерским и советским правительствами, был освобожден и прибыл в СССР. Кстати, при «фашистской диктатуре» заведомо выдающийся вождь коммунизма (был избран заочно в 1935 году членом Исполкома Коминтерна) приговаривается к каторге, а потом освобождается, а сейчас, при диктатуре «рабоче-крестьянского» правительства Кадара, простые рабочие просто за хранение оружия приговариваются военно-полевым судом к смертной казни. Хорошо помню (по крымским газетам советского периода), что казней после подавления Советской власти было гораздо меньше, чем в Крыму, правда, о последних не писалось.

Революции считают повивальными бабками истории. Но были ли случаи, чтобы новорожденного ребенка вновь пытались загнать в утробу матери? Вот если революция осуществляет то, что она должна осуществить, и только это, то контрреволюция так же невозможна, как контрхирургия или контргинекология. Если же, что обычно происходит, после успешной революции наблюдается широкое распространение в народе контрреволюционных идей, то это значит, что революционеры перестали быть революционерами, а стали кликой насильников над народом. И сейчас говорят: «У нас не было и нет сталинизма», нечего с ним бороться. Сталинизм — это марксизм, выродившийся в голый деспотизм, аракчеевщину. Партия при Сталине отказалась от ленинского понимания единства в смысле объединения весьма разномыслящих людей, связанных общим стремлением к социализму, а перешла к сталинскому пониманию — исключения всех, хоть сколько-нибудь несогласных. Всякая тень фракционности была устранена: фракций не было, но это не предохранило от появления «клик» и притом среди наиболее «подкованных» сталинистов. Не помогло и создание более широкого фронта, вроде нашего блока «коммунистов и беспартийных». В Венгрии, как известно, в 1948 году произошло объединение коммунистической партии и социал-демократической партии в Венгерскую партию трудящихся. Но этого мало. Оказывается, в Венгрии не были ликвидированы другие партии. Венгерская партия трудящихся руководила в Венгрии Народным фронтом независимости, в который, помимо ВПТ, входит партия мелких сельских хозяев (осн. в 1929), национально-крестьянская партия (осн. в 1939), профсоюзы, Союз демократических женщин и другие общества и политические организации. Сейчас общепризнано, что фактически всем руководила клика Ракоши — Гере и, несмотря на такой широкий фронт, твори-

лись жуткие дела и была самая неограниченная деспотия во всех организациях. Под флагом чистки от «реакционных» элементов были оставлены только марионетки, точно так же, как и в черносотенных организациях было немало рабочих. Вот особой чертой сталинизма и является оторванность правящих верхов партии от народа, замыкание в касту, «клику», новый класс эксплуататоров. характерных несменяемостью («номенклатурные списки»), безответственностью (отвечают только за измену вождю клики или клике) и тенденцией к наследованию привилегий (в Институт международных отношений принимают только детей современных олигархов). Высокие оклады, оторванность от народа, невежество, бескультурье, аморальность — все становится известным народу, несмотря на цензуру Вот во что постепенно выродился сталинизм, и если окажется, что вместо антитезы «коммунизм или фашизм» перед народами и перед интеллигенцией станет антитеза «сталинизм (чрезвычайно сходный с фашизмом) или капитализм», то народы без колебания станут на сторону капитализма, так как капиталист при всех своих недостатках ответствен своим карманом за сделанные ошибки, а наши партийные бюрократы решительно ничем не отвечают. Нельзя же считать за серьезное наказание легкие испуги вроде выговора или строгача, снимаемые через короткий срок с послушных, благонадежных коммунистов. Вот к чему приведет строгое проведение сталинской системы. К крушению социализма во всех сталинских странах. Можно надеяться на то, что социалистические несталинские страны: Китай, Польша, Югославия — покажут пути постепенного превращения в подлинно демократическую страну, постепенной ликвидации режима диктатуры.

НЕЛЬЗЯ говорить о советском пути строительства социализма, как вызванном национальными и местными историческими особенностями. Сталинский период — полное извращение социализма. В 1953 году произнесли хулу на Берию и МГБ — очень хорошо, в 1954 году восстановили дружбу с Югославией — просто великолепно, на XX съезде произнесли, хотя и не напечатали, хулу на Сталина - тоже великолепно, но нельзя произнести хулу на Сталина, не хуля сталинизма, этого не решаются сделать, хотя венгерская революция заставляет это сделать. Ранее указаны четыре причины революции, из которых надо считать главной первую. Но можно прибавить главную причину — доклад Хрущева на XX съезде (секретный, который был опубликован за границей): он сделал гораздо больше, чем все пропагандистские речи «Голоса Америки» и «Свободной Европы». Подавлением венгерского восстания движения вперед не остановить, и если наше руководство будет придерживаться сталинизма, то возникнет весьма серьезная опасность восстановления капитализма не только в странах народной демократии, но и в Советском Союзе.

ВОЗМОЖНОСТЬ РАЗВЯЗЫВАНИЯ ТРЕТЬЕЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Ясно, что даже полное торжество Минсенти и других правых деятелей в Венгрии толчком к началу третьей мировой войны служить не могло. Венгрия вышла бы из Варшавского пакта, но так как в отношении остальных стран он сохранял силу, то, например, нападение Венгрии на Румынию было исключено. Даже выход Восточной Германии поводом к началу войны быть не мог. Но проявленное нами миролюбие способствовало бы усилению миролюбивых элементов во всем мире, так как мы продемонстрировали бы полностью свое миролюбие. Мы, конечно, отлично знаем, что даже объединенная Германия была бы бессильна с нами что-либо сделать без поддержки США, а в США сторонники мира получили бы большой перевес. Мы знаем, что НАТО начал сильно колебаться, и Исландия уже требовала вывода войск США, так как в Исландии исчез страх перед СССР. С нами начали дружить такие деятели, как Спаак. Сейчас Исландия перестала требовать вывода американских войск, заключенное советско-бельгийское соглашение не ратифицировано бельгийским парламентом. Никсон, с трудом прошедший благодаря популярности Эйзенхауэра, сейчас может сказать: «Я вас предупреждал, что советское миролюбие только напускное, что там, где они почувствуют ненадежную почву, они не замедлят силой подавить сопротивление».

СССР все время утверждал, что социализм строится благодаря желанию народных масс, но, оказывается, если массы резко выскажутся против социалистической диктатуры, то советское правительство начинает аргументировать танками и военно-полевыми судами. Вся работа по разряжению международной напряженности, с таким успехом проводившаяся последние три года, сорвана. Намеченная поездка Булганина и Хрущева в Швецию снята по инициативе шведского правительства. Гонка вооружений возобновится, так как просоветские элементы в каждой стране уже не могут приводить доказательств миролюбия СССР. А так как мы, кроме того, утверждаем, что никакого сталинизма не существует, то тем самым принимаем на свою ответственность все грехи прошлого. Утверждая, что СССР никогда не был агрессором, говорим такую чушь (вспомним Финляндию, Румынию, Прибалтийские республики), которой не поверит ни один из прогрессивных деятелей. Совершенно ясно, что сталинисты у нас взяли верх или (что весьма возможно) даже наиболее прогрессивные деятели, как Хрущев и Микоян, критикуя Сталина, только не сознавали, что они тоже сталинисты. Загадочны фигуры Маленкова и Жукова.

После венгерских событий и нашей интервенции опасность войны резко возросла, гонка вооружений не имеет никаких шансов на смягчение (если только наши круто не изменят политики), и, следовательно, вопрос стоит только в том, будет ли у той или другой стороны желание разрешить напряженность войной. Положительной стороной всех происшедших событий является выяснение того обстоятельства, что США не желают большой войны. В самом деле: недавняя опасность войны проистекала из того, что империалистические круги не могли примириться с укреплением социалистического мира, грозившего путем экономического соревнования подорвать гегемонию США в ряде стран и, следовательно, привести к такому кризису, который грозил крушением всей экономической системы. Опасность со стороны США усилилась бы, если бы они были уверены в том, что, во-первых, советская система прочна; во-вторых, что СССР сумеет разрешить вполне экономические трудности, и прежде всего сельскохозяйственные трудности; в-третьих, что укрепившиеся сталинисты используют свои военные и экономические возможности, чтобы вооруженной рукой нести коммунизм на Запад, т. е. станут на отвергаемый на словах троцкистский путь.

ДО ВЕНГЕРСКОГО восстания возможность активного внутреннего сопротивления советскому режиму считалась, по-видимому, исключенной. Венгры показали, что борьба возможна. И сейчас, после декабрьского московского восстания, тоже закончившегося поражением, можно сказать: «Там, где возможна борьба, возможна и победа». Еще больше подкрепляют эту мысль события в Польше. Грозный характер венгерских событий заставил наше руководство пойти на далеко идущие уступки в Польше; да, мы знаем, что и в нашей стране венгерские события имели живой отклик среди рабочих и студенчества. За три года сталинская система порядочно порасшаталась, и наивной нелепостью является заявление сталинистов, что никакого сталинизма вообще и не было.

Поэтому, пожалуй, можно сказать, как это ни звучит парадоксально, что венгерские события в том виде, как они произошли, хотя и вызвали значительное усиление международной напряженности, но не увеличили непосредственной угрозы войны. Нечего и говорить, что если бы не было советской интервенции, то угроза войны совершенно бы отодвинулась и процесс смягчения международной напряженности сделал бы большой шаг...

РЕЗЮМИРУЮ: венгерское восстание не контрреволюция, а настоящее народное и притом прогрессивное восстание, несмотря на то что к нему примазалось, может быть, даже довольно значительное число контрреволюционных сил и просто бандитов. Георгиу Деж считает, что это контрреволюция, так как сейчас, мол, власть принадлежит в Венгрии рабочим и крестьянам, то восстание против нее обозначает переход власти к прежним эксплуататорским классам. Нет, власть в Венгрии принадлежит, как и в СССР, новому сталинистскому классу партийных олигархов, и свержение этого класса есть прогрессивная задача, хотя бы она и сопровождалась некоторым временным усилением капиталистических элементов.

Не является же контрреволюционным актом введение Лениным нэпа в России, когда был восстановлен капиталистический сектор, не является реакционной и политика в Китае с поощрением госкапитализма. Интервенция, подавление венгерских рабочих и крестьян есть акт контрреволюционный, и не случайно, что и средства усмирения (военно-полевые суды) заимствованы из арсенала реакционного правительства Столыпина.

Значение же венгерских событий в том, что первый страшный удар по сталинизму в международном масштабе нанесен не капиталистами, а рабочими и прогрессивной молодежью. Остановить борьбу со сталинизмом уже нельзя, но для нашей страны возможны несколько путей:

1) упорство сталинистов, которое не сможет задержать страну от деградации и конечного крушения сталинизма;

2) медленный переход к демократии и свободе; нужны политическая программа и политический план;

3) появление советского генерала Моика!

Ульяновск, 25 декабря 1956 года.

Предисловие и публикация
доктора биологических наук М. Д. Голубовского

Н. Н. Воронцов

ПОКОЛЕНИЕ ЛЮБИЩЕВА

С Александром Александровичем Любищевым я был знаком с 1963 года. Знаком не близко, изредка переписывался, печатал его статьи в «Проблемах эволюции». Большую часть своей жизни А. А. Любищев, выпускник Петербургского университета, провел вне столиц — в Перми, Пржевальске, Фрунзе, Ульяновске. Огромные возможности личного общения и тяга к обмену мыслями сформировали привычку излагать свои мысли в письмах. Духовная несвобода, начавшая проявляться уже в 20-х годах нашего века, приучила Любищева писать свои статьи, эссе, а подчас и объемные опусы, что называется «для себя», без оглядки на цензора, без надежды на публикацию. Но Любищев писал не «в стол», он интенсивно рассылал свои рукописи. По-видимому, Любищев был чуть ли не первым из авторов российского «Самиздата».

Осенью 1953 года, вернувшись из экспедиции, я в очередной раз попал в дом однокашника Любищева по Петербургскому университету и его сотоварища по преподаванию в Пермском университете в 1917—1923 годах, профессора МГУ, палеонтолога Юрия Александровича Орлова, впоследствии академика. Этот независимый остроумный человек дал мне рукопись неизвестного мне в ту пору провинциального профессора А. А. Любищева, доктора сельскохозяйственных наук, работавшего в Ульяновске. Напечатанная на машинке с прыгающими буквами, рукопись производила огромное впечатление. Критика Т. Д. Лысенко была начата (исторический парадокс!) еще при жизни Сталина в статьях, опубликованных в декабрьских номерах «Ботанического журнала» и «Бюллетеня Московского общества испытателей природы. Отдел биологический» (в обоих изданиях главным редактором был академик В. Н. Сукачев). Но критика эта была, конечно же, крайне осторожной. Здесь же, в рукописи Любищева, о деятельности Лысенко и его группы писалось безоглядно. К этому мы, тогдашние студенты МГУ, не привыкли.

Сейчас, смотря ретроспективно на то поколение, к которому принадлежали и Ю. А. Орлов, и А. А. Любищев, и такие мои учителя по Московскому университету, как Лев Александрович Зенкевич, Борис Степанович Матвеев, Сергей Иванович Огнев, Михаил Антонович Гремяцкий, Лев Иванович Курсанов, я понимаю, что мы застали чудом уцелевшие осколки московской интеллигенции, которая не только успела в нормальных условиях окончить гимназии, Московский университет, а некоторые даже съездили перед началом Первой мировой войны в обычную для «лиц, оставленных для подготовки к профессорскому званию», длительную годичную зарубежную поездку.

Помню и других представителей этого старшего поколения наших учителей. Одесский профессор Иван Иванович Пузанов в свои аспирантские годы изъездил на велосипеде пол-Европы от одного университета к другому, а затем обогнул на русском торговом корабле всю Азию — от Черного моря до Владивостока. Война 1914 года застала молодых петербургских зоологов Валентина Александровича Догеля и Ивана Ивановича Соколова в Экваториальной Африке на границе между английскими и немецкими колониями, а их сверстники И. Д. Стрельников и Н. А. Танасийчук работали в экспедиции в Бразилии.

Любищев не был в их числе, но принадлежал к тому же поколению — поколению людей с полноценным классическим образованием, широкой философской подготовкой, гуманистическим взглядом на мир.

Традиции российской профессуры — высшего слоя отечественной интеллигенции — уходили корнями в земскую интеллигенцию. Так, уже упоминавшийся друг Любищева Ю. А. Орлов был сыном лесничего из Архангельского городка Вельска.

Удивительно, что мне удалось прикоснуться к последним представителям этого замечательного пласта отечественной культуры. В 1941—1944 годах я оказался в эвакуации в селе Елатьма Рязанской области и застал там еще дееспособных земских врачей, земских учителей.

В домах земской интеллигенции был постоянный набор традиционных предметов — барометр, термометр со шкалой не только по Цельсию, но и по Реомюру и книги. Там я впервые познакомился с Брокгаузом и Ефроном, энциклопедическим словарем Граната, замечательной серией «Всемирная география». Это были дома, где сохранялись разрозненные тома «Современника» и «Отечественных записок». Книгами любезно разрешали пользоваться заброшенному судьбой в это село мальчику из Москвы.

В начальной школе в Елатьме моим учителем был Петр Петрович Петров. Я поступил к нему в третий класс в 1942 году. Этот суровый человек был и учителем, и воспитателем для полуголодных, завшивленных детей военного времени. Учитель был немолод, и я знал, что он преподает сорок четыре года; но только недавно я, отняв от сорок второго года сорок четыре, понял, что он начал преподавать в 1898 году (!) и преподавал все эти годы в одном и том же селе, в одной и той же гимназии, которая затем стала сельской средней школой. В те дни под Сталинградом у него погиб единственный сын. Петр Петрович пропустил единственный день. Уроки продолжались. Через год с фронта без обеих ног вернулся его младший брат — Иван Петрович, тоже сельский учитель. Он стал директором летней школы-интерната и героически простаивал всю линейку на двух протезах.

Существование пласта земской интеллигенции подпитывало отечественные университеты. И поколение старших моих учителей смогло очень многое впитать от славных традиций не только своих учителей по университетам, но и от традиций земской интеллигенции.

«Венгерские события» 1956 года в кругу моих учителей интерпретировались совершенно иначе, нежели в официозной прессе. В оценке было полное единодушие, но никто из них, много переживших на своем веку, не оставил нам такого документа, как опубликованные в этом номере записки А. А. Любищева «О смысле и значении Венгерской трагедии». Но отношение Любищева, хочу еще раз подчеркнуть, разделялось его сверстниками, людьми его круга.

Вспоминаю в этой связи еще одного моего учителя, уже по аспирантуре, ленинградского профессора Бориса Степановича Виноградова. Это был превосходный специалист-зоолог, который руководил огромным отделом в Зоологическом институте Академии наук. Руководил он не так, как принято ныне. Он не был так называемым «организатором науки», он руководил лишь силой своего непререкаемого научного авторитета. В одиннадцать часов дня в бесконечном коридоре Зоологического института слышались шаркающие шаги этого немолодого уже человека. Борис Степанович начинал ежедневный обход отдела. Он никогда не следил за дисциплиной, но просто никто не смел к моменту обхода не быть на месте. Он здоровался с каждым, спрашивал, как идут дела, и был полностью в курсе всего того, что делается каждым из сотрудников.

Еще одним из методов его руководства был такой: он не пропускал в печать плохой статьи. Он не распекал за плохую статью, а просто говорил: «Это го печатать не надо».

Отвечая за бесценные коллекции, собранные еще П. Палласом, Н. М. Пржевальским, Н. А. Северцовым, П. К. Козловым (с ним он был знаком), Борис Степанович был, как всякий рачительный хозяин, скуповат. Он придирчиво следил за международным обменом коллекциями, менял тривиальный вид на обычный, раритет на раритет, и никто не мог его уговорить отступить от этих принципов. В декабре 1956 года я застал Бориса Степановича за необычным занятием. Он подбирал посылку в дар сгоревшему во время «венгерских событий» Будапештскому естественноисторическому музею. В эту посылку отбирались не только обычные, но и в достаточной степени редкие виды. И когда кто-то из лаборантов сказал ему: «Что же вы, Борис Степанович, американцам такого не шлете, а здесь мы в обмен ничего не получим», — учитель ответил: «Мы сожгли, мы и посылаем».

Б. Кочубей

ЖИТЬ В ОБЩЕСТВЕ И БЫТЬ СВОБОДНЫМ?

Кто мы?

Сегодня каждый, у кого хватает мужества не зарывать голову в песок, должен признать: цивилизация, называемая Россией, в последнее время — Советским Союзом, а на языке историософии — Евразией, подошла к своему концу и вряд ли доживет до начала следующего века. И теперь, когда становится ясно, что ни одна программа не будет реализована, ни одна идея не воплотится в жизнь,— теперь, по-видимому, пришло время отвечать на вопрос, вынесенный в начало статьи. Впервые в истории создано общество, которое разваливается на глазах при отсутствии каких бы то ни было внешних воздействий, в силу лишь самого присущего этому обществу стремления к саморазвалу. Ни войны, ни набеги варваров, ни стихийные бедствия[1] нас не беспокоят: напротив, Господь, в неизъяснимой милости своей, посылает нам год за годом фантастически мягкие зимы и необычайно высокие урожаи — вотще! Даже если бы посреди Кремля открыли богатейшее в мире месторождение золота — мы уже знаем, что через месяц-другой все оно будет разворовано, растеряно, распродано за бесценок (как совсем недавно отдано правительством за ничтожную сумму 234 тонны презренного металла). Итак: что же это за люди, которые, по ставшему уже крылатым выражению, знают лишь два действия арифметики — делить и отнимать? Кто мы такие?

Несмотря на огромное желание понять, наконец, самих себя, у нас катастрофически мало фактического материала для ответов на этот вопрос. Дело в том, что в самой природе этого общества — отмеченная еще Чаадаевым н е м о т а — безгласие, неосознание самого себя, отсутствие структур самовосприятия, самопознания.

Но если это так в отношении общества — еще более это верно в отношении человека. Обществоведение — хоть судорожными рывками,— но развивалось в те краткие периоды, когда страх заставлял власть делать уступки интеллигентской рефлексии; философия, социология, экономика находились под прессом общественного мракобесия, но всякий раз они находили в себе силы восстановить свой научный статус.

Человек же, как пассивный продукт общества, вообще не признавался за объект изучения, заслуживающий специальной науки; в лучшем случае для его познания должно было хватить живущей по остаточному принципу медицины. Психология в отличие от других гуманитарных наук вышла из-под коммунистического пресса не уничтоженной (много чести!), но чудовищно деформированной, превратившись в странную секту, члены которой, отброшенные на далекую периферию мировой науки, продолжают свято веровать, будто им одним известна глубинная истина о природе человека, его душе, его деятельности.

Таким образом, мы можем рассуждать о «советском человеке» — неважно, в прокурорском или в апологетическом тоне,— но мы фактически ничего о нем не знаем. Психологических исследований, в которых мы сравнивались бы с людьми других культур, проведено крайне мало. Мы даже не представляем себе, к какому типу культур относимся: так, В. Аршавский, проведший недавно интереснейшее исследование жителей Москвы и Чукотки, сравнивает, нимало не сомневаясь, «традиционную дальневосточную культуру» с «европейской культурой» (это Москва-то!). Если так, то, наверно, «советский человек» не должен слишком отличаться от «человека вообще», описанного, естественно, наукой Запада. Однако обыденное сознание по мере приподымания железного занавеса непрерывно фиксирует вопиющие различия между советским человеком и европейцем (американцем, японцем...) — различия в строе мыслей и чувств, иногда, к сожалению, доходящие почти до невозможности взаимопонимания.

[1] Если не считать варварами нас самих, а стихийными — бедствия, которые мы сами себе организуем. Даже землетрясение в Армении — это больше социальная, чем природная катастрофа.

Что же делать? Можно, конечно, поплыть по волнам этого обыденного сознания, пытаясь синтезировать фиксируемые им «факты» с единичными фактами (без кавычек), полученными серьезной наукой. Однако слишком велика опасность утонуть в дурной бесконечности наблюдений, получив в итоге карикатуру на психологический анализ — вроде той, которая была трехмиллионным тиражом распубликована в журнале «Огонек» под названием «Диагноз: Хомо советикус».

Второй путь, которым мы и попытаемся идти — на время вообще забыть о фактах и «фактах» и построить простую и ясную, удобную для критики модель, пользуясь при этом не столько приемами публицистики, сколько методологией рациональной науки (в частности, психологической). А поскольку такая методология предполагает в числе прочего осознание своих истоков, хочется начать с благодарности трем замечательным умам, мысли которых и были теми кирпичиками, из которых автору удалось сложить здание собственного понимания человека. Это, во-первых, Александр Зиновьев, разработавший понятие социальных отношений (хотя его определение этих отношений, как будет видно, существенно отличается от нашего); во-вторых, Джордж Оруэлл, впервые уловивший суть тоталитарного сознания в его отличии от сознания авторитарного; и, наконец, человек с немодной сейчас фамилией Шафаревич, сформулировавший понимание социализма как царства смерти.

Итак: попробуем представить себе очень просто устроенную «куклу», изображающую человека; посмотрим далее, каким должно быть общество, состоящее из таких кукол, и какова должна быть экономика, оптимальная для их (кукол) существования. Если окажется, что это — наше общество и наша экономика, то, значит, мы мало чем отличаемся от этих кукол.

MANIA SOCIALIS

Большинство современных теорий личности выделяет несколько уровней (пластов) личностных образований, причем каждому уровню соответствуют определенные мотивы, направляющие поведение человека. На нижних уровнях, обозначаемых как «биологическое Я», «экономическое Я» и т. д., господствуют мотивы самосохранения, продолжения рода, обеспечения физического комфорта и благосостояния. На средних уровнях, обозначаемых как «социальное Я», преобладают мотивы, связанные с жизнью человека среди других людей: стремление быть принятым другими, обладать авторитетом, социальным статусом, наконец, властью. На верхних уровнях, которые часто называют «духовным Я», поведение человека определяется потребностями в реализации себя, в ощущении осмысленности своей жизни, в поиске своего места в мироздании.

Социалистическое общество есть, по определению, общество господства общественного (латинское socialis) над личным, частным, индивидуальным, в пределе — подавление второго первым. Идеальный человек социалистического общества (назовем его социальным человеком, или С-личностью) — такой, у которого «социальное Я» (его связи с обществом себе подобных) доминирует и полностью вытесняет как «вышележащие», так и «нижележащие» слои личностной

структуры. Эта структура из трехмерной (Природа, Общество, Дух) становится одномерной, плоской. Иными словами, С-личность — это и есть тот самый «ансамбль общественных отношений»; так Маркс пытался определить сущность человека вообще, но вместо этого дал определение человеку социализма, социальному человеку, Гомо социалис.

С-личность обладает двумя основными чертами. Во-первых, она полностью включена в конкретную социальную среду. Это значит, что человек не выделяет самого себя как субъекта своей жизни и деятельности из какой-то категории, обозначаемой «мы» (группы, коллектива, класса, партии). Он ощущает себя не как целостность, а как частицу чего-то большего; он обладает, следовательно, не индивидуальным, а коллективным сознанием. Во-вторых, С-личность направлена на достижение своей социальной цели. Для каждой данной С-личности имеется некоторая целевая функция (власть, статус, авторитет...), причем поведение этой личности таково, что обеспечивает максимальный прирост значения этой функции на каждом следующем шаге. Чем ближе конкретный советский человек к идеалу С-личности, тем более оптимальна его тактика в отношении социальной цели.

Стоит подчеркнуть, что уникальность С-личности создается именно сочетанием этих двух черт. Вторая черта, взятая в изоляции, может рассматриваться как обыкновенный карьеризм. Однако считать С-личность карьеристом значит не понимать ее сути. Карьерист ощущает самого себя как человека, делающего карьеру, он «знает, что к чему», знает, что ему нужно и как этого достичь. С-личность ничего не знает, она включена в социальные потоки и действует внутри этих потоков как социальный автомат или — быть может, еще более точно — как социальный маньяк. Ибо, вообще говоря, потребность быть в обществе и занимать в нем определенное положение— столь же естественная потребность человека, как и сексуальная; но, как и сексуальный маньяк, С-личность может рассматриваться как продукт болезненной гипертрофии естественной человеческой социальности (сексуальности), и то, что должно составлять лишь одну сторону человеческого Я, становится всем, разрастается, подобно раковой опухоли, уничтожая все ткани вокруг. Такой человек ничего не видит, кроме своего конкретного социального окружения; он знает лишь, что в среде, в которой он находится, он должен сделать то-то и то-то, чтобы его шансы на продвижение увеличились.

С другой стороны, тотальная вовлеченность личности в общественные структуры также не изобретена социализмом, а представляет собой черту, в той или иной мере присущую всем неиндустриальным обществам, в особенности таким, как родовое общество или древние деспотии. Невыделенность человека из массы — общая характеристика архаичного социального строя, и в этом смысле разницы между советским человеком и жителем, скажем, древней Ассирии нет.

Однако, повторяя эту ставшую уже банальной мысль, следует сразу же оговориться: наличие второй фундаментальной переменной — тактики движения к цели — полностью меняет сущность феномена «включенности», ибо индивид благодаря этому получает траекторию, становится движущимся в социальном пространстве, а не стабильно закрепленным в нем, подобно человеку архаического общества. Поэтому общество, состоящее из С-личностей, крайне нестабильно и чревато переворотами — в полную противоположность застывшей стабильности архаического общества.

(Социолог мог бы перевернуть эту мысль, сказав, что коллективное сознание в условиях социальной нестабильности, разрыва социальных связей ведет к появлению С-личности. Мы не будем обсуждать этот вопрос, сводящийся, по существу, к вопросу о том, что причина, а что следствие. Важно, что понять наше общество можно на чисто психологическом основании, не рассматривая ни социальных, ни экономических переменных. Мы десятилетиями пытались объяснить человека, исходя из устройства общества. Попробуем же показать, что обратный ход ничуть не хуже: все общество может рассматриваться как функция устройства человека.)

В мировой психологии, пожалуй, наиболее близкий к С-личности феномен был описан американским ученым Ф. Зимбардо под названием «деиндивидуация».

Человек, как показал Ф. Зимбардо, в определенных условиях, «выбивающих» его из нормальной жизни, может потерять осознание своей отдельности от других, личной ответственности, самоидентичности. Индивидуальное сознание сменяется коллективным, стадным, растормаживаются импульсы, в обычных условиях глубоко подавленные. Типичный пример деиндивидуации — поведение людей в толпе, охваченной паникой или экстазом.

Однако важно подчеркнуть, что речь здесь идет об утрате индивидуальности у человека, который до того ею обладал. Недаром в американской психологии гораздо больше исследований посвящено процессам потери индивидуальности, нежели ее формирования. То, что человек становится индивидуальностью, кажется западным специалистам очевидным, не требующим объяснения, а вот почему он эту индивидуальность теряет — этот вопрос заслуживает изучения. В этом вся суть различий: деиндивидуация представляет собой реакцию личности на какие-либо события (в частности, по мнению Нобелевского лауреата Элиаса Канетти, резкое уменьшение межличностной дистанции в толпе есть реакция на буржуазное общество, в котором эта дистанция чересчур велика). С-личность не теряла индивидуальности, ибо она никогда ею не обладала; ей нечего терять, кроме своих социальных связей; то, что в одном случае — реакция на катастрофу, в другом — естественное состояние.

Рассмотрим несколько подробнее свойства Гомо социалис, С-личности, «ансамбля общественных отношений». Прежде всего это существо крайне нестабильное. Неспособное выделить себя из социальной среды, целиком зависящее от нее, оно вынуждено, так сказать, «колебаться вместе с линией партии», а точнее — вместе с малейшими изменениями параметров социального окружения. Никаких внутренних стабилизирующих механизмов нет, и устойчивость «я» может быть достигнута только благодаря устойчивости тех социальных структур, в которые «я» включено, с которыми оно себя идентифицирует. Крах объекта самоидентификации С-личности (например, партии) становится вместе с тем и крахом самой этой личности, ее экзистенциальным поражением.

Фанатизм, слепая вера в стабильные, неизменные принципы мироздания, столь характерные для традиционного сознания, не дают нам возможность понять поведение С-личности. Важна не столько преданность принципам, сколько возможность легко их сменить. Дж. Оруэллу принадлежит следующий пример: вечером 21 июня 1941 года немцы легли спать убежденными друзьями русских, а на следующее утро проснулись их злейшими врагами, причем этот перелом произошел без малейшего душевного надрыва. Немцы здесь вели себя как типичные С-личности: недаром они называли свой общественный строй национал-социализмом. То же самое мы можем сказать о себе: мы ненавидели немцев в 37 году, любили их, как братьев, в 39-м, и опять ненавидели в 41-м. Если теперь вспомнить, как трудно было русским в конце XIX века привыкать к сознанию того, что французы (извечные враги и конкуренты) могут стать союзниками, то станет ясно, какая пропасть лежит между основанным на стабильности традиционным мировосприятием и сознанием С-личности.

Глубочайшей ошибкой было бы считать социального человека догматиком, неспособным поступаться принципами. Да, принципы — предмет истовой веры, но только сейчас, сегодня, сию минуту, и только те принципы, которые позволяют идентифицироваться с сиюминутным социальным окружением и успешно продвигаться в нем. Через мгновение эти принципы могут полностью смениться; марксизм, христианство, атеизм, национализм, интернационализм, ницшеанство, буддизм — все годится, если может быть использовано для наилучшего приспособления к социальной среде; в каждый следующий момент сознание пусто и может быть заново заполнено чем угодно.

Говоря о «моменте», мы коснулись еще одной важной характеристики: отношения С-личности ко времени. Существуя только в непосредственно данной социальной ситуации, С-личность ограничена весьма узкими временными рамками. У нее недоразвиты высшие, духовные структуры личности, которые должны придавать смысл жизни в целом и которые позволяют подняться над сиюминутной ситуацией и увидеть эту ситуацию «с точки зрения вечности». Бездуховное

существо живет одним днем, но не сегодняшним (это — удел тех, у кого преобладают «нижние уровни» личности, «биологическое Я», гедонистов, живущих по принципу наслаждения и не задумывающихся о будущем), а — завтрашним. Содержание жизни сводится к тому, чтобы завтра быть хотя бы чуть-чуть ближе к социальной цели, чем сегодня. Нужно ли это с точки зрения дня послезавтрашнего — такая постановка вопроса немыслима, ибо послезавтра для С-личности просто не существует.

Можно возразить, что типичные С-личности любят строить долговременные, многолетние планы. Это верно, но планы эти строго линейны: будущее видится как прямое продолжение настоящего. Вчера добывали столько-то тонн угля, сегодня столько-то, через год добудем столько-то; но немыслимо представить, что через год уголь вообще может не потребоваться, так как появятся другие энергоносители. С точки зрения содержания в этих планах нет никакого будущего, поскольку будущее — это наличие нового, а не просто увеличение, приращение существующего.

Поэтому поведение С-личности может быть обозначено термином «линейная оптимизация». Это значит, что каждый очередной шаг к цели — наилучший из возможных, но дальнейшие шаги неизвестны и никогда не просчитываются. Отступить, временно отдать власть (или другую целевую функцию) для С-личности невозможно. Ее успех гарантирован лишь в линейной, то есть достаточно однородной и стабильной среде; в условиях же бурных социальных изменений и катаклизмов ее шансы невелики. Поэтому в годы революции социальный человек создавал государственную машину, через несколько лет уничтожавшую его самого. Поэтому заматерелые в аппаратных игрищах партработники растерялись, едва лишь встретившись с активностью народа, который они привыкли вообще игнорировать. Итак: С-личность есть блестящий тактик, но никуда не годный стратег.

Отсутствие у С-личности высших, духовных регуляторов столь очевидно, что писать об этом (после Зощенко и Булгакова) не имеет смысла. Гораздо интереснее отметить, что «продукт общественных отношений» ущербен не только в своих высших, но и в «низших», витальных проявлениях. Ценности здоровья, благополучия, комфорта, да и самой жизни (биологического существования) С-личностью не котируются. Неуважение к жизни — как чужой, так и своей — может быть принято за героизм. На самом деле социальные ценности настолько доминируют над биологическими, что страх смерти представляется пустяком по сравнению с угрозой потери статуса, понижения в должности, утраты власти. Высшая посмертная похвала для такого человека — «он умер на своем посту», то есть отдал жизнь за свое социальное положение. И если, скажем, в американском обществе социальные ценности (статус, престиж) также высоко котируются, то, с другой стороны, представить себе американца, желающего умереть на посту, очень трудно. Напротив, считается важным выглядеть (и быть) здоровым, красивым, моложе своих лет.

Жизнь как таковая для С-личности ценности не представляет. История Чернобыля показывает, как ответственные товарищи, перепугавшись, что катастрофа может поставить под сомнение их карьеру, не только подставляли под удар, нимало не сомневаясь, тысячи чужих жизней, но и ничуть не считались со своей собственной. В штабе, где собирались люди в ранге министров, окно даже не было закрыто свинцовым листом.

Пренебрежение к жизни характерно не только для верхних этажей социальной лестницы. «Почему вы выехали в рейс с неисправными тормозами? — спрашивают водителя КамАЗа.— Неужели вы не понимаете, что могли попасть в аварию?» — «Понимаю, конечно. Но начальство сказало, я и поехал».— «Но ведь вы могли убить человека, понимаете?» — «Понимаю».— «А почему же поехали?» — «Начальство сказало, я поехал».— «Есть ли у вас семья?» — «Есть: жена, двое детей».— «Понимаете ли вы, что могли погибнуть, оставить детей сиротами?» — «Конечно, понимаю».— «Так как же вы поехали?» — «Начальство сказало, я поехал».

Здоровье и сила нужны социальному человеку лишь для того, чтобы, когда нужно, отдать их обществу — если понадобится, то и вместе с самой жизнью. Поэтому в тоталитарных обществах (в СССР в 30-е годы, в нацистской Германии и позже в ГДР) насаждался культ спорта, физической культуры и демонстративного здоровья. Это здоровье никогда не было целью, а всегда лишь средством, чтобы лучше служить социуму. Важно быть не просто здоровым, красивым, физически развитым, сильным и ловким, а — готовым к труду и обороне.

Еще одна замечательная особенность С-личности — ее способность к маскировке — связана с тем, что социальные ценности по внешнему виду очень трудно отличить от ценностей материальных и духовных. Почему, например, X так хочет обладать автомашиной «Мерседес»? Потому ли, что она комфортабельна и удобна в управлении? Или потому, что в ней удобно подвозить девушек, к которым X питает слабость? Или просто потому, что «Мерседес» повышает его престиж, переводя в иную социальную категорию? Я могу стремиться поехать к коллеге в Калифорнию, чтобы приобрести шмотки (материальная ценность), чтобы расширить круг общения и знаний (духовная ценность), или чтобы, вернувшись, при случае вставить: «Кстати, когда я был в Калифорнии...» (социальная ценность).

Эта особенность социальных объектов, это их внешнее сходство с объектами материальными и духовными, наделяет социального человека колоссальной способностью к мимикрии. В погоне за своей целью социальный маньяк выглядит «совсем как человек», надевая маску врача или ученого, дипломата или артиста. На этот факт впервые обратил внимание глубокий знаток нашего общества А. Зиновьев. Социальные структуры, писал он, создаются как бы для дела, для решения какой-то реальной проблемы; фактически же дело никого не интересует, оно служит лишь маской для социальной активности, включения в организационные структуры и продвижения в них. А как же тогда делается дело? Оно либо совсем не делается, отвечает А. Зиновьев на этот вопрос, либо его делают социальные аутсайдеры, отбросы, маргиналы — люди, чье социальное продвижение давно и безнадежно застопорено.

Минувший период перестройки сыграл роль своего рода критического эксперимента для ответа на вопрос: обусловлена ли бесполезность, показушность всех наших структур поведением составляющих эти структуры людей (как считает Зиновьев и вслед за ним автор этой статьи) или природой общества в целом и давлением политической власти, которые обессмысливают любое дело? За это время было создано огромное множество организаций, союзов, обществ, ассоциаций, коммерческих и некоммерческих, научных и благотворительных, которые в очень малой степени зависели от официальных структур или даже были прямо им противопоставлены. Тем не менее в подавляющем большинстве эти «новые» организации четко воспроизводили старую структуру с ее социальной иерархичностью, делением на «избранных» (пользующихся благами) и «быдло» (рядовых членов, чьи права — уплата членских взносов и посещение собраний), и т. д. и т. п. Думается, все это достаточно ясно свидетельствует о том, что система не навязывается «сверху», а постоянно строится нами «снизу», что не общество в целом и его управляющие структуры (партия, репрессивные органы и пр.) формировали так хорошо знакомый нам образ жизни, а, напротив, сами эти властные структуры — продукт жизнедеятельности Гомо социалис, создаваемая им для себя среда. В громоздкой министерской системе воплощались наша экономическая тупость и страх хозяйственной ответственности, в органах подавления — наша агрессивность. С-личность создала себе общество по своему образу и подобию.

НА КОМ ГОРИТ ШАПКА МОНОМАХА

Наиболее яркой и мощной социальной целевой функцией, сильнейшим стимулятором и регулятором поведения С-личности является власть. Не просто быть «своим» среди людей, не просто занимать среди них достойное положение,

пользоваться авторитетом — но управлять ими по своему желанию: вот вершина социальной активности. Можно сказать, что тоталитаризм построен целиком на системе властных отношений: количество принадлежащей человеку власти служит здесь единственной мерой его достоинства.

Тем не менее ошибочно было бы рассматривать С-личность как олицетворение властолюбия. Цезарь, Наполеон, Александр Македонский стремились к безграничной власти, но С-личностями не были. Их воля к власти была осознанной и по-своему целесообразной; они хотели править миром с какой-то целью: чтобы создать цивилизацию, чтобы принести на штыках свободу (Наполеон), чтобы познать границы мира (Александр), и т. д. и т. п.

С-личность же неспособна выделить себя из своего окружения, не может управлять своим стремлением к власти, не может подчинить это стремление сознательно поставленной задаче. Какой бы реальной властью ни обладал такой человек, он не способен осознать эту власть как свою, он не чувствует себя субъектом власти. Он не может произнести фразу типа «пришло наше время, власть сейчас наша». Рассуждения о «новом классе» отчасти основаны на непонимании его фундаментальных отличий от всех правящих классов прошлого, одно из которых — абсолютное неосознание своей власти. Власть, которой в действительности такая группа людей обладает, приписывается ими другой группе или другому человеку: «Мы только маленькие люди, все решают наверху». А на самом верху, где уже некуда кивать, власть приписывается (как говорят психологи, атрибутируется) — кому? — Конечно, «низам», н а р о д у. Когда правители такого сорта говорят, что они правят от имени народа (включая сюда хорошо известные формулировки типа «народ не поймет», «народ считает»), оппозиция расценивает подобные высказывания как бессовестный цинизм. Это заблуждение. Такие формулировки — не ложь, а факт сознания Гомо социалис, который в принципе не в состоянии ощущать себя ответственным субъектом чего бы то ни было — своей жизни, собственности, власти.

Поведение С-личности, цель которой — власть, есть поведение автомата, в каждый момент времени выбирающего такой ход, при котором «количество власти» хоть немного, да увеличивается. Ни при каких обстоятельствах такая личность не может отступиться от власти, даже если это ей объективно выгодно; отдать власть для нее противоестественно; так ребенок не может выпустить зажатую в кулачке игрушку не потому, что он жаден, а потому, что он так устроен, его ручка сама, рефлекторно сжимается в кулачок и не в состоянии разжаться. Объяснять такому человеку, что ему пора отдать власть другим,— все равно, что просить его затормозить свой коленный рефлекс. В отличие от обычного властолюбца, который х о ч е т власти, С-личность н е м о ж е т без власти.

Важнейшим следствием этого а в т о м а т и з м а власти является ее абсолютный а м о р а л и з м. Аморализм — это не забвение моральных ограничителей власти и не презрение к ним, а полное их отсутствие. Упоминание каких-то моральных принципов рассматривается таким человеком либо как глупость «блаженненького», либо как лицемерие. Мораль не отвергается; ее просто нет.

Такой аморализм не имеет ничего общего с цинизмом. Хотя в обществе С-личностей может быть создана благоприятная среда для циников, однако они лишь паразитируют на обществе, тогда как С-личности сами это общество создают. Циник прекрасно знает, что на свете существует мораль, но считает возможным пренебречь ею для достижения своих целей или просто для удовольствия. В противоположность этому, аморализм С-личности предельно искренен; в нем нет ни грана цинизма. Этим объясняется специфический для общества С-личностей феномен, получивший название б е с п р е д е л. Смысл его в полном отсутствии каких бы то ни было норм, соотносящих цель (власть) и средства, ведущие к ней. Властолюбец, чтобы достичь вершин власти, может переступить через все, пойти на любое преступление, убийство, насилие или предательство, но С-личность способна на то же ради пустяка, ради крошечного кусочка власти над ближним; ей не потребуется «переступать» через что бы то ни было, и все преступления будут совершены ею столь же автоматически, как и все остальное.

Не понимая, как может быть иначе, С-личность создала миф о том, что якобы всякая власть в человеческой истории была аморальна. Это неправда: напротив, всякая власть была по-своему морально обоснована. Любой Тамерлан или Аттила имел каких-то богов, а следовательно, и какие-то правила, допускающие одни и не допускающие другие способы человекоубийства. Другое дело, что нравственные законы троглодитов кажутся чудовищными с точки зрения развитого нравственного сознания европейца; но чудовищность морали — совсем не то же, что полное ее отсутствие; последнее — феномен XX века.

Нет нужды цитировать многочисленных мыслителей, писавших о бесплодности морали, о власти как абсолюте, о воле к ней как движущей силе истории. Нас интересует практика, а не формальные рассуждения. Ни Штирнер, ни Ницше, ни Макиавелли не убивали своих оппонентов, и каждый из них пришел бы в ужас, если бы ему предложили ради власти уничтожить третью часть собственного народа и разорить остальные две трети. Быть может, решающий шаг был сделан Марксом, который, будучи истым гегельянцем, относился к людям, как к «навозу истории», сырому материалу для прогресса, но в отличие от своего учителя решил, что философам положено не объяснять мир, а изменять его...

Однако и у Маркса аморализм остался «практическим» лишь в теории. Только большевики воплотили все теоретические построения аморализма в жизнь д о с а м о г о к о н ц а (введя две аксиомы: «кто не с нами...» и «если враг не сдается...») — и в этом их колоссальная заслуга перед философией. Но даже им это удалось не сразу. На первом этапе, наиболее типичным представителем которого был, вероятно, Троцкий, этические нормы все еще сохранялись в отношении узкой группы «своих». Троцкий, как и его лучший друг, в послеоктябрьских текстах которого существительное «власть» по частоте уступает разве что глаголу «расстрелять», все еще находился в плену предрассудка, будто есть группа людей, по отношению к которым возможно н е в с е, хотя все остальные, конечно, могут рассматриваться как материал для насилия. Правила абсолютного аморализма, таким образом, допускали маленькое исключение, что, конечно, было нарушением логики. Оставался крошечный, последний шажок, чтобы признать: л ю б о е насилие может быть применено по л ю б о м у поводу к л ю б о м у человеку и к л ю б о й, сколь угодно большой, группе людей. Сталину и Гитлеру принадлежит честь этого фундаментального открытия.

Поиск сколько-нибудь значительных различий между лидерами этого типа представляется бессмысленным. Различны лишь эпохи, в которые им довелось действовать. Различны обстоятельства, и в зависимости от них для ежедневного увеличения своей власти одному приходится хитрить, другому — действовать грубо и прямолинейно, одному — устраивать массовые казни, другому — демократические шоу, одному делать упор на «танки наши быстры», другому — на мирное сосуществование. Но цель одна, и путь к ней один. Горбачев — это Ленин сегодня[1].

Кажется, Иосиф Бродский заметил, что популярные мысли классиков часто обрывают на середине и самое интересное заключается во второй половине цитаты — именно в той, которую обычно не приводят. В одной из лучших книг о тоталитаризме есть хорошо известная сцена, где палач (относящийся к категории «циников») объясняет привязанной жертве, для чего люди, подобные нашей С-личности, рвутся к власти. Помните? «Партия стремится к власти исключительно ради ее самой... Ни богатство, ни роскошь, ни долгая жизнь, ни счастье — только власть, чистая власть. Власть не средство, она цель. Цель репрессий — репрессии. Цель пытки — пытка. Цель власти — власть».

Это место из «1984» цитируется часто. Но посмотрим, что сказано далее.

[1] Обычно против этого выдвигают возражение, будто Горбачев, став Генеральным секретарем, уже обладал абсолютной властью. Такое утверждение неверно по факту: после Сталина ни один Генсек никогда не обладал абсолютной властью (один забыл об этом и тут же слетел), и в 1985 году для увеличения власти потребовались экстраординарные меры, включая перестройку.

«Как человек утверждает свою власть над другим человеком? — Заставляя его страдать. Если человек не страдает, как вы можете быть уверены, что он выполняет вашу волю, а не свою собственную? Власть состоит в том, чтобы причинять боль и унижать. В том, чтобы разорвать сознание людей на куски и составить снова в таком виде, в каком вам угодно».

Почему-то эти простые вещи воспринимаются с большим трудом. Мы готовы признать, что нами правят ради материальных благ и удовольствий, что наши властители только и думают, что о своих дачах, пайках и спецсанаториях. На самом деле все это нужно им только как символ власти. В бывшей российской провинции Чухонии заурядный инженер может позволить себе дачу пошикарнее, чем высокопоставленный советский чиновник; но чиновник никогда не променяет своего положения на «приют убогого чухонца». Он стремится к социальным ценностям: статусу и власти; ценности же материальные служат только их воплощением.

Быть может, проще понять это на примере мелкого чиновника в каком-нибудь второстепенном учреждении. Совершенно очевидно, что его бессмысленные придирки и мелочная волокита направлены только на то, чтобы демонстрировать свою власть бесправному посетителю. Нам, однако, кажется, что на вершинах социальной лестницы мироощущение меняется. Это не так: С-личности везде, снизу доверху, одинаково мелки. Мы пытаемся приписать им какое-то, хотя бы зловещее, величие; оно там, как выражается молодежь, «и близко не лежало». Мелкий бес останется мелким бесом, даже если он станет диктатором полумира, и никогда ему не стать Сатаной.

Оруэлл показал, что важнейшим средством реализации беспредельной власти является беспредельное и бессмысленное насилие. Солженицын в своей Нобелевской речи указал на другой столь же необходимый компонент: тотальную ложь. Ложь С-личности столь же безгранична, как и насилие. Черное может быть названо белым у нас на глазах; смысл слов постоянно меняется и извращается: уничтожение собственного народа называется патриотизмом, глупость, наглость и продажность — умом, честью и совестью и т. п. В этой лжи проявляется та же искренность (отсутствие цинизма), которая вообще характерна для отношения С-личности к власти. Лгущий сам начинает верить в свои слова; для него не существует объективной действительности, ибо у него — власть, а следовательно — возможность изменить все: будущее, настоящее и прошлое.

Цель лжи вовсе не обязательно в том, чтобы обмануть, как чаще всего считают. Хотя давно уже никто не верит в ложь о социализме и коммунизме, нам лишь несколько лет назад перестали говорить о строительстве коммунизма, а с «социалистическим выбором» не успокоились до сих пор. Ни один человек, хоть немного знакомый с армией (а это — все мужское население страны), не поверит, что воинские части пойдут на штурм мирного города по своей инициативе, без приказа, а нам, как в насмешку, объясняют, что во время вильнюсского побоища один «не знал», а другой «спал». Смысл откровенной, бесстыдной лжи не в убеждении оппонента, а в демонстрации своей власти — над людьми, а также над самой действительностью. Сотни миллионов людей знают, что я вру, а что они могут сделать? Власть моя, ТВ мое, что хочу, то и говорю.

Мы упорно продолжаем спорить о том, кому и зачем нужно доводить народ до отчаяния нищетой, унижениями, бесправием, издевательствами номенклатурных хозяев. Одни говорят, что беда в некомпетентности, глупости, догматизме властей; другие, напротив, считают, что у наших правителей есть сознательный и глубоко разработанный план разорения страны. Думается, из сказанного видно, что первая точка зрения недооценивает, а вторая — переоценивает способности нашего руководства. Издевательства над народом не есть ни следствие каких-то ошибок, ни средство достижения каких-то целей. Они сами и есть цель.

Утвердить беспредел своей власти над народом можно только одним способом: заставляя народ страдать.

ПСИХОЛОГИЯ ВСЕЕДИНСТВА

Если власть — вершина иерархии социальных ценностей, то потребность принадлежать к группе, быть принятым другими людьми — основа, нижний слой такой иерархии. Быть с людьми — это фундаментальная потребность, в той или иной мере присущая всем психически здоровым людям. Однако у С-личности эта естественная потребность становится всеподавляющей и единственной; стремление «быть с другими» превращается в императив «быть, как другие»; самым страшным преступлением становится «быть не таким, как все», а самым страшным наказанием — отлучение от «своих».

В социальной психологии стали уже классическими эксперименты американского исследователя Эша, в которых испытуемого просили сравнить длину двух стрезков после того, как на его глазах другие участники опыта (помощники экспериментатора, но испытуемый об этом не знал) давали явно ошибочный ответ, называя короткий отрезок — длинным. Оказалось, что очень немногие люди могут в таких условиях выдержать «давление группы» и ответить правильно. А между тем длина отрезков была настолько разной, что в обычной обстановке, без посторонней «помощи», никто не делал ошибок.

Такого рода зависимость поведения человека от поведения группы называют конформностью. Конформность С-личности беспредельна и доходит до полной атрофии собственных мыслей, эмоций, ощущений. Главное — думать, как другие, чувствовать, как другие, видеть и слышать то, что видят и слышат окружающие. Социально-политический анализ конформности впервые дал знаменитый психиатр Эрих Фромм, который рассматривал тенденцию к слиянию с группой как один из фундаментальных механизмов «бегства от свободы». В книге под этим названием, вышедшей в 1940 году, Фромм показал, что стремление избежать личной свободы и личной ответственности, уйти от бремени чувства индивидуальности, уникальности своего места в жизни создает питательную среду для формирования в буржуазном обществе тоталитарных режимов, основанных на массовом подчинении. Действительно, механизм конформности универсален (ибо в его основе, как уже сказано, лежит универсальная потребность!) и может играть существенную роль едва ли не в любом обществе. Однако — и это обстоятельство по понятным причинам не обратило на себя внимания Фромма — наличие собственности ставит конформности некоторый естественный предел: на свои деньги, на свои акции, на свой кусок земли я не могу смотреть глазами других людей; иначе мне придется с этой собственностью расстаться. Отсутствие же собственности ломает и этот барьер: где отсутствует «мое», там нет нужды в «я».

Будучи универсальной, потребность быть принятым другими часто регулирует поведение людей на нижних ступенях общественной лестницы. Она, между прочим, может быть одной из причин эпидемического алкоголизма: первые несколько стаканов пьют потому, что пьют все, потому что не выпьешь — не поймут, потому что «чтобы нашими людьми руководить, нужно с утра немного принять»; симптомы зависимости от алкоголя присоединяются потом.

Не будем думать, однако, что на вершинах общества эта целевая функция роли не играет. Еще как! Один из приемов политического манипулирования — приглашение властями оппозиционного деятеля участвовать в работе официального органа. Выглядит это как стремление сотрудничать с оппозицией. Однако, включившись в ранее чуждую ему группу, бывший оппозиционер часто не выдерживает, подобно испытуемым Эша, «группового давления» и, сам того не замечая, постепенно меняет свои взгляды на господствующие в данном коллективе. Деятельность Л. Абалкина в Совете Министров представляет собой пример, достойный быть вписанным в учебники социальной психологии. В течение какого-то года изменились не только его взгляды, но и сам язык; в нем появились выражения, ранее ничуть не свойственные этому солидному и высококомпетентному ученому: «экстремисты», «кое-кто считает...» и т. п.

Присущая каждому потребность быть с другими (а следовательно, быть по-

хожим на других) не кажется такой опасной, как, например, воля к власти. На самом деле значение этой потребности огромно. Думаю, что мудрец, сказавший: «Любовь и голод правят миром»,— явно дал маху: стремление быть, как все, служит мощнейшим регулятором человеческого поведения, роль которого недооценивается лишь потому, что каждый из нас носит этот регулятор в себе.

Эта потребность — психологический корень социального утопизма. Человек, для которого главное — единение с другими людьми, легко усваивает представления об идеальном обществе, где нет и не может быть враждующих сил, где всем хорошо (о д и н а к о в о хорошо), где лев возляжет рядом с ягненком, где все будут рады друг другу и воцарится всеобщая гармония. В этом бесконфликтном мире людям не о чем спорить друг с другом, в нем нет места партиям, выражающим, по определению, ч а с т н ы е (от латинского pars — часть) интересы какой-то группы в противовес остальным; в нем все заодно, все вместе, все едины. Люди такого типа легко опознаются по словарю; «единство», «единение», «союз», в последнее время — «консолидация» и «консенсус» — не сходят с их уст.

Страсть к социальной гармонии доходит до полной утраты сознания нравственных границ: в обществе, где все едины, каждый по-своему прав: убийца и убитый, насильник и жертва, мошенник и им обманутый; добро и зло перетекают друг в друга, меняясь местами, так что рябит в глазах и уже не поймешь: то ли Арал высох сам по себе, то ли в 37-м нас посетила таинственная эпидемия самоубийств, то ли жители Новочеркасска-62, Тбилиси-89, Вильнюса-91 такое странное развлечение себе выдумали: бросаться под движущиеся танки и свистящие саперные лопатки. Во всяком случае, ничто так не тревожит душу, ищущую покоя в гармоничном слиянии всех со всеми, как «поиски виновных»; в гармоничном обществе никто не виноват, и требовать суда над преступниками — значит «призывать к расправе»[1]. Да здравствует консолидация Каина с Авелем и поиск консенсуса между Христом и Иудой!

Ведущий публицист журнала «Век XX и мир» ставит перед нами духовную задачу: понять, что красные и белые, «Ленин, Ахматова, Сталин, Мандельштам, Бухарин, Булгаков» — все это наша история. Мне трудно представить себе немца, у которого повернется язык — сейчас, а не 500 лет спустя — сказать: Гитлер и Эйнштейн, Мартин Борман и Альберт Швейцер — все это история Германии (хотя в каком-то смысле это так, но вся суть именно в том, чтобы оговорить, в каком смысле). Можно сказать, что жизнь — это добро и зло, но союз «и» не должен вводить в заблуждение: они не рядом, а против друг друга.

Живое общение людей (хоть в семье, хоть в государстве) всегда включает возможность противоречий, и проблема в том, как научиться разрешать неизбежные конфликты, а не в том, как их избегать. Призывы «Ребята, давайте жить дружно!» игнорируют тот факт, что интересы котов и мышей объективно противоположны, ибо одним хочется есть, а другим не хочется быть съеденными. Эта позиция кота Леопольда ярко проявилась в последние несколько лет, когда интеллигенция, стоило лишь власти слегка поманить ее пальцем, наперебой бросилась сотрудничать с «прогрессивными» правителями, забыв о том, что внутренняя оппозиция власти — не случайный исторический факт, а нравственный долг интеллектуала, что утрата оппозиционного сознания, полное слияние с «обществом», с «другими», вытеснение собственного Я замятинским МЫ есть признак социальной и профессиональной непригодности.

Такое, скажем помягче, чересчур охотное желание сотрудничать с властями (разумеется, только с прогрессивными властями!) в обыденном сознании часто считается признаком «продажности». С нашей точки зрения, обыденное сознание допускает тут ошибку, переоценивая важность материальных, экономических стимулов. Конечно, есть люди, чьи горячие симпатии к перестройке обусловлены неожиданно открывшимися перед ними возможностями питаться в закрытых буфетах и погреть руки в совместных предприятиях; но не эти люди и не эти потребности делают погоду. Гораздо важнее искреннее желание быть членом об-

[1] Интересно, что разница между судом и расправой не осознается; но этот вопрос выходит за пределы нашей темы.

щества, частью общественного организма, совсем незаметно переходящее в желание сотрудничать с теми, кто это общество возглавляет.

Думается, что преодоление коллективного сознания С-личности невозможно без развития определенного чувства отчужденности, отстраненности от социального «мы». Эта отчужденность не обязательно должна проявляться в виде открытого сопротивления — например эмиграции, активного протеста или ухода в сторожа, хотя, вероятно, она предусматривает какую-то степень внутренней готовности и к тому, и к другому, и к третьему. Мне, во всяком случае, представляется сомнительной возможность выживания в этом обществе и сохранения себя в качестве человека без того, чтобы ограничить чрезмерные притязания общественного на свою душу — притязания своей собственной потребности быть причастным обществу, сколь бы естественной и органичной эта потребность ни являлась.

Те, кто в стремлении к гармоничному общественному единству убеждают нас в необходимости всеобщего примирения (в первую очередь — примирения с властями), могли бы вспомнить, что общество, к которому они стремятся, уже описано в художественной литературе. Владимир Набоков дал нам прекрасный образец мира тотальной гармонии и всеобщего сотрудничества: жуткого мира, где в с е с о г л а с н ы, где прокурор сотрудничает с адвокатом, а жертва — с палачом. В этом обществе нет конфликтов, в нем совершенно невозможна гражданская война (которой мы все так боимся), но если вы захотите в этом обществе остаться человеком — вы совершите «гносеологическую гнусность» и будете любезно приглашены на казнь[1].

Вовсе не парадоксально то, что неукротимая жажда мира и гармонии ведет к торжеству насилия, и вовсе не случайно то, что непосредственным результатом мечты об обществе без антагонизмов стала гражданская бойня. Там, где исчезают естественные критерии добра и зла, единственным способом организовать представление о мире становится принцип «кто не с нами, тот против нас». Там, где у всех все в порядке, тот, кто говорит, что у него не в порядке,— враг народа. Если преступления не наказываются, а отрицаются, то фактически они поощряются. Такова объективная логика бесконфликтного общества. Начав с необходимости гражданского мира, С-личность с доминированием потребности в социальной принадлежности кончает тем, что благословляет танки и политическую полицию, охраняющие этот мир.

ОБЩЕСТВЕННАЯ КОМЕДИЯ

Как социальный маньяк, типичная С-личность обладает рядом свойств, присущих маньякам вообще: суженностью сознания, отсутствием моральных ограничителей и готовностью идти на все ради достижения своей сиюминутной цели. Однако есть черта, отличающая С-личность, например, от сексуального маньяка, который занимается своим не слишком почетным делом в одиночку. Социальный маньяк ищет себе подобных. Такие люди тянутся друг к другу, чтобы образовать единое сообщество, где каждый будет чувствовать в другом своего: «мы с тобой одной крови, ты и я».

Каким же будет это объединение С-личностей? Назовем несколько социальных образований, которые кажутся подходящими. Первое из них — это т о л п а,— феномен, блистательно проанализированный в свое время Э. Канетти. В толпе, в массе человек теряет дистанцию между собой и другим, размываются границы его «я», отпадает необходимость в личной ответственности. В толпе, идущей за вождем, дерущейся за кусок дефицита или за удобное место поближе к источнику возможных благ, С-личность может реализовать свою потребность в социальном превосходстве. Однако толпа — лишь низший уровень организации

[1] Попутно заметим, что такое общество — еще и общество тотальной проституции: ведь в мире всеобщего согласия никто не может сказать другому «нет».

С-личностей, и причина этого — в ее текучести, нестабильности, неорганизованности; толпа объединена лишь мгновенным импульсом; стоит этому импульсу ослабеть — и она рассыпается.

Посмотрим на типичную современную толпу у входа в электричку или в магазин, который вот-вот откроется. Здесь каждый чувствует себя частицей плотной массы, не выделяющейся из нее — неличностью; каждый знает, что все думают о том же и чувствуют то же, что и он. В то же время каждый пытается занять чуть лучшее место, потихоньку оттирая других. Нетрудно видеть, что это поведение иррационально: в электричку все равно войдут все, а товаров все равно не хватит почти никому. Это поведение, следовательно, чисто социальное. Обе характерные черты С-личности: тотальная включенность в сиюминутное окружение и стремление к постепенному повышению своей социальной функции — присутствуют здесь, так сказать, в явном виде.

Однако такая общность годится лишь для удовлетворения весьма скромных социальных запросов. Место поближе к дверям — это, конечно, символ чуть более высокого положения; но лица с действительно высоким положением идут без очереди. Социальное движение в массе неустойчиво, зыбко, здесь даже самый большой триумф может обернуться поражением. Даже если мне удалось сделаться вождем толпы, властителем ее дум — а думы, как известно, становятся материальной силой, когда овладевают массами,— в следующий момент настроение может измениться на 180°, вместо «ура» прозвучит «долой», и тот, кто только что управлял людским морем, может быть растоптан своими вчерашними рабами. Нет, для солидного социального человека, стремящегося к прочному, устойчивому положению, твердой власти, стабильному авторитету, толпа, переменчивая как сердце красавицы,— место явно неподходящее. Он, как ему кажется, искренне презирает эту массу, а на самом деле — глубоко ее боится: в толпе социальную функцию нужно поддерживать ежеминутно, а следовательно, невозможно почувствовать себя победителем. Любопытно проследить в этом плане эволюцию наших вождей: те из них, кто был мастером манипулирования толпой, быстро потеряли инициативу, как только борьба была перенесена в более высокие сферы. Кумиров толпы в конце концов сменили люди, глухой стеной изолировавшие себя от массы,— их социальные навыки были в другой сфере.

Иной тип социальной общности С-личностей представляет собой м а ф и я — хорошо организованная, разветвленная преступная группа, как правило, связанная с коррумпированными элементами в системе государственной власти. Мафия дает возможность С-личности, вписавшись в свою среду, идти к цели, не нарушая внутренних законов организации, а связь с государственными институтами создает при этом чувство защищенности, которого так не хватало в толпе. Однако не следует забывать, что мафия в первую очередь стремится к обогащению; власть для мафиози не самоцель, а лишь средство обеспечить материальное процветание. Типичная итало-американская мафия — продукт частнособственнического общества; каждый член организации, от «шестерки» до Крестного отца, работает в конечном счете на свое обогащение и уже поэтому обладает сознанием своего Я, ответственностью за свое дело, каким бы грязным оно ни было.

От мафии следует отличать преступную группу типа б а н д ы. Для банды цель — нажива — выражена не столь явно. Целью действия банды может быть простое хулиганство, то есть глумление над обывателями. Такое глумление, на первый взгляд бессмысленное, есть не что иное, как демонстрация своей власти над другими людьми. Поэтому бандитское сообщество — гораздо более подходящее место для социального маньяка, чем жесткая структура мафии: именно здесь полное слияние со сворой «своих» удачно сочетается с непрерывной игрой на социальное повышение, игрой без правил, без каких бы то ни было нравственных ограничений, где победитель всегда прав, а побежденный всегда опозорен и унижен. Единственный, с точки зрения С-личности, недостаток такой организации — ее противопоставленность обществу в целом, ее оппозиционный характер. Какими бы строгими ни были социальные законы преступного мира и как бы хорошо ни вписывалась С-личность в эти рамки, она несет клеймо преступника, и поэтому из общества в целом — исключена.

Наконец, четвертый тип организации, который кажется подходящим для С-личности,— нечто вроде рыцарского или монашеского ордена с его жесткой иерархической структурой, куда каждый должен войти всей душой, без остатка; все человеческое остается «за бортом», и единственным содержанием существования становится подчинение себя целостной организации, жизнь внутри этой организации, реализация ее (а не своих) целей и медленное, упорное продвижение к ее вершине.

Однако и монашеский орден вносит ограничения, неприемлемые для социального человека. Эти ограничения связаны с правилами морали и религии, которые существуют даже в наиболее деградированных структурах такого рода и которые резко сужают диапазон возможного социального поведения. Для достижения власти и могущества в такой организации хороши отнюдь не все средства, и это не может не раздражать.

Итак, можно подойти к описанию организации, оптимальной для существования и процветания С-личности. Такая организация подобна толпе, но толпе организованной, без свойственных обычной толпе переменчивости, лабильности, текучести; она похожа на мафию, но без частной собственности; на шайку преступников, но без оппозиции обществу; на монашеский орден, но без Бога и религии.

Мне не хотелось бы выглядеть подобно автору плохого детектива, который пытается разворачивать сюжет, когда читатель давно уже понял, кто преступник. Конечно, все уже догадались, что это за организация: это Партия Нового Типа — уникальный социальный институт, отвечающий всем перечисленным критериям. Сейчас она пытается убедить общество в том, что подавляющее большинство ее членов, как всегда, ничего не знали и, конечно, не несут никакой ответственности за действия преступной верхушки. Наследники профессиональных разрушителей очень обижаются, когда их сравнивают с преступниками; как будто не они сами называли грабеж едва ли не основной целью социальных преобразований; как будто не они сами с беззастенчивой, заслуживающей лучшего применения откровенностью объявили уголовников «социально близкими»; как будто не они до сих пор, стоит поглубже копнуть какое-нибудь большое уголовное дело, почему-то обязательно оказываются «замаранными»; как будто не они прямо на глазах у «перестраивающегося» общества сделали своей вооруженной опорой откровенно бандитские формирования ОМОНа; как будто их организация, их собрания, сам их язык и образ мыслей не скопированы с того, что можно увидеть в мире их асоциальных собратьев.

(Кстати, будущему исследователю интересно будет рассмотреть и обратное влияние: когда уголовное сознание впервые в истории вышло на поверхность общества, легализовалось и институционализировалось, оно стало закреплять и в то же время разлагать ментальность своих «коллег» по ту сторону закона. С одной стороны, нормы уголовной морали приобрели широкое распространение (у нас трудно найти человека, который бы хоть раз в жизни не опирался на эти нормы), с другой — эти нормы сильно упростились, что привело к разрушению когда-то очень сложных кодексов воровской чести. Сама сложность и разработанность этих кодексов была обусловлена необходимостью противостоять давлению общественной морали, идеологии, полиции и т. д. При социализме этого противостояния нет, ибо и полиция, и идеология находятся в руках таких же людей.)

Уголовное происхождение общества объясняет, в частности, обязательный коллективизм принимаемых решений: все должны быть повязаны, никто не должен остаться «чистеньким». Вообще говоря, эта тема заслуживает отдельного обсуждения. Здесь важно понять: родство социалистической утопии с криминальной реальностью обусловлено тем, что в основе их обеих — один и тот же (социальный) способ сознания с присущими ему чертами: тотальной включенностью человека в социальную структуру и неутолимым стремлением продвигаться внутри этой структуры.

Этими же свойствами объясняется происхождение одной из самых заметных черт нашего общества — агрессивности, знакомой каждому, кто имеет опыт посещения магазинов и путешествий в общественном транспорте. В основе агрес-

сивности лежит одна из особенностей социальных благ: ее можно назвать *повышенной конкурентностью*.

Возьмем какое-нибудь духовное благо, например, знание. Если человек стремится к знанию как к цели, знание другого человека может только помочь ему, и предмета конкуренции нет. Как говорил классик, «если я отдам вам яблоко, я сам останусь без яблока; но если я подарю вам идею, у нас будет две идеи: ваша и моя». Количество информации не уменьшается, когда ею делишься с другим. Это свойство духовных благ можно назвать *отрицательной конкурентностью*.

Материальное благо, вообще говоря, нейтрально в отношении конкурентности. Если я стремлюсь к сытости и комфорту, сытость и комфорт другого человека мне нисколько не мешают. Другое дело, что в конкретной экономической ситуации эта конкурентность может быть либо отрицательной (для получения материальных благ целесообразно кооперироваться с другим человеком), либо положительной (целесообразно соревноваться с другим человеком, препятствовать ему). Однако в общем виде конкурентность материальных благ близка к нулю.

В отличие от этого социальное благо всегда обладает положительной конкурентностью. Что значит лучшее положение в обществе? Значит, лучшее, чем занимают другие. Стремление к власти — это стремление к власти над другими. Иными словами, стремясь к социальным ценностям, человек всегда борется *против* аналогичных стремлений других.

Еще одна причина агрессивности лежит в эмоциональной неустойчивости С-личности. Мы уже говорили, что она может обрести устойчивость только за счет стабильности той социальной группировки, к которой она себя причисляет. Однако сама же С-личность, стремясь к продвижению внутри группы, расталкивая коллег локтями, вносит в систему элемент нестабильности, подрывая тем самым основы собственного душевного благополучия. Именно поэтому С-личность никогда не удовлетворена достигнутым и никогда не уверена вполне в прочности своей позиции. В этом смысле «новый класс» разительно отличается от всех правящих классов прошлого: как бы он ни обеспечил себя со всех сторон, какую бы пропасть он ни вырыл между собой и «простонародьем», он никогда не чувствует себя уверенно, всегда ожидает угрозы и готов к борьбе. Невозможность успокоиться отличает С-личность как «наверху», так и «внизу».

Вместе с тем агрессивность не может быть осознана как чувство, противопоставляющее человека его среде: это противоречило бы одному из основных свойств С-личности. Осознанная враждебность к «своим» невозможна по определению, и поэтому для свободного выхода агрессии необходимо формирование образа «чужого». Характерное для такого человека сознание «мы» в отсутствие сознания «я» неизбежно требует для поддержания равновесия чувства «они». В этой невзоровской оппозиции «мы — они», «наши — не наши» — вся эмоциональная жизнь Гомо социалис.

Свои всегда принимаются безоговорочно и всегда правы. Чужие — всегда враги, всегда объект ненависти и, в пределе, подлежат уничтожению. Вместе с тем граница свои — чужие совершенно произвольна. Можно делить мир на физиков и лириков, на западников и славянофилов, народ и интеллигенцию, деревенских и городских, на панков и люберов, по национальному признаку, классовому, образовательному, какому угодно — все это не имеет ни малейшего значения, важен лишь опознавательный признак *чужого* — он враг, бей его!

Стоит подчеркнуть, что для социального сознания мир *должен* быть разделен. *Как* он разделен — неважно. Вчерашние «вечные друзья» сегодня становятся злейшими врагами[1] (вспомним пример с немцами в 1941 году), и перелом этот происходит естественно и без малейших усилий. Почти все сегодняшние националисты — это вчерашние интернационалисты. Зигмунд Фрейд в сере-

[1] Однако вопреки авторитетному мнению Оруэлла обратное невозможно! Даже во времена антигитлеровской коалиции американцы не были для нас «своими», а только союзниками; о том, что они классовые враги, мы не забывали никогда. Раскол на «наших» и «не наших» вечен. Еще Б. Кистяковский в «Вехах» обратил внимание на невозможность примирения большевиков с меньшевиками, сколь бы значительных компромиссов они ни достигали в совместной политике. Раз объявив себя врагами, они должны навсегда остаться таковыми.

дине 20-х годов говорил, что сила большевиков — в их умении непрерывно находить врагов, но непонятно, что они будут делать, когда всех врагов уничтожат. В этом типичное для европейца сочетание глубины мысли с наивностью. Как что делать? Создавать врагов из самих себя. На этом же основана шутка о том, что если все евреи эмигрируют, нынешние национал-патриоты найдут «евреев» в своей собственной среде.

Страшно представить себе этот процесс в целостности: мир, расколотый на «наших» и «не наших», причем кто «не наш» — враг и подлежит уничтожению; после уничтожения «наши» снова делятся на «подлинно наших» и «замаскировавшихся не наших», которые опять же уничтожаются, после чего... и т. д., и т. д. Этот жуткий мир есть подлинная психологическая реальность С-личности.

НА КОНЕ БЛЕДНОМ

Таким образом, нам придется расстаться с вызывающей чувство законной гордости мыслью о том, что наш, советский человек, будь он хоть самый распоганый, все же интересен своей уникальностью — как-никак, «новый человек», о котором мечтали все утописты мира. При всем его своеобразии он — лишь наиболее совершенная разновидность категории социального человека, который, конечно же, не редкость и в других местах: в самой свободной стране, самом либеральном обществе мы наверняка встретим — в нерассуждающей армии, в охваченной экстазом толпе, в затхлом коридоре бюрократической организации — родную нам С-личность. Неясно, правда, почему и как этот тип стал абсолютно преобладающим в одной, отдельно взятой стране.

Трудно согласиться с тем, что агрессивный социалистический коллективизм — всего лишь продолжение традиционного коллективного сознания, характерного для большинства неиндустриальных обществ. Прямо и непосредственно, исходя из менталитета крестьянской общины или родового общества, трудно прийти к менталитету людей, совершающих групповое изнасилование. Не следует недооценивать разрыв между старым авторитарным сознанием и современным тоталитарным.

Другое дело, что особенности традиционного российского менталитета могли подготовить почву, на которой впоследствии выросла С-личность. Отсутствие прочного института собственности; вера в равенство людей (то есть в то, что «в конечном счете» ни различия в дарованиях, ни богатство, ни аристократизм рождения не имеют значения); чувство глубинной связи с государственной властью («имперское сознание») — все это, замешанное на крутом растворе идеологии, легло в фундамент нового типа сознания: сознания социалистического тоталитаризма. Впрочем, последние два слова представляют собой тавтологию, так как тоталитаризм всегда основан на царстве социальности (Гитлер и Муссолини были социалистами), а социализм как система может быть только тоталитарным. Оба эти термина означают, по существу, одно и то же: поклонение общественному благу, которое предстает здесь не как совокупность благ отдельных людей, а как некая целостность, как мистическое, вне индивидов и над индивидами находящееся начало. Все в человеке, что не укладывается в границы стремлений к единому (на всех) общественному благу, подлежит уничтожению[1].

По мере того, как очередная идея общественного блага обнаруживает свою несостоятельность, реальному социализму требуется период «оттепели» или «пе-

[1] Вряд ли можно серьезно относиться к разговорам о существовании какого-то «шведского социализма». В Скандинавии, с ее древнейшей традицией уважения к правам отдельной личности, конечно, никакого социализма в смысле примата общественных ценностей над личными быть не может. Там речь идет всего лишь о введении отдельных элементов социализма, способствующих гуманизации общества. Так опытный врач с помощью нескольких капель смертельного яда придает больному свежие силы. Но упаси Бог передозировать это средство, хоть на мгновение забыть о его токсических свойствах!

рестройки»; за тоталитарный период нашей истории таких можно насчитать не менее четырех-пяти. Смысл этих «межтоталитарных пауз» заключается в поиске новой основы объединяющей всех социальности, в обновлении того общего, которое должно с новой силой обрушиться на остатки (или появляющиеся ростки) индивидуального, приватного сознания. На фоне количественного и позиционного преимущества С-личностей эта цель легко достигается: достаточно вспомнить, как «на ура» была воспринята интеллектуальной элитой идея построения коммунизма к началу 80-х годов.

Перестройка в обществе С-личностей — не уход от тоталитаризма, а попытка возродить его на обновленной основе, преодолеть отчуждение человека от общества, возникшее на предыдущем, «жестком» этапе истории. Перестройка 1985—1991 годов была основана на тех же социалистических принципах, и потому так же обречена, как и предыдущие. Так называемое демократическое течение мало что смогло противопоставить «социалистическому выбору наших дедов», поскольку его лидеры, находясь, за редким исключением, на социал-демократических позициях, вынуждены были разделять фундаментальные установки своих консервативных оппонентов [1]. Как история отношений между большевизмом и меньшевизмом, так и история конца 80-х показывают: социал-демократия, пытающаяся разбавить бочку несвободы ложкой гуманизма, бессильна против жесткого, последовательного, не сомневающегося коммунизма, и победить его можно лишь на основе иного, несоциалистического идеала — идеала свободы. Торжество общественного блага несовместимо с благом отдельного человека; «гуманный социализм» — это логический абсурд, все равно что «травоядный хищник». В Тбилиси и Баку, Душанбе и Риге, Вильнюсе и Москве обновленный социализм показал, какой звериный оскал скрывается за его «человеческим лицом».

Бытие С-личности, которое мы попытались описать,— это и есть реальная победа общественного над личным в человеческом сознании. В 30-е годы, в пору торжества социального человека все общество представляло собой кипящее варево особей, давящих и уничтожающих друг друга без жалости и без колебаний, чтобы назавтра самим стать жертвой следующего хищника, прокладывающего себе дорогу к социальным благам.

Не будучи историком, я не в состоянии проследить механику той социальной катастрофы, когда число С-личностей, готовых жертвовать всем человеческим ради общественного, превысило критическую массу, и взрыв разметал в клочья российскую цивилизацию.

Однако, сложившись, общество С-личностей неизбежно должно было обнаружить свою несостоятельность. На социальном уровне причина такой несостоятельности — аутоагрессия общества, процесс непрерывного самопожирания. При этом массовый террор оказывается единственным способом заставить человека хоть как-то работать. На организационном уровне раскрывается несостоятельность социализма как общества, где дело служит лишь маской для чисто социальной активности. На экономическом уровне оказывается, что С-личность не может быть собственником (не являясь субъектом вообще, она не может быть и субъектом собственности), и, следовательно, социализм — это общество, где ничто никому не принадлежит, где возможно распоряжение имуществом, но не владение им, и где, следовательно, в связи с отсутствием экономической ответственности объем экономических прав не прямо, как в нормальном обществе, а обратно пропорционален количеству обязанностей (ибо объем прав *увеличивается*, а количество обязанностей *уменьшается* с повышением социального статуса).

Наконец, на духовном уровне, на котором как бы интегрируются все остальные, выясняется, что тотальная социальность может только брать от человека, ничего не давая ему, только поглощать его духовные силы, но не питать их.

[1] Достаточно полюбоваться на беспомощное барахтанье «демократических Советов» с их типично социалистической манией «социальной справедливости». Все они начинают с провозглашения гуманистических ценностей, свобод и проч., а затем говорят, что все эти свободы — когда-нибудь потом, а сейчас нужен «переходный период» — конечно же, с продуктовыми карточками, уравнительным распределением, жестким административным регулированием и прочими добродетелями реального социализма.

Ведь источник энергии всего общества — внутри человека, и общество может развиваться только, «собирая излишки» расплескивающейся человеческой активности. Используя экономическую аналогию, можно сказать, что нормальная общественная жизнь обеспечивается не духовной разверсткой (требование «живи для общества»), а духовным налогом («живи для себя, избыток своих сущностных сил отдавая обществу»). Кстати, причина провала нэпа именно в том, что этот принцип пытались осуществить изолированно в сфере экономики, не затрагивая ткань мировоззрения. Социализм как род языческой религии, где общество (класс, нация) занимает место бога Ваала, абсолютно несовместим со свободной экономикой, поскольку такое совмещение требует от человека сочетания диаметрально противоположных способов отношения к миру.

Целиком погружаясь в систему социальных связей, человек теряет контакт с Природой и Культурой — двумя полюсами, двумя источниками жизни. Для него исчезает реальность предмета, заменяясь мнимой, кафкианской реальностью общественных отношений, в пределе упрощающихся до отношений «начальник — подчиненный». Общество, в котором господствует социальность, теряет связь с действительностью и превращается в мнимое, призрачное общество — призрак коммунизма. Производство, например, для С-личности — это не процесс переработки сырья в конечный продукт, обладающий некоторыми, нужными покупателю свойствами: для такого понимания надо видеть, во-первых, реальность природного предмета (сырья), во-вторых, реальность человеческих (потребительских) потребностей. Нет, производство — это прежде всего сложная система взаимодействий между начальниками разных рангов, руководство и управление; для чего все эти взаимодействия существуют — не имеет значения.

Таким образом, тотальная социализация в конечном счете представляет собой полный отрыв от действительной жизни — то есть смерть. Смерть же завершается распадом всей структуры общества — структуры тех самых социальных связей, в жертву которым приносилось все остальное. В этот период неизбежного распада, который власти пытаются сдержать, проводя политические и идеологические реформы и искусственно подхлестывая экономику безжалостной эксплуатацией природных богатств,— в этот период мы вступили фактически вскоре после войны, хотя очевидными для каждого симптомы распада стали лишь в последние годы, подобно тому, как распад раковой опухоли становится очевидным, когда человека уже не спасти, хотя опытный диагност [1] мог бы уже давным-давно определить сущность и характер течения болезни.

Причина распада — истощение запасов человеческой энергии, буквально «съеденных» социализмом. Красный конь революционного насилия, черный конь организованного государственного людоедства вдоволь потоптали нас, и теперь пришла пора коня бледного, и на нем всадник, и имя его известно. Продолжим медицинское сравнение: опухоль, с одной стороны, высасывает соки из здоровых тканей, а с другой — пронизывает эти ткани своими метастазами; так тоталитарное общество безжалостно эксплуатировало энергию тех, кто, не имея шансов на социальный успех, принял неизбежность системы и согласился на нее работать; одновременно оно подтачивало сознание этих людей, пропитывая его ядом социальности.

Страницы газет и журналов по-прежнему заполнены страхами по поводу возможных бунтов (разумеется, бессмысленных и беспощадных), разгула стихии, выступлений толпы и прочих ужасов гражданской войны, по стереотипу мысли переносимых из прошлого в будущее. На самом деле у нас уже нет сил ни на бунт, ни на гражданскую войну, ни на поддержание диктатуры «железной руки», а почти все так называемые спонтанные выступления масс тщательно готовятся и организуются.

И как только ослабла цензура и появилась возможность публикации того, что пишется по потребности души, а не к юбилею,— сразу же тема смерти, безнадежности, духовного истощения вышла на поверхность художественной культуры. Публицистика еще была полна оптимизма, еще гремела маршами во славу перестройки (автору стыдно вспоминать свою статью 1988 года, отнюдь не

[1] Например, А. Амальрик «Доживет ли Советский Союз до 1984 года?».

самую оптимистичную для того времени, но пронизанную надеждой на самые скорые и глубокие перемены); однако чутье художника вернее чутья журналиста или ученого: в повестях и рассказах, в стихах и песнях уже тогда никакого оптимизма не было, а было круженье вокруг одной и той же темы — умирание, прекращение жизни. В музыке ли, в живописи или в литературе — искусство 80-х годов представляет своего рода культуру умирания.

«И как один умрем в борьбе за это...»

Ясно видимую уже сейчас перспективу массовой десоциализации, распада и деградации всех социальных связей можно рассматривать как реакцию на избыточную социализацию предшествующих лет. Отчуждение зашло слишком далеко, чтобы можно было его преодолеть на основе веры в коммунизм, как в начале 60-х, или в «обновление социализма», как во второй половине 80-х.

Человек лишается социальной оболочки и остается один, голый. И тут возможны разные пути: или начало «войны каждого против всех», что приведет либо к взаимоистреблению, либо к новому тоталитаризму (что есть то же самоистребление, только более упорядоченное), или переход к созданию новой социальности, новых межчеловеческих связей на принципиально иной основе. В последнем случае предполагается, что человек, оставшись один на один с жизнью, начнет искать себе подобных на основе к о о п е р а ц и и (благороднейшее понятие, усилиями пропаганды за два-три года втоптанное в грязь!); свободные и беззащитные, люди опять начнут объединяться, но не в о р г а н и з а ц и и (с доминированием тоталитарного принципа вертикальности отношений), а в а с с о ц и а ц и и (основой которых служат горизонтальные связи).

Период распада социальности вряд ли будет легким, хотя бы потому, что этот распад неизбежно сочетается с весьма ощутимыми бытовыми неудобствами (не ходит транспорт, отсутствует освещение, отопление и т. п.). Формы жизни максимально упростятся, и, конечно, о таких игрушках, как занятие наукой, не может быть и речи. Однако думается, что избежать окончательного распада не удастся: стены здания таковы, что ничего, кроме тюрьмы, из них не построишь; лишь когда они превратятся в груду индивидуальных кирпичей — тогда развилка; из этих кирпичей, конечно, при определенных условиях можно опять начать строить тюрьму, но можно — и совершенно другое здание, план которого нам неизвестен [1].

Сколь долгим будет этот период бесструктурности и постепенного формирования иной структуры? Исторический опыт подсказывает, что он может захватывать целые поколения, и даже ряд столетий. Речь ведь идет не больше, не меньше, как о с м е н е ц и в и л и з а ц и й — о событии, по масштабу сопоставимом даже не с 1917 годом, а, если позволите, с 410 годом н. э., с пожаром Рима.

Но историческим аналогиям в конце XX века веры нет. Слишком стремительны процессы, происходящие во всем мире, и слишком взаимосвязаны и взаимозависимы все части этого мира. Изоляция нашего общества от остальных стран — это вовсе не случайный результат нашей бедности или каких-то конкретно-исторических условий, а тщательно, искусственно, с огромными усилиями и затратами поддерживаемый системой процесс [2]. Когда система рухнет, рухнут и границы, отделяющие $^{1}/_{6}$ часть суши от остальных $^{5}/_{6}$. Все элементы нового, возникающие где-нибудь в бывшей Тамбовской области, немедленно будут становиться компонентами мирового процесса и должны будут проходить проверку на уровне открытого мира, а не затхлого областного мирка, где звонок первого секретаря есть высший суд, решающий судьбы людей и идей. Размыкание замкнутой системы, ее прорыв в мир — мощнейший антиэнтропийный фактор, способный ускорить все творческие процессы в обществе даже не в несколько раз, а на несколько порядков.

[1] Очень хочется, чтобы пессимистические прогнозы не подтверждались. Почти вся статья написана до августовских событий, всколыхнувших по крайней мере часть России. Переворот, который сам был результатом и отражением распада, вызвал всплеск, но круги улеглись, а гниение в болоте продолжается. Слухи о возрождении страны, столь правдоподобные 21—23 августа, оказались преувеличенными. С-личность еще покажет свои изумительные приспособительные возможности. Теперь она в маске гуманиста.

[2] Нам рассказывали байки о том, что, открыв границы, мы вынуждены будем потратить миллиарды рублей на создание новых таможен, вокзалов и т. п. На самом деле затраты на поддержание закрытых границ гораздо выше. Да и зачем вокзалы, если можно ходить пешком?

Но прежде чем заглядывать в эти перспективы, не то чтобы весьма отдаленные, но — главное — отделенные от нас пропастью безвременья, подумаем еще раз, не может ли созданное С-личностями общество рассчитывать на какие-то человеческие ресурсы, с помощью которых самолет все-таки будет выведен из штопора.

ТОРЖЕСТВО И БЕССИЛИЕ СОЦИАЛЬНОГО ЧЕЛОВЕКА

Оптимисты — те, которые в надежде славы и добра постоянно смотрят «наверх», ожидая от верхов улучшения, послабления и тому подобных прогрессивных изменений [1],— полагают, что в настоящее время верхушка нашего общества постепенно преобразуется путем ее «обуржуазивания». Это значит, что социальные цели и потребности — авторитет, престиж, власть — должны смениться целями и потребностями материального порядка, такими, как богатство и комфорт. В этом случае социальное поведение сменяется поведением экономическим, С-личность распадается, и наиболее сильные ее представители превращаются в «промышленных королей», акул бизнеса, жизнь которых посвящена максимизации прибылей. Соответственно наша верхушка превращается в хорошо изученный мировой наукой класс эксплуататоров, и далее развитие идет по накатанному историей пути.

Мне все это представляется маловероятным. Полагая, что высокосоциализированная верхушка способна стать классом собственников-буржуа, мы недооцениваем масштаб необходимого для этого психологического переворота, который может быть назван сменой менталитета. Все правила поведения должны быть заменены другими. От установки на тотальный контроль за обществом (или за какой-то его частью либо отраслью) необходим переход к установке на частную жизнь, на личное приобретение ценой децентрализации, ответственности и потери контроля. Стать владельцем собственности — значит стать субъектом, сменить коллективное сознание на индивидуальное, допустить построение иного мира, основанного не на социальных законах, не на принципах круговой поруки и всеобщей слежки. Это значит — отдать власть за богатство. Думаю, что это невозможно. Подобно тому, как нынешние «концерны» — просто новое название для прежних министерств, нынешние «бизнесмены» (образцом их может служить известный Исмаил Таги-Заде) — не более чем подставные лица, руками которых прежние люди творят прежние дела. Их «бизнес» — это всегда монополия, причем не завоеванная в конкурентной борьбе (в которой им, с их-то интеллектом, мало что «светит»), а свалившаяся к ним неизвестно откуда, «за так», точнее — за верную службу подлинным хозяевам страны [2]. Мы уже говорили о потрясающей способности С-личности к мимикрии. Маска бизнесмена в этом смысле ничуть не хуже маски ученого или общественного деятеля.

И вообще: возможно ли преобразование С-личности, индивидуализация коллективного сознания, формирование человека, чувствующего себя (а не коллектив, класс, партию или народ) субъектом своих действий?

На уровне о т д е л ь н о г о и н д и в и д а — конечно, да. На этом уровне, вообще говоря, возможны любые изменения и трансформации. Когда-то Савл превращался в Павла, разбойник с большой дороги — в кающегося монаха. Можно, конечно, эмоционально понять людей, восклицающих: «Ни в жизнь не поверю

[1] Они же, между прочим, и пессимисты, ибо они считают, что все хорошее в нашем обществе может идти только от властей, а народ и мы, его образованная часть, в лучшем случае способны терпеливо ждать улучшений и благодарить за них.

[2] Отсюда понятно, что если старая власть окрепнет, марионеточные «предприниматели» станут не нужны и их уберут. Но либо у них не хватает ума понять это, либо они наивно надеются в последний момент ускользнуть.

бывшему кагебешнику или бывшему партработнику!» — но рационально эти восклицания не выдерживают никакой критики, ибо в их основе — те самые представления о человеке как продукте общества, которыми возмущаются эти люди. Никому ведь не написано на роду работать в КГБ, и наука еще не открыла генов первого секретаря райкома. Человек в принципе свободен, не предопределен своим прошлым и не обязан всю жизнь кататься в его карете.

Другой вопрос — насколько реально предположение, что такие изменения могут происходить в сколько-нибудь заметных (на уровне общества в целом) масштабах. Опыт пяти лет перестройки продемонстрировал замечательную устойчивость социального человека. Вспомним, как недавно нам казалось, что вся беда в официальной лжи, что достаточно сказать людям правду, и все тут же прозреют и все поймут. «Стоит показать людям фильм «Покаяние»,— говорил мне один профдеятель бывшей ЧССР в 1988 году,— и они немедленно поймут, что жить в таком обществе дальше невозможно». Мы давно посмотрели этот фильм — и что? Еще один миф заключался в том, что якобы невозможно не измениться, прочтя «Архипелаг ГУЛАГ» (уж не сам ли Александр Исаевич — автор этой идеи?); все прочли — что изменилось? и кто, прочтя, изменился?

Перестройке национального сознания часто способствуют массовые катастрофы, «наказания Божьи». Взрыв Хиросимы полностью перевернул менталитет японцев. Взрыв Чернобыля, куда более страшный по своим последствиям, мало кем был воспринят как национальная катастрофа. В XIX веке, проиграв Крымскую кампанию трем великим державам, русские осознали необходимость радикальных преобразований. Сейчас, проиграв позорную колониальную войну афганским крестьянам, мы лишь кое-как собираемся приступать к реформам. Рассказы о поведении людей в зонах аварий и катастроф свидетельствуют: мы полностью лишены понимания того, что наши несчастья не случайны, что все они — результат наших собственных действий, наших катастрофических заблуждений. Мы похожи на людей, побывавших в аду и даже не заметивших этого. Вот уж поистине, как было сказано две с половиной тысячи лет назад другому народу: «Во что вас бить еще, продолжающие свое упорство? Вся голова в язвах, и все сердце исчахло. От подошвы ноги до темени головы нет здорового места... все опустело как после разорения чужими».

Честно говоря, наука мало что может сказать о возможных механизмах разрушения тоталитарного сознания и возникновения сознания индивидуального, субъективного (если я чего-то не знаю, пусть мои коллеги меня поправят). Наблюдения же за происходящим у нас на глазах наводят на мысль о том, что едва ли не в каждом случае действительно глубокого преобразования личности (а не просто «перекрашивания» из красных в белые или зеленые) поворотным моментом было возникновение чувства стыда. Когда человеку становилось нестерпимо стыдно — за самого себя или за окружающих, за то, что он видит рядом с собой и сам это допускает,— появлялась возможность изменения. Но стыдно мало кому. Не любим мы это чувство и старательно его избегаем. Не будем уж говорить о насквозь изолгавшихся типичных Гомо социалис, очевидный автоматизм социального поведения которых практически исключает возникновение таких эмоций. Всего год-полтора назад целый ряд либеральных публицистов бросился наперебой убеждать нас в благоденствии диктатуры, которая якобы только одна и способна вывести нас к светлому рыночному будущему. Очень хотелось бы знать, стало ли теперь хоть одному из них стыдно, подумал ли кто-нибудь из них о том, что попытки установить то здесь, то там режим военного положения, в общем, соответствовали их (либеральных публицистов) планам и замыслам? Судя по продолжающимся публикациям, им это и в голову не приходит[1].

Возможен и совсем другой подход к этому вопросу. Ведь, чтобы общественное сознание изменилось, строго говоря, совсем не обязательно меняться индивидуальному сознанию всех или даже большей части членов общества. Было бы достаточно, если бы люди, у которых черты С-личности выражены не так сильно (а таких, несомненно, немало), смогли переместиться в более высокие слои и начать играть более существенную роль в жизни общества. Возможно, что в таком случае им удалось бы постепенно изменить общественную атмосферу, запустить в действие иные, несоциальные механизмы общественной жизни (экономические, духовные и другие); это заставило бы и остальных меняться, воскрешать в себе способности, давно задавленные социальностью. Изменения путем «мутаций» сознания в этом случае заменяются «миграцией».

[1] Разумеется, я не утверждаю, что путчи происходят из-за того, что кто-то призывает к диктатуре в своих статьях. Я вообще не склонен переоценивать роль прессы. Однако возможно, что, внедряя мысль об авторитарном режиме в сознание читателя, авторы сделали его более терпимым к вспышкам организованного насилия.

К сожалению, и этот вариант излечения представляется маловероятным. Трагедия социализма в полном и окончательном разрыве между социальной и деловой компетентностью. С одной стороны, С-личность идеально предназначена для социального продвижения, и невозможно представить себе, что она уступит место людям иного склада; с другой же стороны, С-личность ничего не способна сделать, ибо продвижение вверх по социальной лестнице — ее единственная специальность. Лидеры общества, как правило, умеют только брать власть и удерживать ее (и это они умеют в совершенстве!), но им в голову не может прийти вопрос: а что с этой властью делать? Но то, что так заметно в области политики, происходит во всех областях, от медицины до оккультизма: социальный успех оторван от реальных достижений, и чем больше у человека шансов на продвижение (чем ближе он к идеалу Гомо социалис), тем меньше он озабочен содержанием деятельности. Сочетание абсолютной непобедимости с абсолютной некомпетентностью обусловливает тупиковость социалистического пути.

С этой точки зрения представляется маловероятным появление каких-то «новых людей», которые могли бы взять инициативу в свои руки и вдохнуть новую жизнь в умирающее общество. Ведь сопротивление прессу социальности требует весьма аскетического отношения к собственным социальным потребностям. Включаться в социальные игры С-личностей и не стать им подобным — задача почти неразрешимая: кто обедает с дьяволом, должен запастись длинной ложкой. К счастью, сама жизнь заставляет отказаться от борьбы за власть, за престиж, за авторитет многих людей — тех, кого заведомо ждет поражение.

И поэтому именно сейчас, когда обреченность общества, построенного на коллективном сознании, не вызывает сомнений, внезапно обнаруживается интересная вещь.

В эпоху «торжества социализма», когда жажда социальных благ охватывала практически все население, когда в восторге взаимоуничтожения С-личности сталкивали друг друга в пропасть, казалось, что все живое и человеческое в этом мире обречено, и что вслед за ницшевским «Бог умер!» остается провозгласить: «Человек умер, остался социальный индивид». Но когда выяснилось, что в борьбе за успех не все имеют равные шансы, общество, первоначально представлявшее собой неразличимую массу «борцов за общественное благо», начало расслаиваться на победителей и побежденных, на рафинированных Гомо социалис наверху и мутный отстой потерявших надежду внизу. И в этот момент забрезжило маленькое чудо: в мире социально неуспешных, «где плач и скрежет зубовный», где вместо потерянных навыков социальной борьбы лишь смирение и покорность, и готовность принять свою судьбу,— в этом мире произошло самозарождение человека.

Жизнь заставила парнев социализма вернуться к таким традиционным элементам коллективного сознания, как покорность, терпение, готовность переносить жизненные страдания. Но отсюда не так уж далеко и до появления живых человеческих чувств, не умещающихся в рамки социальности: заботы о своем здоровье, о здоровье близких; способности наслаждаться тем, что дает природа — солнцем, рекой, свежим лесным воздухом, красками заката; и даже — чем черт не шутит — до чувства, что у меня есть свое место в жизни, что мое Я совсем не определяется тем, какую ступеньку общественной лестницы я занимаю, что мое человеческое (мужское, деловое, профессиональное...) достоинство не так уж связано с тем, есть ли у меня почетные титулы и звания и в какие кабинеты я вхож.

И стоило лишь появиться глоткам свободы (а распад, как всякий беспоря-

док, всегда чреват свободой) — и это человеческое начало стало набухать творческой инициативой, желанием что-то сделать, что-то свое придумать, иметь свой кусок земли, быть хозяином, получать не лагерную пайку (зарплату), а плоды труда собственных рук и головы. И в этом смысле социализм сослужил, быть может, единственную добрую службу: он показал, что идеалам равенства, отсутствия собственности и слияния с всемогущим государством — грош цена, и, стало быть, надо жить собственным умом, не надеясь на «социальную справедливость», самому отвечая за себя, за свою собственную жизнь. И тут — над пропастью, в которую мы катимся,— возникает повод для оптимизма.

Этот оптимизм, конечно, не в том, что ростки живого человеческого Я способны спасти цивилизацию, погрязшую в трясине социализма: такие надежды были бы слишком наивными. Ибо как могут достойные люди прийти к власти в обществе, где другие специализируются на захвате власти и ничего кроме этого не умеют? И как можно надеяться, что талантливый человек займет, наконец, заслуженное место, когда вокруг него люди, профессия которых в том и состоит, чтобы бороться за это место всеми доступными им средствами? Нет, общество С-личностей не вытяиуть, и прав был Сирил Н. Паркинсон, рекомендовавший «сменить название учреждения и всех его сотрудников».

Причина оптимизма — не надежда на выздоровление, а удивленное сознание того, что, оказывается, душа человека способна пережить даже многолетний пресс тотальной социальности, который, казалось бы, ие должен оставить после себя ничего, кроме выжженной пустыни. И это удивительное свойство человека — восстанавливать вопреки всему свою духовную целостность,— может быть, когда-нибудь, в других условиях, в другой культуре, станет основой выживания и движения к свободе.

Пустота. Но при мысли о ней
видишь вдруг как бы свет ниоткуда.
Знал бы Ирод, что чем он сильней,
тем верней, неизбежнее чудо.
Постоянство такого родства —
основной механизм Рождества.

Наталья Иванова

СОЧИНИТЕЛИ И ИСПОЛНИТЕЛИ

Через несколько дней пссле путча в «Известиях» промелькнула среди прочих информация о том, что путчисты готовились при помощи химических средств, распыляемых с воздуха, «пометить» тех, кто встал на защиту «Белого дома».

Своими заметками я отнюдь не желаю уподобляться отечественным коммутантам (неплохое определение, изготовленнсе партийно-националистической верхушкой для противников, но пришедшееся впору именно ей самой) и «метить» если не химическим, то идеологическим знаком тех, кто вольно (или невольно) формировал идеологию путча, взрыхливал и удабривал для него почву. Они пометили себя сами — и не желают с этими метками расставаться. Они отнюдь не деморализованы, они активно идут в наступление, изображая из себя чуть ли не новоявленных «политических диссидентов», рассылая по городам и весям очередную, впопыхах сфабрикованную ложь о том, что их якобы «арестовывают». Они пытаются разорвать общество, кричат о демократии и взывают к оплеванному прежде всего ими же самими плюрализму.

Избрав тактику опережения, они мгновенно заявили о разворачивающейся «охоте на ведьм», прекрасно зная о либеральном синдроме (страхе перед обвинением в необольшевизме) и пытаясь заставить стыдливо промолчать с ними не согласных.

Поэтому, посовещавшись сама с собой, я решила, что молчать — означает потворствовать обману. И заодно — хочу ответить анонимным в большинстве оппонентам моей статьи «Наука ненависти. Коммунисты в жизни и литературе» («Знамя», 1990, № 11). Сама жизнь продолжает ее сюжет.

Выступая вскоре после событий по программе «Добрый вечер, Москва!», секретарь СП РСФСР С. Лыкошин заявил, что «художника судить нельзя», что, мол, К. Гамсун за фашизм не отвечает. Хотя Гамсун не призывал фашистов к наступлению и не участвовал в формировании идеологии фашизма, он лишь признал Гитлера,— но и этого признания было достаточно — оно было расценено норвежским народом как нравственное преступление. Художник и писатель не то что не подлежат нравственному суду общества — нет, именно они более других, обыкновенных граждан ответственных перед обществом за свое слово и свои поступки, особенно в исполненные исторического драматизма времена. С л о в о и есть д е л о хорошо владеющего им писателя. К нему прислушиваются, за ним следуют миллионы его читателей. И если писатель признает себя писателем, если он вменяем, а значит, берет на себя ответственность за свои слова,— то и за последствия своих слов он так же должен отвечать перед нравственным судом читателей.

Общество пережило три августовских дня, которые потрясли и изменили и нас самих, и страну, и целый мир.

Первая, крайне болезненная мысль после известия о перевороте,— как демократы не ценили того, что успели обрести за последние годы, годы перестройки, которую уж с барской снисходительностью и ехидцей освобожденного раба к этому лету стали упорно ставить в кавычки. И, конечно же, мысль вторая — о

вине демократической интеллигенции, о том, что в самое последнее время она словно устала от повторения одних и тех же аргументов. Аргументов против развернутого наступления реакционных сил, объявленного в июне сего года на закрытом заседании Верховного Совета «четверкой» (Павлов, Пуго, Язов, Крючков), немедленно ставшим «открытым» благодаря срочному выпуску Невзорова и публикации текста выступлений в газете группы «Союз» «Политика».

Затем — не могу не сказать о том, что существует в психологии как «провокация жертвы»: в демократической печати более чем настойчиво создавался образ «военного переворота», нагнетался «синдром переворота». Да, о существующей опасности предупреждали и Шеварднадзе, и Яковлев; но более года печатались и выступления «либералов» о том, что нам необходим авторитаризм, что страна без авторитарной власти обречена (тезис И. Клямкина и А. Мигранян). Самыми зловещими красками в радикальной печати рисовался и пугающий облик «черного человека» с пистолетом под мышкой (вся армия, и МВД, и КГБ целиком красились одной и той же свинцово-черной краской; но, как показала жизнь, дело и в этих организациях обстояло иначе — и я сама впервые благодарю разглядела человеческие лица милиционеров, солидарных с людьми, густо шедшими к эскалатору метро «Баррикадная» — подтвердилось, кстати, название — скромных милиционеров, чувствовавших себя даже неловко под аплодисментами москвичей). Еще один урок прошедших дней — нам надо избавляться от черно-белого мышления, видеть оттенки, в которых, оказывается, и заключена надежда на общее спасение.

В то же время нельзя — задним числом — не сказать и о том, что при всей нашей вялотекущей истерике по поводу возможного переворота и отчетливо негативном отношении к военной форме, неумении слышать и видеть за мундирами реальный спектр убеждений их носителей, мы недостаточно серьезно отнеслись к открытому сигналу к атаке, прозвучавшему в «Слове к народу» (опубликовано в «Советской России» и «Московской правде» 23 июля), документе, подписанном наряду с непосредственными организаторами путча (В. Варенниковым, А. Стародубцевым и А. Тизяковым) и тремя писателями — Ю. Бондаревым, А. Прохановым, В. Распутиным.

Путь «тройки» (Бондарев, Проханов, Распутин), к заединству был не случаен, но у каждого этот путь был индивидуальным.

Реалист Ю. Бондарев, в «оттепельном» прошлом — имевший репутацию либерала, так и не переосмыслив своей поддержки неосталинизму во времена застоя (свидетельством является фильм «Освобождение», где Сталин представлен мудрым политиком), не принял политики «нового мышления» и уже в 1986 году активно заявил о своей негативной позиции по отношению к переменам. Резкая оценка его последних романов литературной критикой была воспринята Бондаревым болезненно. Это еще больше подтолкнуло его к «союзу» с высшими партийно-аппаратными силами, среди которых он, терявший авторитет литературный, мог продолжать считать себя непонятым толпой художником.

«Романтик» А. Проханов, тяготевший не столько к коммунистам, сколько к военно-промышленному комплексу, был еще десять лет назад неприемлемой для «деревенщиков» фигурой. Именно они устраивали ему обструкции на писательских собраниях. Его технизированный язык вызывал у них отвращение,— не говоря уж о его романах, в которых он воспевал «подвиги» советских войск в Афганистане, действия коммунистических сил в Никарагуа и Анголе.

Проханов, одобривший в 1983 году расстрел корейского самолета, пришел к «союзу» с партийно-военно-государственной верхушкой, предложив им свои «интеллектуальные» услуги. Бондарев запутывал аудиторию своими духовными плетениями — Проханов олицетворял интеллектуально-романтическое, как бы молодое (хотя ему за пятьдесят, но среди язовых, крючковых, пуго и он молодой) начало. Ступив на дорогу военизированной православной государственности, он не мог не прийти и к проповедуемому на страницах его газеты национализму. Великодержавность без подпитки ксенофобией не проживет и дня.

Третий, самый драматический случай — В. Распутин, писатель, высоко ценимый интеллигенцией. Отнюдь не страдавший в «застойные» времена, обласканный режимом (как и двое его соратников), получивший Государственную премию и даже (к пятидесятилетию) звание героя соцтруда.

Наступление новых времен и им было пережито болезненно. Свой запас тем и опыт своих близких он уже к тому времени исчерпал; воображение никогда не было сильной стороной его таланта. Вернуться опять к тому, чтобы писать очерки (а он с этого начинал)? Он попытался возвыситься до христианской духовности, но соединял ее с национал-государственностью и «классовой» ксенофобией по отношению к боготворившей его ранее интеллигенции, чем окончательно отторг ее от себя.

Инфантил Невзоров, заигравшийся в «омоновцев», «наших» и «не наших», казаков и разбойников, есть бледная тень кровожадного романтизма прохановского толка.

Антидемократическая истерика Ст. Куняева-редактора, псевдоромантическая — Куняева-поэта, постоянно подпитываемая поисками «врагов», поэта с якобы «мужественным» обликом борца за сохранение интересов русского народа,— есть бледная тень «Памяти», о поддержке которой этот «мужественный» борец боялся, однако, заявить открыто.

Они воспринимали действительность как литературное пространство, в котором можно конструировать свои детективные сюжеты (о международных заговорах — и заговорах своих, родных; о «врагах нации», жидомасонах), а сами себя отождествляли не только с «героями», но и с авторами сочиненных ими событий.

Общество, народ были для них чистым листом, на котором можно рисовать что заблагорассудится — бумага все стерпит.

Почему до такой степени они потеряли чувство реальности?

Объяснение я — как литературный критик — вижу в аспектах литературных: из-за вошедшего в их кровь и плоть метода. Метода социалистического реализма, исключающего реальное знание, не опирающегося на эмпирику фактов.

Ведь ясно же было, что поддерживает «чрезвычайные меры» не так много людей, что социальная опора антидемократических сил невелика. Но соцреалист на то и соцреалист, чтобы верить в то, что преодолеет инертность действительности... взлетит... воспарит...

Нет, не пособниками диктаторов им хотелось быть, бери выше — национальными героями.

Но вернемся к «Слову».

Реакция на него была легкомысленной. Из демократического стана раздались голоса о том, что данное «Слово» есть свидетельство слабости, а не силы (А. Гельман). Да, может быть, и слабости, скажу более того — паники, но поведение перед угрозой, в панике гораздо опасней, чем в спокойной обстановке.

В «Слове», которому не придал значения Борис Ельцин (в реплике из короткого интервью он назвал его «плачем Ярославны»), были уже сформулированы те самые положения, что прозвучали черным августовским утром в «Заявлении» заговорщиков. А ведь в «Слове» было сказано абсолютно прямо и недвусмысленно (отшелушим только псевдонародную велеречивость, вчитаемся в смысл):

1. «Лукавые ... властители, умные и хитрые отступники... захватили власть» — т. е. Горбачев, Ельцин и их единомышленники;

2. «...Встанем, и стар, и млад, за страну. Скажем «Нет!» губителям и захватчикам» — т. е. прозвучал прямой призыв к свержению законно избранной власти;

3. «...Есть государственные мужи, готовые повести страну в неунизительное суверенное будущее», «есть знатоки экономики», «есть мыслители, творцы духа, прозревающие общенародный идеал»,— т. е. поименный состав преступной группы, готовой после свержения взять власть, уже существует.

«Слово», написанное теми, на ком отныне и вполне заслуженно будет стоять клеймо А. Адамовича — «писари палачей»,— и идейно, и текстуально совпадало с «Обращением» ГКЧП.

Позволю для сравнения идеологии и стилистики расположить цитаты в две колонки:

«Слово к народу»

«Соотечественники!»
«Случилось огромное, небывалое горе. Родина, страна наша, государство великое... гибнут».
«...Лукавые и велеречивые властители, умные и хитрые отступники... захватили власть... режут на части страну... губители и захватчики...»
«Нынешние фарисеи обещали изобилие и заработки, а теперь... обрекают на голод, бесправие...»
«Мы зовем к себе рабочий люд... Мы зовем к себе трудолюбивых крестьян... Мы устремляем свой голос к армии... встанем как один для единения и отпора губителям Родины!»

«Обращение к советскому народу» ГКЧП

«Соотечественники!»
«Над нашей великой Родиной нависла смертельная опасность!»
«Люди, в руках у которых... власть, экстремистские силы, взявшие курс на... развал государства и захват власти любой ценой... Ни сегодняшние беды, ни завтрашний день не беспокоят политических авантюристов».
«Долгие годы мы слышим заклинания... На деле же человек оказался униженным...»
«Мы зовем всех истинных патриотов... Призываем всех граждан... Как проявление патриотической готовности...»

Не отставали от «Советской России», «Московской правды» (под шапкой «Срочно в номер!», обнародовавших «Слово») и другие органы печати. В сущности, «Слово» подготовили не только Бондарев, Проханов или Распутин. «Слово» есть агрессивный выброс, протуберанец известного коллективного сознания (национал-государственного), за последние годы усиленно формировавшегося на страницах «Молодой гвардии», «Нашего современника», «Литературной России», отчасти в журналах «Кубань», «Слово» и «Москва», несомненно — в многочисленных желтых листках типа «Московский литератор», «Русский вестник», «Русский клич», «Пульс Тушина» и т. д. Активнейшее участие в формировании этого коллективного сознания принимали и писатели, «творцы», «совесть земли русской».

Так, июльский номер «Нашего современника» открывался циклом стихотворений В. Кочеткова под общим названием «День воскресения». Среди прочих помещено стихотворение «Путь проходимца», написанное молодогвардейско-современниковским эзоповым языком, ключ к которому даже слишком прост:

Отрепьев на троне...
— Мы Русь,— он твердит,— перестроим.
Пошлем за границу боярских детей.
Коллегиум новый откроем.
...Прожектами полон Отрепьева ум.
«...Мы сделаем демократической Русь...»
Смирил обещаньями ропот.
Звучало все чаще, как некий пароль:
«Европы блистательный опыт».

Итак, идеологические «значки» — для непонятливых — навешены: Европа, опыт Запада, демократия, перестройка. Чего же боле? Мы-то забыли, но автор не забыл о «значке» антисемитизма, без которого вход на страницы журнала проблематичен:

Уже прицeняется львовский Исак
К наследственным царским алмазам.

Что же делает главный «проходимец»?

Отбросил он гордый обычай отцов,
Наследство Руси вековое...

Хотя во времена Отрепьева «левых» еще не существовало, но автор смело (о, как я ценю эту поэтическую дерзость) идет на анахронизм. Его Отрепьева ок-

ружает чуть ли не межрегиональная группа: «Из всех предлагаемых миром идей кидаться в объятья левейшей».

Каково же будущее главного «перестройщика», каков исторический приговор, объявленный ему со страниц «Нашего современника»?

Тут уж пойдут просто мистические совпадения с действительностью:

И вот он, короткий и гневный набат,
Толпа придавила ворота...
И вмиг улетучилась (! — Н. И.) стража дворца...
Охрипло кричит он в испуге:
— Да как вы посмели тревожить царя!
Забылись, державные слуги! *

Конечная судьба, которую предрекает наш поэт «перестройщику», желающему демократии, такова:

«Довольно, безродный, в царя-то играть!» —
Басит ему гневно Овчина.—
Умел куролесить, умей умирать,
Коль ты не сморчок, а мужчина.

И вмиг самозванца накрыла толпа,
Ширяли и слева и справа.
Строка летописца об этом скупа:
«Погиб от мгновенной расправы».

В. Кочетков уверен в исторической неизбежности такого исхода — и в равнодушии народа («И Красная площадь, как прежде, жила, с дощатых лотков торговала»). Ставку на пассивность и равнодушие, а также на умело подогреваемую раздраженность народа Горбачевым и его политикой делали и не-поэты. Но и тот, и другой прогноз не оправдался. «Народ и армия едины», «Россия за нами», «Руки прочь от России» — это были вроде бы их, национал-государственные, национал-патриотические лозунги,— но демократия не только отняла самозванно присвоенное ими (как и флаг, и гимн, и герб Москвы, и возвращенное Санкт-Петербургу имя), но и очистила от демагогических наслоений.

Но мне хочется еще немного сказать о поэтическом «кануне» переворота. «Поэт» В. Сорокин, как умел, наигрывал нехитрую антисемитскую мелодию: «Бил в лицо императора жуткий еврей...» (газета «День»). А августовский номер «Молодой гвардии», поступивший к подписчикам накануне путча, открывался просто-таки апофеозом антисемитизма в цикле В. Сорокина «Меч свободы ковать и гранить» (опять, заметим,— «меч», опять бряцание оружием, опять — армейский сигнал). Здесь и строки о том, что «Ты страшнее монгольского ига, ядовитый сионский удав», и набивший оскомину идеологический штамп о гражданской войне как о еврейском заговоре, и прямое свидетельство исповедуемой и проповедуемой расовой ненависти:

...Иудино ползучее уродство...
Я ненавижу их, как смерть свою...
Они, они, трибуны полоня,
На языке картавом и кургузом
С украинцем рассорили меня...

И что из всей этой трясущейся от ненависти, как руки Янаева, «поэзии» следует? Следует приговор, такой же, как у другого «поэта»-заединщика: «Будет суд, великий суд страданий над продажной сворой». Поименный список «продажной своры» представлен практически в каждом номере годовых комплектов «МГ».

Антисемитизм В. Сорокина и его единомышленников, может быть, не очень понятен на фоне «Обращения» ГКЧП и «Слова к народу»,— но этот антисеми-

* Ср. со словами Горбачева, которого вечером 18 августа больше всего потрясла наглость, с которой появились в его апартаментах незваные «гости» во главе с Варенниковым.

тизм спаян с идеей великодержавности, с имперскими амбициями, с ксенофобией, постоянными «поисками врагов» (здесь интеллектуал И. Шафаревич с его «малым народом» очень помог примитивизаторам и вульгаризаторам вроде того же «яростного» Сорокина).

А если опять вспомнить о «Слове» — то призывы В. Сорокина идентичны его позывным: «Президенты, молчите, и вы, подпевалы, молчите... Россия, от гнева седа, своих сыновей собирает... Живые и мертвые встанут... Вставайте меч свободы ковать и гранить!»

Удивительно схожи — даже в поэтике — национал-патриоты. Например, поэму Ст. Куняева о двинувшемся на родину памятнике воину-освободителю повторяет стихотворение В. Сорокина «Вам говорю», а сорокинский антисемитизм, запечатленный в обязательных ссылках на «картавость», «уродство», «предательство Иуды» и прочее повторяется Куняевым («Шовинистическая Русь, не убивайся и не трусь» — это напечатано в «Московском литераторе» 5 апреля 1991 г.). И ведь явное же эпигонство, если не откровенный плагиат,— только определить, кто у кого украл, затруднительно.

Не могу не вспомнить и о появившейся накануне переворота и изданной миллионным (!) тиражом в Воениздате брошюре «Черная сотня и красная сотня», в которой излагалась (в качестве пособия, что ли?) подробная программа националистической партии в 1906 году.

Цитирую по брошюре:

1. «Требование роспуска Государственной Думы как гнезда крамолы» (привет российскому парламенту!);

2. «Введение военного положения на всей территории страны»;

3. «Запрещение всех левых газет и журналов. Финансирование национально-патриотических органов печати».

4. «Неделимость и единство России в существующих границах».

А в «Независимой газете» под заголовком «Авторы «Слова к народу» готовят программы действий» было опубликовано интервью «координатора народно-патриотического движения» А. Проханова. На вопрос о составляющих это «движение» патриотических силах Проханов ответил прямо: марксисты-ленинцы, марксисты-сталинцы, РКП, либералы (видимо, Жириновский и К°), профашистские организации крайнего толка, представители армии, крупных промышленников (ВПК). Цитирую: «Крупные промышленники... сказали: «Сейчас или никогда». Констатация: сейчас у движения есть «несколько интеллектуальных центров». Рекомендации: опора на армию («использовать все имеющиеся средства»). Действия: «Нормирование. Талоны. Полевые кухни на улице». Главная цель: «Сохранить СССР». Что делать с республиками? — «Взять за горло». Откуда взять оружие? — «Казаки на Дону выкопают припрятанное». Проханов гордо выступает от лица организации: «Мы против Союзного договора».

Кто поддерживает этих «мы»?

«Патриотически настроенные писатели, товарищество «Русский художник», огромный общерусский концерн «Единение» (это его руководитель, секретарь СП РСФСР Ю. Прокушев, 19 августа послал приветствие ГКЧП.— **Н. И.**), Юрий Блохин привел целые депутатские группы, в том числе и русского парламента. За Варенниковым... стоит афганский контингент. Он, как и Громов, имеет огромное количество единомышленников в армии... Все офицерство, генералитет — наши потенциальные сторонники. Тизяков представляет крупных промышленников» («НГ» 10 августа 1991 г.).

Еще в 1989 году Проханов заявил о том, что наше общество должно быть организовано по принципу военной казармы,— потом появилась его большая теоретическая работа (в «Нашем современнике», 1990, № 5) о централизме и русской партии, в которую войдут и коммунист, и священник, непосредственно перед переворотом он уже предлагает идею насчет разворачивания на улицах Москвы «полевых кухонь»... Государственно-национальные идеи в прохановском боекомплекте логично и стройно следуют друг за другом.

Ситуация смердяковская.

В роли убийцы Смердякова выступили главари путча. При этом поразительно, что не только дух смердяковщины, но даже физический облик Смердякова был ими словно «ксерокопирован». Дрожащие руки Янаева, жалкий насморк, скомканный платок, красные глаза, спрятанные за темными очками. Бесцветный Пуго, марионеточный Стародубцев, дипломатически «заболевший» Павлов, скрипящий суставами Тизяков, словно облитый постным маслом О. Бакланов...

Смердяковщина была настолько явной — и нравственно, и физически,— и настолько фарсовой, что во время первой (и последней) пресс-конференции новоявленных «государственных мужей» в рядах журналистов постоянно вспыхивал смех. Подвергнутые публичному обнажению (благодаря поразительному эффекту телеэкрана), они показали себя народу, и народ увидел их всех вместе. До окончательной победы оставалось два тяжелейших дня и две ночи, но морально они сами себя уничтожили. Хотя сами еще этого, естественно, не понимали и пытались даже «красоваться» перед публикой (особенно мне запомнились словесные изыски Янаева — «как мне представляется», «я бы не хотел так думать» и, конечно же, «мой друг Михаил Сергеевич Горбачев»).

ЗАЧЕМ СМЕРДЯКОВУ ИВАН ФЕДОРОВИЧ?

Литературная аналогия была неотвратима: коммунистические смердяковы. (Почему «коммунистические»? Во-первых, они взяли из идеологии, подготовленной «властителями дум», пока только великодержавную государственность и «патриотизм». Их фразеология была как бы интернациональной, оружие национализма еще не было в «заявлениях» ГКЧП задействовано. Черносотенство как таковое им еще не понадобилось — рано было! Их пока еще не интересовала чистота расы — их интересовала чистота государственности.) Смердяковы трусливые, понимавшие всю, мягко говоря, непопулярность коммунистической идеологии и потому в своих заявлениях трижды употребившие только одну идеологическую метку: патриотизм. Но Смердяковы, повторяю, крайне опасные, их дрожащие руки застыли над кнопками: армия, КГБ и МВД.

Но, как Смердякову для того, чтобы решиться на убийство, был необходим Иван Карамазов с его теорией расправы, а самому Ивану нужен был Алеша, содрогнувшийся от справедливых слов Ивана о слезинке ребенка (в качестве Алеши, я думаю, и выступил В. Распутин), так и для смердяковых коммунистических нужны были идеологи.

Идеологи и пропагандисты работали. Работали планомерно, ежемесячно и даже ежедневно, без перерывов, всячески пытаясь скомпрометировать демократических общественных деятелей, демократические движения и партии, прессу, лидеров страны и России, Москвы и Ленинграда... Из номера в номер издания, аккумулировавшие «патриотическое» сознание, эту идеологию разрабатывали, тиражировали. С пленума на пленум, а далее и на съезд писателей РСФСР перекидывался огонь «патриотической», а на самом деле откровенно подстрекательской пропаганды.

Крепилось новое заединство писарей-идеологов с будущими «деятелями». Проходили встречи с читателями и конференции с единомышленниками: сначала слабо, смехотворно организованные, затем все масштабнее, все крепче, все удачнее.

Выдающейся роли «Молодой гвардии», «Нашего современника», «Литературной России» (успевшей от лица всей редакции целиком и полностью поддержать, подписаться под «Словом к народу») в создании национал-патриотического заединства было посвящено много выступлений в демократической печати.

Я не хочу повторять анализ и аргументацию, в том числе и свои собственные. Скажу лишь вкратце вот о чем.

Идея сначала генерировалась в «толстых» журналах, потом уже, наспех сбитая, перешла на страницы газет (тут и подоспела нужда в создании прохановско-

го «Дня»), оттуда она стала все больше проникать в политику, в заявления группы «Союз», использовавшие все схемы, наработанные «Советской Россией», «Молодой гвардией» и иже с ними.

Самый больной, самый главный вопрос для литераторов — это вопрос об ответственности теоретика и практика. Смердякова — и его вдохновителя. Как говорит Смердяков (кстати, как и Янаев, схвативший насморк после преступления) — это не я убил, а именно вы, Иван Федорович, и убили-с. Вы главный убивец и есть-с.

Национал-патриотическая,— а точнее ее можно определить как национал-социалистская — идеология начала формироваться задолго до перестройки, еще с 60-х годов. Собирать свои ряды она стала уже в новых исторических условиях (гласность и плюрализм, демократами отвоеванные, для этого, естественно, создали условия). После некоторой растерянности и замешательства (1986 — 1987 годов) идеология национал-государственников с 1988 года перешла в открытое наступление. И вот что любопытно: к национал-социалистской идеологии пришли (и окрасили ее своими красками) вроде бы и «коммунисты», и «антикоммунисты»,— и сподвижник (в прошлом) А. И. Солженицына (от которого, кстати, вся Россия ждала хотя бы слова, хотя бы телеграммы в эти страшные августовские дни, но так и не дождалась) И. Р. Шафаревич, и «соловей Генштаба» А. Проханов; и коммунистические экономисты (прошу прощения у читателя — химера, конечно, возможная только в нашем совковом абсурде), и военно-политические органы армии (см. «Военно-исторический журнал», а также пропагандистские брошюры Воениздата); и государственные помещики (совхозно-колхозная система), и государственные капиталисты (ВПК).

Но если до 1991 года шло укрепление идеологии, объединение сил, то к началу 1991-го сформировался фундамент — с крупными финансами, глубоко эшелонированный, с мощными печатными органами.

Не могу удержаться и не процитировать публикацию «Советской России» буквально накануне переворота. Подписанное инициативной группой «народно-патриотического» движения, это обращение вышло под особенно красноречивым — задним числом — заголовком «От «Слова» — к делу!». Оно написано лексикой и фразеологией давно знакомой: «Осознавая нависшую опасность», «Сообщаем, что уже действует рабочая группа», «Образуются группы поддержки и оргкомитеты движения на местах». Вот что любопытно: «в них привлекаются (о, русский язык! — Н. И.) наиболее талантливые (о себе, не иначе.— Н. И.) граждане: представители рабочих, крестьян, ученых, военных, писателей (sic! — Н. И.), духовенства, других слоев общества». Как будто писатели — это «слой»...

Итак, проговорились — те, кто торопливо, впопыхах, только бы успеть! составлял этот документ. Тот, кто так торопится, всегда проговаривается — и проговорки эти легко поддаются расшифровке — по столь ненавидимому «патриотической» печатью Фрейду. Руки дрожали не только у Янаева — думаю, что рука дрожала при сочинении «Слова» и у Проханова, чья романтически-кровавая стилистика (любит он возвышенно живописать бойни, цвет и запах крови) повлияла и на идентичные «Слову» документы ГКЧП. Рука дрожала, видимо, и у председателя Союза писателей РСФСР Ю. Бондарева. Неповторимая словесная вязь, присущая его стилю и ставящая в тупик всех, кто о нем в последние годы писал (за исключением присяжных льстецов, видимо, ясновидящих, умеющих читать не текст, а душу писателя), и на сей раз опутала формулировки Проханова. Насчет руки Распутина мне сказать нечего, потому что за последние годы его стиль растворился в общественно-политических формулах, казалось бы, органически чуждых его таланту. Но подпись его стоит — а подпись... о, эта штука в наши дни действует посильнее стиля.

Чтобы особенно не растекаться мыслью по проблеме, которой, я убеждена, будут посвящены монографии, а не только статьи и заметки, попробую сосредоточиться на одном издании, в котором, на мой взгляд, наиболее ярко проявились тенденции нового, более резвого поколения «заединщиков» — незваных спасителей отечества. На страницах этого издания объединились, публикуя свои идеологические манифесты — кто в стихах, кто в прозе — мыслители разных «оттенков». А. Проханов и Ст. Куняев, В. Сорокин и Т. Глушкова, М. Алексеев и И. Уханов, Л. Баранова-Гонченко и В. Бондаренко. Издание явно жаждало придать идеологии имидж респектабельности (подыскивались даже названия — «новые правые», кажется), и для того включило в состав редколлегии серьезного писателя А. Кима (увы, не устоявшего перед соблазном. А соблазн, как и чудо, и авторитет — есть искушение сатаны). Издании, действовавшем пока в тени более одиозных и сильно скомпрометировавших себя печатных органов.

Предложу читателю свой **«Дайджест «патриотической» газеты «День»**, начавшей выходить с января 1991 года под грифом «Газета Союза писателей СССР» с регулярностью дважды в месяц.

№ 1. Январь. Определение ситуации в стране как «провал либеральной пятилетки», «крах либеральной утопии, предложенной нам политиками «новой волны», затолкавшей страну в катастрофу». Накликание гражданской войны — в излюбленных Прохановым техницистских терминах. Диагноз состояния центральной власти: утрата ее влияния на «важнейшие государственные структуры — армию, внутренние войска, безопасность» (мы-то теперь знаем, чем эти зловещие слова обернулись, и как главные руководители этих структур действовали спустя восемь месяцев).

Престол теперь, по Проханову, должен принадлежать **коллективному «субъекту власти»**.

Что же это за «субъект»?

Делайте выводы сами:

«Новый властный субъект... будет напоминать коллективную думу, представлять все разоренные, терпящие бедствия слои и сословия, структуры и пласты государства, как бывало в смутные годины истории».

А вот и состав предложенной «коллективной думы», спасающей отечество:

1. «Будет представлен госсектор экономический...»;
2. «Будут представлены фундаментальные науки...»;
3. «Представители недавней правящей партии...»;
4. «Будет представлена армия...»;
5. «Земледельцы...»;
6. «Художники, писатели, музыканты...» — ну, от них ясно кто;
7. «Будут духовники...»

Что этот «властный субъект» будет делать? Какова его тактика и стратегия?

1. «Сменит нынешний... слой политиков» (бедная Валерия Новодворская! За что страдала в Лефортове?) А далее:

2. «...Работать с группами противоречий, снимая их слой за слоем, осторожно проводя общество сквозь неизбежные потери».

Неизбежные. К мысли о потерях редактор газеты, после путча присвоившей себе самой медаль «духовной оппозиции», приучает общество.

Какова будет идеология новоявленной власти, решительно сметающей законную — с «неизбежными потерями» в обществе? Ответ заранее ясен: «Национальная культурная политика». Если освободить претенциозный текст от пошлятины, от всяких там «лучистых энергий», то станет совершенно очевидно: предложена модель великодержавного, тоталитарного, национал-социалистского государства («вернуть народу чувство величия, истинности и значимости национальной судьбы»).

Под статьей помещена листовка-фотография — растерянный Б. Ельцин среди окружившей его толпы — с подписью «Когда ответов нет».

И... планомерно пошла в газете «День» организованная работа по обеспечению идеи. По разработке программы «Наши»:

С. Кургинян. «Кремль: парад масок», «Театр подходит к концу... Горбачев был растерян... был смертельно усталым...» (№ 1);

В. Калугин. «Штурм Кремля» — апофеоз серии «Паноптикум» невзоровских фильмов «Наши» (№ 2);

обращение «Русские писатели — Ельцину Б. Н.»: идет «попрание национальных и исторических интересов русских в России»; «Все ваши заявления не

укладываются в традиционные представления народа о национальной чести и достоинстве», Вы — «равнодушный к судьбе отечества политик»; «В совокупности Ваши действия определяются однозначно как развал СССР и России». Подписано среди прочих: В. Беловым, В. Крупиным, В. Лихоносовым, А. Прохановым, В. Распутиным, К. Рашем, Б. Романовым (последний является первым, прошу прощения за игру слов, секретарем правления СП РСФСР).

Еще в газете «День» № 2: статья «Записки чиновника «Небесной канцелярии». Подпись: Член Союза писателей, сотрудник КГБ». Комментарии, я полагаю, излишни; сюжетом статьи служит идея, что все действовали в нашей истории вместе, и писатели, и ЧК — НКВД — КГБ.

Эдакая попытка «вселенской смази».

«День» № 4: беседа А. Проханова с О. Баклановым. О. Бакланов: «Мы оказались на грани потери государственности... Без сильной, обновленной Компартии Советского Союза никакая власть в стране нереальна». А. Проханов: «Где те маяки, к которым надо направить наш потерявший управление дредноут?»

О. Бакланов предлагает интеллектуально более чем скромный репертуар идей: «Нельзя уповать на Запад», «Мы — великий народ», «вернуть народу национальные святыни», «патриотизм».

Проханов ставит вопрос ребром: дредноут дредноутом, а свой кусок пирога при новой власти (коллективного «властного субъекта») тоже надо оговорить: «Кто будет управлять процессами в культуре?» Ответ от О. Бакланова он получает недвусмысленный: «Культура уже сегодня выделяет в своей сфере лидеров, которых выводит на роли руководителей культурной политики. Государство же должно быть готово помогать этим лидерам, включая их в поле высшей государственной политики».

Протокол о намерениях скреплен огромной фотографией двух высоких договаривающихся сторон.

Внизу полосы, занятой их беседой, помещена еще одна фотография, подписана так: «Армия и народ едины!» Да, просчитался О. Бакланов вкупе с другими заговорщиками — не так просто оказалось натравить армию на народ... Армия и народ действительно оказались едины — только совсем в другом смысле, в лозунгах слова могут быть одни и те же, но смыслом они наполняются полярно противоположным.

В том же номере — беседа с генерал-майором Г. Кириленко, откровенно неприязненная по отношению к существующей внешней политике и военной доктрине СССР.

«День» № 5: «Жажда власти, все испепеляющая,— вот и весь Ельцин...» «Он будет доводить и доводить Россию...» (статья под красноречивым заголовком «Прощание с кумиром»).

«День» № 6: «Измениться, чтобы выжить. К теории переходного периода». Дальнейшее развитие выдвинутого А. Прохановым, вслед наговорившегося со своим единомышленником О. Баклановым, тезиса о «властном субъекте».

Последовательно нагнетается антидемократическая истерия, всячески компрометируются сами демократы и новые государственные структуры. Подводится итог периода — по март 1991 года: «отвратительные митинги парализуют центры больших городов», «безответственные парламенты парализуют любое движение власти». Повторяется четкая и недвусмысленная, все та же самая программа: необходима срочная смена власти: «Только сильная авторитарная власть национального согласия, кладущая предел бесплодному парламентаризму». Первый этап: появление авторитарного лидера со своей новой политической (мы это 19 августа увидели.— Н. И.) и интеллектуальной (не забывает Проханов о своих интересах) командой. Второй этап: «начало целенаправленных действий».

А. Проханов и его заединщики — в отличие от заединщиков старых, старомодных реакционеров типа В. Гришина и Ан. Иванова, какого-нибудь Н. Подгорного и С. Викулова — смогли хотя бы четко формулировать свою программу, удивительно схожую с программой заглотчиков (пользуюсь чудным словечком-определением В. Войновича, предрекшего грядущее преображение Дзержина в Дружина):

Сильная власть, опирающаяся на согласие измученного народа (вот тут-то и крылась главная ошибка);

Власть, имеющая гарантию в армии;

Озабоченная безопасностью страны (читай КГБ)...

А дальше — романтический громкоговоритель-тоталитарист увязает в словах, из которых явствует, что образцами для подражания должны служить: режимы Ли Сын Мана, Пиночета, Франко. Самое главное — добиться «провозглашения легитимности авторитарного режима»,— именно этого, несмотря на молчаливое попустительство Лукьянова, сделать не удалось.

Идеология? Все то же: «возрождение сильного национального духа», то есть русского великодержавного шовинизма, предназначенного цементировать заново распадающийся Союз.

Власти существующие объявлены печатно «преступниками».

На одной полосе со статьей помещен, кстати, замечательный рисунок В. Александрова под названием «Финал». Как я его поняла, изображено чудовище, которое в результате выполнения предпосланной Прохановым программы «субъекта власти» возникнет: страшилище с перемалывающими человеческое лицо шестеренками и гусеницами, с жуткими кафкианскими отсеками, оторванными руками и ногами, вываливающимися внутренностями,— а над всем этим апофеозом смерти кружит отвратительная птица трупоедского вида, то ли ворон, то ли грифон... Рисунок умнее и страшнее всей газетной полосы.

«День» № 7: публикация набранного самым крупным шрифтом заявления «Координационного совета патриотических сил России» под грозным названием «Против политической дезориентации». Цитирую: «Политика Горбачева и Ельцина и стоящей за ними «команды» действительно антинародна в своей сути... Надо менять не только политиков, но и политику». Под заявлением, кстати, стоит странное число: 29 марта 1989 года, а начинается оно со слов: «Позади шесть лет перестройки», то есть — 1991 год! Так торопились, что впопыхах не заметили.

Тот же № 7: «заметки» М. Алексеева против «виноватых», первым и главным из которых назван А. Н. Яковлев.

«День» № 8 (май): «Совершенно необходимыми видятся укрепление центральной политической власти, чрезвычайные меры по сохранению работоспособности ядра экономики, особенно высокотехнологичных отраслей ВПК... революционная реформа агропромышленного комплекса, введение чрезвычайного положения... В целом нужно сделать все, чтобы агонизирующая власть М. Горбачева не увлекла за собой в могилу всю пока еще великую державу» (без подписи). «Военный или военно-гражданский режим у нас вполне возможен... Альтернативой... может стать прогрессивный военный режим... Деятельность прогрессивных военных режимов бывает эффективной, когда меры военных властей четко социально и политически ориентированы и ведут к коренной трансформации отживших политических и социально-экономических структур... Право и долг прогрессивных военных кругов — выступить политически самостоятельно».

Этот призыв к диктатуре назван более чем откровенно: «Надежда примеряет мундир». Уже не стеснялись.

Там же — заметка «Пять принципов»: «интегрирующая роль армии непрерывно возрастает»; «тем более эффективно участие армии в политическом процессе»; «армия способствует выработке новой передовой идеологии»; «она руководствуется принципами и методами долгосрочного стратегического управления».

Нет, не на три дня замышлялось действо!

Ш. Султанов (соавтор А. Проханова): «...Нам остается надеяться только на интеллектуальный потенциал военно-промышленного комплекса»; «Армия исключительно на законной основе постепенно расширяет свои внутриполитические функции». Интересно бы знать, какие? Ответ на это — у бывшего маршала Язова, у генералов Крючкова и Варенникова.

Здесь же в номере (на соседней странице) — «В гостях у генерала Родионова». Огромная, чуть ли не на печатный лист, беседа А. Проханова и О. Бакла-

нова с палачом Тбилиси. Проханов выступает не только в роли координатора, но и явно провоцирует: «Наша армия лишена политической воли... И сейчас армия и ее генералитет не имеют политической воли, которая могла бы привести к диктатуре». О. Бакланов же выступает в роли «интегратора» великодержавных сил: «...Мы пройдем этот смутный период...» Заключение — «С Победой, товарищи!» — звучит в устах «заединщиков» как призыв к действию, а вовсе не как тост за победу народа в Отечественной войне.

Рядом публикуется поэма Ст. Куняева «Последний парад», пропитанная двумя чувствами: любовью к Сталину и ненавистью к демократам: «Нас одолели, как на фронте вши, парламентарии да бизнесмены». «Все те же, что нас предали на Мальте, кто распродал все, что воздвигли в Ялте солдатский штык и сталинская длань». Идеология, идентичная прохановской,— ностальгия по империи.

«День» № 10: в центре газетной полосы рисунок под красноречивым заголовком: «Не бойтесь диктатуры». Выкрик зам. главного редактора В. Бондаренко: «Да, мы ваши враги, были, есть и будем!»

«День» № 11 (на дворе уже июнь, надо спешить накануне выборов президента России), особенно богат материалами: статья, воспевающая генерала Макашова в качестве желанного президента России: «Человек-громоотвод, человек-магнит, он явственно и осязаемо окутан теплым мехом дел» — узнаете стило? — «эталон воина, мужчины и правителя»... Перечисляются достоинства: «Ввел чрезвычайное положение, арестовал комитет «Карабах»... И еще: «Россия была бы, пожалуй, ему впору». Довольно двусмысленно звучит, особенно после слов об «эталоне мужчины», не так ли? Впрочем, похвальба Янаева своими мужскими качествами уже оскорбила всех, но на всю Россию не претендовал даже он...

Пространная беседа неутомимого А. Проханова с первым секретарем Московской организации КПСС, ныне подследственным Ю. Прокофьевым («Партия выстоит?»). Проханов продолжает азартно наращивать ставки. А литературное прошлое заставляет его относиться к жизни как к сюжету, который вот он, писатель, сейчас и предложит. Играет в игру: «Прох» и «Прок» задушевно обсуждают стремительно надвигающееся августовское будущее.

«Прох»: «Если бы одна из структур, скажем, партия, была раскупорена (в переводе на русский — если структурам КПСС были бы развязаны руки и она стала бы действовать неконституционно), из нее бы вырвалась энергия протеста... политического реванша... эта энергия мгновенно слилась бы с подобными ей в других структурах (армия? МВД? КГБ? других что-то на ум не приходит.— Н. И.). Они тоже оказались бы раскупоренными, и возникла бы совершенно новая политическая ситуация в стране».

«Прок»: «Вижу в ваших рассуждениях немало резонов».

«День № 12 (июнь): очерк Карема Раша — не очерк, ода! Называется просто: «Язов». Заголовок имитирует старославянскую вязь. «Отечество вновь в опасности... Горбачев толкнул офицерство на самостояние... Дай волю нашим молодым летчикам, и они посадят самолеты на площадях всех столиц Европы... То, что Язов самый образованный человек в руководстве страны, не вызывает сомнений... Ясно, что Батька — это Язов. Он действительно отец. В стране сейчас таких двое — он и патриарх Алексий II».

Там же — выступление С. Ахромеева.

«День» № 13 (июль): В. Алкснис: «Пора держать ответ» (апофеоз Крючкова, анафема Горбачеву; «народ обманывают» — весь известный джентльменский набор реакции (лучше даже сказать — жажды реванша). Воззвание к «ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ МЕРАМ» (набрано заглавными буквами). «То, что сегодня происходит в высших эшелонах власти... уже попадает под определенные статьи Уголовного кодекса» — призыв не только к смещению власти, но и к суду над нею. Здесь же — в качестве напоминания? ультиматума? угрозы? — публикуется фотография Горбачева и Чаушеску.

Одновременно с публикацией «Слова к народу» и развернутой кампании «От «Слова» — к делу!» в журнале «Молодая гвардия» (№ 7) тоже дается сигнал — к реабилитации организации определенного цвета:

Черная сотня!
Как стала ты вдруг вне закона?
Как извратили великий твой смысл вековой?
...Дьявольский смысл приписали ей «вольные братья»...
Только ведь черная сотня — весь русский народ.

Черносотенная листовка протиражирована 400 тысячами экземпляров.

В июльском номере «Военно-исторического журнала» настойчиво, не в одном материале, главной опасностью для страны объявляется демократия, названная «фашизмом». Еще в третьем номере этого журнала представители КГБ и МВД призвали всех патриотов на защиту А. Невзорова, чья стилистика находится в несомненном родстве со стилистикой А. Проханова. Но вернемся к газете последнего.

В № 14, появившемся накануне путча, главный редактор опять беседует. Беседует об идеологии — и о человеческих жертвах. Итог ее — прямое обоснование террора собеседником. «Коварство идеологии выживания», говорится здесь «состоит в том, что люди, психологически счастливые, становятся социальными мертвецами. История пройдет мимо них».

Нужна д р у г а я прогрессивная идеология — и огромные физические жертвы будут «исторически оправданы. Идеология, которая будет ставить целью только выживание, обречет общество на деградацию». И еще: «...Истины стоят миллионов прожитых жизней».

К кровопусканию теоретики готовы — более того, обосновывают его, базу идейную подводят. Практические действия смердяковых обеспечивают. В этом же номере помещена и статья зам. главного редактора В. Бондаренко: «У патриотического движения, надеюсь, появится свой комплекс — военно-промышленный»; «Именно армия... обладает державным мышлением»; «Речь идет не о каком-то перевороте. Хватит пугать обывателя» — то есть они, карамазовы-смердяковы наши, накануне путча приучают к мысли о к о н с т и т у ц и о н н о с т и: «...речь идет о конституционном варианте генерала де Голля и генерала Эйзенхауэра». Под знаменем какой идеологии? Без изменений — великодержавной, национал-армейской; православию определено место в качестве г о с у д а р с т в е н н о й религии: «Над комплексом этих составляющих с неизбежностью будет господствовать Православная Церковь!», «Придет время и возрождению полковых священников». Подручный Проханова еще и еще раз повторяет для непонятливых: «Симбиоз научно-промышленного, оборонного, армейского комплексов с патриотическим движением России даст экономическую и идеологическую основу будущему нашего государства».

Особым шрифтом выделены призывы:

«Пусть будет так!»

«Дай нам Бог возродиться перед новыми испытаниями!»

В общем, «с нами Бог»...

Но Бог — и народ — оказались не с ними.

Унижаемый, битый, лишенный самостоятельности, казалось бы, загнанный десятилетиями коммунистического режима в тупик деградации, народ встал с колен.

Народ готов был ко всему — готов был погибнуть, но не отдать ни Москвы, ни Петербурга, ни России.

Они думали, что имеют дело с «гомо советикус», а они имели дело с народом.

Они просчитались и в своих прогнозах о том, что армия, КГБ, МВД будут целиком на их стороне. Они не учли того обстоятельства, что в армии есть не только Язов или Варенников («Кобец — путчу конец», сочинили на баррикадах).

Они не учли того, что народ за годы перестройки очень многое узнал о самом себе — и о том, что творили «начальники» якобы от лица народа. Если и был какой у нас «комплекс», то это был комплекс вины — перед Венгрией 1956-го и Чехословакией 1968-го, перед Вильнюсом и Ригой, перед Тбилиси и Нагорным Карабахом, перед Баку. Ведь танки всегда направлялись из центра, который всегда отождествлялся с Россией.

Теперь мы получили эти танки в обратном направлении — внутрь, в самое сердце России.

Если бы сердце России, Москва, российский парламент во главе с Б. Н. Ельциным испугались, то это угрожало бы гибелью всему народному организму, вставшему на путь выздоровления.

Сопротивление было спонтанным — ничего не надо было организовывать, люди сами организовались. Люди, не желающие стать быдлом, вернуться в стойло.

НАШ МАЛЕНЬКИЙ ПУШКИН

У стен Белого дома (и внутри него) собрались люди разных поколений: очень много было молодых, и пожилые тоже стояли. Люди разных профессий — врачи, рабочие, инженеры, учителя, студенты. Предприниматели, кооператоры... Водители троллейбусов и автобусов в первый же день забаррикадировали Манежную площадь.

В редакции «Московских новостей», газеты, которая вместе с десятками, даже сотнями других, была запрещена, немедленно приступили к выпуску листовок с указами Б. Н. Ельцина, обращениями российского правительства.

Несколько редакций, в число которых входили «Независимая газета», «Коммерсантъ», «Мегаполис-Экспресс», «Аргументы и факты», «Московские новости», выпустили (подпольно) «Общую газету».

Радиостанция «Эхо Москвы» — С. Корзун, А. Черкизов, Т. Пилипенко, С. Бунтман и другие — работала просто и гениально: ни получаса без новой и точной информации.

Журналисты российского ТВ жили в Белом доме. Снимали все, пока хватало пленки.

Народные депутаты — А. Адамович (кстати, во всех деталях, вплоть до изоляции президента и «выхода» на арену вице-президента, вплоть до слов о том, что палачи вытрут свои окровавленные руки об одежду президента, потрясающе предсказавший путч), Ю. Карякин и многие другие — поднимали дух собравшихся у стен парламента. Да и внутри него.

Пен-Центр отправил уже утром 20 августа свое заявление против путча в 80 стран мира.

А что же делалось в официальных структурах?

Не буду останавливаться на опубликованных ныне стенограммах заседания Кабинета Министров СССР, на свидетельствах о поведении дипкорпуса. Остановлюсь лишь на «близлежащих» структурах — структурах, называющих себя «творческими».

Во время трехдневного путча главный редактор «НС» Ст. Куняев одобрил его в печати (см. «Независимую газету» от 22 августа), главный редактор «Дня» А. Проханов — по ТВ (19 августа интервью с ним было записано, передано в эфир 22 августа).

На секретариат СП СССР (так называемый «рабочий»), собравшийся утром 20 августа, прибыл в качестве почетного гостя советник Янаева, член редколлегии журнала «Молодая гвардия» С. Бобков.

«Бумагу» в поддержку ГКЧП секретари Союза писателей не утвердили (следов, как известно, оставлять не надо). Но весь разговор на секретариате, как подтвердил Ф. Ф. Кузнецов в своем открытом заявлении, «шел в опасном направлении поддержки путчистов».

Еще бы — все родные по духу люди: С. Бобков в недавнем прошлом входил в секретариат, а ныне является членом правления СП РСФСР.

Организация «Единение» (при СП РСФСР), о которой с таким пафосом заявил перед путчем А. Проханов, организация, которой «старым» секретариатом СП СССР была выделена огромная денежная сумма, незамедлительно, еще 19 августа, одобрила действия ГКЧП.

Что же произошло потом, после провалившегося путча? Как повели себя «крестные отцы» смердяковых, группа «интеллектуальной» поддержки, те самые «культурные лидеры», которых воспевал О. Бакланов в задушевной беседе с А. Прохановым? Может быть, они, со страниц газеты доказывавшие необходимость пройти через кровь, ужаснулись, если не раскаялись? Были в шоке от содеянного? Замолчали, наконец?

Да ничего подобного.

Почему они так «осмелели» перед путчем? Да потому что ощущали полную свою безнаказанность. Им позволялось то, что было категорически запрещено всем другим, вплоть до призыва к свержению власти. В. Новодворскую позорно запрятали в Лефортово, а наши иваны федоровичи выступали вместе со смердяковыми. Более того: публично, в том числе и президентом, одергивались демократические издания; а еще — призывались к... консолидации! Проханова и Куняева, провозглашавших конец «клики» Горбачева,— приглашали на «встречу» с ним!

Их — вырастили.

И сейчас — повторяется то же самое.

В номере газеты «Литературная Россия» сразу после путча публикуется выступление Ю. Бондарева «Моя позиция»: подтверждение приверженности каждой букве «Слова».

Цитирую: «Слово к народу» — это боль России, нравственная защита народов ее», «...я подписал «Слово», чтобы не испытывать угрызения совести в своем немолодом возрасте».

Ст. Куняев и В. Белов на чрезвычайном пленуме правления СП СССР, собравшемся 31 августа, тоже заявили о своей полной поддержке «Слова», о том, что и сегодня готовы были бы подписаться под ним.

В газете «День» № 17 (вышедшей сразу же после разгрома путча) печатается статья некоего Э. Позднякова, в которой деятели-демократы опять названы «дилетантами». Снова подстрекается народ («Придет, видимо, и тот час, когда «низам» надоест быть подопытными кроликами в руках неумелых социальных «вивисекторов», и тогда они просто отмахнутся от политического авантюризма...»). А безграмотная статья А. Боброва «Болевые точки» (чего стоит его путаница — писатель-эмигрант И. Шмелев назван... Николаем Шмелевым!) опять полна антисемитских подмигиваний.

Все остается по-старому. Для них ничего и не произошло.

Только газета «День» сменила в срочном порядке подзаголовок — не «газета СП СССР», а «газета духовной оппозиции».

Полноте! От «чрезвычайных» рецептов народ уже отмахнулся 19—21 августа. И национальную карту (разжигание национальной вражды, ненависти) разыграть не удалось. И на похоронах православные молитвы по невинно убиенным Владимиру и Дмитрию звучали вместе с заупокойной иудейской молитвой кадиш по погибшему вместе с ними Илье.

Однако команда писарей не унимается. Но — сменила шпаргалку. Теперь они закричали о демократии, о том, что они-то и есть подлинные ее защитники; о том, что не только они «ни при чем», но они-то главные борцы против «путчистов» и есть...

Да и сами демократы и либералы дают для развертывания этого шабаша поводы.

Не успели уйти танки, как мы первым делом кинулись защищать газеты «Правда» и «Советская Россия» (и я сама заявила об этом в журнале «Newsweek»). Как будто не было ясно, что их ожидают не «аресты» и «расстрелы», а перерегистрация — в качестве не зависимых от не существующего уже ЦК изданий.

Не успели уйти танки, как нас «замучал» моральный вопрос: как же теперь можно осуждать публично Проханова или Бондарева, если они в «слабой» позиции?

По первой программе телевидения прозвучала речь В. Белова. Прошла информация о том, что якобы «русские писатели покинули пленум». То же самое появилось и на страницах «Комсомольской правды», в кратких, но исполненных неуместной иронии, с легкостью в мыслях необыкновенной написанных замет-

ках бойких репортеров, ко всему способных, которые сегодня пишут о ситуации в Союзе писателей, а завтра о надоях молока.

По второму, российскому каналу ТВ прошла аналогичная, в высшей степени тенденциозная информация.

По каналу «Добрый вечер, Москва!» выступили литераторы из «Желтого дома» (так городской фольклор окрестил бондаревско-прохановский Союз писателей РСФСР),— из тех, кто прямо нынче заявил о писательском собрании как о собрании «явившихся с полупьяных баррикад». Тем самым брошена тень и на светлые лица защитников Белого дома. А что же сказал видный на самом деле русский прозаик, а еще и поэт — см. газету «День» № 17 — Василий Белов через неделю после путча?

Он провел довольно смелую — даже по нашим смелым временам — историческую параллель, уподобив путчистов декабристам.

Себе же уготовил место и позицию тоже видного прозаика и неплохого поэта — А. С. Пушкина.

«Вы помните, наверно,— обратился Белов к участникам Пленума,— что сказал Пушкин Александру I (? — Н. И.), когда его спросили, был ли он на площади с декабристами, путчистами? Он сказал, что был бы с декабристами, то есть путчистами, восставшими (Смех в зале.) Вы помните это? Это исторический шаг».

Мне, сидевшей в этот момент в зале, было в отличие от многих не до смеха.

Самое страшное состоит в том, что «наш маленький Пушкин» был абсолютно искренен. Он равняет Пестеля с Янаевым, О. Бакланова — с Муравьевым-Апостолом, В. Павлова — с Рылеевым.

В газете «Коммерсантъ» (заметка «Что было на неделе») появился родственный по стилистике заметкам из «Комсомолки», в высшей степени развязный текст, ерничающий по поводу демократии, оплаченной кровью. Цитирую: «...С тех пор как всеобщие забавники вроде ввергнутого в узилище (стилистика ну просто-таки для «Дня».— Н. И.) В. С. Павлова оставили граждан своим попечением, на вакантные места массовиков-затейников бросились новые герои наших дней». О ком же пишется нашими зоилами в столь высокомерно-пренебрежительной интонации? О Г. Х. Попове (при этом «патриотический желтый дом» и его «защитники» уподобляются защитникам Белого дома,— отчего ж не поиграть пером, когда ужас путча уже позади, а поерничать охота?), о Б. Н. Ельцине («победитель гидры коммунизма»), о М. Л. Ростроповиче, названном здесь «знатным виолончелистом». Почему — «знатным»? По аналогии со «знатным комбайнером»? Почему так рвется автор «Ъ» процитировать матерок, пущенный Ростроповичем на таможне? Что, больше нечего сказать, нечего цитировать? Почему этот синдром бульварщины вкупе определяется как «буйный расцвет демократии»?

Ведь что происходит?

Когда то же самое печатается (в той же интонации) в «Дне» или «Лит. России», в «Московском литераторе» или «Пульсе Тушина» — то это уже мечено. Когда это печатается в «Комсомольской правде» или «Коммерсанте», в «Независимой газете» или других изданиях, которым люди привыкли доверять,— то это вдвойне опасная игра.

Заигрывающая с национализмом, как мышка с кошкой, критика, занявшая в высшей степени удобную нишу («звезды над схваткой», по словечку М. В. Розановой-Синявской), звала вернуться к эстетическому анализу, вернуться к изящной словесности.

Эта оригинальничающая критика, деланно равнодушная к «правым» и «левым», учила подходить ко всему «взвешенно» и неустанно выискивала в статьях «патриотов» жемчужные зерна: должны же быть справедливые мысли и наблюдения у Кожинова, Шафаревича, Куняева. А на самом деле — они, критики эти, не только поучали, но и, «найдя умные мысли», зачастую попадали в ловушку и даже шли след в след: стоит лишь сравнить статью И. Шафаревича «Феномен эмиграции» со статьей А. Латыниной «Когда поднялся железный занавес». Поучая «демократов», истолковывая их деятельность как «либеральный террор», эпигоны национал-патриотов всячески открещивались от духовных «отцов», но буквально повторяли, вольно или невольно тиражировали их мысли. И тем самым не просто

«стояли над схваткой» (вечный крик на лужайке насчет «чумы на оба ваши дома!»), а прямо, повторяю, попустительствовали им.

Происходило — и происходит теперь — уравнивание.

К Ю. Бондареву или А. Проханову, к Ст. Куняеву или В. Белову у меня претензий нет. Они такие, какие они есть, они выбрали свою дорогу и по ней идут.

У меня претензии — к нам самим.

Что можно сказать о заметке в «Коммерсанте», как иначе можно ее квалифицировать, если не как пританцовывание на крови?

Проханову на следующий день после подавления путча услужливо предоставлена страница «Комсомольской правды». Почему он открыто повторяет на ней свои призывы? Потому что он такой смелый, потому что ему не страшно? Нет. Потому что он понял, что страшные его теории не наказуемы — даже моральным судом.

Почему по российскому радио Кожинов учит нас любить демократию?..

Да, опасность сплачивает. Сплотила она и либералов, и демократов, и радикалов, и честных консерваторов, и честных монархистов — в самые черные дни.

Но как только она миновала — началось мгновенное «небожительство», восторжествовал либерально-чесоточный синдром. И вот уже читаю в том же «Коммерсанте»: «Недаром в ту же ночь многие видные демократы одновременно с В. С. Павловым и Г. И. Янаевым допились до зеленого змия». И далее по тексту: «Выйдя на волю, Г. Х. Попов...» Что, автор заметки наливал водку Г. Х. Попову? Или подливал Б. Н. Ельцину?

Давайте успокоимся, господа либералы. Никто не призывает к расправе, никто не желает пачкать ни своих рук, ни своей репутации.

Но для нас же самих, в целях нравственного долга нашего, мы обязаны проанализировать состояние умов русской интеллигенции, зараженность значительной ее части имперскими амбициями, которые чуть не привели общество в бездну нового тоталитаризма.

Исполнение надежды началось у стен Белого дома 19—21 августа 1991 года. Революция наконец кончилась. Октябрьский переворот потерпел окончательное поражение. Народ защитил законное правительство.

Можно ли сказать сегодня, что опасность нового путча, новой диктатуры миновала?

Ни в коем случае.

Сочинители недовольны исполнителями.

И Прохановым, и Невзоровым путч уже оценен, как «фарс», как неудавшаяся, слабая репетиция. (Да демократические дураки постоянно подкидывают идеи более жесткого сценария: ночью инакомыслящую «головку» интернировать, связь отключить и т. д. Спасибо, родные! — скажут новые путчисты и возьмут рекомендации, как лучше расправиться с демократией, на заметку. В качестве благодарности будут гарантированы свежевыструганные нары.)

А тем временем — жало из тела не вынуто, яд продолжает разливаться. Иммунитет народа, каким бы он ни казался крепким, тоже имеет свои пределы.

Предстоит нелегкая зима. Идет распад империи. Республиканские структуры находятся в стадии формирования. Люди, испытавшие прилив эйфории, могут к весне 1992 года впасть в апатию или более того — в отчаяние. Социальная база для люмпенизации общества остается.

Репетиция не отменяет спектакля.

Сергей Чупринин

НОРМАЛЬНЫЙ ХОД

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ПОСЛЕ ПЕРЕСТРОЙКИ

1

Ну, до того, чтобы жить на нормальном ходу, в рабочем режиме, русской литературе, положим, еще далеко. Миновавшие шесть лет доставили всем нам — и писателям, и издателям, и читателям — немало мучений, поистрепали нервы, показались нестерпимо долгими, что, впрочем, неизбежно при столь капитальном ремонте со сменой коммуникаций и внутренней перепланировкой — тем более если нет возможности (а ее, конечно же, не было и нет) временно переселить жильцов в резервные квартиры.

Перестройка в литературе и сейчас отнюдь не закончена, хотя вошла, похоже, в свою заключительную фазу. Строительные леса — развернем и дальше эту метафору — еще не убраны. К отделочным работам только-только приступают. Смежники (полиграфисты, бумажники, книготорговцы, связисты), как обычно, катастрофически подводят. Пробраться к зданию, чтобы понять, как оно после трудов праведных будет выглядеть, пока очень трудно — мешают горы мусора, вконец разбитые подъездные пути, топкие болотца солярки, извести, краски, талой и дождевой воды. Мат-перемат записных полемистов по-прежнему оглашает окрестности.

Всюду, словом, грязь. Во всем беспорядок. Нет пока и намека на прибранность, ухоженность, давно — и многим уже кажется, что тщетно,— ожидаемую цивилизованность.

И тем не менее...

Со мною наверняка не все согласятся, но я убежден: первые — и в том числе позитивные — результаты уже налицо. Шесть лет прожиты не зря.

Появились написанные «здесь и сейчас» произведения, о которых стоит говорить, которые стоит перечитывать.

Возникли, а частью даже и вырвались в самый первый ряд нашей словесности новые, никому ранее не известные дарования. Михаил Кураев и Вячеслав Пьецух, Сергей Каледин и Олег Ермаков, Леонид Габышев и Валерия Нарбикова, Марина Палей и Александр Кабаков, Илья Митрофанов и Алексей Королев, Александр Иванченко и Александр Терехов... Это в прозе. А вот и поэты: Тимур Кибиров, Дмитрий Рубинштейн, Светлана Кекова, Маша Володина, Юрий Арабов, Нина Искренко, Владимир Аристов, Евгений Даенин... Или публицистика — нелишне напомнить, что ходящие ныне едва ли не в «классиках жанра» Василий Селюнин, Лариса Пияшева еще лет пять назад были мало кому знакомы, и их полку все прибывает: Людмила Сараскина, Евгений Стариков, Гасан Гусейнов, Андраник Мигранян — вплоть до совсем уж недавно, зато ярко заявивших о себе Бориса Кочубея, Максима и Михаила Соколовых. Не столь, может быть, заметно пополнение в стане русских литературных критиков, но и то: без Александра Агеева, Виктора Малухина, Владимира Потапова, Андрея Немзера, Бориса Кузьминского, Вячеслава Курицына, Александра Архангельского нашим литературным газетам и журналам уже не обойтись...

Я называю не все, естественно, имена и называю только тех, чей потенциал был востребован и раскрыт именно в пору перестройки, не пройдя предварительной огранки ни «тамиздатом», ни «самиздатом». Но и названного, думаю, достаточно, чтобы с известным сомнением отнестись к оценкам вроде той, суровейшей, какую на страницах «Литературной газеты» дал в мае Владимир Лакшин:

«После некоторого оживления, связанного в основном с публикацией «отреченных книг», литература вошла в полосу хронического бесплодия. Ни новых ярких романов, ни новых имен на устах у всех».

Нетрудно, впрочем, и понять Владимира Яковлевича. Редактору, с чьим непосредственным участием из рукописи в журнальный текст превращались «Один день Ивана Денисовича», «Обмен», «Живой» «Круглянский мост», критику, помнящему, каким общественным событием (вот уж истинно — «на устах у всех»!) становились при своем появлении «Бабий Яр», «Оза», «Синяя тетрадь», «Большая руда», «Привычное дело», «Звездный билет», «Варшавская мелодия», «Семеро в одном доме», успехи «перестроечной» словесности могут и впрямь показаться проблематичными.

Но — не вовсе же не существующими!..

Требовательность — первейшая, конечно, добродетель критика, и редко кто из профессионалов, бросив взгляд окрест, не воскликнул бы хоть единожды в сердцах: «У нас нет литературы!» Эти восклицания, даже не обеспеченные разбором доказательствами, всегда, мне кажется, полезны — хотя бы как напоминание о художественном идеале, до которого никогда не дотянуться творческой практике. И все-таки... Значение требовательности не падает, а наоборот, я думаю, повышается в цене и весе, когда требовательность в ладу с эстетической терпимостью и широтой, с готовностью критики быть приметливой, быть благодарной литературе за то, что она может дать и дает своим современникам.

Это во-первых. А во-вторых, предполагаю, что как раз отсутствие привычного для нас ажиотажа вокруг самого ф а к т а п у б л и к а ц и и неординарных книг прямо указывает на то, что взаимоотношения литературы (и литературной периодики) с читателями, с обществом действительно перестроились и — мне во всяком случае так представляется — начали постепенно приближаться к нормальным.

2

Почему слова «факт публикации» выделены разрядкой? Да потому, что и раньше, будем откровенны, всеобщее возбуждение вызывалось, как правило, не столько достоинством, качеством произведения, ставшего вдруг «притчей на устах у всех», сколько тем, что это произведение у д а л о с ь напечатать, пробить сквозь мощные бюрократические заслоны и барьеры, бросив тем самым дерзкий вызов самодержавной власти, ее претензиям на безраздельную идеологическую и эстетическую монополию.

Весть о подобной виктории, о том, что где-то с у м е л и напечатать слово правды, слово, отличное от казенного, мигом облетала страну, часто опережая, а иногда и заменяя собою непосредственное знакомство с текстом, и...

Все, кто умел читать, а еще вернее сказать, все, в ком жив был чисто русский, чисто советский дух тайного непокорства, латентной, скрытой оппозиционности по отношению к режиму и его беллетристическим стандартам, вперегонки схватывались за «Новый мир» с солженицынскими «Матрениным двором» и «Случаем на станции Кречетовка», за «Юность» с аксеновскими «Апельсинами из Марокко», за «Молодую гвардию» с евтушенковским «Куриным богом», за «Знамя» с романом Константина Симонова «Солдатами не рождаются» и «Неву» с очерком Федора Абрамова «Вокруг да около» (нарочно называю вещи самые разнородные и даже разнопорядковые, сближенные лишь тем, что появились они одновременно — в январских номерах 1963 года)...

Все, как один, с гордостью держали на книжных полках вузовскую хрестоматию по русской литературе начала XX века (там впервые за десятилетия помещены стихотворения Николая Гумилева!) и синий с золотом однотомник Пастернака (там — это непременно подчеркивалось, будто одного Пастернака мало,— еще и предисловие загремевшего в лагерь Андрея Синявского!)...

Все — вне зависимости от личных склонностей, вкусов, эстетических предпочтений — охотились за «Избранным» Франца Кафки и начальными томами прустовской эпопеи, за напечатанной где-то в Сибири фантастической повестью братьев Стругацких и номерами «Литературной Армении», «Литературной Грузии», «Простора», где почаще, погуще, чем в центре, появлялись публикации Волошина и Цветаевой, Мандельштама и Платонова, современных поэтов-нонконформистов...

Так и жили:

писатели, издатели, журнальные редакторы — тем, что ценою тактической ли хитрости, невероятных ли усилий у д а л о с ь пробить в печать;

читатели — тем, что у д а л о с ь раздобыть, достать, пусть на вечерок, на ночь, и, следовательно, если не прочитать, то хотя бы пролистать, составить себе представление...

Славное было время! Колбасы и спичек тогда, кажется, еще хватало, зато свободное слово было в страшном дефиците — вот и выстраивались за ним нетерпеливо и благодарно ропщущие очереди. Каждая публикация подлинного, правдивого и просто неказенного произведения воспринималась как пролом в берлинской стене. Решение «В набор» звучало, будто приказ «В атаку!», и даже само чтение вполне легальных, зато опальных журналов расценивалось как едва ли не соучастие в акте коллективного, гражданского и эстетического неповиновения [1]. Недаром ведь военнослужащим, а кое-где и «штатским» членам партии было н е р е к о м е н д о в а н о выписывать «Новый мир», а чтение «Юности» считалось в кругу примерных комсомольских активистов занятием в высшей степени предосудительным.

Так мудрено ли, что «на устах у всех» оказывались и «благотворительный» номер благопристойно скучной обычно «Звезды Востока» (в этом номере, если помните, сошлись опальные «звезды» тогдашней литературы, отказавшиеся от гонораров в пользу жертв Ташкентского

[1] Не надо, я думаю, и говорить, как утраивалось, удесятерялось это чувство соучастия в неповиновении, когда удавалось (опять же у д а в а л о с ь!) прочесть что-либо действительно запрещенное,— бледная машинопись, ломкие фотокопии, убористая печать «Посева» и разгонистая «Ардиса» до сих пор перед глазами у успевших захватить то приснопамятное время.

землетрясения 1967 года), и недолго просуществовавший еженедельник «РТ» (где рядом с программами радио- и телепередач печатались Бабель, Ахматова — и какая Ахматова, представленная самыми яростными своими «антисталинскими» стихами!), «Молодая гвардия» с едва ли не каждомесячными, поразительно раскованными «комментариями» Владимира Турбина и академически строгое исследование совсем еще молодого Сергея Аверинцева «Плутарх и жанр античной биографии»?..

Удивительно ли, что автор, дебютировавший яркой, честной книгой, и в самом деле имел шанс проснуться наутро не только публичной знаменитостью, но и признанным авторитетом, «властителем дум», а журнал, из месяца в месяц ведший планомерную осаду идеологических твердынь, становился неоспоримым центром духовной, культурной, общественной жизни всей страны?..

Я дорожу своими читательскими впечатлениями и переживаниями той поры. Я преклоняюсь перед писателями, издателями, журнальными редакторами второй половины пятидесятых — первой половины восьмидесятых годов: они выполнили свое историческое предназначение, спасли от духовного одичания несколько поколений, дав им «глоток свободы» или, скажу иначе, пробив «луч света в темном царстве».

Здесь спору нет, но я думаю и о том, сколь же многим литература оттепели и застоя обязана своим душителям и гонителям. Это власть, это цензура, это наши дремучие агитпроп с политпросветом собственным, до дурости остервенелым сопротивлением таланту и правде создали вокруг литературы ореол жертвенности и геройства, а писателей, часто вовсе и не претендовавших на эту роль, возвели в ранг духовных лидеров нации. Это режим, лишивший человека возможностей самовыявления и самореализации, постарался, чтобы литература и впрямь была — наше всё.

Для сотен тысяч людей. Для, может быть, миллионов.

Так ли нужны, одинаково ли нужны были этим сотням тысяч, этим, может быть, миллионам Кафка и Стругацкие, Пастернак и Ахмадулина, Аверинцев и Солженицын, Платонов и Шукшин, «Новый мир» и тартусские «Труды по знаковым системам»?

Спрошу еще резче: всем ли нашим согражданам во дни оттепели и застоя нужна была литература как именно литература? Любовью ли к хорошим книгам движима была неоспоримо всеобщая, единящая лучшие силы общества страсть к чтению? Или, может быть, в основе основ таилась именно нелюбовь — часто полуинстинктивная, порою не осознаваемая, но оттого не менее подлинная и живая — нелюбовь к власти с ее постылой идеологией, с ее трескуческучным соцреализмом, с ее фальшивой моралью?

К литературе шли за правдой, то есть за достоверными сведениями о жизни, о былом, настоящем и будущем — не оттого ли, что иных, незамутненных и неотравленных источников информации просто не было?

Литературные события становились общественными — не оттого ли, что все иные формы общественной жизни, кроме литературной (и — в значительно меньшей степени — театральной, кинематографической, вообще культурной), либо находились под запретом, либо подло и пошло фальсифицировались?

В литературе видели единственную силу *общественного* неповиновения тирании — не оттого ли, что иные *общественные* силы были или уже задушены, или еще не народились. Диссидентское движение, при всей его нравственной значимости, оставалось все-таки движением одиночек, воспринималось как «безумство храбрых»[1], а новочеркасские, другие стихийно массовые волнения точнее будет по русской традиции называть бунтами, поскольку ни программных целей, ни политических контуров они попросту не успевали обрести...

Вот и вышло, что только литература, только литературные публикации становились, повторяю, проломом в стене.

3

Теперь эта стена рухнула.

Не сама собою, конечно, и нам не забыть, каких усилий стоило расширение проломов в 1986-м, 1987-м, 1988-м годах. Особого геройства, особой жертвенности, правда, уже не потребовалось — никого из редакторов, никого из издателей власть предержащим не удалось, кажется, отстранить от должности, никто из писателей не лишился, кажется, права печататься, обращаться к городу и миру, — но каждое живое слово, как и встарь, с трудом *пробивалось*, и любая удача публикатора тут же становилась «притчей на устах у всех»: будь то «Дети Арбата» Рыбакова или «Ночевала тучка золотая» Приставкина, «Собачье сердце» Булгакова или «Котлован» Платонова, «Белые одежды» Дудинцева или «Черные камни» Жигулина, стихи Ходасевича или стихи молодого, шустрого авангардиста из нынешних.

Развернулось привычное, до боли знакомое и родное каждому в нашей стране сражение Литературы с Властью, и — пока перестройка в основных своих очертаниях, в своем «очистительном», «реставрационном» пафосе напоминала хрущевскую оттепель — общественный авторитет литературы и литературной журналистики рос как на дрожжах (наглядное свидетельство — победа писателей, редакторов на выборах народных депутатов союзного и республиканского уровней). Фраза Михаила Жванецкого: «Сейчас читать интереснее, чем жить», — облетела страну, тиражи литературных журналов взвинтились до небес, в каждый второй — ну, пусть хотя бы в каждый десятый! — дом вошли «Мы» и «Лолита», «Сандро из Чегема» и «Доктор Живаго», «Несвоевременные мысли» и «Вехи»...

[1] Характерно, что и в наши дни, уже после шквала публикаций диссидентов и о диссидентах, 32% опрошенных социологами ВЦИОМа никогда, как они заявили, не слышали самого слова «диссидент», а еще 20% затруднились ответить на вопрос о том, чего же все-таки диссиденты добивались («Московские новости», 19 мая 1991 г.).

Эти, другие, замечательные и не очень, книги тут же в эйфории схватывались читать.

И, увы, уже не всегда дочитывали.

Не хватало времени — поток все нарастал, печатный дефицит сменился печатным изобилием, помимо «Нового мира», «Знамени», «Юности», «Октября», «Дружбы народов» вскорости пришлось гоняться еще и за «Волгой», и за «Уралом», и за рижским «Родником», и за таллиннской «Радугой», так как всюду — кроме разве что не поступившейся принципами «Молодой гвардии» — могли теперь появиться и действительно стали появляться произведения, заслуживающие просвещенного внимания, доброго отклика.

Не хватало терпения — жизнь с ее калейдоскопическим мельтешением событий, надежд и страхов отвлекала от книг; к тому же, как вынужденно было решено многими потенциальными читателями, толстые книги, серьезные публикации могут и подождать, ибо вослед литературе в пролом вошла легконогая, звонкая журналистика и... за несколько месяцев растиражировала, сделала пригодными к быстрому, необременительному усвоению все те открытия, прозрения, откровения, которые годами, десятилетиями воплощались только «в позму сжатую поэта», только в искусстве слова.

Книга перестала быть «нашим всем», потому что она перестала быть *единственным* спасательным кругом для сотен тысяч, для, может быть, миллионов, не желающих утонуть в море идеологической лжи, общественной фальши и житейской пошлости. Оказалось — едва ли не впервые на святой Руси, — что свою потребность в достоверной информации, волнующей сердце и занимающей мысли, можно удовлетворить, и не обращаясь к литературе, а свои общественные порывы, гражданскую позицию, свою полуинстинктивную нелюбовь к власти можно выражать напрямую — на избирательных участках, митингах, собраниях, на улице или на лавочке подле собственного подъезда. Даже склонность к идолотворчеству, неотъемлемым компонентом входящая в состав массового сознания, и та не востребует больше писателей на роль «властителей дум», «учителей жизни», успешно удовлетворяясь в этом отношении фигурами политических деятелей или пророков от экономики. И «на устах у всех», естественно, оказываются сегодня не журнальные или книжные новинки, а вчерашняя телепередача, острый обмен репликами между политическими лидерами, новый президентский указ или очередная программа спасения России...

Конечно, этот процесс «десакрализации» литературы, то есть ее обмирщения, утраты ею патента на богоизбранность, на исключительное, едва ли не культовое общественное значение, еще только разворачивается. К тому же и протекает он, как обычно у нас, не однолинейно и поступательно, а с осложнениями, в жестоких схватках с периодическими возвращениями к исходной позиции. И все же... Не надо быть историком, чтобы наметить основные вехи на уже пройденном пути:

первый Съезд народных депутатов СССР — тогда выяснилось, что у литературы больше нет монополии на ошеломляющую гражданскую дерзость и доблесть, на оппозиционный пафос, на пронзительную, до мозга костей пронимающую правду о том, кто мы такие и как мы дошли до жизни такой;

публикация «Архипелага ГУЛАГа» — наиболее классический, может быть, в истории отечественной словесности, а следовательно, и финальный случай, когда сам факт публикации был воспринят и понят миллионами не только как литературное событие, но прежде всего как событие огромного общественного, скорее даже общегосударственного характера и масштаба;

миллион подписчиков, добранный «Новым миром» в октябре 1989 года уже не под журнальную программу, а под обещание дать каждому солженицынский семитомник, — последний, может быть, пример читательского единения и воодушевления, последний, пусть даже и чисто символический вызов власти, которая наконец-то сдалась под напором гласности, но которая — и это помнили — еще совсем недавно и слышать ничего не хотела о возможной публикации произведений «вермонтского изгнанника» на Родине...

Всё. Финита. Лампочка ярко вспыхнула — перед тем как погаснуть?.. перед тем как перевести свое свечение в принципиально иную, — допустим, ультрафиолетовую или инфракрасную — область спектра?.. Не знаю. Но одно ясно: дальнейших побед на поприще *силовой* идеологической борьбы Литературы с Властью уже не будет. И действительно, *общественными* событиями, единящими разнородную читательскую массу в привычном порыве — достать! прочитать! задохнуться от восторга или от ужаса! обсудить на всех этажах социальной пирамиды! — уже не стали ни книги белогвардейцев и о белогвардейцах, ни мемуары прославленных антисоветчиков, ни едкие памфлеты о Ленине и глумливые «рассказы о коммунистах», ни — даже — авантюрные, с густой при-

правой эротики и дворцовых интриг романы о покушениях на Раису Максимовну и Михаила Сергеевича.

4

Под занавес не обошлось без курьеза. Силы, натренированные на «пробивании» в печать политически запретного и идеологически рискованного, томящиеся без привычной борьбы, были — за неимением лучшего — брошены на легализацию в целомудренной русской литературе проблем, как выражаются ученые люди, «телесного низа» и — в пределе — на печатное узаконивание отечественного мата. Частью эти хлопоты оказались связанными с публикацией в СССР эмигрантской прозы, сильно, как известно, «сексуализированной» в сравнении с внутрисоюзной нормой, а частью и самоцельными. Подобрано было, как у нас обыкновенно водится, и мировоззренческое обоснование: дескать, свобода высказывания немыслима, заведомо неполна и обужена без свободы называть самые интимные действия и части человеческого тела их собственными именами, без права, если уж такова авторская воля и художественный умысел, мочиться, испражняться и совокупляться на печатных страницах. Что же касается мата, то его — смотри, например, эссе Андрея Битова «Повторение непройденного» в июньской книжке «Знамени» — свободомыслы назвали, во-первых, «единственной оставшейся в живых природной и родной частью языка нашего», а во-вторых, опять же единственно действенным средством языкового сопротивления тоталитаризму и «совковому» морально-политическому ханжеству...

Неловко сейчас признаваться, но и я, не большой в принципе охотник до «табуированной» речи и «ненормативной» лексики, еще совсем недавно готов был видеть в этих хлопотах важное культурное дело, решительный шаг в сторону окончательного раскрепощения русской литературы, русского литературного языка и отечественного общественного сознания. Мне казалось, что предстоит нешуточная борьба, что власть постарается отбить все атаки хотя бы на этот последний редут — редут моральной цензуры, что «Моральный кодекс строителя коммунизма» надолго переживет коммунистическую идеологию. «Континент» в открытом библиотечном доступе, в свободной продаже появится у нас куда раньше, чем «Плейбой», — так я, помнится, не раз говорил и писал, вполне совпадая с А. Битовым в мнении о том, что переход от ситуации гласности к ситуации свободы слова и печати означит собою не публикация, предположим, А. Авторханова или А. Деникина, а издание произведений Ивана Баркова и Юза Алешковского.

Сказать, что мы с Битовым совсем уж ошиблись, нельзя. «Континент» (а также «Посев», «Грани», «Страна и мир», «Время и мы», «Стрелец», иные эмигрантские журналы) действительно легли на прилавки «Союзпечати» и книготорга много раньше «Плейбоя», и в редакцию до сих пор нет-нет да и придет письмо от читателя, раздраженного более чем умеренными «неблагопристойностями» в журнальных публикациях Эрнста Неизвестного или Евгения Попова. Всё так, но...

Июньская книжка «Знамени» с эссе об отторгнутом перестройкой Мастере («Один лишь Юз Алешковский остался нераспечатанным, как и был, обведя собою границу нашей гласности. Или — заточенный в эту границу, как остров») еще не успела поступить к подписчикам, а вольные книгоиздатели уже выбросили на лотки его повесть «Николай Николаевич» — наиболее, может быть, образцовое и самое, это уж точно, знаменитое из всех написанных на матерном языке произведений. Причем — о восторг! о ужас! — не предприняв даже малейшей попытки спрятать, как только что еще было заведено, наиболее одиозные слова и выражения за частоколом точек, прикрыть их прозрачными эвфемизмами. И...

И — ничего. Ни-че-го! Скандала не вышло. События общественной значимости не получилось. Во всяком случае (а ведь помимо вольных книгоиздателей, Алешковского печатают сейчас и «Звезда», и «Искусство кино», и «Дружба народов», то есть имя автора могло бы уже стать широкоизвестным), «Николая Николаевича» не смели с лотков и прилавков, как, вероятно, ожидалось, и он мирно распродается — рядом с эротическим, садо-мазохистским романом Сергея Юрьенена «Сделай мне больно», рядом с гомосексуальными фантазиями Евгения Харитонова, рядом с нацеленными на «плейбойский» ориентир домодельными иллюстрированными журналами и журнальчиками: короткая прогулка по «трубе» — знаменитому переходу под Пушкинской площадью в Москве — познакомит желающих сразу и с «Андреем», и с «Душой и телом», и с «Взаимностью», и с «Лидой», и с «Разгуляем», и много с чем еще — вплоть до действительно похабной газетки, которая так и называется: «Еще»...

Кто-то покупает все эти издания, не делая различий между бесстыжей «Еще» и респектабельным «Андреем», между дрянной брошюркой о технике орального секса и бессмертным «памятником литературы» (как определил Андрей Битов жанр и функцию повести «Николай Николаевич»).

Кто-то, наоборот, оттенки различает — и, брезгуя пошлятиной, покупает лишь то, что при всей нецеломудренности языка и сюжета является тем не менее неоспоримым фактом литературы.

Кто-то бегло пролистывает — и, не увлекшись, возвращает продавцу, а кто-то (и похоже, что этих «кто-то» — явное большинство) просто проходит мимо —

либо к иным книгам, к иным журналам, к иной словесности, либо вообще прочь от нее.

И, скажу сразу, именно это едва ли не конфузное отсутствие *всеобщего*, то есть *общественного* интереса к тому, что еще вчера шокировало, а позавчера считалось абсолютно невозможным, вернее всех прочих примет наводит на мысль о том, что рубикон действительно незаметно перейден. Вожделенная свобода — без каких бы то ни было изъятий, без каких бы то ни было запретов и умолчаний — уже достигнута. Тягаться с властью больше не из-за чего. Удивить, а уж тем более ошеломить, скандализировать публику больше нечем. Последний очажок напряженности (я имею в виду необходимость быть целомудренными или по крайней мере тактичными в выборе сюжетов и выражений — для одних писателей естественную и нестеснительную, для других — вынужденную и обременительную) тихохонько рассосался, и авторы, допустим, журнала «Вестник новой литературы», газет «Русский курьер» и «Гуманитарный фонд» матерятся теперь, что называется, открытым текстом, с чарующей — и кажется, зачаровывающей их самих — невозбранностью...

Впрочем, будем справедливы.

Публично материться, равно как и живописать в сочных деталях науку страсти нежной, стали ведь отнюдь не все авторы даже этих — наиболее «продвинутых»? — изданий и уж тем более отнюдь не все современные русские писатели. Перспектива стать современным Барковым или отечественным Генри Миллером мало кого, кажется, прельстила; тех же, кто все-таки оказался прельщенным, лучше всего напутствовать традиционным: в добрый час! И это, на мой взгляд, действительно одно из самых главных завоеваний перестройки: вопрос о том, можно ли печатно материться (или бранить Советскую власть, или отринуть знаки препинания, или признаться в каких-либо экзотических наклонностях...), наконец-то и у нас перестал быть предметом неусыпного государственного (прежде всего цензурного) надзора и пристрастного общественного контроля, из тяжбы (или сговора) между литературой и властью, литературой и обществом, превратившись в проблему *личного писательского* выбора.

5

И личного читательского выбора.

Ибо если уж писателю позволено сегодня все, то и читателю сегодня доступно в принципе все. Только выбирай!

И он выбирает.

Что?

Вот тут-то, при переходе рывком от прежней бескормицы к нынешнему лукуллову пиру, и обнаружилось то, что сперва неприятно изумило, а потом и ужаснуло многих подготовителей, зачинателей и энтузиастов перестройки в литературе.

Стало, например, понятно, что превосходная идея: «Книги Солженицына — в каждый русский дом!» — не поддается осуществлению — но уже не в силу противодействия властей, а потому, что далеко не всякий русский способен узел за узлом пройти все «Красное колесо», самозабвенно и благодарно погрузиться в океаническую толщу солженицынских романов, пьес, сценариев и трактатов.

Оказалось, что, скажем, «Пушкинский дом» или «Школа для дураков» — не каждому по зубам, а «Москва — Петушки» и «Николай Николаевич» — не каждому по вкусу.

Открылось, что круг ценителей литературы как именно Литературы не так уж широк (это — раньше книгоиздателей — узнали кинопрокатчики, попытавшиеся было на заре реформ сорвать сверхприбыль на тиражировании Феллини, Бергмана, Тарковского и Сокурова, — не вышло, массовая публика предпочла шедеврам «Рабыню Изауру» и «Спрута» по «ящику»).

Выяснилось, наконец, что прежнего единодушия в читательской среде уже не наблюдается и что интересное, событийное — для одних, другим — звук пустой...

Еще раз подчеркну во избежание недоразумений: читатели не стали «хуже». Они — всего лишь! — получили возможность самостоятельно выбирать и, следовательно, не походить друг на друга в своих вкусах, предпочтениях, интересах и ориентирах.

Тиражи литературных газет и журналов упали, читательская почта пооскудела, но она есть, как по-прежнему есть *свой круг* верных читателей, своя — говоря по-новомодному — группа референтов у каждого журнала, у каждого хоть чем-либо привлекательного автора. Другое дело, что круги эти, став уже, теснее, и обозначились резче, выявили тенденцию к обособлению друг от друга, и наиболее прилежные ревнители, скажем, традиционной поэзии и прозы, отведав «на пробу» разок-другой экзотической пищи, не ощущают больше ни потребности в углубленном знакомстве с литературным «андеграундом», ни дискомфорта от сознания, что они чем-то существенным обделены. Каждому — свое.

Вот именно что каждому — свое! Те, кто охотился за Прустом только из престижных соображений или заглядывал в Набокова для того лишь, чтобы прослыть — хотя бы в собственных глазах — «прогрессивным» и «культурным», избавлены от необходимости пыжиться и придуриваться. Те, кому лакейско-адъютантские байки о мягких сапожках и душистом табачке «кремлевского горца» дороже тьмы низких (а равно и высоких) истин, от «Детей Арбата», от Солженицына и Шаламова

мирно вернулись к «Войне» И. Стаднюка, нашли своих новых кумиров в В. Успенском — авторе бестселлера «Тайный советник вождя», в Ф. Чуеве — авторе другого бестселлера «Сто сорок бесед с Молотовым»...

И это, может быть, досадно, но, видит Бог, естественно и, следовательно, нормально. Ст. Рассадин как-то назвал современную Россию «самой читающей Пикуля страной». На него обиделись — за державу, понятно, поскольку успели свыкнуться с душегрейной мыслью о том, что, мол, «Штаты сильны компьютером. Россия — читателем» (А. Вознесенский). И зря, по-моему, обиделись, так как в каждой, даже в самой что ни на есть цивилизованной стране, а не только у нас, на выборах демократическим путем «короля литературы» преимущественные шансы окажутся отнюдь не у Джона Апдайка, Габриэля Гарсиа Маркеса или Кобо Абэ.

Что же из этого следует? Ничего, кроме ясного, трезвого понимания, что развитая, богатая литература обязана работать (и хорошо, качественно работать) с каждой из многочисленных и разнородных читательских групп, каждому слою потенциальных читателей предлагая интересную именно для этого слоя книжную продукцию.

Но — всего три предварительных условия.

Литературе придется умерить свои выпестованные в «столетней войне» с тиранией амбиции, свои претензии на духовное «народоводительство» и «народоправство».

Единому литературному процессу предстоит расслоиться на отдельные, друг от друга отделенные рукава, протоки, лиманы, тихие заводи — перевести, словом, свое державное течение в дельту.

Каждому из существующих (и нарождающихся) литературных направлений, идейных и творческих общностей суждено распроститься и с мечтою о безоговорочном главенстве над всеми прочими направлениями, идейно-творческими общностями, и с надеждою переспорить, а в пределе — административным ли методом, путем ли свободной конкуренции вытеснить этих «всех прочих» из сферы читательских предпочтений.

Нравится нам это сейчас или не нравится, но...

Книг — событий для всех и каждого больше не будет, будут бестселлеры, а это совсем другое дело. Общепризнаваемых и обоготворяемых «авторитетов», бесспорно и однозначно «первых», лучших и талантливейших писателей страны тоже не будет — хотя останутся, конечно, самые любимые, наиболее уважаемые, но это опять-таки совсем другое дело. То же и с вечным российским спором между реалистами и утопистами, художниками-артистами и художниками-прозекторами, писателями-лауреатами (хоть Ленинской, хоть Нобелевской премии) и писателями-диссидентами (уже не от политики, а от эстетики)... Победителей и здесь не будет или, вернее сказать, оценка успеха-неуспеха будет зависеть не столько от объективных показателей, сколько от личной позиции оценивающего.

6

Перечитав только что написанное, я сам себя захотел отредактировать: почему речь идет в будущем времени, на грани повелительного и сослагательного наклонений? Разве не честнее признать, что литературная реальность давно уже соответствует именно этим гипотетическим предварительным условиям, а не иным, гораздо более «идеальным», «умственным», хотя и более распространенным, нормативным представлениям?

Взять хотя бы вопрос о «лучшем, талантливейшем» писателе «нашей эпохи».

Здесь не место выяснять, отчего этот сакраментальный вопрос исстари нас преследует. Национальная, то есть на поверку имперская, ментальность ли такова, что нам любое здание хочется увенчать шпилем?.. Сталин ли во всем повинен — с его вкусом к «опогониванию», к распределению по разрядам и рангам всех на свете: кого в сержанты, а кого и в маршалы?.. Или, может быть, причиною всему школьная методика преподавания литературы, когда разговор о словесности того или иного периода непременно — «для удобства усвоения» — подменяется и отменяется рассказом о биографии и творчестве «писателя номер раз»?.. Неважно, согласимся на том, что каждый из нас хотя бы однажды оказывался втянут в дискуссию типа: кто из классиков главнее — Толстой или Достоевский? кто выше — Ахматова или Цветаева? кто крупнее — Булгаков или Платонов?.. Словом, как давно уже было исчерпывающе сформулировано в «Кондуите и Швамбрании» Льва Кассиля, — если слон влезет на кита, то кто кого поборет?..

В прениях такого рода нет, разумеется, ничего предосудительного — пока они остаются частным делом частных лиц, не затрагивая сферу государственной политики и межгрупповых литературных взаимоотношений с их (не обязательно явным, бывает, что и опосредованным) протекционизмом к одним писателям и с ее (опять же, как правило, опосредованным) остракизмом — к другим.

Когда же затрагивает, а у нас затрагивает всенепременно, то такое начинается!..

Вспомните ситуацию примерно десятилетней давности. Кто у нас был в области литературы впереди планеты всей, выше всех? Конечно, Шолохов, — гласило официальное, кабинетное и плакатное мнение, — он ведь лауреат всех мыслимых премий, дважды Герой, член ЦК, последний классик, включенный в школьную программу; его Сталин ценил, к нему Хрущев ездил на поклон, о нем Брежнев хлопотал перед шведскими академиками... Оно так, конечно, но Шолохов давно не пишет, — звучало уже не в кабинетах, а в коридорах власти, поэтому... Марков, Марков, — твердили наиболее косные литературные политики со Старой площади и улицы Воровского, — поскольку он тоже уже дважды Герой, тоже член ЦК и вдобавок назначен самым Первым секретарем, а следовательно, самым Первым русским писателем... Ах, перестаньте, — морщились консерваторы попросвещеннее, — цену Маркову мы знаем, давайте уж лучше протежировать Бондареву, — он не в пример художественнее, пишет так умно и тонко, что ни в одной фразе не разберешься... Мы и Бондареву цену знаем, — отзывалось в интеллигентском истеблишменте, — а посему: Айтматов и еще раз Айтматов — и лоялен безусловно, и безусловно талантлив, и дружбу народов перед всем миром достойно представляет: чего же нам лучше-то искать!..

А из-под глыб, из-под почвы уже шло неудержимое, хотя пока и сдавленное, полузадушенное: Сол-же-ни-цын! И вперехлест, вразнобой голосили книжные жучки, профессионалы теневого литературного рынка: Пикуль да Юлиан Семенов, Юлиан Семенов да Пикуль!.. И беря не числом поданных за своего кандидата голосов, но безупречным нонконформизмом в суждениях: Венедикт Ерофеев, «Веничка», — твердили деятели и поклонники отечественного литературного подполья...

Ну, чем не плюрализм за ширмой принудительного согласия?

Особенно наглядной эта полутайная и полупотешная плюралистичность была, когда заходила речь о современной русской поэзии. Господи, чьи только имена не звучали, какие только претенденты на роль лучшего, талантливейшего не назывались! Евтушенко и Рубцов, Бродский и Тарковский, Самойлов и Соснора — вплоть до (помнит ли кто теперь?) Василия Федорова или Егора Исаева («А что? — наставительно говорил мне далеко не самый глупый и не самый циничный литначальник. — Егор Александрович как-никак единственный современный русский поэт, удостоенный Ленинской премии; надо поэтому не смеяться, а писать о нем почаще и поярче, воспитывать читателей в уважении и к нему, и к премии...»)[1].

Та же неоднозначность, многолинейность и разновариантность — вопреки официальной установке на единообразие и единобожие — просматривались и во всех иных плоскостях. Скажем, в вопросе о направлениях или, как тогда выражались, «стилевых тенденциях». Положено было, помнится, казенную пальму первенства отдавать «панорамному», «эпическому» соцреализму Проскурина и Чаковского, Сартакова и Анатолия Иванова, разрешено было — для души — любить «деревенскую» или «окопную» прозу[2] — и все ж таки не вымирали окончательно читатели, критики, писатели, для кого весь свет клином сошелся либо на полувычеркнутой из литературы «исповедальности» в духе Василия Аксенова, либо на полувпущенном в литературу «интеллектуализме» битовского типа, либо на фантасмагоричности Абрама Терца. Принято было — еще один аспект нашего разговора — числить литературу безраздельной и полномочной «властительницей дум», — а многие читатели и раньше упрямо видели в ней не больше, чем развлечение, отдавая свои думы чему-либо иному: рок-музыке или фигурному катанию, допустим...

Значит, нужно и в самом деле говорить не о смене вех (и следовательно — смене эпох) в литературе, а всего лишь о легализации, о публичном обнаружении той плюралистичности, что и прежде была свойственна писательскому самосознанию и читательскому восприятию?

Нет, думаю я, говорить нужно именно о смене вех, смене фундаментальных психологических установок, ибо перестройка в литературе уже сейчас зашла глубже, чем на то смели надеяться реформаторы.

Здесь вот в чем дело. Сколь бы много ни было голов и мнений, как бы поразному ни складывались конкретные взаимоотношения, литературу и читателей всегда связывает нечто вроде общественного договора — со сводом неписаных, но интуитивно известных каждому правил, требований, обоюдных обязательств и даже, если угодно, штрафных санкций. Именно в рамках этого общественного договора формируется представление о традициях, об иерархии ценностей (вплоть, например, до иерархии тем и жанров), приобретает смысл беспредметное и загадочное вне контекста понятие «ответственности таланта», «ответственности и долга литературы». Читатели и писатели как бы уславливаются о том, что является литературой и что находится за ее чертою, ищут консенсуса в решении вопроса о том, что такое хорошо и что такое плохо, и каждый текст интуитивно оценивается мерою его соответствия либо идеалу, либо норме...

Я вовсе не хочу этим сказать, что все писатели и все читатели в полном будто бы объеме соблюдают все условия действующего на данный исторический мо-

---

[1] Самое поразительное и смешное, как вспомнишь, даже не в том, что кто-либо в итоге аппаратных игр назначался на должность лучшего, талантливейшего, а в том, что сами же назначавшие вскорости начинали верить в непреложную истинность собственного выбора...

[2] Другой вопрос, сколько трудов, сколько мук и времени было положено и этими писателями, и их верными читателями на то, чтобы добиться, чтобы выговорить в споре с властью такое разрешение...

мент общественного договора. Эти условия, во-первых, с течением лет неуследимо переменяются. А, во-вторых... Литература без нарушителей не живет. Она, может быть, и живет только нарушениями и в нарушениях, но... И нарушения, выпады и вызовы, вплоть до «пощечин общественному вкусу», привлекают внимание, вызывают споры, становятся значимыми лишь потому, что известна норма, существуют общие для всех и каждого критерии, точка отсчета.

В этом смысле, охотно обсуждая кандидатуры претендентов на престол, выясняя, кому из писателей числиться в «крупнейших», кому в «выдающихся», а кому и просто в «видных» или даже в «небезызвестных», у нас, как правило, не сомневались в принципиальной применимости к литературе и литераторам некоей единой «табели о рангах», не сомневались в самой необходимости (и возможности) литературной иерархии и субординации как таковых[1].

Или, споря о том, где ныне проходит основное русло литературного потока, какое творческое направление наиболее полно соответствует национальной традиции, наиболее полно воплощает в себе дух времени, разве не сговариваясь, не исходили мы из предположения, что в литературе все-таки есть «фарватеры», «магистрали», «большаки», единые для всех «восходящие» и «нисходящие» линии развития, а значит, есть и «обочины», «закоулки» да «тупички»?

Или, решая проблему, оставаться ли сегодняшней литературе в традиционной для России оппозиции к начальству, либо, напротив, попытаться сотрудничать с властью, возжелавшей, кажется, хорошего, мы опять же были единодушны в мнении, что отношением литературы к власти все поверяется, и тем самым в наших дискуссиях заведомо как бы исключалась возможность безразличия, изначального, природного (а не демонстративного — здесь большая разница) не-интереса, равнодушия литературы к политике, к существующему на данный момент государственному устройству, вообще к тому — страшно даже вымолвить,— чем живет сейчас народ, что волнует сегодня просвещенные умы.

Или, наконец, говоря о традициях, о чертах и свойствах, органически характерных для части — но только части! — нашей литературы (а такова, например, традиция «учительности», праведничества и проповедничества, вообще «прямой речи», «перста указующего»), не придаем ли мы им до сих пор по привычке универсальное, общеобязательное значение, не торопимся ли по-прежнему с распространением единых требований и на то, что этим требованиям удовлетворять вовсе не подряжалось...

7

Будем, впрочем, историчны в своих суждениях.

Критерии и правила, в соответствии с которыми мы долго жили и часть из которых только что была перебрана, сами по себе и не хороши и не плохи, поэтому нет повода ни гордиться «богоизбранностью», «исключительностью» именно русской литературы, ни стыдиться того, что мы и в этом отношении устроили свое бытие по иным законам, чем весь цивилизованный мир.

Достаточно, уклоняясь от малополезных в данном случае эмоциональных оценок, указать на специфичность именно российского договора между литературой и обществом. Договора, согласно которому у литературы *есть* единое русло, единые задачи, единое направление движения, а следовательно, *должны быть* и общие закономерности, и общие заботы, и те писатели, творческие группы и школы, кто «точнее» откликается на зов времени, кто «быстрее» и «вернее» прочих идет к цели, приближается к одному из всех художественному идеалу, а кто, наоборот, топчется на месте или сбивается в сторону от предначертанного традицией курса.

Будем, еще раз повторю, историчны и трезвы. Согласимся с тем, что литературная реальность была именно такова и что термин «литературный процесс» (кажется, только на советской почве и прижившийся) эту реальность и эту специфичность передавал с достаточной полнотой и необходимой емкостью.

Но согласимся и с тем, что теперь реальность переменилась. Из единого русла «литературного процесса» наша словесность вышла в... в то, что, по аналогии с терминами «экономическое» или «геополитическое» пространство, я назвал бы «литературным пространством», обнаружила явственную волю к устройству своего бытия уже не на иерархизированных, как прежде, а на конфедеративных началах, стала регулироваться не усмотрением начальства (или, допустим, литературной критики), а рыночным спросом, интересами потенциальных потребителей. И...

Вот тут-то и обнаружилось, что большинство из нас (писателей, критиков, квалифицированных читателей) живет пока еще старыми аналитическими, оценочными, агитационными навыками и поступаться ими, будто принципами, не хочет — даже ценою мучительного, а иногда и оскорбительного разлада с переменившейся в итоге перестройки реальностью.

[1] Недаром ведь, замечу попутно, вывод о кризисе современной русской поэзии нередко делался на том лишь основании, что в поэзии нашей действительно давно уже нет безусловного, общепризнанного лидера.

И еще пример — на этот раз некритического перенесения требований русского общественного договора на иноземную почву: считалось и до сих пор считается, что современная американская либо французская литература тоже в глубоком кризисе,— и опять-таки потому, что в кругу сильных, ярких дарований там некого вроде бы одарить титулом первого, лучшего, талантливейшего.

По-прежнему и «левые» и «правые» чуть что апеллируют к власти, ища ее одобрения или, напротив, высказывая ей свое неудовольствие, тогда как власть ведь уже совершила то лучшее, что она могла сделать и на что два-три года назад и надеяться не смели: ушла, оставила литературу в покое, предоставила писателям право и обязанность самим решать свои внутренние проблемы.

По-прежнему шумно празднуют кончину советской литературы, будто бы и в упор не видя, что тризна тризной, перестройка перестройкой, а «Судьба» П. Проскурина как и во время оно, преблагополучнейше пополняет собою престижную серию «Советская классика. Золотой фонд» (см. «Книжное обозрение», 12 июля 1991 г.), и найдутся же наверняка те сто тысяч, кто купит и прочтет книги не Солженицына, не Саши Соколова и даже не Виктора Ерофеева, а именно этот в очередной раз роскошно изданный фолиант.

По-прежнему появление нового романа Ю. Бондарева служит сигналом к непременному (в данном случае неважно, похвальному или бранному) отклику во всех, кажется, печатных органах, тогда как роман-то ведь этот, по чести говоря, ввиду своей зряшности и амбициозной пустотелости вообще не стоил бы упоминания... кабы, конечно, не помнить о сановном положении автора и, главное, о том, что он еще совсем недавно активно проталкивался на вакантный престол лучшего, талантливейшего писателя нашей эпохи.

По-прежнему литературные реальности оцениваются с привычной оглядкой на привычную иерархию тем и жанров, и А. Бочаров, скажем, соглашается поверить в дееспособность перестраивающейся словесности лишь тогда, когда она выдаст что-либо соизмеримое по монументальности с «Доктором Живаго», «Архипелагом ГУЛАГом», «Жизнью и судьбою» («Октябрь», 1991, № 7), хотя, видит Бог, чеховского, бунинского примера или, возьмем поближе к нашим дням, примера Ю. Казакова, В. Шукшина вполне, казалось бы, достаточно, чтобы признать возможность появления и законность существования шедевров, литературной классики и в «немонументальном» роде.

По-прежнему нас пугают, что с утратой «учительного пафоса» мы (т. е. русская литература) либо погибнем, либо «останемся лишь провинцией, периферией современного литературного мира... повторяя его зады и соучаствуя лишь в духовном упадке цивилизации», и как хотите, но эти ламентации Ю. Кублановского («Независимая газета» от 17 января 1991 г.) звучат, право же, странно. Как, во-первых, можно говорить о тотальной будто бы утрате «учительности» в присутствии А. Солженицына или — чтобы его имя не выглядело единственным исключением из правила — в присутствии В. Распутина, Евг. Евтушенко, В. Максимова, А. Адамовича, В. Астафьева, А. Зиновьева, многих иных «гувернеров общества» и ревнителей «сверхлитературы» вплоть до Э. Лимонова, тоже ведь норовящего наставить читателей на путь истинный... А во-вторых... «Учительность» — качество, конечно, прекрасное, действительно составившее славу русской литературе, но рискнет ли Ю. Кублановский сказать, что «лишь в духовном упадке цивилизации» соучаствовал, допустим, В. Набоков или соучаствуют, предположим, И. Бродский, А. Синявский, Саша Соколов, объединяемые в данном случае своей активной неприязнью к «учительности» любого рода?..

Зачем я коллекционирую эти разнородные примеры?

Затем, чтобы показать: малая эффективность бурлящих ныне газетно-журнальных дискуссий практически всегда объясняется нежеланием (или неумением) наших витий расстаться со старыми погудками и коренится в первую очередь в архаической привычке подходить с универсальными, общеобязательными мерками к литературе, которая успела уже расслоиться, внутренне дифференцироваться.

И грустно становится, когда, отвечая на вопрос «Литературной газеты», отчего возвращение книг А. Солженицына не привело, как ожидалось, к воцарению «вермонтского изгнанника в роли единоправного властителя дум», критики перебирают все мыслимые и немыслимые резоны — кроме самого, на мой взгляд, значимого: как это, может быть, ни печально, но процедура литературной интронизации Солженицына совпала во времени с процессом, условно говоря, децентрализации нашей словесности, всей духовной жизни общества, утверждения в ней «республиканских», плюралистических норм и стандартов, и никто — даже автор «Архипелага ГУЛАГа» и «Красного колеса» — не может больше рассчитывать на почести и права, положенные писателю-самодержцу.

И смешно становится, когда, выложившись в борьбе с соцреалистической монополией, ей начинают тут же подыскивать универсальную замену, объявляя *одно* какое-либо творческое направление истинным, потому что верным. Так, Александр Агеев, мне кажется, чуть-чуть испортил свою блистательную, глубокую статью «Конспект о кризисе» («Литературное обозрение», 1991, № 3) рассуждением о том, что только книги, сориентированные на круг ценностей уже не «социализированного», а «частного» человека (имеется в виду творчество Б. Окуджавы, А. Битова, В. Маканина, А. Курчаткина, Р. Киреева и др.), «составят, очевидно, некий «мейн-стрим», главное течение новой литературы». Так, Вячеслав Курицын, совершенно справедливо отметив «естественное распадение «процесса» на мно-

жество «субкультур», каждая из которых может жить вполне автономно», тут же возвысил над всем, что есть сегодня в литературе, милый его сердцу постмодернизм, так как «именно он последнее на сегодняшний день и — во внутрикультурном плане — единственно актуальное эстетическое состояние» («Огонек», 1991, № 18)...

Хочу быть верно понятым. Я не хуже А. Агеева отношусь к творчеству бывших «сорокалетних» писателей. Я не без сочувственного интереса отношусь и к постмодернистам, тем более что, как было устно и печатно заявлено, все мы немножко... постмодернисты. Но — «мейн-стрим», главное течение... Но — единственно актуальное состояние... Не лишку ли хватают в данном случае мои единомышленники (а читатель, я надеюсь, заметил, что вся полемика в этой статье ведется исключительно с единомышленниками: от В. Лакшина и А. Бочарова до В. Курицына)?

8

В последний раз скажу — будем историчны в своих суждениях.

Занижение одного ради возвышения другого, выталкивание оппонентов из круга, пропагандистский и контрпропагандистский азарт, все и всяческие сбрасывания с парохода современности имели смысл, были если не морально, то тактически оправданы в предыдущую эпоху, когда мест в литературе (в издательских планах, на журнальных страницах, в писательской табели о рангах...) катастрофически не хватало, когда власть ко всяким эстетическим инициативам относилась в лучшем случае подозрительно и когда новое литературное явление действительно могло утвердиться только за счет предшественников и соперников, их отрицания, подавления или вытеснения. Вся литература в архитектурном отношении напоминала собою сталинское высотное здание, и квартиры в ней приходилось либо отвоевывать в изнурительно долгих боях, либо вымаливать ценою унизительного приспособления своих вдохновений к директивному вкусу.

Многим, знаем, места в этой высотке так и не нашлось: намыкавшись у одного из всех парадного подъезда, эмигрировали, спились, покончили с собою, перебрались в разряд «непризнанных гениев». Да и у тех, кто пробился, старые раны ноют к непогоде, чутко отзываются на каждое изменение атмосферного давления, и я могу понять «синдром гонимости», который и спустя десятилетия после мытарств, в обеспеченной наградами и тиражами зрелости владеет душами, например писателей-деревенщиков, и который начал, похоже, определять собою стиль поведения вырвавшихся, слава Богу, на простор питомцев вчерашнего андеграунда.

Более того. Я считаю совершенно естественным, что перестройка в литературе и началась, если помните, со взаимного сведения счетов, с попыток — апеллируя одновременно и к властным структурам, и к общественному мнению — заново переделить журналы, издательства, тиражи, читателей, премии и почести, загранкомандировки и т. д. и т. п. Положение — плюс к попыткам восстановить социальную справедливость в писательском мире, выправить искривленную до уродства иерархию литературных ценностей — резко осложнялось и идеологической поляризацией, необходимостью для каждого писателя в отдельности четко определить свою гражданскую позицию, необходимостью для литературы временно взять на себя обязанности не народившихся еще к тому времени политических партий, парламентских фракций, конфессиональных, мировоззренческих общностей.

Итог? То, что вошло уже в историю под названием «гражданской войны в литературе». Общество, я думаю, и здесь должно быть благодарно литературе, ибо размахом, кипением страстей, разрывом прежних связей, жизнью по принципу «Кто не с нами — тот против нас» литература словно бы смоделировала, в тысяче вариантов проиграла на печатных страницах то, что угрожало и до сих пор угрожает нам в жизни.

По-иному, впрочем, и быть не могло. Мы должны были пройти этот этап — хотя бы затем, чтобы люди увидели: кто есть кто и что есть что в современной литературе.

Теперь этот этап, мне кажется, пройден. Литературе незачем больше играть роль парламента,— во-первых, парламентам на любом уровне счет уже потерян, а во-вторых, плохо ли, хорошо ли, но все аргументы уже выложены на стол, новых не прибавится. Развеяны многие иллюзии. Например, та, что в ходе открытого противоборства, при возможности прямого сопоставления позиций одна какая-либо идеология переспорит все иные, соберет под собственные стяги не только единомышленников, но и сомневающихся с колеблющимися, докажет свои приоритетные права на истину, на единственно верное понимание прошлого, настоящего и будущего. Или та, что с восстановлением социальной справедливости в тиражной политике, с бытованием литературы на основе свободной конкуренции дарований страна тотчас же разберется, что к чему, станет читать только хорошие, только честные и чистые книги, а плохие (т. е. идеологически фальшивые, низкопробные, бездарные) дружно сдаст в макулатуру.

Увы. Уж чего только, казалось бы, не было сказано о преступлениях коммунистического режима — а все находятся сторонники профессора Сергеева и генерала Макашова, подписчики и читате-

ли «Молодой гвардии» и «Военно-исторического журнала». Уж такой широкий выбор действительно хороших книг предложен сегодня публике — а многие по-прежнему хранят либо преданность крутым детективам, либо — к ужасу либеральных просветителей — верность литературе Маркова, Сартакова, Проскурина, Проханова и, следовательно, литература эта будет жить, будет издаваться и переиздаваться, будет влиять на умы, какие шумные поминки по ней ни устраивай.

Что же из сказанного явствует? Что враждующим лагерям нужно замиряться, или, как у нас обычно говорят, консолидироваться?

Никоим образом.

Пора всего лишь привыкнуть к простой мысли о том, что мы обречены жить вместе и что есть — помимо поножовщины всех со всеми и братских объятий каждого с каждым — третья, цивилизованная форма взаимоотношений между инако-мыслящими, инако-пишущими, но обреченными жить вместе людьми.

Эта форма — мирное сосуществование.

9

Собственно говоря, мысль о возможности мирного сосуществования в культуре и раньше витала в воздухе, но укорениться не могла: не было почвы, не было необходимых условий, и иные задачи — например, задача размежевания, идейной и творческой поляризации — выдвигались на первый план.

Теперь эта почва, эти необходимые условия появились.

Поляризация произошла, позиции — и политические, и эстетические — определились с должной четкостью, и стало, по крайней мере, ясно, с кем можно и нужно сосуществовать, сотрудничая, а с кем сотрудничество нравственно невозможно, ибо нельзя же в самом деле надеяться на взаимопонимание и продуктивный диалог с теми, чьи взгляды и действия поражены либо великодержавно-шовинистической, либо агрессивно-националистической проказой и, граничa с терроризмом, с политической уголовщиной, способны в очередной раз подтолкнуть страну и народ к кровопролитию, к уже не печатной и словесной, а более чем реальной гражданской войне.

Эти взгляды и действия — даже драпирующиеся по нынешней моде в национал-возрожденческую фразеологию — вне культуры, они антикультурны по своей направленности и пафосу, и, может быть лучшее, что по отношению к ним стоило бы сделать, это лишить их общественного резонанса, оставить в полной изоляции. Воля ваша, но я убежден, что среди подписчиков, покупателей и читателей ура-патриотических изданий львиную долю составляют как раз не сами ура-патриоты, до чтения обычно не охочие, а их непримиримые противники, либо полагающие, что «врага нужно знать в лицо» (будто это лицо уже не примелькалось), либо дразнящие себя, щекочущие себе нервы своего рода эмоциональным и интеллектуальным мазохизмом: ну-ка, ну-ка, чем нас еще попытаются испугать, чем одурачить? Равным образом я убежден, что демократическая печать своими неумеренными инвективами и филиппиками немало поспособствовала рекламированию нынешних «ястребов», и есть потому прямой смысл в высказанной сначала Т. Ивановой (в еженедельнике «Демократическая Россия»), а затем С. Пархоменко (в телепередаче «Пресс-клуб») идее наложить эмбарго на любое упоминание в демократической печати имени Жириновского и иных господ того же разбора.

Может быть, и в самом деле попробуем не обращать на них внимания? Пусть себе тешатся в своем кругу, пусть воспламеняют друг друга страстными речами и друг друга же назначают: кого — лучшим, талантливейшим, кого — светочем русской мысли, а кого и вовсе — совестью нации. В конце концов чем бы ни тешились — лишь бы за пулемет не хватались. А мы... Мы высвободим время и силы для занятия делом, для обоюдополезных споров с теми, с кем говорим на одном языке, для — простите мне высокопарность — созидательной работы в культуре.

Знаю, увы, что ничего с этим мораторием, как и с любыми другими мораториями, не получится, и отвечать нашим оппонентам — с тем главным образом, чтобы предостеречь публику от нездоровых соблазнов и иссушений,— еще не раз придется. И все-таки...

Благодаря перестройке мы ведь получили уже главное из необходимых для этого условий: в нашей литературе стало наконец-то просторно. Не хочется тебе, скажем, писать так, как ныне принято,— будь другим, пиши иначе, резко по-своему, ища сочувствующего твоим поискам издателя или, на самый худой конец, издаваясь за собственный счет, в авторской редакции. Не нравятся тебе существующие литературные журналы или ты не нравишься существующим литературным журналам — открывай на здоровье журнал для себя лично или для дорогого твоему сердцу писателя, как открыла в свое время в Париже М. Розанова «Синтаксис» — вначале для того только, чтобы печатать там произведения А. Синявского и бранить там произведения А. Солженицына. Раздражает тебя (юного или, как вариант, вечно пребывающего в подростковом возрасте) «дядина» и «тетина» словесность, литература, сориентированная на гуманистическую, классическую традицию,— сделай одолжение, не заглядывай ни в «Новый мир», ни в «Знамя», читай себе «Родник», «Вестник новой литературы», еще что-либо в этом роде: выбор-

то сейчас достаточно широк. Не устраивают, совсем напротив, притязания лихих постмодернистов и каких-либо еще «истов» на то, чтобы слыть единственно актуальными,— съязви, наконец, или попросту не обращай на них внимания, поскольку ни у постмодернистов, ни у кого иного нет теперь, слава Богу, решительно никаких шансов на то, чтобы захватить власть на книжно-журнальном рынке, стать монопольными держателями литературных акций.

Можно, словом, больше не толкаться. Можно не бороться за место под солнцем. Можно не страшиться барской ласки и таски. Можно жить в литературе так, как тебе хочется, и не мешать наконец-то жить другим — так, как им хочется...

Увы, толкаемся, как и прежде. Увы, как и встарь, бьемся насмерть — причем, конечно, с особенной сластью бьемся друг с другом, с потенциальными единомышленниками и собеседниками, с теми, с кем говорим на одном в принципе языке, с кем молимся одному в принципе богу, будто бы задавшись целью подтвердить старинную истину, что особую агрессивность у фанатиков вызывают не чужаки-иноверцы, а еретики и вольномыслы в собственном стане.

Все никак не довыяснят отношения с шестидесятниками их наследники-антагонисты: из-за чего сыр бор горит, чем «отцы» теперь-то мешают «детям» и «племянникам» — без Фрейда или без Юнга не разобраться, но горит же ведь, полыхает синим пламенем, влечет спорщиков ко все более и более тяжким (как правило, политическим) обвинениям, и я, грешным делом, рад, что избавлен здесь от печальной обязанности входить в детали, отослав читателя «Знамени» к сентябрьской статье М. Липовецкого «Совок-блюз», содержащей в себе обстоятельную сводку с фронта боевых действий.

Так и ждут будто бы повода, чтобы ущучить еретика-позитивиста православно настроенные критики «Нового мира»: стоило, например, А. Агееву, дотоле сотрудничавшему с этим журналом, высказать на страницах «Литературного обозрения» мнение о том, что общественный договор между писателями и читателями претерпевает нынче радикальные изменения, как тут же он получил в «Литературной газете» выволочку и от А. Василевского, и от И. Роднянской поочередно, и — Боже же ты мой! — в каких только грехах (как правило, политических) не был уличен своевольный автор — вплоть до вывода, что именно такие злодеи, как Александр Агеев, пособляют марксизму, атеизму, вульгарному социологизму и вообще тирании, расчищая заново «площадку для тоталитарного котлована» («ЛГ», 29 мая 1991 г.).

Или еще один сюжет — уморительно смешной на поверхности и очень грустный, очень — прошу прощения у его участников — до обидного глупый глубинно.

Дело было вот как. Постмодернисты, не к ночи будь они помянуты, впервые за всю историю своего движения провели грандиозную конференцию-тусовку в Литинституте, где, само собою, громко бранили всех непостмодернистов за устарелость и еще громче били себя в грудь: смотрите, мол, кто пришел! Критик В. Малухин в «Известиях» присмотрелся к пришельцу, высказал на его счет немало дельных или хотя бы остроумных соображений и... вдруг отчего-то сильно испугался: да уж не Лопахин ли это пришел, да уж не сведет ли «чумазый» под корешок Вишневый Сад родной нам словесности? Страх, как известно, заразителен, прилипчив, и вот уже испугался поэт В. Кривулин, истолковав на страницах «Независимой газеты» частное мнение «известинского» критика как фельдфебельский окрик: в статье В. Малухина тут же были обнаружены и «большевистские приемы борьбы», и «худшие традиции либеральной критики», и «лубянская аллергия к литературным школам и манифестам», — словом, все, что угодно, вплоть до призыва вернуться «назад к драконовой цензуре»...

Тут бы, казалось, и разойтись, чтобы чуть охолонуть. Но В. Малухин обиделся (небезосновательно) и ударил в еженедельнике «Союз» сразу и по В. Кривулину, сочинившему-де «донос в поэтике постмодернизма», и по «Независимой газете», во-первых, печатающей доносы, а, во-вторых, сознательно стремящейся «стать газетой общего пользования — в самом что ни на есть бытовом значении слова». Согласитесь, что в данной ситуации не смог уже смолчать заместитель главного редактора «Независимой газеты» И. Захаров — и заявил, как припечатал, что В. Малухин, чьи публикации дотоле считались «прогрессивными», отныне раз и навсегда дискредитировал себя в глазах всех приличных людей...

Отгромыхало? Не знаю. Не уверен, что В. Малухин не выдаст со временем по первое число и постмодернистам, и привечающим их газетчикам, и опять пойдет, опять покатится... А ты, читатель, сиди и ломай себе голову: чем, какими грядущими гуннами, какой эстетической гегемонией постмодернистов испугал себя В. Малухин? Что, какой «приказ по армии искусств» примстился В. Кривулину? Почему — еще раз вспомним русскую классику — неосмотрительно брошенное слово «Гусак!» вмиг воздвигает баррикаду между интеллигентными, порядочными, демократически и либерально настроенными литераторами, которым на роду, казалось бы, написано гонять вместе чаи за неспешной и полезной беседой о центонах, Ролане Барте, Дмитрии Александровиче Пригове и прочих эстетических приятностях?

И наконец: отчего же мы так хамски неосмотрительны в выборе слов и выражений, когда вступаем в диалог с потенциальными единомышленниками, людьми одной, во всяком случае, с нами культуры и одних с нами политических убеждений? Почему разговор, начатый в эстетической плоскости, едва ли не непременно срывается в трясину грубых конъюнктурных обвинений, и гипотеза именуется уже подлой провокацией, деликатно, но твердо высказанное критическое замечание воспринимается как донос (кому вот только?), а независимое суждение выглядит ренегатством, святотатством и попранием идеалов?..

Напомню во избежание недоразумений, что я вовсе не считаю литературную, общественную жизнь чем-то вроде пансиона благородных девиц, где позволено только щебетать да ворковать, и меня шокирует не спор между В. Малухиным, В. Кривулиным и И. Захаровым, но его стопроцентная безмотивность и заведомая бесплодность. Меня изумляет не непримиримая ярость формулировок, скажем, той же И. Роднянской, но то, что они адресованы именно А. Агееву. Неужели и в самом деле так: скажи мне, кого ты считаешь своим врагом, в чьих идеях и поступках видишь угрозу для общества и литературы, и я скажу тебе, кто ты...

10

Понимаю, конечно, сколь наивно звучат эти риторические вопросы, эти жалобы и пени. И все-таки произношу их— в надежде, что их наивная самоочевидность хоть кому-нибудь поможет сделать решительный шаг от «совдеповской» и «совковой» этики литературного процесса — с ее психологической установкой на столкновение, противостояние и вытеснение оппонентов — к цивилизованным этическим нормам литературного пространства, где одно художественное явление не исключает другого, а сосуществует одно с другим, друг друга дополняет и — в культурной перспективе — друг с другом взаимодействует.

Ведь всего-то и требуется: терпимость, готовность и умение видеть в чужом не чуждое, а всего лишь не похожее на твои представления о норме, но столь же законное, имеющее такие же права на жизнь.

У Анатоля Франса есть новелла о бродячем жонглере, который перед изображением Богоматери не шептал, как должно, молитвы, а метал тарелочки и кольца, то есть демонстрировал свое безусловно неуместное в храме «площадное» искусство. Ему именно так хотелось выразить свое преклонение перед Мадонной, свой религиозный восторг, и мы часто, наверное, кажемся друг другу такими жонглерами, не умеющими себя «единственно правильно» вести. Весь вопрос лишь в том, кем мы друг друга в этих случаях считаем. Богохульниками и святотатцами, которых нужно тотчас же побить каменьями? Или людьми, молящимися странно, неправильно, может быть, дико, но — тому же богу, тем же идеалам, в том же храме?..

Проблема этики внутрилитературных отношений и — даже еще скромнее — проблема полемической тактики и полемического такта перерастает на наших глазах в проблему стратегического выбора, в проблему смены ментальности, ибо, если разбираться всерьез, что — кроме привычки к категорической безапелляционности в суждениях, кроме взаимной подозрительности и обоюдной фанатической уверенности в исключительной истинности только собственных воззрений — теперь-то мешает деятельному союзничеству просвещенного консерватизма (скажем, в нынешнем «новомировском» духе) и столь же просвещенного либерализма, талантливых традиционалистов и не менее талантливых авангардистов, высокопрофессиональных «жрецов» элитарной или учительной высокой литературы и высокопрофессиональных же работников «массовой культуры»?

Слово «теперь» в только что прозвучавшей тираде — ключевое. Фальшью отозвался бы призыв к союзничеству и сотрудничеству еще несколько лет назад. Из принудительной похожести друг на друга, из насильственного согласия всех со всеми выход был только один — через поляризацию, через размежевание и конфронтацию. Различным литературным, общественно-литературным силам необходимо было столкнуться в прямом поединке и соперничестве, чтобы раз и навсегда понять:

мы — разные и разными, слава Богу, останемся;

победителей, как и в великом стоянии на Калке, не будет, в принципе быть не может, поскольку спор между «западниками» и «славянофилами», «консерваторами» и «прогрессистами», «аристократами» и «мещанами», «реалистами» и «романтиками», во-первых, вечно будет воспроизводиться на российских просторах, а во-вторых, спор этот (но спор, конечно же, бескровный, идущий без какого бы то ни было участия государства и власти) — не проклятье наше, как вгорячах казалось, а счастье, ибо он порождает благодетельный для культуры эффект гармонического равновесия и взаимной дополнительности, предоставляя и читателям, и художникам возможность ничем не ограниченного выбора, создавая, как выражаются нынче, естественную систему сдержек и противовесов в литературном пространстве, на книжно-журнальном рынке, в общественном сознании.

Следовательно, все мы нужны друг другу и нужны именно разными, чтобы литература, расслоившись на множество потоков, двигаясь на самых разных уровнях и к самым разным целям, оставалась тем не менее внутренне единой и тем не менее — литературой.

В этом смысле литература — имя собирательное.

Ну, совсем как музыка, например, где под одним именем, вместе друг с другом и в то же время отдельно, независимо друг от друга живут симфоническое искусство и искусство камерное, опера и мюзикл, высокая оратория и прыгучая, будто кузнечик, эстрадная песенка. Где, купив билет в консерваторию, ты точно знаешь, что не попадешь на рок-концерт — и наоборот. Где ничто не выдает себя за другое и никому не приходит в голову судить оперетту по законам оперного жанра. Где, впрочем, никому из композиторов не заказано вбирать в симфонический строй песенные мотивы или переходить из одного жанра (или, если хотите, из одного разряда) в другой — подобно, например, Дмитрию Шостаковичу, который, прославившись на поприще серьезной музыки, пробовал себя, однако, и в оперетте и на эстраде. Где Лев Лещенко и Дмитрий Маликов, может, и соперничают друг с другом, но не с Дмитрием Хворостовским, и где есть тем не менее единая структура ценностей, единые (самые общие, наиболее принципиальные) критерии, и ни для кого не тайна грань между кантатой и роскошной мелодией к рекламному видеоролику, равно как и разница между, допустим, Георгием Свиридовым, Альфредом Шнитке и модным песнетворцем..

...Доживем ли мы до времени, когда слово «литература» будет вызывать в воображении не образ сталинского небоскреба, но картину разноэтажно застроенного, ухоженного и удобного для жизни города?

Уже дожили — в реальной художественной практике, в реальном, а не вымечтанном и измышленном, читательском поведении. Отстают, правда, теория, литературно-критическое осмысление живой литературной динамики...

Но... Они и обречены отставать от практики, — по крайней мере, до тех пор, пока критикам, литературным публицистам, редакторам и издателям будут застить взор их собственные утраченные иллюзии.

Вступая в перестройку, мы — оглянитесь-ка — действительно мечтали о чем-то совсем-совсем другом. О том, что сталинская высотка будет срыта до основанья, и на ее месте вознесется ввысь новое величественное и светлое здание. О том, что серая, казарменная литература официоза, равно как и блескучая-шипучая «массовая культура», отомрут, никогда и нигде не найдя больше спроса и сбыта. О том, что социальный, духовный авторитет литературы, «учительная» роль писателей в жизни общества будут расти неостановимо. О том, что наши беллетристы, освободившись от цензурных рогаток, вперегонки выдадут на-гора безусловные шедевры — числом и качеством сопоставимые с классикой. О том, наконец, что достаточно толком объясниться друг с другом, убедительно доказать самоочевидные преимущества собственной идейной, гражданской, творческой позиции, и она, единственная, возобладает над всеми прочими, ляжет в фундамент общественного и литературного согласия.

Оглянулись? А теперь оглядитесь. И все не то. И все не так.

Впрочем, умные люди говорят, что с реформами по-иному и не бывает, что итоги перестройки в принципе непредсказуемы и всегда неожиданны для ее зачинателей и участников. Все ждут реформ, — заметил как-то, выступая по телевидению, Григорий Явлинский, — тогда как всем, наоборот, стоило бы их опасаться, потому что, начавшись с малого, любая радикально и последовательно проведенная реформа ничто не «обновляет» (как надеялась власть), ничто не «реставрирует» (как рассчитывали консерваторы) и не гарантирует никакого немедленного прогресса (как втайне верили демократы). Реформа всего лишь меняет психологию людей, весь общественный, экономический (и добавим от себя: культурный, литературный) уклад жизни в стране. Перемены накапливаются вроде бы незаметно, но проснешься в один прекрасный день, а все вокруг другое и все вокруг другие...

Что делать?

Прежде всего не нервничать попусту. Не пугаться: литература займет, мол, теперь и у нас, как во всем мире, какое-нибудь 135-е место в перечне общественных приоритетов (А. Латынина). И уж тем более не угрожать меняющейся на наших глазах реальности: мол, «литература может быть только великой — или никакой» (И. Роднянская).

Гораздо полезнее проснуться, раз уж наступил этот самый «прекрасный день», — и учиться жить, учиться работать в новых условиях.

Что даст нам силы?

Как обычно надежда и вера.

Уж коли русская литература, пробиваясь из-под глыб, задыхаясь под властной десницей, обдирая бока о цензурные рогатки, сумела стать национальной гордостью и славой, то неужели же, вырвавшись на свободу, устроив свое бытие по законам цивилизованного общества, она не оправдает наши надежды, обманет нашу веру?..

Между прочим

Игорь Померанцев

ПО ШКАЛЕ БОФОРТА

В это время ветер вдруг прервал свое дыханье...

Б. Житков

И ветер необыкновенней,
когда он ветер, а не ветр.

Д. Самойлов

Заметки эти адресованы читателям, которых, по-моему, неуклюже называют «любителями поэзии». Должно быть, выражение это придумано теми, кто поэзию недолюбливает. Что ж, любители так любители. В конце концов в проигрыше те, кто не любит... Так вот с этим самым кругом «непрофессионалов поэзии» я и хочу поделиться своим неожиданным открытием.

Книга Леонида Проха «Словарь ветров» издана в 1983 году ленинградским «Гидрометеоиздатом», но мне в руки попала, к сожалению, лишь минувшим летом.

Форма этого сочинения — словарь (около 2000 терминов). Кое-какие основания относиться к терминам как к стихам дает сам автор-ученый, указывая в предисловии, что одна из его задач — «объяснить происхождение некоторых названий ветров». Уже эта филологическая посылка в устах ветролога настораживает. Дальше — больше: «Некоторые определения, возможно, покажутся субъективными». Для ученого подобное заявление самоубийственно, для поэта — естественно. Вот выдержка из книги, взятая наугад. Мне захотелось записать ее в виде стихотворения:

Снежинки при ветре крошатся
и обтачиваются,
становятся пылевидными
и проникают в мельчайшие щели.
В течение нескольких дней бури
они могут перерезать
пеньковые тросы.

А вот еще:

Раскаленная зона
как бы втягивает
в северное полушарие
юго-восточный пассат
южного полушария,
который,
отклоняясь под влиянием
вращения Земли,
становится юго-западным
муссоном.

Или вот строфа с местным колоритом:

Хустская котловина в Закарпатье
находится в ветровой тени
Украинских Карпат.

Высшее достижение поэтической лапидарности Л. Проха, на мой взгляд,— стихотворение Ю (разновидность шквала в Китае).

Впечатляющ арсенал тропов в творчестве поэта-ветролога. Приведу несколько олицетворений: ГЛАЗ БУРИ, ГЛАЗ ВЕТРА, ГОЛОВА ШКВАЛА, ГРОЗОВОЙ НОС... К олицетворениям рискну также отнести и ОБЛАЧНУЮ ШАПКУ и ШКВАЛЬНЫЙ ВОРОТНИК. Кстати, диаметр ГЛАЗА БУРИ составляет 20—30 километров, и облака окружают глаз в виде громадного облачного амфитеатра. Как термины, так и объяснения в книге Л. Проха метафоричны: «линза холодного воздуха», «эклиптический ветер дует из района происхождения тени Луны», «начало ветра», «при обтекании воздушным потоком островов Зеленого мыса от них «отшнуровываются» вихри». Тот факт, что автор берет в кавычки «отшнуровывается» свидетельствует о том, что он не стихийно, а вполне сознательно метафоричен. Жертвуя своей научной репутацией, Л. Прох гонится и догоняет красное словцо: «финстернисвинд — ветер, возникающий при полном солнечном затмении. Практического значения не имеет». Если этот ветер и впрямь не имеет смысла, то зачем вносить его в словарь? — Да потому что он прекрасен!..

В книге есть ссылки на других ученых и исследователей. Но у них автор выбирает лишь поэтические суждения: «...ветры над «великим ледником» Гренландии неизменно приобретают радиальное направление..., что я могу сравнить с потоками воды, стекающими по склонам из внутренних районов к побережью» (Г. Пири). Или: «Академик В. А. Обручев назвал эту впадину гигантской жаровней». (Напомню, что В. А. Обручев — автор нескольких романов!) Есть и другие скрытые и явные выдержки из художественных текстов: СВЕЖАК, МИСТРАЛЬ, РЕВУЩИЕ СОРОКОВЫЕ, СОРАНГ. В поэзии Проха чувствуется влияние древнегреческой поэзии. Отсюда тяга к сложнокорневым словам: «СМЕРЧИ хобото-колоно-, змее-, биче-, веревко- и воронкообразные», «туманонесущий (муссон)», «башенкообразные (облака)», «штормоопасные (районы)», «лесовальный (ветер)», «ветроломная (лесополоса)».

Поражает богатство словарного запаса Л. Проха. Порой кажется, что читаешь «Словарь синонимов»: МЕТЕЛЬ, метелица, вея, веялица, вьюга, кура, боропю, буран, пурга, хурта, замет, заметь, понизовка, заверть, сипуха, поземка, поземь, волокуша, пешая кура, поносуха, поползиха, подеруха, понос, тащиха»... Или «Словарь антонимов»: селигерские ветры ЖЕНАТЫЙ (стихающий на ночь) и ХОЛОСТОЙ (не стихающий), ИВАН и МАГОМЕТ (ветры Прикаспийской низменности)... Еще одно свидетельство лексического богатства поэтического языка — псевдонеологизмы: шквалистость (сильная порывистость), волкоед (ветер на Псковском озере), бездождные (периоды), авиапроисшествие, воздухопад, бетать (держать курс круче, лавировать, идя зигзагами навстречу ветру), ветрогар (загар при обветривании), псевдоморской ветер.

Увы, и заумью Прох не пренебрегает: НИУХИУ-о. Факахина в архипелаге Туамоту, СЫДЫРЫМ ЖЕЛ (кирг.), СОБУРУУНГУ ТЫАЛ (якут.), БАРСАКЕЛЬМЕС (по-туркменски «Пойдешь — не вернешься»). Отныне русский язык будет обязан Л. Проху новым звукосочетанием СПАЛМЕДЖДЖО (туман над морем). Запоминается и оксюморон ЛЕДЯНЫЕ ОЖОГИ. Прох не боится вульгаризмов (БОЛТАНКА) и часто сознательно работает на прозаизацию, занижение: ВЛЕЧЕНИЕ (перемещение под действием ветра частиц почвы или песка)[1], итальянская КОНТЕССА ДИ ВЕНТО (графиня ветров) — это всего-навсего вытянутое по ветру чечевицеобразное облако; МГЛА — помутнение воздуха в результате взвешенных в нем частичек пыли, дыма и гари; ВЕТЕР — это движение воздуха

[1] Сравни с Б. Л. Пастернаком:
Привязанность, в л е ч е н ь е, прелесть!
Рассеемся в сентябрьском шуме!
Заройся вся в осенний шелест!
Замри или ополоумей!

относительно земной поверхности; в Провансе МИСТРАЛЬ называют манго фанго — ешь грязь, лиго фанго — лижи грязь, липо фанго — глотай грязь.

Л. Прох тонко чувствует слово, в том числе и народное: северный ОБЕДНИК «днем колышет, к вечеру отишит», печорские рыбаки называют СЕМУЖИЙ ВЕТЕР золотоносный (дающий заработок); КУТАСЬЯ ПОГОДКА — на Памире; ЕГОР СОРВАЛ ШАПКУ (каспийский ветер). Особая «слабость» (читай: сила!) автора — военная лексика: в тылу циклона, атмосферный фронт, кардинальные ветры, генеральное направление муссона, фронт прорывов ветра, копьевидная дюна, слабый ветер по шкале Бофорта колышет тонкие ветви, развевает флаги и вымпелы.

«Словарь ветров» — это книга лексических путешествий по белому свету: ПОБЕРЕЖЕНЬ (Чудское озеро); ПОБЕРЕЖНИК (Белое море); ПОБЕРЕЖНЯК (Нижний Днестр). И о чем бы ни говорил Прох, о ветрах мирового масштаба или масштаба континентов, крупных островов или местных атмосферных возмущениях, везде он остается поэтом. Даже тогда, когда речь идет о стихийных бедствиях: «ВЕЛИКИЙ УРАГАН», пронесшийся над Антильскими островами 10 октября 1780 года, разрушил до основания все города на островах Барбадос и Сент-Люсия, выкорчевал леса, потопил 40 кораблей в гаванях.

Л. Прох — поэт-гуманист. И потому он предостерегает человечество и человека: камчатская КУРИЛКА разрушает береговые сооружения, выбрасывает неводы, смывает в море незакрепленные грузы; при американском КЕЙЗ УЭЗЕР табак, развешанный под навесом для сушки, сыреет и становится непригодным для сворачивания сигар; дожди, связанные с ЛЕВАНОМ благоприятны для развития растительности и некоторых видов насекомых, например, таких, как тля. Из-за высокой влажности ЛЕВАН неблагоприятно влияет на здоровье людей, угнетающе действует на их нервную систему, вызывает вспышку респираторных и ревматических заболеваний; индийский ЛУ нередко вызывает летаргический сон, приводящий к потере памяти. (Этой болезни подвержены в основном европейцы); осенью при МАРЕНЕ (Франция) виноград чернеет, а у некоторых больных людей затрудняется дыхание, наступает депрессия; СИЛЬНЫЙ ШТОРМ (9 баллов по шкале Бофорта) срывает дымовые колпаки с труб и черепицу с крыш, сдвигает легкие предметы; АФГАНЕЦ угнетает растительность, засыпает песком и пылью поля, губит всходы хлопчатника, зимой приводит к обморожению и гибели скота...

Не вредно напомнить читателю и о благотворных ветрах, что с удовольствием делает автор: при БАБЬЕМ ВЕТРЕ на Камчатке быстро сушится белье; ХАМСИН сопровождается миражами и фата-морганой; на Гвинейском побережье ветер ДОКТОР после удушающих жарких ветров приносит прохладу; французский НАРБОНЕ сталкивает с рельсов даже железнодорожные составы...

Не будет преувеличением сказать, что словарь Проха — это энциклопедия жизни. Читая его, узнаешь бездну нового, порой бессмысленного, но всегда прекрасного: в ТОЧКАХ ВСАСЫВАНИЯ вихрь может поднимать с рельсов вагоны массой до 13 тонн; БАД-ГИРИ — приспособление для улавливания ветра в Иране. Это высокие башни, вверху решетчатые, с широкими вентиляционными каналами, проходящими внутри стен и открывающимися внутрь комнат и подвалов; американскому БАРБЕРУ (брадобрею) название дано портовыми рабочими Нью-Йорка, потому что замерзающие на лице капли при ветре сильно раздражают кожу; тамильский БАТТИКАЛОА КАЧЧАН получил прозвище сумасшедшего, так как отрицательно действует на состояние некоторых больных[1]; под действием УЛАНА деформируются даже пирамидальные тополя; под воздействием КОКАНДЦА кроны деревьев имеют флаговую форму; ветер в городе дует преимущественно вдоль улиц, его направление может не совпадать с общим воздушным потоком над городом. На уличных перекрестках и в сужениях улиц между домами возникают струи и вихри... В узких проходах ветер усиливается. Вдоль нагретых солнцем стен воздух поднимается, а вдоль затененных опускается... На-

[1] Не ключ ли это к пониманию затянувшейся войны между тамилами и сингалами? (Примечание мое.— И. П.)

ибольшие различия скоростей ветра в городе и на его окраинах наблюдаются весной[1].

Хотя ветрам СССР предпочтения не отдается, все же в книге проскальзывает стыдливый патриотизм ее автора. Так, уже в предисловии он обиженно замечает, что в СССР есть множество ветров, подобных иностранным, но о них, к сожалению, не говорится в других словарях и учебниках. С гордостью поэт-ветролог утверждает: «В СССР шквалы лишь в 10% случаев являются внутримассовыми, остальные связаны главным образом с фронтами». И снова с гордостью: «БАЛАКЛАВСКАЯ БУРЯ» обрушилась на Балаклаву и потопила англо-французский военный флот, осаждавший Севастополь. Для сравнения приведу другие строки, написанные куда бесстрастней: «БАХРЕЙНСКИЙ ШТОРМ», в Персидском заливе в ночь на 1 октября 1925 года за 10 часов охватил весь залив и погубил много кораблей». В тех случаях, когда у Л. Проха есть выбор между иностранным словом и родным, он отдает предпочтение последнему: «ГЛЕТЧЕРНЫЙ ВЕТЕР — см. Ледниковый ветер». Любопытна и трактовка западничества: «ЗАПАДНИКИ — западные ветры, господствующие в умеренных широтах обоих полушарий... Устойчивость и частота западных ветров большой скорости послужила основанием для того, чтобы назвать эти широты ревущими сороковыми и воющими пятидесятыми». Согласно трактовке автора, западники не распространяются на Центральную Европу: АЛЛЕРЗЕЕЛЕНВИНТЕР — неустойчивые северные ветры в начале ноября в Центральной Европе (читай: Центральная Европа сама не знает, чего хочет).

Отсюда и глобальные выводы «БИЗ, подобно МИСТРАЛЮ, играет существенную роль в формировании условий жизни».— Вот это замах! Прямо не Прох, а Маркс или Фрейд. Но тут же элегантное занижение: «В департаменте Жер БИЗ называют ВАН КАНАР, т. е. утиным ветром, так как БИЗ влияет на миграцию уток. У людей БИЗ вызывает чувство озноба». Как все же мизерна ирония рецензента в сопоставлении с неслыханной простотой поэта! Его философия — это философия печали: «Физические причины возникновения смерчей и их большой энергии еще до конца не выяснены».

В «Словаре ветров» нашлось место и древнеримским ветрам и их божествам АКВИЛОНУ, ВОЛЬТУРНУ и КАРБУ, древнегреческим АПАРКТИЮ, АСФЕЛИЮ (слово латинского происхождения), БОРЕЮ, КЕКИЮ, ЭРОСУ, ЗЕФИРУ, ЛИПСУ, НОТУ, АРГЕСТУ, ТРАКИЮ, ЭВРУ, а также АЛЬКИОНИДАМ — безветренные и теплые дни зимой в Греции (Алькиона — мифическая дочь бога ветров Эола). Прох — не европоцентрист, он не дискриминирует богов других народов мира. Внимательный читатель может найти в сборнике МАХИКИ (божество вихрей на Гавайских островах), КАМИКАДЗЕ (божественный ветер в мифологии Японии. В 1281 году этот самый японский бог потопил армаду судов Хубилая, внука Чингисхана), ФЫН-ШУЙ (дух ветрв и воды в Китае) и даже ТЕСКАТЛИПОКА (у ацтеков бог грома и грозы, одноногий бог страха, непогоды и бурь). Можно допустить, что сам Л. Прох предпочитает христианство, и потому слово «бог», означающее языческих идолов, пишет с маленькой буквы. Судя по тому, что в книгу включена СОФИЯ холодная (период возврата холодов в Европе около середины мая), автор, по-видимому, в молодости испытал влияние философии В. С. Соловьева.

Но вернемся к поэтическому содержанию «Словаря ветров». Особую роль в творчестве его автора играют запахи, цвета и голоса ветров. Самым выразительным получился АРБУЗНЫЙ ВЕТЕР (тут и цвет, и запах, и треск). Буро-бел английский ветер ТЕРНОВАЯ ЗИМА. Тяжеловесное слово БЕРНШТАЙНВИНД означает янтарный ветер. Цветозапахом веет от МЕДОНОСНОГО ВЕТРА. В Азии преобладают желтые, палевые и буроватые бури. В зависимости от цвета поднятой пыли пыльные бури могут быть черными, желтыми, красными, белыми и бурыми. СИРОККО, например, может явиться... причиной «кровавых дождей» в Прибалтике. В Турции различают МЕЛЬТЕМ виноградный — поздним

[1] Это наблюдение может пригодиться литературным критикам, которые исследуют прозу о Нью-Йорке, Кельне, Москве. (Примечание мое.— И. П.).

летом, вишневый — в июне, арбузный — в мае. БАЙ-У — сезон «сливовых» дождей в Японии, при которых наблюдаются ореолы вокруг светил на медно-красном небе. ПОЮЩИЙ МОСТ — мост через р. Эльбу, стальные конструкции которого при южном ветре издают эоловы звуки. ЭОЛОВА АРФА — длинный ящик из тонких дощечек со струнами, который на ветру издает звуки.

Еще в древнем Риме сооружали звучащие статуи с подобным устройством.

Закрываешь последнюю страницу «Словаря ветров», смежаешь веки — и слышишь гул проводов, треск простыней, плеск пощечин, рев сороковых, вой пятидесятых... Открываешь глаза — и видишь мир глазами Л. Проха: Гольфстрим и Лабрадор — это ветер вод, музыка — это ветер звуков, тяжкий труд объятий — это ветер тел.

Нет, увы, в «Словаре ветров» таких слов и словосочетаний, как «Бессонница. Гомер», «Геба», «Дон-Кихот», «крылатые сандалии», «легкомыслие», «такелаж» и др. Быть может, автор учтет эти пожелания в последующих изданиях?..

В заключение хотел бы воспользоваться случаем и поблагодарить все ветра, которые сопутствовали мне и несли меня по свету: волжский ХИЛОЙ, забайкальский ХВИУС, украинский БУРЕВИЙ, карпатский ГОРЫШНЯЧОК, рейнский ЗИБЕНГЕБИРГСВИНД, ветер озера Лугано ПОРЛЕЦЦИНА, испанский АБРЕГО, БАРСЕЛОНСКИЙ ВЕТЕР, галисийский ГАЛЬЕГО, португальский НОРДЕР, два ветра, пьянящие воображение,— КАЛЬВАДОС и БОРДОССКИЙ, ветер, английские ветры КЭТС НОУЗ, КАСТАРД ВИНД, КОСОГЛАЗЫЙ БОБ...

Особую признательность выражаю БИСКАЙСКОМУ ВЕТРУ. Это он великодушно перелистывал в моих руках «Словарь ветров» Л. Проха и трепал черновик этих заметок.

Лондон.

«Знамя» в конце 1991 и в 1992 гг.

«Знамя» — журнал прежде всего **современной** литературы и **современной** общественной мысли, и потому центральное место на журнальных страницах займут:

повесть Василя БЫКОВА **«Блиндаж»**; роман Георгия ВЛАДИМОВА **«Генерал и его армия»**; повесть Геннадия ГОЛОВИНА **«Покой и воля»**; повесть Фридриха ГОРЕНШТЕЙНА **«Последнее лето на Волге»**; очерки Даниила ГРАНИНА **«Этому нас не учили»**; роман Владимира ДУДИНЦЕВА **«Дитя»**; роман Олега ЕРМАКОВА **«Заклинание против вепря»**; повесть Фазиля ИСКАНДЕРА **«Ловчий ястреб»**; цикл **«Поздняя проза»** Руслана КИРЕЕВА; повесть Виктора КОЗЬКО **«Спаси и помилуй нас, черный аист»**; повесть Вячеслава КОНДРАТЬЕВА **«Искупить кровью»**; повесть и рассказы Владимира МАКАНИНА; роман Булата ОКУДЖАВЫ **«Упраздненный театр»**; повесть Вячеслава ПЬЕЦУХА **«Заколдованная страна»**; роман Александра ТЕРЕХОВА **«Женщины в моей жизни»**.

Над новыми произведениями для журнала работают Чингиз АЙТМАТОВ, Василий АКСЕНОВ, Феликс СВЕТОВ, Борис ЕКИМОВ, Олег ЖДАН, Илья МИТРОФАНОВ, Михаил РОЩИН, Марина ПАЛЕЙ, Людмила ПЕТРУШЕВСКАЯ, Евгений ПОПОВ, Анатолий ПРИСТАВКИН, Георгий СЕМЕНОВ.

Поэтический диапазон «Знамени», как и прежде, достаточно широк: от лирики поэтов старшего и среднего поколений до произведений молодых стихотворцев.

Открытие журнала — неизвестная поэма Николая Клюева «Песнь о Великой Матери».

Новое писательское имя в каждой журнальной книжке — один из ведущих принципов «Знамени».

Зарубежную литературу на страницах журнала представят:

Эжен ИОНЕСКО — эссе; Франц КАФКА — новеллы и притчи; Жан КОКТО — размышления об искусстве и о жизни; Эрих-Мария РЕМАРК — роман «Искра жизни», впервые в полном объеме и без искажений издающийся на русском языке.

Сюрпризом для читателей явится впервые переведенный на русский язык фундаментальный очерк истории американской мафии: от Аль Капоне до наших дней.

Общественный совет редакции:

С. С. АВЕРИНЦЕВ, Д. А. ВОЛКОГОНОВ, Н. Н. ВОРОНЦОВ, В. В. ИВАНОВ, Ф. А. ИСКАНДЕР, В. Л. КОНДРАТЬЕВ, В. С. МАКАНИН, Б. Ш. ОКУДЖАВА, М. А. УЛЬЯНОВ, Ю. Д. ЧЕРНИЧЕНКО, С. С. ШАТАЛИН.

Главный редактор **Г. Я. БАКЛАНОВ.**

Редколлегия: **В. П. ГЕРБАЧЕВСКИЙ** (зам. гл. редактора), **Н. Б. ИВАНОВА** (зам. гл. редактора), **Е. А. КАЦЕВА** (отв. секретарь), **В. Ф. ТУРБИНА, С. И. ЧУПРИНИН** (первый зам. гл. редактора).

Адрес редакции: 103863 ГСП, Москва, ул. 25 Октября 8/1.
Телефоны: главный редактор — 921-24-30, заместители главного редактора — 921-13-81 и 921-08-09, ответственный секретарь — 928-22-78, отдел прозы — 923-72-82, отдел публицистики — 921-14-64, отдел критики и библиографии — 928-29-42, отдел поэзии — 921-59-67, для справок — 924-13-46.

Технический редактор Л. С. Алексеева.

Сдано в набор 13.08.91. Подписано к печати 09.09.91. Формат $70 \times 108^{1}/_{16}$
Печать высокая. Усл. печ. л. 21,00. Усл. кр.-отт. 21,70. Уч.-изд. л. 23,17.
Тираж 421 000 экз Заказ № 807. Цена 1 р. 90 к.

Типография издательства «Правда», 125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

Журнал по традиции внимателен к литературному наследию. Среди других произведений будут напечатаны:

неизвестные статьи Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО и Ф. И. ТЮТЧЕВА; автобиографические записки К. Н. ЛЕОНТЬЕВА **«Моя литературная судьба»**; публикуемый по рукописи очерк Н. С. ЛЕСКОВА **«Неоцененные услуги»**; **«Проза. Статьи. Письма»** В. Ф. ХОДАСЕВИЧА; **«Переписка»** В. Т. ШАЛАМОВА; **«Третья книга»** воспоминаний Н. Я. МАНДЕЛЬШТАМ.

Рубрика «Мемуары. Архивы. Свидетельства» будет также представлена публикациями Н. БЕРДЯЕВА, Л. КАРСАВИНА, Д. МЕРЕЖКОВСКОГО, В. РОЗАНОВА, Ф. СТЕПУНА, П. СТРУВЕ, С. ТРУБЕЦКОГО, Г. ФЛОРОВСКОГО, находками из архивов Л. МАРТЫНОВА, Д. САМОЙЛОВА, В. ТЕНДРЯКОВА, Ю. ТРИФОНОВА, Б. ЯМПОЛЬСКОГО.

Запомнив имя Натальи ДУМОВОЙ по циклу **«Московские меценаты»** (1990, № 8; 1991, № 3), читатель не пропустит ее новую работу **«Женщины серебряного века»**.

О родословной фашизма и его смертоносных метастазах размышляет Елена РЖЕВСКАЯ в исследовании **«Доктор Геббельс и его «Дневник»**.

Предполагается напечатать воспоминания, автобиографические свидетельства, размышления С. ШАТАЛИНА, О. ФРЕЙДЕНБЕРГ, Д. ШЕПИЛОВА, А. Н. ЯКОВЛЕВА, других наших современников.

«Злоба дня», осмысленная в свете уроков отечественной истории,— в центре внимания А. НЕЖНОГО, Г. ПОМЕРАНЦА, В. РАУШЕНБАХА, Л. САРАСКИНОЙ, В. СЕЛЮНИНА, Е. СТАРИКОВА, А. СТРЕЛЯНОГО и других публицистов — постоянных авторов журнала. Литературный процесс наших дней в широком общекультурном и социальном контексте исследуют критики: А. АГЕЕВ, И. ДЕДКОВ, Л. ЛАЗАРЕВ, А. МАРЧЕНКО, Вл. НОВИКОВ, С. РАССАДИН, А. ТУРКОВ, И. ШАЙТАНОВ.

Наряду с традиционными разделами «Публицистика», «Критика» в журнале вводятся или обновляются «фирменные» рубрики:

«Urbi et orbi» — монологи писателей, ученых, общественных деятелей о наиболее острых и, как правило, спорных проблемах современной действительности и современной культуры.

«С того берега» — взгляд зарубежных авторов (в том числе выходцев из России) на то, что происходит сейчас в нашей стране; оценка исторических перспектив, сопоставление с общемировым опытом, попытка закрепить диалог по линиям «Восток — Запад», «Север — Юг», «Родина — русская диаспора».

«Гипотезы. Споры. Открытия» — новое, часто парадоксальное прочтение классических литературных произведений, неожиданные подходы к «роковым тайнам» отечественной истории и культуры, прогнозы, предположения, интеллектуальные дуэли.

«Советуем прочитать» — под этой рубрикой, как и доныне, будут помещаться лаконичные обзоры наиболее примечательных книжных и журнальных новинок.

Обо всех изменениях и дополнениях в журнальной программе читатели будут извещены. Следите за нашими анонсами!